

Лев Разумовский

*нас время учило...*



журнал ЗВЕЗДА



*Издание выпущено  
на частные пожертвования*

Лев Разумовский

*Нас время учило...*

Журнал «Звезда»

2016

ББК 84.Р7

Р 17

Редактор  
*Я. А. Гордин*

**Разумовский Л.**

Р 17 Нас время учило... — СПб.: ООО «Журнал «Звезда», 2016. — 440 с. + 24 с. вкл. фото.

ISBN 978-5-7439-0210-1

«Нас время учило» — сборник документальной автобиографической прозы петербургского скульптора и фронтовика Льва Самсоновича Разумовского (1926–2006).

В сборник вошли две документальные повести: «Дети блокады» (воспоминания автора о семье и первой блокадной зиме и рассказы о блокаде и эвакуации педагогов и воспитанников детского дома 55/61) и «Нас время учило» (фронтовые воспоминания автора 1943–1944 гг.), а также избранные письма из семейного архива и иллюстрации.

ББК 84.Р7

© Л. Разумовский (наследники), 2016

© ООО «Журнал «Звезда», 2016

© В. А. Гусаков, худож. оформление, 2016

ISBN 978-5-7439-0210-1

## ОБ АВТОРЕ

*Лев Самсонович Разумовский (1926–2006)*

Родился в Ленинграде. До войны занимался в кружке лепки Ленинградского Дворца пионеров.

После блокадной зимы летом 1942 г. эвакуировался вместе с детским домом в Горьковскую область, откуда в возрасте 17 лет был призван в армию. В боях за освобождение Петрозаводска в июле 1944 г. был ранен, потерял руку.

В 1945 г. поступил в Ленинградское Художественно-Промышленное Училище им. В. И. Мухиной на факультет скульптуры (руководитель курса Р. К. Таурит). Дипломная работа «Летчик» (1953, бронза) установлена в Московском Парке Победы.

Член Союза Художников РФ с 1955 г. Участник многочисленных выставок.

В скульптуре работал в разных жанрах: памятники, садовая скульптура, портреты, композиции, мелкая пластика, медали. Соответственно своему характеру, создал много юмористических и лирических композиций, но главными темами всей жизни были война и Холокост.

Профессиональный художник детской игрушки: создал 120 моделей игрушек, из них 80 моделей выпускались массовым тиражом фабриками Ленинграда и Москвы, в том числе любимые многими поколениями детей Карлсон, доктор Айболит, Тянитолкай, обезьянки, клоуны. Автор трех комплектов солдатиков: «Революционные матросы», «Ледовое побоище» и «Куликовская битва».

В 1950–1960-е годы работал на Ленинградском опытном керамическом заводе. Создал более 15 авторских образцов для массового тиражирования керамической настольной скульптуры: серия «Малыши» (дети и звери), варианты композиции «Игра» (мать с ребенком, пантера с детенышем, тигрица с тигренком).

Работы Л. С. Разумовского находятся в музеях и частных коллекциях России, Финляндии, Швеции, Великобритании, Венгрии, Германии, Голландии, Дании, Израиля, Канады, США.

Параллельно со скульптурой занимался живописью, акварелью, рисунком.

Документальные повести, вошедшие в это издание, были опубликованы в журналах «Нева»: «Нас время учило...» (1995, № 11 и 12); «Дети блокады» (1999, № 1) и «Звезда» (2014, № 12). Также опубликованы воспоминания об ушедших друзьях-скульпторах: «Памяти Володи Татаровича» («Крещатик», 2002, № 1) и «Паренек из Великих Лук» («Нева», 2004, № 9). Лев Разумовский — автор более ста коротких рассказов, часть из которых собрана в домашнем издании под названием «Моя коллекция».

Лев Самсонович был одним из собирателей и редакторов воспоминаний евреев-фронтовиков, вошедших в двухтомник «Книга живых» (Издательство «Акрополь», 1995; издательство «Журнал «Нева», 2004).

## О ПОБЕДЕ ДУХА НАД ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ

«Хорошая книга — та, с которой проезжаешь свою станцию метро. „Нас время учило...“ как раз из таких книг».

Услышав это от собеседника, я растерялся. Мы разного возраста, у нас разный жизненный опыт. Но со мной случилось то же самое: я открыл в вагоне старый номер «Невы» с повестью Льва Разумовского и дважды промахнулся мимо нужной остановки. Замечательное совпадение. Или не совпадение, а свойство книги?..

Когда рассказывают о самом Льве Разумовском, с его книг начинают редко. Обычно говорят, как, потеряв руку на войне, этот удивительный человек не отрекся от мечты и стал скульптором. Его работы есть в Русском музее. Игрушки, сделанные по его эскизам, знакомы тысячам. Его принимала в своем доме Астрид Линдгрэн, и оценил Окуджава. Жизнеутверждающий сюжет. Впечатляющая история о победе духа над обстоятельствами. И все же в этом зачине есть что-то не то. Не зря Разумовский запрещал упоминать о своей инвалидности в аннотациях к выставкам, а журналистку, пришедшую брать интервью со словами: «Так это вы — одорукий скульптор?», выставил за дверь. Биография художника не должна идти впереди его произведений, а для искусства важен лишь конечный результат.

Узкоплечий, нелепый солдатик в шинели не по размеру стоит, вытянувшись на построении. Коренастый старшина с высокомерно-грубым лицом, готовится наорать на подчиненных. Двое, измученно сгорбившись, тащат носилки с раненым. Сама фактура скульптур — неровная, грубая, с вмятинами и складками — будто говорит о глине дорог, наливавшей на солдатские сапоги — и шире — обо всех изъянах и несовершенствах, без которых немислима жизнь. Как это не похоже на пафосные монументы, о которых Виктор Некрасов писал *«нагромождение бронзовых мускулов, куда-то рвущихся и кричащих солдат»!* Военная серия скульптур Льва Разумовского рождает волнующее ощущение абсолютной правды, будто впервые открывающейся перед нами. К его прозе это относится еще сильнее.



Повесть «Нас время учило...» охватывает всю войну автора, от призыва в армию до выхода из госпиталя. Все эпизоды — подлинные, все фамилии — настоящие. Каждая из 49 глав — маленький рассказ, самостоятельная история. Главы-рассказы можно читать и по отдельности, но вместе они образуют новое качество. Читатель может шаг за шагом полностью пройти военный путь Льва Разумовского. Представить себя в хаотических распределениях-перемешиваниях людей, призванных на фронт. Физически ощутить атмосферу казармы в запасном полку. Понять, о чем думает человек, вжавшийся в болотный мох под минометным обстрелом.

Не всякая правда дается легко. Многие в повести мучительно не соответствуют устоявшимся представлениям о фронтовой жизни. Может даже показаться, нет мудрых отцов-командиров, нет места элементарному человеческому состраданию. Но это не так. Сержанты Матюшин и Назаров из запасного полка — вот же они, правильные командиры — честные, человечные. Младший лейтенант Алексеенко, спасающий взвод от финского обстрела. Друзья Юхимец и Зубенко. Богатырь-матрос, подкладывающий раненому под голову канат и машущий ему вслед, как родному человеку. Незнакомые гвардейцы, сострадательно оставляющие автору сахар и котелок с кашей. Это далеко не все подобные эпизоды, но сначала они заметны меньше — сильнее задевает дурное, потрясает несправедливое. Читая «Нас время учило...», понимаешь, почему фронтовики обычно не любили говорить о войне. Трупы, страх, физическая боль — еще не все, что не хотелось вспоминать. Писателям и мемуаристам мешала не только цензура, но и самоцензура. Разве можно рассказывать о войне без умолчаний? Не очернят ли неприглядные детали память павших, общее благородное дело? Даже сегодня эти вопросы не кажутся странными. Тем ценнее повесть Разумовского, которую меньше всего можно отнести к публицистике, разоблачению, обвинению. И, хотя опыт одного человека не может дать представления обо всех проявлениях огромного, неоднородного тела армии, «Нас время учило...» останется среди считанных книг о войне, в которых нет табуированных тем.

В мемуарной повести Разумовского «Дети Блокады» две части — «Семья» и «Детский дом № 55/61». Несмотря на общий заголовок и хронологическую связь — это совершенно разные произведения.

Первая часть рассказывает о жизни ленинградской семьи, начиная с предвоенных времен и заканчивая эвакуацией автора летом 1942 года.

Это книга о том, как постепенно — и вместе с тем стремительно — в счастливый дом приходит большая беда. Это история о том, как эта беда меняет жизнь и людей. Повесть не травмирует подробностями блокадных ужасов, нет в ней и окончательной безысходности. Переломный момент — знакомство автора с архитектором Шольпом в госпитале для дистрофиков. Лев Разумовский не склонен к романтизации действительности, тем эффектнее описанное им чудо. Лекция о скульпторах заставляет его, истощенного подростка, забыть о предстоящем обеде и — самое невероятное — начать самостоятельно ходить. Во всех книгах Разумовского замечаешь: везде, где автора находит призвание, окружающий мир изменяется в лучшую сторону. Выложенные из цветных стекол портреты вождей делают из него армейскую знаменитость. Он рисует игральные карты — и враждебно настроенные попутчики увлекаются, следя за его работой. Искусство объединяет, дарит силы, спасает жизнь.

«Детский дом № 55/61» составляют объединенные Львом Разумовским отрывки из воспоминаний учителей и воспитанников детдома, эвакуировавшего детей-сирот из блокадного Ленинграда. Среди них есть и сам Лев Разумовский: позади у него — голодающий город, впереди — фронт. Если «Нас время учило...» показывает армию как неправильно устроенное общество, то здесь ситуация строго обратная, словно жизнь нарочно столкнула эти периоды в жизни Разумовского. Уникальный эксперимент, детский дом № 55/61, похож на реализованную социальную утопию. Оказалось, что несколько энергичных и умных организаторов способны в короткий срок сделать так, чтобы дети разных возрастов, национальностей и социального происхождения жили вместе без вражды. Многие из них продолжали ежегодно собираться до глубокой старости, до самой смерти, ощущая крепкую, почти семейную связь. Эта книга, в которой собственным воспоминаниям Лев Разумовский отвел скромное место, показывает: его главной задачей было — сохранить. Как собиратель памяти он выступает и в большинстве своих рассказов, — историй, услышанных от соседей по больничной палате. В этом же качестве он проявил себя, став одним из редакторов-составителей второго тома «Книги живых», сборника воспоминаний евреев-фронтовиков.

Помочь другим, поделиться опытом — еще одно стремление Льва Разумовского. Дочь скульптора, Татьяна, рассказывает, как, увидев в протезной клинике молодых солдат-инвалидов, вернувшихся из Афганистана, он пытался передать им выработанные навыки, показать собственные изобретения, позволяющие обходиться в быту и работе

без посторонней помощи<sup>1</sup>. Может ли проза Разумовского сегодня передать нам не только память о двадцатом веке, но и полезный опыт? Несомненно. В интервью он говорил:

*«Блокада дала мне убежденность в том, что до самого конца нельзя сдаваться в тяжелых положениях, когда, казалось бы, уже никаких нет возможностей выбраться и смерть уже рядом».*

Лев Разумовский получил признание как скульптор, создатель игрушек, живописец. Но для того, чтобы оценить «Нас время учило...» и «Дети блокады», об их авторе можно ничего не знать. Это, прежде всего, большая литература, захватывающая с первой же строчки. Начинайте читать и будьте внимательны. Ведь вы держите в руках книгу, с которой проезжаешь свою станцию метро.

*Илья Симановский*

---

<sup>1</sup> В 1997 году руководитель кукольного театра Александр Греф снял на видеокамеру демонстрацию этих изобретений. Запись предназначалась для распространения среди инвалидов, потерявших руку. Это видео легло в основу документального фильма «Полноценная жизнь», смонтированного уже после смерти Льва Разумовского.

*Светлой памяти моей сестры —  
Мирры Самсоновны Разумовской  
посвящаю*

# ДЕТИ БЛОКАДЫ



## Часть первая

### СЕМЬЯ

До войны наша семья жила на Третьей Красноармейской в старом четырехэтажном доме, в квартире, снятой для мамы дедом еще в 1915 году — году маминой и папиной свадьбы.

Окна квартиры смотрели на юг, солнце било в них все лето, наполняя комнаты зноем, и множество мух летело с находившейся во дворе помойки. После революции дом не ремонтировался, и штукатурка на стенах местами облупилась, обнажив бурый кирпич. Панель у дома состояла из выщербленных плит, а проезжая часть была вымощена крупным булыжником, по которому с грохотом проносились телеги с лошадьми. Этот грохот создавали железные обода на колесах, светлые от постоянного трения. Были и особые, шикарные телеги с резиновыми шинами и высоким сиденьем-сундучком для возчика. Они двигались относительно бесшумно и вызывали у нас, мальчишек, особое уважение. Лошади-тяжеловесы с мохнатыми щетками у копыт были украшены рядами желтых круглых латунных блях на сбруях.

К середине улицы булыжник сходил под наклоном, образуя скат для дождевой воды.

Напротив дома за дощатым забором помещался склад утильсырья, и туда часто съезжались подводы с разным хламом.

Я любил торчать у окон и наблюдать жизнь улицы. Особое удовольствие доставляли мне выпивки возчиков и последующие частые драки.

Выпивали возчики смачно. Достав из сундучка светлую бутылку, они аккуратно распечатывали ее и, отмерив темным корявым пальцем треть содержимого, запрокидывали в рот и с бульканьем выпивали свою долю. Затем передавали другому.

Буханка хлеба, зеленый лук и вобла были уже разложены на передке телеги. Хлеб разламывали на большие куски и отправля-

ли в рот вместе с перьями зеленого лука; воблу же разламывали на мелкие кусочки, предварительно ударив ее о голенища грязных сапог, и медленно со вкусом пережевывали и сосали.

Выпив и закусив, возчики разбирали вожжи, подстегивали лошадей, которые с места срывались рысью к Забалканскому (Московскому) проспекту, и улица наполнялась невообразимым шумом.

Вход во двор ограничивали две покосившиеся гранитные тумбы, а над воротами висел гипсовый барельеф со знаком Осовиахима, который я любил разглядывать. Винтовка, перекрещенная пропеллером, в обрамлении листьев и лозунга озадачивала, что бы все это значило и как это сделано?

Вход во двор был переходом от света к мраку. Двор-колодец, куда никогда не заглядывало солнце, узкий и грязный, был заставлен поленищами дров, между которыми мы, мальчишки, играли.

Рядом с домом, вплитык к нему возвышалась громада Института гражданских инженеров, переименованного потом в Ленинградский инженерно-строительный институт (ЛИСИ).

ЛИСИ всегда строился, и все детство перед моими глазами торчали деревянные леса, начинавшиеся за дощатым забором. Оттуда постоянно слышались стук молотков и скрежет пил, оттуда всегда летела пыль, оттуда же раздавался громкий звон, когда сторож бил молотком по подвешенной рельсе, возвещая о часе обеда или конце работы.

Нас, мальчишек, стройка притягивала постоянно. За забор лазить запрещалось, и именно поэтому мы ежедневно лазили туда и бегали по скрипучим рельсам. Самое же большое удовольствие и даже долг каждого мальчишки, обязанного доказать, что он не трус, заключались в том, чтобы прокрасться, минуя сторожа, к рельсине, бабахнуть по ней камнем и мчаться стрелой назад, через забор, к дому.

Были и другие уличные игры: лапта, «маялка», «пристенок», футбол, а также категорически запрещенные катания на перилах.

Особым шиком при таких катаниях считалось умение подняться на четвертый этаж по приступочкам ступеней с другой стороны перил, со стороны лестничного проема, цепляясь за металлическую ограду и с замираньем сердца поглядывая вниз.

Зато каким удовольствием было оседлать гладкие блестящие перила в конце пути и лихо скатиться оттуда вниз, до самого первого этажа!

Панель была нашим клубом, местом встреч и ристалищем, где по неписаному мальчишечьему закону устанавливался железный табель о рангах — кто сильнее. Самым сильным мальчишкой нашего дома был высокий жилистый чернявый Васька Медведев, один из членов многочисленной семьи Медведевых. Свое звание первого он нес с каким-то внутренним благородством — не злоупотребляя силой и не обижая младших. Отец его Виктор Медведев был безоговорочно признан мальчишками самым сильным мужчиной дома. Это мнение о себе он завоевал беспробудным пьянством, частыми драками во дворе, в которых зверел и мог заколотить противника насмерть, если бы из соседних квартир не сбегались мужики и не разнимали дерущихся. Дома он бил жену и шестерых детей, которые при его появлении, как черные тараканы, быстро разбегались и прятались. Жильцы избегали встреч с ним, когда он возвращался домой во хмелю с налитыми кровью черными глазами и кулаками, глубоко упрятанными в карманы.

На первом этаже нашей «парадной» лестницы жила многочисленная семья Рагозиных. Михаил Рагозин, юркий мужичишка с темными усиками и бегаящими глазками, был дворником нашего дома. Жена его Вера, скандальная толстая баба, вечно торчала в окошке и не упускала случая вмешаться в жизнь улицы, поднимая крик, и для установления справедливости оскорбляла всех направо и налево. Их сын Толька, мой сверстник, известный двору под кличкой «Карабзда», учился писать, выводя на заборе ЛИСИ матерные слова, и каждый раз спрашивал меня, как написать ту или иную букву. Таким образом мы учились вместе: он грамоте, а я русскому фольклору. Михаил Рагозин не стоил бы упоминания, если бы я, много лет спустя читая «Собачье сердце» Булгакова, отчетливо и однозначно не узнал в Шарикове нашего дворника с его хамством и одновременно угодливостью.

На втором этаже в квартире № 4 жил мой приятель и ровесник Игорь Романов, с которым мы часто вместе играли. В дальнейшем, уже перед войной, он стал задираться, оспаривая мое законное пятое место в мальчишечьей иерархии. Все предыдущие годы я считался сильнее его. Но он подрос, окреп и бросил мне вызов, предложив «стыкнуться». Вызов я принял и в довольно жестокой драке одержал моральную победу. На деле он оказался сильнее и накустылял мне больше, чем я ему, но в конце драки заревел, и мальчишечья братия дружно присудила победу мне. Вернув-



шись домой с рваным рукавом и красной горячей физиономией, я сунул голову под кран. Мама забегала около меня с полотенцами, йодом и примочками, а папа, оказавшийся по случаю воскресенья дома, посмеивался и, казалось, был очень доволен случившимся.

После этого подросток и стал задирааться Колька Яблоков, крепкий хулиганистый мальчишка. Но по рангу Колька был даже ниже Игоря, поэтому, после того, как я резко оттолкнул его и предложил «стычку», он отступил, и драки не получилось.

Оба они умерли от голода зимой сорок первого года. И Игорь, и Колька, и многие другие ребята нашего дома, мои приятели и неприятели, с которыми мы вместе лазили по лесам, гоняли в футбол, воевали с мальчишками из других домов или загорали на крыше нашего дома...

На нашем третьем этаже в квартире № 5 жила семья Ивановых. Мать Мария Ивановна, маленькая, забитая мужем и жизнью женщина, работала где-то на заводе. Отец, дядя Петя, инвалид, грузный, всегда пьяноватый, с носом цвета молодой свеклы, нигде не работал, но подрабатывал себе на хлеб и водку тем, что играл на свадьбах на гармонии обрубками пальцев. Там его кормили, поили и давали с собой остатки еды, которые моментально исчезали в пяти голодных ртах. Две дочери, девицы двадцати и восемнадцати лет, и старший сын Вовка кормились самостоятельно, а Женька, Лилька и младший Витька питались неизвестно чем, где и когда. Однажды, когда я вышел утром на улицу, Вовка с дружками окружили меня.

— Сейчас проверим, — сказал Вовка. — А ну повтори: на горе Арарат растет крупный виноград.

Я четко повторил фразу, недоумевая, зачем им это понадобилось

— Надо же, — покачал головой Вовка, — все чисто!

Их квартира была убогой, темной, с окнами во двор. Старые, накрытые тряпьем топчаны, дощатый стол, несколько поломанных табуреток, железная круглая облупившаяся печка. Нищета была в глаза. Дети, худые и голодные, но, несмотря на это, доброжелательные и веселые. Моя мама шефствовала над этой семьей: часто дарила Марии Ивановне какие-то вещи, из которых мы вырастали, давала кастрюльку супа или еще что-нибудь съестное.

Женька был моим другом. Он часто приходил к нам. Мы вместе играли, вместе носились по Польскому саду, вместе ходили на

«Чапаева», вместе обедали или ужинали, когда он бывал у нас. Женька был моим самым внимательным и преданным слушателем, когда я выносил на улицу детские книжки и читал их ребятам.

У Ивановых было одно богатство, которое они очень, я бы сказал благоговейно, берегли, — дореволюционные стеклянные елочные игрушки. На Новый год, когда в доме появлялась елка, из каких-то тайников извлекался заветный ящик с тщательно упакованными и переложенными ватой игрушками, и наступал торжественный момент — украшение елки. Ни у кого из наших знакомых я не видел таких нарядных сверкающих шаров, гирлянд, фонариков и бус!

Вся семья Ивановых погибла в блокаду. Все в разное время. К весне квартира оказалась пустой.

Рядом с нами на площадке в квартире № 8 жили Липшицы, наши друзья: сестры Лена, Поля и Женя, их брат Генрих, врач, и их мать, тетя Ревечка. Сестры, кроме Поли, были бездетные. Меня там любили и баловали. Тетя Ревечка неизменно ставила передо мной чашку с бульоном и белые сухарики, а сестры кормили конфетами и забавляли, каждая на свой лад. Поля осталась хромой из-за перенесенного в детстве полиомиелита. Однако это не мешало ей работать заведующей аптекой и выйти замуж за своего коллегу Якова Бенедиктовича Лозановского, грузного лысого человека с низким хриплым голосом и устрашающими черными бровями. Я его не любил и боялся — он был строг и резок. Во время блокады этот неприветливый, суровый человек сыграл большую, а может быть, и решающую роль в спасении папы и меня от голодной смерти.

На четвертом этаже, над нами жил Михаил Грюнбаум с женой и взрослой дочерью. Грюнбаум, крупный и дородный мужчина, был всегда богато одет, держался надменно и дважды в день выгуливал Рекса, огромную немецкую овчарку. Иногда с Рексом гуляла толстая Люська, дочь Грюнбаума, которую мы, мальчишки, дружно ненавидели за ее презрение к нам и унаследованную от отца надменность. Зато мы любили Рекса и гордились им — самой сильной собакой на нашей улице. Мальчишки звали Люську и ее мать «немками».

Рядом с ними на площадке жил профессор Яковкин с женой Верой Яковлевной и дочерью Наташей, высокой темноволосой застенчивой девушкой. Однажды Вера Яковлевна пригласила нас

к себе, и Наташа неожиданно подарила мне чудесную игрушечную лошадь на качалке, огромную, с большими красивыми стеклянными глазами, с хвостом из настоящего конского волоса и полной сбруей с металлическими стременами. Сколько радости принесла мне эта лошадь, когда я часами в упоении скакал на ней, поражая толпы врагов — белых буржуев! К тому времени я уже бегло читал, и любимой книгой была подаренная мамой «Военная тайна» Гайдара. Поэтому боевой конь и острая шашка были мне в ту пору совершенно необходимы, а отваги и патриотизма было у меня хоть отбавляй.

Двери нашей квартиры снаружи были окрашены коричневой масляной краской, на которой с правой стороны, примерно на уровне роста Карабзды, было довольно отчетливо нацарапано гвоздем загадочное слово «жит». Двери украшал голубой металлический ящик для почты, а слева от него круглела розетка старого звонка с надписью «Прошу повернуть». Квартира начиналась с обширной передней, откуда вели три двери: одна в спальню, другая в столовую, а третья в длинный коридор, заканчивавшийся узкой кухней с большой чугунной плитой, грубым некрашеным кухонным столом, который моя няня Ксения часто скоблила большим ножом, и табуретками с вырезанными в них полукруглыми дырками. В кухне стоял большой сундук — собственность Ксени. Над ним висела икона Спасителя.

Спальня была квадратной солнечной комнатой с широкой нишей в торце и большой белой кафельной печью. Посередине, головами в нишу, стояли две широкие кровати с никелированными спинками — на них спали папа и мама. Между окнами — затейливый трельяж с тремя маленькими фарфоровыми бюстиками писателей на углах. Его когда-то собственноручно сделал дедушка Макс, мамин отец, — легенда нашей семьи. На стенке, смежной со столовой, висела картина работы деда: хвойный лес, дорожка, по которой медленно бредет пожилая пара. Белая двустворчатая дверь вела в столовую, где под большой люстрой со стеклянным матовым абажуром стоял накрытый серой тканой скатертью с вышитыми шелком розами большой обеденный стол, а вокруг него — тяжелые дубовые стулья с темно-зелеными кожаными спинками, декорированными круглыми латунными гвоздиками-кнопками. Вся мебель в столовой была делом рук деда, который при

двух основных специальностях — врача и инженера — был еще художником и столяром-краснодеревцем.

Стенку напротив буфета занимала большая картина «Сусанна и старцы», тщательно скопированная дедом с работы неизвестного автора. Под ней помещалось пианино с двумя бронзовыми подсвечниками, а справа от него висел великолепный портрет Шаляпина в роли Бориса Годунова кисти художника Харитонов. Этот портрет всегда зачаровывал меня богатством цвета, смелым мазком, светом, и в дальнейшем, сравнивая его с репинскими портретами в Русском музее, я убеждался, что наш Харитонов не хуже. К сожалению, уже после войны, в минуту жизни трудную, мы с мамой продали его за бесценок Театральному музею.

Третьей комнатой была детская, где мы играли и устраивали домашние спектакли. В моей памяти она почти не сохранилась, так как вскоре после моего рождения была разделена для подросших Мирры и Лили, моих сестер. Эти комнаты так и просуществовали до шестьдесят девятого года, когда нашему дому пришел конец — он был снесен, и на его месте вырос новый корпус ЛИСИ.

Из кухни черный ход вел на лестницу во двор. Там хранились дрова, всякая рухлядь и было грязно, пыльно и темно.

Детская память — цепкая. Я помню наш первый телефон — удивительное сооружение, прикрепленное к стене фигурно вырезанной светло-коричневой доской с деревянным ящичком посередине, с двумя черными металлическими кнопками «А» и «Б», с двумя бронзовыми чашками-звонками. Для того чтобы позвонить, мы снимали черную трубку с круглым наушником и раструбом для речи и ждали ответа «барышни». Потом нужно было сказать: — Барышня, дайте мне телефон номер такой-то, — и ждать ответа.

В дальнейшем, когда появились первые АТС, наш старый деревянный телефон заменили пластмассовым с крутящимся диском. Но мне жаль было расставаться со старым — он уходил из дома навсегда.

В те годы телефон был большой редкостью. В доме их было всего два или три. Поэтому соседи часто наведывались к нам звонить к скрытому неудовольствию папы, который по характеру был строг и нелюдим, в отличие от всегда радушной и общительной мамы, предоставляющей возможность звонить всем.

Двери в квартире хлопали постоянно, в ней всегда было полно народа. Приходили Миррины друзья, студентки Герценовского института, Лилины подружки.

Когда я подрос, начали валом валить мои школьные товарищи. Всех кормили и поили, часто оставляли ночевать. И вся эта кутерьма держалась на неистребимой потребности мамы общаться с людьми, которой она гордилась: «Что-что, а у меня талант поговорить. Люди раскрывают мне душу». Талант действительно был. К маме постоянно приходили соседи. За солью, за деньгами в долг, но в основном за советом, за улыбкой, за добрым словом. И каждый получал свое. Одна старушка как-то сказала маме: «Вот про вас нехорошее говорят, будто вы евреи. А какая же ты еврейка? Ты же христовый человек!».

Несмотря на внешнюю, оставшуюся с дореволюционных времен парадность и кажущееся богатство нашей квартиры, которое многократно увеличивалось в воображении соседствующих с нами семей, мы жили очень скромно. В доме считалась каждая копейка. Папа работал один на шестерых. Несмотря на то, что он был крупным специалистом в своей области (проектирование водопровода и канализации), зарплата его была всегда невысока, и концы с концами едва сходились. Ежегодные займы на одну или полторы зарплаты еще больше ужесточали наш бюджет. Папа постоянно брал дополнительную работу, и когда все укладывались спать, раздвигал обеденный стол, раскладывал большие чертежи охристой бумаги, которые почему-то назывались синьками, аккуратно отгачивал цветные карандаши и ставил на стол мраморную полированную светло-коричневую пепельницу. Утром, когда мы просыпались, весь проект был испещрен разноцветными значками, скобками, цифрами и записями, сделанными его мелким и твердым почерком, а пепельница полна окурками «Беломора» фабрики Урицкого. Проведя всю ночь за столом, папа взбадривал себя зарядкой с гантелями, бегом вокруг стола, а потом залезал в ванну с холодной водой. Выходил оттуда бодрым, добродушно подшучивал над мамой, быстро проглатывал завтрак, запихивал в черный портфель бутерброды (хлеб с маслом и неизменной холодной котлетой) и убегал на работу. Приходил домой после шести, обедал, потом спал два часа, укрывшись газетой, а вечером, часов с одиннадцати, снова расстилал на столе свои чертежи.

У меня две сестры. Как же они не похожи друг на друга! Мирра — темная шатенка с живыми, лукавыми глазами, толстуха и непоседа. У Лили огромные серые глаза под темными бровями,

пышные, светлые, вьющиеся темными кольцами волосы. Когда она надевает праздничное темно-синее крепдешиновое платье и расчесывает свои пушистые кудри, — она просто красавица! Во всяком случае, я в этом уверен. По определению мамы, Лиля — ангел божий, тихая голубка, а Мирра — черт в юбке.

— Лиля моя гордость, ее опять хвалили все педагоги, — говорит счастливая мама, возвратясь с очередного родительского собрания. — А сколько мы натерпелись с Миррой! Помнишь, Сема, как она опрокинула на себя кипящее молоко и изуродовала руку? А как ты наказал ее за разбитую чашку, и она, стоя в углу немедленно испортила электророзетку? А история с тараканами?

История с тараканами была и в самом деле выдающаяся. Учительница немецкого языка, выйдя из себя, вlepила Мирре двойку за шумное поведение и не очень заметные успехи. На другой день Мирра, наловив дома целый спичечный коробок тараканов, принесла его в школу, подложила в учительский стол перед приходом «немки» и приоткрыла коробок. Тараканы, воспользовавшись предоставленной им свободой, резво забегали по столу и классному журналу. «Немка» с воплем выскочила из класса и привела директора. Маму вызвали в школу, и она вернулась «чернее тучи».

Папа посмеивается при этих воспоминаниях. Живая и веселая, остроумная и озорная Мирра — папина любимица.

То, что Лиля красивая, заметил не только я. Как-то ночью после двенадцати в квартире раздался звонок. Папа, уже лежавший в кровати, вскочил и пошел открывать. На площадке стоял высокий чернявый паренек. Он попросил вызвать Лилию.

— По какому делу? — накаляясь, спросил папа.

— По сердечному, — последовал храбрый ответ.

— Вон! — загремел папа. — Чтобы духу твоего здесь не было!

Паренек скатился с лестницы, а папа не мог заснуть всю ночь и утром, не выспавшийся и раздраженный, ушел на работу. Мальчика этого Лилиного звали Сережа Лигбот. Он с первых дней войны ушел в ополчение и погиб на фронте в сорок третьем...

Нам, детям, было непонятно, почему папа так болезненно отреагировал на ночной звонок, почему чуть не с кулаками набросился на мальчишку, вина которого была в том, что он влюблен. Однако, как говорила мама, на каждое почему есть свое потому.

Шел тридцать седьмой год. Нам было невдомек, что рядом с нами текла тревожная, тяжелая и опасная жизнь, в которой каждый взрослый, вне зависимости от личных заслуг, специальности, национальности, жил в постоянном страхе перед угрозой ареста, предъявления чудовищных обвинений и страшного нелепого конца. Родители, существовавшие в этом ужасном загадочном мире взрослых, всё знали, но берегли нас — молчали.

Папин друг и сослуживец Оскар Яковлевич Куценко, тихий интеллигентный человек, был арестован, провел в Большом доме несколько месяцев и неожиданно вернулся домой. Весь перебитый, переломанный, без зубов, с больной психикой. Он прожил недолго: через два месяца после освобождения покончил с собой, выпрыгнув с пятого этажа своего дома, когда за ним пришли вторично.

Круг папиных сослуживцев и знакомых стремительно сужался. И он, ни в чем не виноватый, в тоске и страхе ждал ареста.

Мы не знали и не ведали о долгих бессонных ночах, когда родители не спали, прислушиваясь к шуму каждой проезжавшей по улице машины. Мы не знали, что у отца на всякий случай был приготовлен мешок с сухарями и бельем. Мы не знали, что мама дала ему обещание, настолько же самоотверженное, насколько наивное: в случае ареста поехать с ним хоть на край света. Мы ничего этого не знали и продолжали жить своими детскими интересами и повседневными делами.

Я учился в третьем классе, читал газеты, живо сочувствовал республиканцем и, как все, ненавидел Франко. В СССР прибыл пароход с испанскими детьми. Мы воодушевленно пели «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля», бегали на «Чапаева» и с восторгом смотрели фильм «Если завтра война». Нам было совершенно ясно, как дважды два — четыре, что «если враг нападет, мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом». Мы были истовыми патриотами и настоящими пионерами. В своем альбоме для рисования я старательно вырисовывал портреты любимых вождей — Сталина и Ворошилова.

Много лет спустя мама рассказала об одной из бессонных ночей, полной тревоги и ожидания. Ночная машина не проехала, как обычно, мимо, а остановилась у нашего дома. Папа бросился к окну.

Машина стояла около парадной. Из нее вышли люди в кожанках. Родители быстро оделись и стали ждать. Прошло томительных два часа. На улице тишина. Машина стояла на прежнем месте. Никто не выходил из дома, никто не входил в дом. Звонок в дверь. Родители переглянулись, и папа повернул ручку замка. На площадке стояли те, в кожанках, дворник Михаил Рогозин и понятые.

— Вы Разумовский? — спросил старший.

— Я.

— У вас есть телефон?

— Есть.

— Разрешите позвонить.

— Пожалуйста.

Чекист позвонил начальству отчитаться: операция закончена, сделан обыск, произведен арест.

— Спасибо. Извините за беспокойство.

Дверь захлопнулась. Папа и мама сели рядом на кровати и молча просидели до утра.

Деньги нам, детям, на руки почти никогда не давали, но изредка мама вручала мне пару пятаков на газированную воду, до которой я был великий охотник, или на ириски, продававшиеся в табачных ларьках. Однажды мальчишки втянули меня в денежную игру «пристенок». Я сразу проиграл свой пятак и вечером рассказал об этом маме. Она не корила меня, не ругала, но задала вопрос, который был хуже любой ругани: «А ты подумал, что за этот пятак Он, может быть, просидел ночью за столом лишние пять минут?»

Для того чтобы помочь отцу, мама часто пользовалась ломбардом: закладывала и перезаклаживала вещи.

Еда в доме всегда была очень скромной, дежурное блюдо по утрам — отварная картошка с перцем и лавровым листом, сыр или колбаса — только по редким праздникам.

Покупка новой одежды для любого члена семьи становилась событием. В основном носильные вещи перешивались из старых. Дача тоже была не по карману родителям, и лето мы обычно проводили в Польском саду. За все довоенное время у нас было три выезда на дачи. Один раз, в тридцать втором году, мы жили в Мирёво, живописной деревеньке под Лугой, с озером, окаймленным голубым кружевом незабудковых зарослей, с чудесным



сосновым бором, в котором белые грибы росли в седых мхах; с хозяйкой, которая пекла удивительно пахнущий круглый хлеб; с катаньем на телегах, запряженных деревенскими лошадьми, и со спортивными играми-соревнованиями, которые придумывал для всех обаятельный и неутомимый Владимир Григорьевич Вейнберг, талантливый инженер и спортсмен. Мы дружили семьями, и Вейнберги пригласили нас в Мирёво. Глава семейства профессор Григорий Яковлевич Вейнберг был инженером-металлургом. Его жена Мария Марковна, маленькая опрятная старушка, радушная хозяйка и добрая бабушка, баловала своих внуков: Иру, Наташу и моего друга и ровесника Колю. Владимир, их отец, был женат на Нине Викторовне, красивой женщине, с которой моя мама познакомилась в родильном доме.

Судьба этой семьи, потомков поэта и переводчика Петра Вейнберга (по линии Григория Яковлевича) и композитора Антона Рубинштейна (по линии Нины Викторовны), была типичной для того времени. Григория Яковлевича как частного собственника и царского профессора сначала, в 1919 году, посадили в тюрьму, потом выпустили, но уволили с работы. Затем «уплотнили», вселив в его большую и богатую квартиру на Подольской улице несколько семей и превратив таким образом ее в коммуналку. Владимир Григорьевич был арестован по ложному доносу после убийства Кирова, сослан в лагерь и там вскоре расстрелян. После этого обширный круг друзей и знакомых Вейнбергов скоропостижно растаял. Кроме одного человека — нашей мамы, которая упорно, вопреки папиным просьбам, продолжала навещать их вместе со мной, «чтобы мальчики продолжали дружить...» Я любил ходить в тот дом, потому что Мария Марковна всегда угощала чем-то вкусным, а в комнате у Коли висела гимнастическая трапеция, на которой мы подтягивались и кувыркались. Кроме того, мне нравилось рассматривать замечательные рисунки зверей Колиной старшей сестры Наташи, будущего архитектора.

В другой раз дачу-домик в поселке Токсово предоставил нам папин друг Владимир Соломонович Горенштейн, вместе с которым папа заканчивал Политехнический институт в Киеве. Там, в Токсово, я подружился с его сыном Ильей, худеньким голубоглазым очкастым мальчиком, хорошим рассказчиком и шутником. Улыбка никогда не сходила с его лица, кроме моментов, когда он

опускал свой длинный нос в книгу. Тут он полностью отключался от мира, читал запойно, постоянно, за завтраком, обедом, ужином и в промежутках между ними, вызывая неудовольствие взрослых. Чтение было главным его увлечением, но кроме этого он часто мастерил какие-то хитроумные оптические приборы из картона, бумаги и трехгранных линз, принесенных отцом с работы. Особенно его увлекала идея создания уникального школьного перископа для подглядывания под парту во время экзаменов. Для воплощения этой идеи он усердно трудился целыми днями, оставляя после себя кучи мусора, обрезков картона и бумаги, которые его мама, Вера Леонтьевна, ежедневно убирала, задавая Илюшке один и тот же вопрос: это уже можно выбросить?

По утрам Вера Леонтьевна кормила нас на веранде яичницей, молодой картошкой, огурцами и обязательными большими ломтями булки с маслом. Булка после обильного завтрака не лезла в горло, и мы нашли выход: отправляясь гулять, брали ее с собой, «чтобы съесть по дороге» и, отойдя подальше от дома, соревновались, кто дальше закинет булку в кусты...

В темные холодные декабрьские ночи сорок первого года, в мучительном ожидании утра, когда на столе появится крошечная серо-зеленая пайка дурандового хлеба, меня часто преследовали воспоминание и почти физическое ощущение весомости белого толстого ломтя, поблескивающего золотистым сливочным маслом, отрыв его от руки, траектория полета в голубом небе и легкий шорох в кустах...

Детские игры, школьные дела, занятия лепкой в доме пионеров, лесные прогулки, веселые летние купания в озере, лыжные тренировки в ЦПКиО, совместные забавы и ссоры с мальчишками, записочки девочкам, кино, музеи и весь наш устоявшийся и любимый семейный быт — все это оборвалось сразу и навсегда двадцать второго июня 1941 года.

## ИЮЛЬ

Яркое солнце. Голубое небо. Жара. Город преобразается на глазах. Нет ни одного окна, не заклеенного белыми Х-образными крестами. Витрины магазинов зашиваются неуклюжими до-

щатыми коробами, внутрь которых насыпается песок. Сводки Информбюро ошеломляют. Наши войска оставили Прибалтику, часть Западной Украины и Белоруссии, Минск, Смоленск, Псков, Порхов, Новоград-Волынский...

Немецкая волна неудержимо катится на восток, и линия моих красных булавочных флажков на большой карте в коридоре также неудержимо приближается к Москве и Ленинграду.

Когда же их остановят? Почему Красная Армия отступает, вместо того чтобы наступать? Где же наши прославленные маршалы — Ворошилов, Тимошенко, Буденный? Где наши танки, самолеты, кавалерия? Ответа нет, есть лишь сухие официальные сводки Информбюро об оставленных городах, ожесточенных боях и о количестве сбитых немецких самолетов и уничтоженных танков. Сколько же у них еще самолетов и танков, если они при таких потерях все еще стремительно рвутся вперед?

Во многих домах угловые квартиры превращены в доты. Жильцов спешно переселяют, окна закладывают кирпичом и превращают в доты, из бойниц которых торчат стволы пулеметов или небольших орудий. Город готовится к уличным боям. Неужели до этого дойдет? Этого просто не может быть! Ведь нас не бомбят, стоит жаркое лето, звенят трамваи. Если бы не внутреннее состояние растревоженного муравейника и не репродуктор, передающий ужасные новости...

Целыми днями я пропадаю в Польском саду, где записался в организованный райкомом комсомола военно-спортивный клуб. Вместе с другими ребятами и взрослыми мы роем на газонах с табличками «По газонам не ходить! Штраф 3 рубля» траншеи — укрытия от бомб. Мне нравится эта работа. Наши щели-окопы глубиной почти в человеческий рост будут спасать людей, оказавшихся поблизости во время бомбежки. Мне нравится орудовать лопатой. Черная мягкая земля хорошо поддается, мы делаем нужное дело, и мускулы заодно крепнут. В нашем клубе человек тридцать мальчишек моего возраста и чуть постарше. Мы учимся ходить строем. Нам раздают деревянные винтовки. Нас учат штыковому бою. Однажды военрук приносит нам настоящую винтовку и объясняет принцип работы затвора, показывает, как заряжать винтовку, как вставлять обойму. Все у него получается быстро и ловко. Впервые в жизни я держу в руках настоящую винтовку. С уважением и робостью. Неужели мне ее когда-нибудь доверят,

и я смогу стрелять по фашистам? А тяжелая-то какая! И затвор не слушается. У других мальчишек дела не лучше, но кое-кто уже освоил науку, лихо досылает патрон в патронник, поворачивает рукоятку, становится на колено и, прищулив глаз, нажимает спусковой крючок. Выстрела нет. Винтовка учебная с дырками на стволе, но все же настоящая! С благоговением держу гранату РГД. Настоящая граната! Как в кино. Военрук объясняет действие запала: в этой медной трубочке все дело. Без нее граната — просто железка. С запалом же граната — грозное оружие, «карманная артиллерия», как назвал ее сам Ворошилов. Все очень просто. Надо вставить запал, снять чеку и бросить гранату в противника. Если уронил гранату с сорванной чекой — конец! Все просто! Заодно с практикой военрук проводит с нами беседы. Враг у ворот! Красная армия, конечно, разобьет его на подступах к Ленинграду. Однако может случиться и такое, что он где-то прорвется в город. Так неужели мы допустим, чтобы проклятые фашисты топтали священные камни нашего города? Мы дружно хором отвечаем:

— Нет! Не допустим!

Он говорит, что нам дадут бутылки с бензином. Это тоже просто. Надо только попасть бутылкой по смотровым щелям. Танк сразу вспыхнет, фашисты повыскакивают из него, а он взорвется. Все это так интересно! Нас готовят к уличным боям!

Спортивная часть у нас тоже насыщенная. Мы бегаем по саду, учимся играть в волейбол и ездим в ЦПКиО на занятия по плаванию. К своему стыду я оказался единственным в группе, кто совсем не умел плавать. На это есть особые причины.

В нашей семье хорошо плавал только папа. Когда мы жили в Мирёво, он ежедневно бегал к озеру и подолгу плавал, нырял, отработывал стили и свежий и довольный возвращался домой. Мне было тогда шесть лет. Папа, сторонник мужских методов воспитания, несколько раз безуспешно пытался научить меня плавать, а однажды пошел на эксперимент: на глубоком месте неожиданно выдернул из-под меня руку. Я немедленно пошел ко дну и захлебнулся. Вытащенный им из глубины, отфыркавшись, откашлявшись и отдышавшись, я заревел и долго не мог прийти в себя от испуга. Неприятные ощущения сохранились надолго, и к пятнадцати годам плавать я так и не научился.

Здесь, в группе, я решаю добиться своего во что бы то ни стало. Кончатся двухчасовые занятия, я одеваюсь и иду вместе со всеми. Где-то на пути к выходу сворачиваю на боковую аллею,

делаю круг и возвращаюсь к заливу. Одному легче. Я не слышу насмешек товарищей, недовольного голоса тренера. И вот наступил удивительный миг — я проплываю два, три метра! Вода держит меня! Новая попытка. Я плыву уже пять, десять метров.

В парке уже совсем темно. Счастливый, я перехожу мостик, прыгаю на подножку трамвая, и вдруг, как обухом по голове, мысль: ведь идет война!... Лиля вместе с другими студентами Университета на окопных работах где-то под Толмачевым. На улицах — плакаты ленинградских художников. «Защитим город Ленина!» — это плакат Серова. На переднем плане — солдат, матрос, рабочий и работница. На заднем — Исаакий, заводские трубы, Петропавловка. На углу Международного и Первой Красноармейской плакат Кукрыниксов «Напоролся!». Могучий рабочий красного цвета вонзает штык в маленького черного Гитлера.

После занятий в ЦПКиО у меня волчий аппетит, и я сметаю все, что дает мне мама. С 18 июля введены продовольственные карточки. В магазин теперь идем не только с деньгами, но и с разноцветными талончиками, на которых написано: хлеб, крупа, масло, сахар. Продавцы вырезают талоны ножницами. Это долго. Очереди растут. Но продуктов пока достаточно. Хлеб мы даже весь не выкупаем: на папину рабочую карточку дают по 800 граммов, а нам всем по 600 — это почти две буханки на пятерых. Появились еще так называемые коммерческие магазины. Там есть все: колбасы, сыр, икра, масло, сахар по 17 рублей за килограмм. Кто же такой купит? Люди заходят в эти магазины, с любопытством смотрят на сумасшедшие цены и выходят.

23 июля на стенах появились приказы МПВО о круглосуточных дежурствах на чердаках и крышах. И плакат: дружинница и мальчик в кепке, оба с противогазами, смотрят в небо. А кругом крыши, крыши и над ними перекрещивающиеся лучи прожекторов...

## СЕНТЯБРЬ

В сентябре открылась наша 272-я школа на Первой Красноармейской. На стене у входа плакат «Враг у ворот!». Состав класса сильно изменился. Многие ребята эвакуировались с родителями,

и нас слили с параллельными восьмыми. Из старых — Авка Спиридонов и Вовка Петров, мой соредaktor по классной газете «Заноза». Мы усаживаемся рядом.

Школа пустовата... Учителя тоже другие, новые. Из старых только Евдокия Исааковна — физичка и Татьяна Захаровна — учитель физкультуры. Худенький седой Григорий Николаевич Курындин, наш новый преподаватель, рассказывает нам о древнерусской литературе, читает: «...Не лепо ли братия начати старыми словесы трудные повести о полку Игореве...». Непривычные слова, странные обороты... «А Боян же вещей... растекался мыслью по древу, серым волком по земле...» В голове утренний слух: немцы обстреливают Ижорский завод. Это так близко... Дома надо еще раз проверить светомаскировку, чтобы ни одна щелочка не светилась... «Кони ржут за Сулой, звенит слава в Киеве, трубят трубы в Новеграде, стоят стяги в Путивле...». Ага! Вот оно что! Незря наш учитель читает нараспев это древнее сказание. Это же о нас, о нынешнем дне!.. Дальше я уже слушаю, не отрываясь. Музыка ритма, напевность, смысл повествования целиком захватывают меня, и внезапно прогремевший звонок вызывает досаду.

Директор школы — наш бывший завуч Андрей Александрович Успенский. Нахмуренные брови, седые волосы ежиком. Замкнут, неразговорчив. Учительница географии в застегнутом сером пальто укрепляет на доске карту Советского Союза и показывает нам примерное расположение фронтов. Мы слушаем внимательно, а я даже вношу поправку по последней сводке. Рассказав о фронтах, учительница несколько минут сидит молча, потом вздыхает и задолго до звонка объявляет о конце урока.

— Война, — говорит она в дверях. — У всех много дел, ребятаки... Домашних заданий не задаю. А у вас год быстро пролетит, глядишь и восьмой закончите...

Урок географии последний. Мы спешим в школьную столовую, где дают горячий суп. Здесь вертятся наши «дядечки», дядя Леша и дядя Тарас. Тарас, туповатый мужик, всегда был добродушным, а дядю Лешу мы боялись. В школе он выполнял не только обязанности сторожа и уборщика, но и осуществлял своего рода полицейские функции. Если учительница, употребив все свои педагогические премудрости, не справлялась с разбушевавшимся классом, то вызывала дядю Лешу, который быстро наводил порядок, раздавая налево и направо хлесткие «шелбаны» по голо-

вам. Иногда же, скрутив какого-нибудь буюна и захватив его подмышку, он просто выносит его в коридор и там «маленько учил». Потолкавшись у окошечка раздаточной, оба дядьки получают по тарелке супа и быстро справляются с ним.

Я встаю, чтобы бежать домой, но меня неожиданно останавливает незнакомая женщина и спрашивает:

— Мальчик, тебе нравится суп?

— Конечно, нравится. Только очень жидкий.

— Жидкий суп, — повторяет она и задает тот же вопрос сидящим за столами ребятам. Они отвечают то же.

— А ну-ка, ребята, пойдемте на кухню и посмотрим, почему он такой жидкий, — неожиданно предлагает она. Мы встаем из-за стола в недоумении.

— Нас не пустят, — говорит кто-то.

— Со мной пустят, — уверенно отвечает женщина. — А вас я тоже приглашаю с нами, — обращается она к дяде Тарасу и дяде Леше.

Они послушно подчиняются, и мы всей гурьбой переступаем через заветный порог.

— Куда? Вход на кухню посторонним запрещен! — бросает навстречу нам повариха. — Выметайтесь немедленно!

— Прокуратура Ленинского района, — спокойно представляется женщина, предъявляя книжечку. Повариха застывает на месте с открытым ртом.

— Налейте-ка мне тарелку прямо из котла, — требует прокурорша.

Мы окружаем ее и, глотая слюни, смотрим, как она болтает в тарелке ложкой. Может, она и нам нальет по тарелке?

— Это не суп. Это вода, — резюмирует прокурорша и выливает тарелку обратно в котел.

— А это что за бидон? Откройте!

Хмурая повариха открывает бидон и послушно отдает черпак.

— Ого! Это уже совсем другой суп, — говорит прокурорша и показывает нам тарелку. — Для кого бидон?

— Для учителей, — буркает повариха, глядя в пол.

— Так! Ребята, идем дальше. Откройте шкаф.

— Ключа нет, — говорит повариха. — Ключ у заведующей.

— Ваша фамилия? — обращается прокурорша к дяде Леше. Он называет.

— Взломайте дверь.

В руках дяди Леши, как из-под земли, оказываются молоток и долото. Минута — и дверь открыта. Из шкафа извлекается еще один небольшой бидон. Прокурорша открывает его, зачерпывает ложкой гущу и выкладывает ее на тарелку.

— Чей бидон?

— Не знаю.

— Все ясно. Итак, имеется три сорта супа: суп-вода — детям, суп как суп — учителям и суп-каша — себе. Составляем акт.

Она долго пишет акт. Мы подписываем его и уходим, искренне сожалея о том, что она так и не раздала нам найденное.

Я бегу домой. Дел много. Я командир пожарной команды, и у нас дежурства по дому на крыше. Первое, что нам, мальчишкам, поручил домком — это очистка чердака от хлама, как первое противопожарное средство. И мы привычной футбольной командой истово беремся за дело. Чердак, на котором накопился всякий хлам со времени основания дома, был настоящими авгиевыми конюшнями. Чего там только не было! Старые железные кровати, матрасы с торчащими пружинами, деревянные ящики, связки бумаг, покрытых толстым слоем пыли, стулья без сидений, сломанные керосинки, дырявые чайники и примуса... Весь этот ненужный домашний скарб, выброшенный за ненадобностью и накопившийся за несколько десятилетий, мы должны были разгрести, вытащить во двор и сложить в большую кучу.

Это была работа! Мою команду составляли мальчишки помладше меня: Игорь Романов, Толька Пономарев, Колька Яблоков, Витька Медведев и еще какие-то пацаны, имен которых я не запомнил. Но я помню, с каким азартом мы работали, как тащили железные кровати, как разбивали топорами диванные доски, все в густых клубах пыли, и целые дни вверх-вниз по лестницам: — разборка в полутьме чердака и сползание вниз с громоздкой неуклюжей поклажей. Мы все ходили чумазые, как черти, с черными от пыли лицами, по которым струйки пота прокладывали светлые дорожки, но никто не бросал работы. Мы были горды и преисполнены ощущением нужности своего дела, мы работали на себя, на свой дом, на Ленинград, ясно отдавая себе отчет в полезности нашего дела, чтобы чердак был чист на случай бомбежки зажигательными бомбами. Куча во дворе росла, чердак понемногу освобождался. Каждый день, прибежав из школы и что-нибудь пере-



кусив, я сбегал во двор и созывал всю свою команду. И опять мы неугомонно носились вверх-вниз по лестницам.

Наконец наступил день, когда чердак опустел. С удивлением осматривал я невысокое странное полутемное помещение. Тусклый свет проникал сквозь полукруглые люки — выходы на крыши. Потолок с темными балками-стропилами двумя плоскостями под углом спускался к черному полу, разделенными на отсеки поперечными балками. Теперь мы ведрами таскали сюда густую белую известковую краску и закрашивали все изнутри. Эта краска — противопожарное покрытие; окрашенное ею дерево не горит — так, во всяком случае, вещают все противопожарные плакаты с белым заголовком на фоне огня «Как бороться с зажигательными бомбами». На плакатах — люди в нарядных синих комбинезонах. В руках у них длинные клещи, в которых зажата небольшая черная бомба, полыхающая желтым пламенем. Рядом — изображение бомбы в разрезе и принцип ее действия. Бомбу полагается засыпать песком. Его к нам во двор привозит трехтонка. Мы помогаем разгружать ее, потом забрасываем песок наверх и раскидываем его по углам. Нам выдают пожарный инвентарь: ведра, багры, длинные клещи и два красных огнетушителя вместе плакатом-инструкцией, как им пользоваться. Мы устанавливаем все на местах, любимся своей работой и наведенным порядком. Все. Мы к бомбежке готовы. С любой зажигалкой справимся. Пусть фрицы летят. С любой зажигалкой... А если фугаски?

Мы вылезаем на крышу и расползаемся по ней. Как здесь интересно! Красноватые скаты крыши, покрытые кровельным железом, довольно плоские. Посередине, на гребне крыши, через каждые пять-шесть метров прямоугольные закопченные трубы — выходы печного отопления. У края крыши бортик — узкая кромка кровельного железа. Осторожно подхожу к нему и заглядываю вниз. Ух, как далеко до булыжной мостовой! Да и вся наша Третья Красноармейская с крыши совсем другая. С гребня крыши виден весь город, новый и неузнаваемый. Нескончаемые ряды крыш, уходящих в горизонт и теряющихся в дымке. Заводские трубы в районе Обводного канала. Справа, почти рядом, голубеют купола собора на проспекте Красных командиров. Высокие трубы у горизонта. Сколько их? Раз, два... восемь... шестнадцать — весь город в кольце заводских труб. Слева, впритык к нашему до-

му, — громада корпуса ЛИСИ. На его крыше люди с противогазными сумками и повязками на рукавах — это пожарная команда института, студенты и преподаватели.

Над городом чистое голубое небо с перистыми облачками. Тишина. Солнце теплом обдаёт лицо. Звонки трамваев с Международного... Неужели все-таки будут бомбежки?

Дома меня встречает встревоженная мама.

— Где ты был?

— На крыше.

— Как? На самой крыше? Зачем?

— Мы всё закончили на чердаке. Надо было осмотреть объект.

— Оттуда можно свалиться! Прошу тебя — не ходи больше на крышу!

— Mam, я буду ходить на крышу. Я отвечаю за пожарную команду. С завтрашнего дня у нас ежедневные дежурства по крыше.

— Дежурства? По крыше? — Мама в ужасе.

Восьмое сентября. С утра завывли сирены, и по радио прозвучало: «Говорит штаб местной противовоздушной обороны города! Воздушная тревога! Воздушная тревога!»

Хватаю противогаз и под вопли мамы бегу на крышу. Ребята уже там. Все возбуждены. Разбираем багры, клещи и ждем. Прерывистые гудки заводов, вой сирен. Потом издали доносятся ухающие звуки — стреляют зенитные орудия. Вдалеке слева в небе возникают быстро тающие клочки — облачка. Потом по диагонали над нашим домом довольно низко проносится одинокий самолет. Наш? Немец?

Откуда-то издалека начинают доноситься глухие тяжелые удары. Они не приближаются, но нарастают по частоте. Гамма звуков с каждой минутой становится разнообразнее и богаче. Снова ухают зенитки. Кучевые всплески серых хлопков-дымков смещаются вправо и становятся более близкими. Над нами с гулом проносятся еще два самолета. Прилепясь к трубам, мы зачарованно смотрим на необыкновенное зрелище. И вдруг осеняет: Это же всерьез, это же война, это же немцы бомбят Ленинград! Все чаще, теперь уже непрерывно, бьют зенитки. Небо вокруг становится похожим на решето от их темных точечных проколов. Вдалеке на горизонте мы замечаем в небе группу темных точек, движущихся в нашу сторону, и, как в кинокадрах, возникают взрывы с огнем

и дымом под ними... Где же наши истребители, наши знаменитые «ястребки»? Где-то невдалеке раздается сильный взрыв. Пламя и дым на месте падения бомбы. Где это? На Обводном? На Седьмой Красноармейской?

Спускаемся с крыши на чердак, чтобы не сбило ударной волной. Стоим в полумраке, пытаюсь угадать происходящее по звукам. Бомбят уже совсем рядом, вокруг нас. Гул самолетов. Вой летящих бомб, глухие и мощные удары. Отчаянный лай зениток. Все это сливается в общий грохот, сквозь который прорывается звенящий детский голос: «Зажигалка!». В углу чердака ослепительное голубоватое пламя... Зажигалка! На нашем чердаке! Вперед! Толпой мчимся к черному продолговатому предмету, из которого с треском и шипением выплескиваются в разные стороны струи рассыпающихся огней-блесток. Фосфор!

Тушить песком! Быстро! Закидывай здесь! Лопаты мелькают в наших руках. Еще вспыхивают отдельные искры, но все-таки мы справились. Потушили. Главным тут сразу оказался маленький чернявый Витька Медведев. Это он первый заметил бомбу, первым вступил с ней в бой — стал засыпать песком. И мы, возбужденные и чумазые, хлопаем его и трясем от радости.

Между тем грохот сверху затих. Издалека еще доносятся залпы зениток, но и они слышны все реже. Мы решаемся вылезти на крышу. Перед нами открывается фантастическая картина. Полнеба с юга занимают тяжелые густые красно-оранжевые облака, тянущиеся от горизонта. Они медленно ползут, меняя форму и очертания, красными ватными хлопьями, темно-фиолетовыми густыми тенями, резко очерченные чистой голубизной неба. Внизу справа, в районе проспекта Майорова и дальше, к Невскому, горят несколько домов. Впереди, слева, над Фрунзенским универмагом тоже характерные дымы, но все они темные, серо-пепельные, не похожие на те, что сплошной пеленой нависли над ними. Что это горит? Почему такое кроваво-красное одеяло над городом?

Дома я застаю всю семью, кроме Лили. Все встревожены, растеряны, угрюмы. Перебрасываются короткими репликами. Меня встречают как заново рожденного. Я возбужденно рассказываю о наших подвигах, о зажигалке, о Витьке Медведеве, о красивых разноцветных облаках.

— Откуда шли облака? — спрашивает папа.

— С юга. Вернее, юго-востока. По всему горизонту.

— С юго-востока, — повторяет папа, — с юго-востока.  
Он достает одну из своих синек — районов Ленинграда.

— Уж не Бадаевские ли это склады?

— А что это за склады?

— Склады с продовольствием. Там много продовольствия, очень много. Это один из крупнейших складов, — взволнованно повторяет папа. Взгляд его из-под пенсне встревожен и угрюм. Мне непонятна его реакция. Подумаешь, какие-то склады! Тут столько домов горит, сколько, наверное, людей погибло, а он почему-то стоит у окна и молчит...

Прибегает соседка Фаня Кушак.

— Вы слышали? Дом на Пятой — до фундамента! Сплошные развалины. В ЛИСИ попало несколько зажигалок. Там потушили. И еще, говорят, немцы разбомбили Бадаевские склады...

— Бадаевские склады! Тысячи тонн сахара... Мука. Масло. Хлеб... — папа произносит это тихо, не глядя на нас. А мы стоим рядом, пораженные даже не сутью сказанного, а тоном сказанного им и его видом. Что это он так разволновался? Ну, будет хуже с продуктами. Ничего, переживем. Лишь бы немцев отогнали...

Откуда нам было знать, что сегодняшняя бомбежка практически решила судьбу Ленинграда, в том числе и нашу, что начинается самая страшная полоса нашей жизни, что Ленинград полностью окружен и блокирован, что муки в городе осталось всего на семнадцать дней, что на Бадаевских складах погибло две с половиной тонны сахара и что черную землю, пропитанную этим сахаром, будут в декабре продавать на рынке по сто рублей за стакан; откуда нам было знать, что немцы, уверенные в том, что взятие Ленинграда — вопрос дней, назначили генерала Кнута комендантом Ленинграда, и торжественный банкет в «Астории» должен был состояться уже два месяца назад — 21 июля... Разве могли мы предугадать размеры бедствия, обрушившегося на наш город? Разве могли мы вообразить, что нам предстоит?

Мы боялись бомбежек, мы боялись немецкого вторжения. Пристально следя за сводками, мы ужасались стремительности немецкого наступления. Не успев преодолеть годами вколавиваемую в нас убежденность в непобедимости Красной армии, мы все еще надеялись на чудо. Каждый раз с замиранием сердца слушая начало военной сводки, истово ждали перелома, того, что и должно, что обязано было произойти — коренного перелома и реши-

тельного контрастступления Красной армии. Разве могли мы тогда представить, что настанет время, когда голод настолько истощит наши тела и нашу психику, что сделает нас равнодушными к нашим военным успехам и неудачам, а кусок хлеба размером в два спичечных коробка станет в наших больных мозгах значительно всего остального и заслонит смертельную опасность немецкого вторжения?!

А пока мы просто стояли рядом с отцом в окружении всех привычных и родных предметов — наших картин, нашей мебели, фотографий, висящих на своих обычных местах, занавесок на окнах и мирно тикающих часов в высоком дубовом шкафу

Мы сидим вчетвером, укрывшись от обстрела в ванной комнате: я, папа, мама и наш сосед Савелий Кушак, высокий красивый старик с большими голубыми глазами и окладистой белой бородой. Я просматриваю книгу художника Лепикаша «Акварель»; мама сидит, пригорюнившись в уголке, а папа и Кушак ведут беседу. Кушак рассказывает о своей жизни, папа изредка вставляет одно-два слова, и я под равномерной звук падающих капель из крана ощущаю точность папиных определений, ясность логики и отмечаю, что его реплики являются четкими берегами, ограничивающими многословную речь Кушака. Поток его слов послушно меняет направление, следуя поворотам и изгибам папиной ясной мысли.

Постепенно книга пересиливает и переключает меня на иное, более интересное. Автор рассказывает о тайнах мастерства акварели, о специфике акварельной техники; иллюстрирует текст своими работами. Метод его строг и прост. Сначала делается точный рисунок свинцовым карандашом, затем тонко, прозрачно заливаются все локальные пятна. На одной странице нарисовано карандашом чучело утки, на другой — та же утка предстает уже в цвете, но как бы под папиросной бумагой. Второй этап — усиление цвета вторым заливом до окончательного звучания. Третий рисунок — законченная работа: красивая утка с синей головой, белым воротничком на шее и оранжевыми лапами. Как просто и как недостижимо!

На следующих страницах автор усложняет задачу: показывает принцип работы над пейзажем и в конце демонстрируется самое сложное — портрет человека. Тонкий линейный рисунок старуш-

ки в платке. Морщинистое лицо, усталые добрые глаза, набрякшие веки... Как это здорово!

Хочется попробовать. Хочется рисовать. Чтобы так же, не хуже. Чтобы тоже портрет. Или пейзаж. Или чучело утки. Но ведь за этой простотой, за этой точной линией большая школа, годы труда, длительная практика...

Все это несбыточно, нереально, все, как прекрасный сон, то ли в прошлом, то ли в будущем.

А пока так же капает вода в медную ванну, так же равномерно катится речь голубоглазого старика, белеют мелом стены, стоит медная колонка с чугунной дверцей с выпуклыми буквами «Санкт-Петербург» на ней, и мы сидим вчетвером и ждем конца тревоги...

У нас в семье всегда существовал культ отца, созданный и тщательно поддерживаемый мамой. Папа всегда был как бы на пьедестале. Ему предоставлялась «военная тропа». Дом и все дела и заботы, связанные с ним, были исключительно прерогативой мамы. Она же в основном занималась и нашим воспитанием. Мимоходом, незаметно в рассказах о своем отце, в пословицах и поговорках, которых она знала бесчисленное количество, мама закладывала в нас нравственные основы: не тронь чужого, слабому помоги, падающего поддержи, перед сильным не клонись, если не можешь идти вершинами, иди подножиями, ничто так дешево не стоит и так дорого не ценится, как человеческое внимание и т. д.

Уроженка Люблина, воспитанная дедом, получившим образование в Германии, мама владела польским и немецким, как русским, и всю жизнь переживала, не находя применения своим знаниям. Она была живым, остроумным и бесконечно добрым человеком с критическим складом ума и народным здравомыслием.

У папы была блестящая память, он был широко образован. С детства у нас, детей, была непоколебимая, многократно подтвержденная уверенность в том, что он может ответить на любой вопрос из истории, литературы, географии и техники. И вообще на любой вопрос. Эта уверенность не была поколеблена и во взрослые наши годы.

Много лет спустя мы с архитектором Н. Г. Эйсмонттом трудились над проектом памятника «800 лет воссоединения Украины

с Россией». Николай Гелиодорович сам был эрудитом и человеком высокой культуры. По ходу работы у нас с ним возник вопрос из истории воссоединения, и он по привычке полез в справочники и энциклопедии, но, к своему разочарованию, не нашел там ответа. Тогда я предложил разрешить вопрос простым способом — позвонить папе. Мы позвонили и тут же получили четкий, аргументированный и подтвержденный ссылками на авторов ответ. Николай Гелиодорович был поражен не столько сутью ответа, сколько моей незыблемой уверенностью в том, что папа ответит на любой вопрос.

В своей профессии, в своем деле папа был ассом. Он всегда был либо ведущим инженером, либо главным, либо руководителем проекта; его всегда приглашали на экспертизу самых сложных технических вопросов по водоснабжению Ленинграда. Он владел редкой способностью множить и делить в уме многозначные числа, чем развлекался на работе и дома, удивляя окружающих. Молодые инженеры иногда подначивали его:

— Самсон Львович! Сколько будет 278 умножить на 26?

Ответ давался моментально и всегда совпадал с последующей проверкой на логарифмической линейке.

Он любил шахматы, книги и покой. Читал постоянно и хорошо знал классическую и современную литературу.

## ОКТЯБРЬ

С первого числа снова уменьшили норму хлеба. Уже в третий раз. Теперь папа по рабочей карточке получает 400 граммов, а мы все — по 200. Дома стало голодно. На крупяные и масляные талоны почти ничего не выдают. Теперь мы ежедневно вспоминаем, что еще месяц-полтора тому назад могли бы что-то закупить, засушить сухарей, но ничего не предприняли, наивно надеясь, что дальше хуже не будет... Мама приносит с Сенного рынка килограмм соевых бобов, выменянный на шерстяной джемпер, и мы пируем два дня и удивляемся, почему мы никогда раньше не ели такой прекрасной пищи.

Теперь у нас на всех килограмм хлеба на день. Это примерно три четверти буханки. Мама по утрам делит хлеб на две части:

одну половину прячет в буфет на вечер: а другую делит на равные куски к завтраку. Пайка хлеба и стакан кипятку с ложечкой сахара — так начинается наш день.

Чтобы отвлечься от голодных мыслей о еде, я слоняюсь по квартире в поисках занятия. Нахожу кусок хозяйственного мыла, сжимаю его, скатываю шарики и неожиданно убеждаюсь в его пластичности. Из него можно лепить. Ага! Идея приходит сразу, и через два часа я показываю маме две фигурки — толстых и смешных человечков — Добчинского и Бобчинского. Мирра тоже принимает участие в обсуждении, потом предлагает мне пойти погулять.

— Куда?

— Да недалеко, там, около Звенигородской, есть одно интересное место...

Я сразу соглашаюсь, потому что всегда рад побыть, поговорить с Миррой, а уж если она зовет на что-то интересное, то не зря. На Загородном проспекте, рядом с кинотеатром «Правда», Мирра подводит меня к дверям столовой, и мы встаем в длинную очередь. Сначала стоим на улице, потом постепенно продвигаемся внутрь и оказываемся в большом зале. Вкусно пахнет. Мы занимаем освободившиеся места, и официантка приносит нам две большие тарелки дымящегося супа из соевых бобов. Вкуснота необыкновенная! Суп съеден, и тарелка вычищена маленьким кусочком хлеба, случайно оказавшимся в Миррином кармане. Мирра заказывает еще две тарелки и сливает суп в бидончик. Для мамы и папы. Я смотрю на нее во все глаза. Надо же, как она здорово придумала! Мы теперь сюда будем ходить каждый день.

На другой день я уже сам тормошу ее: «Бросай все! Пошли за супом!»

Мы быстро минуем Витебский вокзал, я подгоняю Мирру, — надо скорее встать в очередь. Вчерашняя тарелка с коричневатой жидкостью с поблескивающими на ней блестками жира и ложка, полная упругих солоноватых бобов, стоят у меня перед глазами. И я еще сильнее тяну Мирру за рукав и в предвкушении пиршества сглатываю набегающую слюну. Вот она, Звенигородская. Вот и вход в столовую... Но что это? Где же очередь? Что такое?.. Мы поднимаемся в зал. Он полупуст.

— Супа больше нет, — говорит вчерашняя официантка.



— А что есть?

— Только чай. Сладкий.

Потерянные, мы стоим в унынии

— Давай возьмем чай, — предлагает Мирра. — Ведь сахара дома тоже нет.

Наливаем полный двухлитровый бидон сладкого чая и медленно бредем домой.

Мы с Вовкой Петровым выходим из ворот школы на Первую Красноармейскую и заходим в Гастроном на Международном. Прилавки пусты. Люди заходят и тут же выходят. Крупа пропала. Масла уже давно нет и в помине. Нет мяса. Нет практически ничего, чем были забиты витрины и полки еще три месяца тому назад. Народ голодает, и тревога незримо входит в каждую семью, в каждый дом. Неделю тому назад Лиля ездила на рытье окопов и привезла целый рюкзак капустных кочерыжек, оставленных в земле после сбора капусты. Она рассказала, что множество людей копается на этих полях, увозя огромные мешки кочерыжек и хряпы — верхних темных листьев капусты. Хряпа — ценнейший продукт. Мама долго возится на кухне и приготавливает нам две сковородки лепешек из нарубленных кочерыжек, поджаренных на олифе. Это объединение мы растягиваем на два дня!

Мы с Вовкой заглядываем в булочную на Международном. С самого детства она называлась булочной «У Лора», по имени ее дореволюционного владельца. Сейчас «У Лора» пусто. На полках темнеет ряд хлебных буханок, и стоит продавщица в грязном халате.

— Крупы нет, мяса нет, — говорит Вовка, в точности повторяя мои мысли. — Что есть-то будем?

— Ну, хлеб-то есть! А может быть, его еще прибавят...

Мы выходим из булочной и нарываемся на удивительное зрелище. На углу Второй Красноармейской, середине улицы, между зданием ЛИСИ и фабрикой игрушек, копошится толпа. Люди внаклонку что-то делают, движутся, что-то рвут друг у друга из рук, кричат, ругаются, бегают вокруг, пытаюсь вклиниться в общую кучу сосредоточенных согбенных спин. Подбегаем. На мостовой валяется павшая лошадь, вернее ее красно-бурые останки, нелепо растопыренные ноги с копытами, распластанный темный

хвост на булыге, коричневая морда с сильно выпученным глазом, а в середине месиво из людей, орудующих ножами. Люди толкают друг друга, поспешно засовывая отрезанные куски в кошелки. Руки у всех в красной жиже, глаза безумные. С криком «А ну, подвиньсь!» в толпу врзается мужичок в темном пиджаке и солдатской фуражке с топором в руках. Его пытаются оттолкнуть, но он, подняв топор над головой, с диким криком «Зарублю-у!» бросается в самую гущу снова. Народ шарахается, а он точными и хлестким ударами острого топора быстро выкраивает себе широкий кусок крупа и, молодецкато ухнув, закидывает добычу за плечо. Топор в руку, и он исчезает. Толпа снова смыкается над остатками туши.

— У тебя нож есть? — спрашивает Вовка. Я не успеваю ответить.

Сирена!

Гудки заводов...

Бьют зенитки.

Мы бежим в бомбоубежище на Первую Красноармейскую под нарастающий грохот и прячемся в подвале небольшого серого здания, в котором раньше помещался Народный банк. В бомбоубежище неожиданно тепло, довольно чисто, горит свет, по зеленым стенам — жгуты электрокабеля, деревянные лавки, противопожарные щиты, плакаты с наставлениями, как вести себя при бомбежке, план эвакуации на случай завала здания. На лавках — люди. Старушка вяжет на спицах серую варежку, рядом с ней — семья: высокий седой мужчина, женщина в зеленом пальто, на коленях ребенок. Мужчин мало, в основном — женщины, старые, молодые, все с кошелками, сумками или узлами.

Вовка достает большой темный сухарь и начинает грызть его. У меня спазм в желудке. Отхожу к стенке и начинаю изучать плакаты. Потом возвращаюсь с одной мыслью: может, отломит? Сажусь рядом, молчу. Потом не выдерживаю и спрашиваю:

— Откуда сухарь-то?

— Отец дал. — Вовка спокойно отправляет остаток сухаря в рот и, дожевав, объясняет: «Отец — кровельщик. Буржуйки делают из кровельного железа. За буржуйки платят хлебом. А вчера дали десять сухарей».

Тикает метроном. Наверху еще, наверное, бомбят, но здесь не слышно.

— Отбой воздушной тревоги... Говорит штаб местной противоздушной обороны... Отбой...

Выходим на улицу. Что это? Вся улица, тротуары засыпаны белыми листками бумаги. Когда-то я видел что-то похожее... Когда встречали челюскинцев... Поднимаю листок. На нем фотография — улыбающиеся люди. Пригожая старушка, толстошекая женщина и кареглазый мальчик лет пяти. Сверху надпись: «Они хотят мира, они хотят жить!». Переворачиваю листок и с первых слов холодею от кошунственного, невозможного, неприемлемого смысла: «Кровавая сталинская власть принесла народу гибель и нищету. Красная армия разбита. Победоносные немецкие войска полностью окружили Ленинград и готовятся к штурму Москвы. Граждане Ленинграда! В городе нет продовольствия! Сопротивление бесполезно! Уничтожайте политработников, коммунистов и евреев». Строки сливаются перед глазами. Фашистская сволочь! Я рву листки на мелкие клочки, поворачиваюсь к Вовке и вижу, что Вовка сгибает свою листовку пополам, потом вчетверо и бережно прячет в боковой карман.

— Вовка! Ты что?!

— Да так, — говорит Вовка, глядя в сторону. — Может, пригодится. — Ты посмотри, что там, в конце.

Я обалдело поднимаю другой листок. Немецкий орел держит в лапах кружок со свастикой. Под ним крупно: «Пропуск». Затем более мелким шрифтом: «Каждый, кто предъявит пропуск немецким властям (каким властям?), получит трехразовое горячее питание и право на жизнь».

Я рву вторую листовку, третью... Но их кругом тысячи... Немецкий орел... Право на жизнь... Кровавая сталинская...

— Ну я пошел, — говорит Вовка, поворачивается, и я вижу в последний раз его удаляющуюся спину. Он такой же, как всегда, маленький, крепкоголовый, с хорошими серыми глазами... Такой же, но уже совсем другой!

Господи! Ведь мы же с ним вместе вступали в пионеры, озорничали в классе, на перемене гоняли в футбол на школьном дворе, выпускали знаменитую классную газету «Заноза».

Он писал веселые, хорошие стихи... И листовка за пазухой:  
«Уничтожайте коммунистов и евреев...»

## НОЯБРЬ

Вчера репродуктор объявил о новом уменьшении нормы хлеба. Двести пятьдесят граммов на рабочую карточку, сто двадцать пять — служащим, иждивенцам и детям... Радио мы не выключаем никогда.

Черный круглый репродуктор появился в тридцать пятом году. Помню, как я прилип к этому чуду: Хенкин читал Зощенко! Теперь это самая важная вещь в нашем доме. Оттуда мы черпаем всю информацию: ежедневные сводки Информбюро, сообщения с фронтов, рассказы о подвигах наших летчиков, танкистов, разведчиков. Оттуда же часто звучит музыка, песни советских композиторов. Но самое главное, то, чего мы постоянно и напряженно ждем, — звук сирены и напряженный, нервный и торопящийся голос диктора: «Воздушная тревога! Воздушная тревога!». Как правило, эта фраза звучит трижды, а потом начинает лихорадочно стучать метроном. Его легкие, сухие и частые щелчки раздаются на протяжении всего воздушного полета вплоть до желанных слов диктора: «Отбой воздушной тревоги!». После отбоя метроном успокаивается и начинает щелкать в два раза реже, но звучит он круглосуточно.

Я ненавижу песню «Играй мой баян и скажи всем друзьям...», потому что существует какая-то фатальная закономерность: на каком-нибудь слогe этой песни обязательно прерывается звук, раздается знакомый щелчок и начинается вить сирена. За последние месяцы эту песню ни разу не успели исполнить до конца. Есть еще одна песня, вызывающая то же щемящее чувство, — «На рейде ночном легла тишина...». Вот уже в который раз «тишина» заканчивается знакомым, как зубная боль, воем, и у нас начинается суматоха. Мы хватаем подготовленную мамой сумку с оставшимся хлебом, накидываем пальто и под звонкий лай разрывов зенитных снарядов скатываемся вниз по лестнице на первый этаж, где на лестничной клетке собираются и жмутся жильцы верхних этажей. Кроме нас тут Яковкины и жильцы из шестой квартиры. У нас в доме нет бомбоубежища. Ближайшее — на Первой Красноармейской. Пока туда добежишь... После того, как мы впервые увидели руины дома на Пятой Красноармейской, мешанину из балок, кирпича, уцелевшую одинокую боковую стену с разноцветными прямоугольниками обоев каждого этажа и чу-

дом прилепившуюся на выступе облома третьего этажа керосинку, мы решили, что оставаться наверху опаснее, чем быть внизу.

Сейчас мы все вместе сидим за обеденным столом при тусклом свете коптилки. Коптилку и небольшую черную буржуйку, которая стоит у нас на плите в кухне, купила Мирра на Сенном рынке. На ней мы кипятим воду или греем какую-то еду. Коптилка — медный цилиндрок с припаянным к нему латунным конусом, из которого торчит фитилек, дает маленькое пламя с черным хвостом, высвечивая небольшой кружок на столе и пятна наших лиц. Мы ждем ужина.

Весь хлеб съеден с утра, дома холодрыга, но мы в радостном ожидании — мама готовит на кухне мучную кашу! Она сегодня была на Сенном, удачно выменяла скатерть на двести граммов хлеба и купила за двести пятьдесят рублей стакан белой муки. Это настоящая удача — белая мука и так недорого! Мы сидим за столом, а папа, прижавшись спиной к полутеплой печке, листает и читает вслух на горе нам неведомо откуда появившуюся старинную поваренную книгу «Экономная кухарка». Книга эта стала его любимой. И вот уже в который раз он, сгорбившись над ней, поблескивая стеклышками пенсне, читает: «Говядина под соусом из соленых рыжиков. Взять три фунта говядины, порезать тонкими кусочками, бросить в соленый кипяток, каждый кусок пересыпать тертым сыром, потом приготовить соус из сметаны и напиговать маринованными рыжиками...» — Нет, это не то... Вот это интересно, это я ел на Украине: жареные битки из телятины... Кусок телятины мелко изрубить, положить сала, обсыпать сухариками...

— Папа, не надо, — вскидывается Мирра. — Невозможно слушать...

Папа замолкает на минуту. Пальцы его перелистывают несколько страниц, потом он оживленно восклицает:

— Вот, нашел! Пирожки малороссийские с творогом! Один фунт свежего творага...

Сирена. Воздушная тревога! Говорит штаб местной противовоздушной обороны... Мы хватаем пальто, дуем на коптилку и выскакиваем на лестницу. Гулко отдаются в лестничном пролете звонкие разрывы зенитных снарядов. Где-то отдаленный грохот. Началось! Когда мы добегаем до первого этажа, там уже скопились темные тени — люди.

Вой, нарастающий вой летящей где-то неподалеку бомбы. Бетонный пол под нами вздрагивает от тяжелого удара. Грохот заполняет лестничное пространство, рвет уши, вселяет ужас. Все мы инстинктивно пригибаемся к полу. Снова вой, снова грохот. Кто-то выскакивает на улицу, и мы слышим крик:

— ЛИСИ горит! Фугаска попала! Рядом!

Я выбегаю тоже под крик мамы:

— Осколки! Осколки же летят!

Зарево над институтом. От его отблесков ярко алеет стена дома четыре, это напротив. Там живет Миррина подруга Зоя Веревкина. Черные проемы окон в красном вздрагивающем свете, звон вылетевших стекол. Люди мечутся по улице. Темные силуэты пожарников института тянут черную нитку шланга, и тонкая розовая струя перекрещивает бушующее пламя. Под ногами хрустит стекло, и темнеют рваные осколки зенитных снарядов. Мирра втаскивает меня назад на лестницу. Зенитки перестали бить. Гудение самолетов над головами прекратилось, из открытых настежь дверей слышен отбой.

Мы возвращаемся молча, подавленные. Папа обходит окна — все целы. Я чиркаю спичкой, и коптящий огонек высвечивает знакомый круг, за границами которого темнота.

— Таня, где же твоя каша? — вспоминает папа. — Сейчас она в самый раз.

Мама идет на кухню, и мы слышим ее жалобный вскрик. Бросаемся к ней. Она растерянно стоит около потухшей буржуйки с кастрюлькой в руках. В кастрюльке прозрачная водица...

— Что такое? Ведь я засыпала полстакана. Помешала, она загустела, но не закипела... Потом тревога... И вот... Что это?

— Где остальные полстакана? — спрашивает папа, разжигая еще теплую буржуйку. Мама еще раз наливает воду и высыпает остаток муки в нее. Мы все — Мирра, Ксения, папа, я — стоим вокруг и, затаив дыхание, ждем результата. Вода вскипает, белая густая масса бурлит и вдруг мгновенно становится прозрачной кипящей водой.

— Химия, — мрачно говорит папа и выливает нашу «мучную кашу» в раковину.

Молча мы расходимся по койкам. Снова звучит сирена. Снова визг бомб, грохот взрывов, зарево в окнах и постоянная мысль — как там Лиля? Пронесло ли? Жива ли?

Утром мы с Миррой выходим из дома и бредем к Сенной площади. Там сворачиваем у черно-золотой церкви на Садовую и вдоль пустых трамвайных путей добираемся до бывшего Пажеского корпуса, где теперь расположен Военный госпиталь № 70 — там живет и работает Лиля.

Мы минуем красивую ажурную решетку Пажеского корпуса и сворачиваем в узкий двор, где находится проходная. Время и день прихода у нас точно обусловлены: Лилия на военном положении, и ее выход регламентирован до минуты.

Вот она. В серой шинели, сапогах. Из-под нелепой ушанки радостные и беспокойные большие, красивые глаза. Мы обнимаемся. Короткий и торопливый диалог:

— Как вы?

— Как видишь, живы.

— Как ты?

— Нормально. Только ночь не спали — таскали раненых.

— А утром?

— Ну что ты! Утром обход, операции, уколы, перевязки... Берегите домой. Я больше не могу. Вот хлеб, вот каша.

Она протягивает нам пол-литровую банку с кашей, собранной за несколько дней, — ее рацион. Обеды и завтраки. Она ест только супы. Все каши собирает в банки и выдает нам по средам и пятницам. Каша в банке многослойна и разноцветна: желтая пшенная, серая овсяная, белая манная. От хлеба мы пытаемся отказаться, но она просит, настаивает, требует. Ради мамы... В глазах и голосе слезы... И мы берем.

— Берегите маму, папу... Берегите себя... Я побежала...

Все. Никакой связи до будущей среды. И ежедневные бомбежки...

Мы с Миррой прячем драгоценную банку, выходим на улицу и думаем об одном: увидимся ли в следующую среду?

(Милые мои сестры! В дни тяжелых испытаний, на грани жизни и смерти, каждая из вас отдавала свои душевные и физические силы для спасения меня от голодной смерти. Каждая жила и действовала в соответствии со своим характером, спецификой своего существа: Лилия — упорно, стойчески, бескомпромиссно; Мирра — энергично, изобретательно, рискованно, всё положив в пасть Молоху, вплоть до риска собственной жизнью и безопасностью, — чтобы я жил. Сумел ли я ответить за подаренную мне жизнь?..)

Вечер. Мама зажигает найденный где-то в комодке огарок свечи. Как здорово она светит! Ярко и без копоти. На вечер хватит, а дальше снова коптилка.

Звонок в дверь. Мы с мамой идем открывать. На пороге — согбенный, в каком-то рванье, незнакомый старик.

— Вам кого? — спрашивает мама.

— Татьяна Максимовна! Вы меня не узнаете? Грюнбаум...

Старик, покачиваясь делает пару шагов в переднюю. Я приношу свечку.

— Грюнбаум? Михаил Захарович?

— Да, это я... Узнали? Я сам себя не узнаю...

Я стою, не двигаясь. Этот скрюченный старик в рваной женской кофте, с темными пятнами на щеках, с кровью, запекшейся на лысине, из которой торчат клоки седых волос, с вытарашенными безумными глазами — это наш верхний сосед, высокий дородный, всегда богато одетый, всегда надменный Грюнбаум?! Верится и не верится...

— Татьяна Максимовна! Ради бога! Кусок хлеба... Три дня ничего не ел...

Мама в растерянности.

— Михаил Захарович, проходите, садьте. Я вам кипятку налью... Но хлеба у нас нет. Мы же все на карточках, так же, как и Вы...

— Татьяна Максимовна! Может, тарелочку супа? Небольшую... Может, корка какая?..

— Нет у нас ничего, Михаил Захарович. Мы тоже голодаем... Вы же получаете хлеб по карточкам. Почему же вы три дня не ели?

— Всё отобрали... Все карточки... Весь хлеб... Всё... Мне не дают ни куска три дня...

— Кто отобрал? — спрашивает мама в ужасе. — Как это случилось? Почему Вы отдали?

Старик вскидывает опущенную голову. Рыдания душат его. Слезы обильно текут по лицу.

Жена... Люська... Я ослаб... Сам за хлебом не хожу... Три дня не дают ни куска... Бьют меня, бьют каждый день... Что бы ты сдох скорей!.. Они ушли сейчас... Я спустился к вам. Больше не к кому... Татьяна Максимовна, голубушка...

Дверь захлопывается. Я стою потрясенный... Мама, бессильно опустив руки, не стесняясь меня, плачет...



## ДЕКАБРЬ

Навсегда запомнились мне эти сутки. Вечером мы все стояли у полутеплой печки, плотно прижавшись. Спине тепло, груди холодно. Когда говоришь — изо рта пар. Папа опять вспоминает Украину, подовые пироги, творожники, бифштексы... Он говорит подробно и увлеченно. Ясно представляется большая беленая печь и хозяйка, вынимающая румяные, теплые, лоснящиеся от масла пироги из гречневой муки... Слюна течет. Тьфу, лучше бы он молчал... Мама с болью в глазах гладит его по голове, старается переключить. Он раздражается, сердится на нее...

Ксения сидит в углу под телефоном: скулы обтянуты, нос заострился, взгляд бессмысленный, голова укутана черным шерстяным платком до глаз.

— Истопили бы мою печку, — говорит она тихо. Потом с трудом поднимается, бредет в Лилину комнату, ложится на диван и просит, чтобы я укрыл ее. Я натягиваю на нее оба одеяла и подтыкаю края с боков.

— Ты бы сходил к Липшицам, попросил бы для меня тарелочку супа, — просит она из-под одеяла.

Я беру тарелку, выхожу на площадку и долго мнусь, переступая с ноги на ногу, перед коричневой дверью с номером 8, не решаясь постучать, а потом попросить тарелку супа. Но ведь это не для меня, это для Ксени... Стучусь.

Мне открывает Женя, самая маленькая из всех сестер, а сейчас ставшая еще меньше, бледенькая, худенькая с испуганными глазами.

— Нет, супа у нас нет. Но стакан соевого молока я могу дать.

— Большое спасибо, это для Ксени. Если бы для себя, я бы не попросил, — третий раз говорю я и очень бережно, очень осторожно несу стакан с белой жидкостью к нам. Ксения выпрастывает сухую желтую руку из-под одеяла, отливает половину в чашку и предлагает мне. Как трудно сказать «нет», но я все же выдавливаю из себя это слово, а сам стою и жду — вдруг предложит еще раз. Нет, не предлагает, только просит, чтобы я принес из кухни, из ящика стола хлеб, оставшийся у нее с утра, а половину взял себе. Отказаться от хлеба уже выше моих сил. Я иду на кухню, вынимаю из ящика обломанный с краев кусок, режу его ровно пополам и уже в коридоре, не доходя до Ксениной комнаты, про-

глатываю свою половину. Ксения вялыми движениями макает хлеб в молоко, подносит его к беззубому рту и сосет. Я выхожу.

Ночью она будит нас, зовет маму, меня. Мама встает, кутаясь в пальто, идет в соседнюю комнату. Я слышу ее громкие вопросы и не слышу ответов Ксени. Мама возвращается и говорит: «Она проживет недолго...»

Ксения лежит растрепанная, подняв лицо кверху, и что-то говорит. Слов нельзя разобрать — язык заплетается, рот полуоткрыт, изо рта вырываются шипящие звуки и хрип. Мама сажает ее на горшок. Я неуклюже помогаю. Потом мы укладываем ее. Она, замученная всей этой процедурой, вытягивается, закрывает глаза и вроде бы успокаивается.

Потом были холодные день, вечер, ночь, и наступило утро. Холод в тот день был жуткий. Я ходил весь скрюченный, сгорбившись, вобрав голову в плечи. Мучительно хотелось есть. Угнетала темень от синих, местами продырявленных штор и холодина в квартире. На кухне лопнула большая бутылка с водой, превратившейся в лед. Нужно было пойти на улицу поколоть дрова, это была моя обычная работа, а я все медлил, все отсрочивал, обманывая сам себя. Наконец оделся. Какими медленными стали теперь движения... Как долго я надевал пальто... Какими тяжелыми оказываются эти два маленьких чурбана! На черной лестнице среди пыли и хлама остались еще три последние чурки. Значит, еще одна полутеплая печка. А потом что?.. Спускаюсь вниз. Руки уже замерзли. Насколько могу быстро устанавливаю чурбаны на панели, покрытой тонким слоем снега. Удар. Чурбан падает. Поднимаю, опять ударяю колуном — и опять неудача. Надо быть сильнее и резче. Снова и снова поднимаю колун, снова поднимаю и ставлю в очередной раз падающие и неподдающиеся чурбаны и, наконец, добиваюсь своего — один кругляк разлетается на две плахи. Дальше — легче. Наконец расколото все. Я собираю охапку, прихватываю тяжелый колун и медленно, ступенька за ступенькой, взбираюсь по лестнице. На первом этаже, около квартиры Рогозиных, охапка моя рассыпается, несколько поленьев падает на площадку. Я встаю на колени и собираю их, тщательно подгоняя полешку к полешку, чтобы лежали ровно. На втором этаже сердце начинает стучать учащенно. Я останавливаюсь, отдыхаю и, вдавливая ватные ноги в ступеньки, волокусь на свой третий. Вот и наша дверь.

Бросаю дрова в передней и, слегка отдышавшись, вхожу в Линину комнату. Что это?! Ксения лежит вытянувшись. Рот и глаза открыты. Мертвая. Не шевелится. В первый раз в жизни я вижу мертвеца. Мертвая Ксения. Ксения умерла... Но ведь она ела то же, что и мы. А как же теперь мама, папа, мы?.. Тоже?.. Выхожу в коридор и сталкиваюсь с мамой. Она поражает своей бледностью, худобой и синевой под глазами. Приходит Зоя Веревкина, Миррина одноклассница.

— А у меня дочка умерла сегодня. Понос от соевого молока, — почти без грусти сообщает она.

Зоя накладывает пятаки на Ксенины глаза и складывает на ее груди руки.

9 декабря. Музыка. Веселый бодрый марш. Ровный и торжественный голос диктора: «Говорит Ленинград! Говорит Ленинград! В последний час!» Мы бросаемся к репродуктору. Пауза. Скорее бы! Наше нетерпение растет с каждой секундой. «Удар наших войск южнее Ладожского озера. Седьмая армия под руководством генерала Мерецкова, успешно развивая наступление, прорвала немецкую оборону, не дав немецким войскам соединиться с финскими. Советские войска овладели городом Тихвин».

Сначала не очень верится. Вот уже около полугода радио приносит нам только одно горе: тревогу, горечь поражений и отступлений. Мелькнуло, правда, в августе слово «Ельня», но чем та мимолетная радость закончилась? Немецкие войска под Москвой, Ленинград в железном кольце... И вдруг острая, обжигающая мысль — неужели это тот самый ПРОРЫВ БЛОКАДЫ, о котором думано-передумано, о котором ленинградцы мечтали под бомбами и снарядами, в голоде и холоде? Неужели прорвана блокада — причина всех бед, обрушившихся на город и нашу семью? Теперь потоки продовольствия потекут в Ленинград, закончится голод, люди будут спасены и мы вместе со всеми... В это утро все радостные, настроение у всех приподнятое.

Бегу за хлебом. В очереди незнакомые люди делятся услышанным, громкие голоса, оживление на лицах. Все это необычно: мы привыкли видеть угрюмые, серые лица, слышать брань, жалобы и горестные откровения.

Главный вопрос:

— Хлеба не прибавили?

— Нет...

— Ну, теперь уже не долго!

— Скоро всё хорошо будет...

К великому сожалению, всё оказалось не так просто, и наши вспыхнувшие было надежды погасли так же быстро, как и родились. Тихвин был скоро оставлен снова... Вместе с надеждами угасали и люди. Каждый день уносит тысячи, а до прорыва блокады оставалось еще четыреста пять дней...

Просыпаюсь. Темно. Который час? Откидываю с головы тяжелое пальто, папину куртку с ног. Сразу же обдает холодом, как будто кто-то опускает меня в бак с холодной водой. Начинаю лихорадочно одеваться, двигаюсь быстро, чтобы согреться. Изголовье моего дивана упирается в поставленный поперек моего дивана зеркальный шкаф. Папа поставил его как защиту от осколков возможной бомбы.

— Если влетит осколок, прежде чем добраться до тебя он должен будет пробить зеркало и две перегородки.

В темноте перехожу в столовую и, нащупав выключатель, машинально включаю свет. Что за чудо? Спираль в лампе слабо розовеет! Неужели дали свет? Ведь уже два месяца... Через две-три минуты спираль гаснет, а с нею и моя надежда.

Я бужу Мирру, достаю из буфета карточки, крепко зажимая их в кулаке, и мы выходим.

— Часа через два я сменю тебя, — говорит Мирра и исчезает в булочной.

Я подхожу к гастроному и вижу, что от его дверей уже тянется длинный хвост. Встаю последним и в уме начинаю высчитывать. Если выдадут консервы, сколько же это будет 75 процентов от количества наших мясных талонов? На конфетные талоны возьму ириски. Нет, лучше «Стратостат» — он сладкий, а в ирисках одна дуранда. Макароны бы выдали — вот был бы дома праздник!

За мной уже множество народа: конец очереди — около кинотеатра «Знамя».

— Что давать будут?

— Не знаем. Ждем.

Люди встают и так же молча ждут, теснясь друг к другу. Идет мокрый снег. Руки в двойных варежках начинают мерзнуть. Очередь в два раза загибается во двор. Холодно. Светает. Стоящие впереди начинают нетерпеливо стучать в двери магазина. Нако-

нец дверь открывается. И люди, толкаясь и сшибая друг друга, лавиной врываются в помещение. Я вцепляюсь в пальто стоящей передо мной женщины. Толпа, напирая сзади, втискивает меня в магазин и отрывает от женщины. Очередь внутри магазина загибается несколько раз и под напором толпы ломается и перемешивается. Наверное, сотни две или три втиснуты в маленькое, около сорока метров, помещение, а толпа снаружи продолжает давить так, что мы уже стоим, как в трамвае, крепко вцепившись в переднего. Где-то заплакал ребенок. Давят так, что трудно дышать. Слышен истошный крик:

— Тише, ребенка задавите!

Никто не слушает. Прут. Из передних я оказываюсь в конце. Пробриться к кассе нет никакой возможности. Что дают, где дают, понять невозможно — никто ничего не знает. Каждый старается восстановить свою утерянную в свалке очередь и встать поближе к кассе. От этого происходит сутолока и перебранка. Наконец народ успокаивается и начинает требовать заведующего.

Я стою, прижатый к витрине кондитерского отдела. Под стеклом аккуратно разложены плитки эрзац-шоколада и дурандовые конфеты «Акра». Какой у него соблазнительный вид, у шоколада! Если откусить кусочек, то сначала он твердый, потом начинает таять, и ароматная сладость растекается по рту... Шоколад только по детским карточкам. Нам его не полагается.

Двери в гастроном закрываются. Больше никого с улицы не пустят. Мирра опоздала меня сменить. Скорей бы хоть объявили, что дают! Наконец-то! Выходит заведующий и говорит, что крупа не получена, мяса нет, макарон тоже нет. Взрыв возмущения. Никто не уходит. Все чего-то требуют, что-то выкрикивают. Общий гул мешает что-либо понять. Я стою, как и все, в надежде — вдруг что-нибудь привезут. Стоять тошно, но и уйти страшно. А вдруг?.. Стоим. Молчим. Душно. Проходит час, может быть, два. Многие не выдерживают, уходят. Магазин пустеет. Я выхожу одним из последних. Сталкиваюсь с Миррой. Быстрый понимающий взгляд.

— Возьми конфеты, хоть чай попьем со сладким.

Я с благодарностью смотрю на нее. Она всегда ровная, спокойная. Всегда готова делать любую работу. Никогда не говорит, что хочет есть.

Возвращаемся в магазин. Продавщица ножницами отхватывает зеленые квадратики талонов и сует нам кулек конфет. По дороге домой съедаем по штучке. Сладости никакой, одна дуранда.

Дома беру свой кусочек хлеба и замечаю, что он больше, чем обычно.

— Мам, кто делил хлеб?

— Мирра.

— У вас были обычные куски?

— Да, даже чуть-чуть побольше. Мирра сказала, что сегодня выпечка лучше и хлеб суше.

Я смотрю на свой кусок. Мокрый, зеленоватый, корочка отстала. Мякиш, как и вчера, можно намазывать на корку. Я поднимаю глаза. Мирра улыбается.

— Да, хлеб сегодня лучшей выпечки. Разве ты не видишь?

— Неправда! Покажи свой кусок!

— Я уже его съела.

— Не ври! Ты, наверное, отрезала себе граммов двадцать...

— У меня был точно такой же, не мудри.

Вижу, что врет. Хорошо, приму свои меры. Отрезаю от своей пайки четвертушку и незаметно кладу ее на шкаф. Вечером «случайно» найду ее и разделю на всех к чаю или супу. Быстро проглатываю остаток, заедая дурандовой конфетой, и иду в школу.

Наша школа еще работает. В классе одиноко притулились пять-шесть парт, на окнах — рваные маскировочные шторы. Несколько ребят в пальто и шапках жмутся к камину, в котором, шипя, тлеют сырые дрова. Разговоры обычные.

— В нашем магазине давали пшено, но нам не хватило.

— А у нас соседка умерла, а в ее шкафчике мать нашла с полкило муки и пять плиток дуранды.

— Сестра конины достала. Вот поели мясного!

— В этом месяце вообще отovarивать не будут...

— Наша соседка пять кошек съела...

Входит учительница истории. Мы разбредаемся по партам. Учительница тоже в пальто и в шапке, повязанной сверху платком. Говорит она тихо. Видно, что говорить ей трудно. Она просит записывать даты. Рука в варежке неловко скользит по блокноту. Пар изо рта. Накатывается какая-то вялость, оцепенение. Вставать при ответе не хочется. Впрочем, учительница и не настаивает на этом. Куда-то уплывает ее речь, теряется смысл сказанного. Почему?

Или она говорит непонятно, или я плохо соображаю. Пожалуй, что я. До конца, вернее до супа, еще один урок — военное дело. Скорей бы он кончился. Скорей бы в столовую... Перемену сижу, не вставая, не меняя положение, — так уютнее. Звонок. Входит военрук, высокий, худой и жутко нервный человек. Мы его боимся после того, как на предыдущем уроке, когда мы недружно и замедленно встали после его команды, он вдруг весь побелел, затрясся и, выкатив белые от бешенства глаза, прорычал-прохрипел, срывая связки:

— Встаааать! Встать! — мы вскакиваем, как ошпаренные. — За мной в физкультурный класс шагом марш!

В нашем физкультурном классе, где еще в прошлом году мы так любили бегать, прыгать через козла, лазить по желтым шведским стенкам под строгие окрики и команды нашей любимой Татьяны Захаровны, свирепый холод. Здесь не топили уже с начала войны, и пар от нашего маленького и неровного строя белыми дымкам вырывается из наших ртов.

— Бегом марш! — командует военрук.

Какое там! Я пытаюсь бежать и с удивлением ощущаю, что не могу. Странно... Пробую еще и еще раз и снова убеждаюсь — не могу. Ноги не бегут. Впрочем, и остальные не лучше: ковыляют, делают усилия, но это не бег...

Звонок. В столовой нам дают горячую мутную воду с плавающими там листочками хряпы. Согреваюсь и несу домой в бидончике еще четыре тарелки этого «супа».

У дверей меня встречает мама. К ней подходит военрук и о чем-то ее спрашивает. Подхожу ближе.

— Вы не знаете, в свечах нет ничего питательного? Я съел дома все свечи...

Мама что-то отвечает ему, и мы выходим из школы.

— Съел свечи, — бормочет мама. — Господи, неужели и мы дойдем до такого?

Дома мы застаем папу. Он необычно рано пришел со службы и со смущением говорит, что ему там нечего делать: половины сотрудников нет, канализация и водопровод в городе практически вышли из строя, восстанавливать некому и...

На следующий день моя очередь идти за хлебом. В сотый раз ощупываю-проверяю — карточки в перчатке. Убеждаюсь, что они на месте и успокаиваюсь. В этот день, 25 декабря, увеличили нор-

му хлеба. Теперь папа получает 300 граммов, а все мы по 200. Встав в очередь, я отдаю карточки и деньги и неотрывно слежу за тем, как продавщица ловко отрезает ножницами розовые хлебные талоны, а потом режет и взвешивает хлеб. 900 граммов хлеба, — это чуть больше половины буханки плюс довесок с полпальца. Прячу хлеб в сумку, потом дважды пересматриваю вырезку талонов. Все правильно. Карточки в перчатку, довесок в рот. Поворачиваюсь — и останавливаюсь. Передо мной падает человек. Народ замолкает. Я наклоняюсь над ним: скулы обтянуты, рот открыт глаза тоже. Как у Ксени. Какая-то женщина, выходя из булочной, роняет:

— Всё. Не дождался.

Я выхожу вслед за ней, заглядываю в сумку, проверяя, там ли хлеб. В этом пористом сером куске — жизнь. Он-то и решил судьбу этого человека. И вдруг я весь холодею и застываю на месте. Рука без перчатки и без карточек! Что делать? Ведь это смерть! Смерть для всех нас... Вернуться в булочную, спросить? — бессмысленно: тот, кто нашел, не отдаст... Кричать? Кого? Что делать? Лихорадочно шарю в сумке, в карманах... О Господи! Вот она, варежка! В кармане! А в ней карточки...

Весь потный прислоняюсь к стене — нужно отдышаться... Сжимаю карточки до боли в руке. Скорей бы домой! Надо успеть до папиного ухода на работу.

Дома — неожиданность. Меня встречают улыбками и сообщают потрясающую новость: получено письмо от Гаррика, Мирриного мужа, и посылка с продуктами с фронта. Папа радостно открывает посылку, в ней консервы, сахар, шпроты и белые сухари. И мы устраиваем пир, о каком даже не смели мечтать! По случаю такого праздника я не иду в школу, а папа на работу. Баночку со шпротами мы уничтожаем сразу. Из мясных консервов мама варит суп со сногшибательным запахом. Сухари с общего согласия прячет далеко в буфет. На потом.

Темное тусклое утро. Дневной свет пробивается сквозь щели зашторенных окон. Раньше мы по утрам поднимали синие шторы, скручивая их в трубку, а к вечеру опускали, чтобы можно было зажечь свет. Теперь ни у кого на это нет ни желания, ни сил. Да и электричества тоже нет. Поэтому все дни у нас темные: до полудня — бледный свет, проникающий сквозь щели окон, во второй половине дня — дрожащее слабое пламя коптилок, маленьких



белых фаянсовых баночек с камфарным маслом. Керосин у нас давно кончился, но по чьему-то доброму совету мы успели закупить штук тридцать баночек с этим маслом и теперь освещаемся аптечным светом, который больше пахнет, чем светит.

Утром мы собираемся за завтраком. Втискиваемся в узкое пространство между стенками и письменным столом, за которым мы теперь едим, и приступаем к обычной трапезе. Мирра принесла на все наши карточки треть буханки, и папа аккуратно разрезал ее на четыре ровные кусочка. Пайка одиноко лежит на ладони и кажется невесомой. Мама приносит из кухни студень и ставит на стол горчицу и соль. Студень она варила из плиток столярного клея. Говорят, что в нем сохранился белок. Наверное, эта правда, потому что в мясе много белка, а столярный клей делается из костей скота, значит, какая-то польза есть в этом резко пахнущем желе, которое мы называем студнем, а если приправить его горчицей и посыпать солью, то получается даже вкусно. Клей у нас кончается, но зато горчицы очень много: месяц тому назад мама закупила единственное, что осталось на полках, — банки с горчицей. После завтрака все расходятся по своим делам, а я иду за водой.

С водой целая эпопея. Кран на кухне давно сухой. Трубы перелопались от мороза, весь дом ходит с ведрами. Месяц тому назад мы ходили за водой во двор, где в подвальном помещении прачечной работал водоразбор, единственный на весь дом. Потом и там замерзла вода, и теперь ближайшая вода во дворе дома 5/8 на улице Егорова. Вода — это моя забота. Я надеваю поверх куртки, в которой сплю, пиджак, потом напяливаю пальто, заматываюсь шарфом, надеваю ушанку, варежки и выхожу на улицу. Какой резкий свет! И мороз какой! Сразу начинает щипать щеки, нос, подбородок. Позвякивая ведром, я медленно бреду между высоких, загаженных сугробов. Поворот. На углу дома 5/8 знакомое окно. Здесь живет мой приятель Шурик Королев. До войны он учился в Академии художеств.

Все ленинградские окна с осени заклеены белыми X-образными крестами из бумажных лент, чтобы не выбило стекла воздушной волной. У Шурика окно особое: он выклеено ажурным орнаментом, имитирующим рисунок средневекового витража. Сверху в полуциркулярной раме — традиционная роза из бумажных лент; снизу — орнаментальные кружева. Сразу видно, что здесь живет художник.

Арка двора. Под аркой — дверь. Три ступеньки вниз. Темно-та. Где-то журчит вода из открытого крана. И вдруг в нос шибает сильный резкий запах жареного мяса! Я застываю на месте. Где-то здесь, рядом, в какой-то подвальной комнате жарят конину! Стены, кран, до которого я добрался почти что наощупь, плывут перед глазами. Я сажусь на приступок. Кружится голова. Запах, мучительный запах раздирает ноздри, сушит глотку, вызывая спазм, боль в желудке... Надо скорее уходить. Невозможно оставаться здесь ни минуты. Резко встаю, добираюсь до крана, подставляю ведро. До чего же медленно течет слабенькая, с карандаш толщиной, струйка... Журчит вода... Под краном — лед горкой. Опять поплыло... Полведра есть. Хватит, больше все равно не донести. Выбираюсь на морозный воздух. Как светло и ярко вокруг! Тяжелое ведро тянет руку. Назад идти труднее, хотя и подгоняет мороз. Но проклятый запах не исчез. Я весь пропитан им. Кони-на... Мясо... Лучше не думать.

Дома я отношу ведро на кухню. Раздеваюсь и приступаю к по-иску. Сколько хлебных корок залежалось у нас в буфете до войны! На кухне в столах валялись какие-то отбросы, очистки картошки, в коробках с елочными игрушками могли затеряться конфеты... Вот она, коробка... Флажки, шарики, бусы, золотой дождик... мандариновая корка. Ура! Сухая мандариновая корка! Она тает во рту. Я не жую ее, а сосу, продлевая удовольствие. А руки сами шарят дальше... Все. А черный ход? Там стояли помойные ведра, и хранилась картошка. Неужели ничего не найду?

Мандариновая корка растаяла, оставив во рту непередаваемый вкус. И я бросаюсь в столовую, выдвигаю ящики столов, тща-тельно обследую все уголки и закоулки буфета, книжные полки, заглядываю в плиту, в топки печей (мы когда-то, балуясь, пекли в них картошку). Полная пустота. Умные люди до войны делали запасы. Мы, наверное, никогда не были умными людьми. Поэто-му голод мы встретили с пустыми шкафами. А ведь как было про-сто — пойти на улицу и купить два-три килограмма крупы. Или пять батонов...

Кажется, еще никогда я так не хотел есть, как сегодня. Память четко восстанавливает форму, цвет, запах, размер продуктов, свя-занных с конкретными местами. И каждый раз, открывая новый ящик, я с надеждой протягиваю руку. И натываюсь на пустоту...

Черный ход. Грязь, хлам. Остатки коры от бывших дров. Старая керосинка. Топор. Лопата. Выброшенная электроплитка без шнура. Стоп! На плитке что-то прилипло. Вытаскиваю ее к свету — что-то стекловидное, зеленоватое. Монпансье! Это же монпансье, остатки! Я их плавил когда-то на плитке для своих ребячьих дел. Бережно отскребаю драгоценные зеленоватые стеклышки — блаженная сладость растекается во рту... Забытые ощущения — вкус и запах! Все-таки не зря я проискал целое утро...

Постепенно происходят разительные изменения в наших интересах к событиям окружающего нас мира. С самого первого дня войны я постоянно делал вырезки из «Ленинградской правды»: сообщения Главного командования, сводки Информбюро; ежедневно отмечал флажками изменения линии фронта на карте. Вырезок накопилась целая куча: часть их я хранил у себя на столе, другую прикреплял гвоздем к стене. Но со временем газеты перестают приходить: почтальоны, наверное, вымерли. Да и наш интерес к событиям на фронте постепенно тускнеет в сравнении с интересом к нормам продуктов. Голод притупляет сознание, бомбежки и обстрелы становятся привычными, а интерес к радио сводится, в основном, к мучительному ожиданию прорыва блокады и связанной с этим надеждой на выживание.

Дни идут. С каждым днем все труднее становятся утренние походы за хлебом. Однажды, возвратившись домой, я застаю невероятную сцену: папа и мама ссорятся. Опустив сумку с хлебом на пол, молча застываю в дверях. Они стоят друг против друга и, бурно жестикулируя, кричат друг на друга. Меня не замечают. Между ними на полу груды старинных книг, вываленных из раскрытого книжного шкафа. Несколько книг разорвано. Отдельно валяются темно-зеленые коленкоровые обложки с золотым тиснением, оторванные с мясом от пухлых томов. Постепенно до меня доходит смысл происходящего.

— Что ты делаешь? Ты сошел с ума! — кричит мама. — Как можно топить печку книгами?

— А чем мне прикажешь топить? Что еще можно сжечь? Столы сожгли, стулья тоже. Угловой шкаф сожжён еще месяц назад... Чем топить? Или сдыхать от холода?!

— Но это же Шиллер! Это же папины книги! Вон там дарственная надпись мне от него! Что ты делаешь? Опомнись!

— К черту книги! — иступленно кричит папа. Он хватается очередной том, подносит его к лицу мамы и яростно рвет на ее глазах.

— К черту Шиллера! Будь проклято всё! Будь проклято!!!

Мне становится страшно. Он безумен в гневе. Еще минута, — и он ударит маму. Или произойдет что-нибудь еще хуже. Я бросаюсь к маме, обнимаю ее и загораживаю от отца. Минуту он окаменело стоит с поднятым томом, потом швыряет книгу на пол и большими шагами выходит из комнаты.

Мама, маленькая, с лицом, залитым слезами, в изнеможении садится на диван.

— Боже, что с ним стало? Он же никогда таким не был! Боже! Помоги ему и всем нам!

Тридцать первое декабря 1941 года. Праздничное освещение — три баночки с камфарой и огарок свечи. По блюдам аккуратно разложены кусочки хлеба, сбереженные с утра специально для встречи Нового года. Кипяток разбелён соевым молоком — подарком Лены Липшиц. Из нашей аптечки извлекаются прибереженные к Новому году три бутылочки пертуссина — это же чистый сахарный сироп. Пертуссин разливается в вынутые из глубин буфета хрустальные рюмочки. При свете свечи он сверкает на просвет красным рубином, как настоящее вино.

Часы в нашем темном дубовом шкафу торжественно бьют полночь. Папа поднимает рюмку и произносит тост:

— Ну, чтобы все мы остались живы!

— И чтобы в Новом году кончилась война! — добавляет Мирра.

— И чтобы мы счастливо жили все вместе, и чтобы наша голубка была с нами, — произносит мама.

— И чтобы прорвали блокаду, и было много-много еды, — мысленно добавляю я.

Мы чокаемся и медленно, крохотными глоточками пьем холодный, очень сладкий пертуссин. Закусываем хлебом.

Каждый тост звучит как молитва, как заклинание. И каждый из нас ощущает нереальность, несбыточность своего пожелания, обращенного куда-то туда, наверх, к каким-то сверхъестественным силам, к судьбе, может быть, к Богу. Потому что больше надеяться не на кого. Слишком мал шанс на осуществление наших желаний.

Почти до конца исчерпан лимит надежд. Слишком тяжел психологический пресс, который давит на нас вот уже четыре месяца.

Часы бьют час ночи. Каждый, не раздеваясь, залезает в свою постель, под груды всевозможного тряпья, чтобы согреться во сне и уйти, убежать от страшной, беспросветной действительности.

## ЯНВАРЬ

Я лежу в черной суконной куртке и брюках под двумя одеялами и накинутыми поверх моим пальто и папиной кожаной курткой.

Вот уже неделя, как я не хожу за хлебом, за водой. Я вообще не хожу. Это случилось, когда, притащив на наш проклятый третий этаж полведра воды, я сполз на пол рядом с ведром и протянул папе окоченевшие, скрюченные пальцы. Он содрал с меня жесткие варежки, покрытые панцирем льдинок, обмотал руки сухим одеялом, помог подняться, дотащил до дивана. Там я свалился и с тех пор не встаю. Ноги не только не ходят, они не стоят. Мне трудно двигаться. Мысли медленно и тягуче расплзаются. Острое чувство голода притупилось.

Дома холодрыга. Печку мы давно не топим. Разломанный и распиленный на чурки наш большой обеденный стол расходует-ся только на подогревание пищи на буржуйке.

Теперь, когда я свалился, все домашние заботы и связь с внешним миром — на Мирре. Мы все уже давно не раздеваемся ни днем, ни ночью. Мы обовшивели... Откуда вши? Их никогда не было. Папа говорит — из очередей. Да и моемся мы редко и плохо. Мыться ледяной водой — пытка. Мы и так все время мерзнем. Холод сковывает, тормозит наши движения, наши поступки, мысли и действия. Инстинктивно мы остерегаемся притрагиваться к металлическим предметам, только по необходимости выходим на стильную кухню. Туалет уже давно не работает, и мы пользуемся стоящим в ванной ведром, которое раз в день выносится на улицу и выливается в открытый канализационный люк. Когда я еще ходил, это было моей обязанностью. Подходить к люку и противно и опасно: все пространство вокруг него — сплошные неровные наледы из содержимого недонесенных или опрокинутых ведер. По обе стороны узкой скользкой протоптанной тропинки высокие грязные желто-коричневые сугробы.

Мама и Мирра встревоженно хлопочут вокруг меня: приносят мне хлеб и наше обычное утреннее блюдо — студень из столярного клея. У нас есть еще в запасе несколько таких плиток, — Мирра выменяла их на барахолке за какое-то тряпье. Я ем вяло. Меня клонит в сон, одолевает дремота. Я отключаюсь. И тусклые дни, похожие один на другой, сменяются такими же ночами. В минуты просветления я отдаю себе отчет, к чему идет дело. Меня страшит неотвратимость наступающего итога. И в то же время я не представляю себе реальности грядущего и упорно твержу про себя: этого не может быть, этого не может быть, этого быть не может... Как же так? Сегодня я есть, а завтра уже без меня, жизнь потечет дальше в этой маленькой и тесной комнате с четырьмя установленными, как в вагоне, койками, с темным окном, закрытой шторой, которую уже давно никто не открывает, но сквозь дыры и щелки которой брезжит тусклый свет?..

— Мальчик, проснись. Дай твою руку.

И мамин голос:

— Лёвушка, открой глаза, врач пришел.

Передо мною худенькая, небольшого роста и неопределенного возраста женщина с глубоко запавшими глазами, в темном пальто с меховым воротником. Она засучивает мне рукав ледяными пальцами, измеряет давление. Потом я расстегиваюсь, и холодный кружок стетоскопа тихонько давит мне на грудь.

— У него ногти на ногах стали почему-то нарывать. Взгляните, какие синие.

— Цинга. Дистрофия. Чего же вы хотите, — быстро говорит докторша. — Оденьте его, укройте потеплее. Вы слышали, что они сделали? Ведь сегодня хлеба вообще не дали! Ужас какой-то!.. Что же дальше?..

Взгляд в мою сторону. Потухшие, скорбные глаза. Она встает.

— Ну что я могу сказать? Ваш мальчик не болен. Ваш мальчик голоден...

Удаляющиеся шаги по коридору. Она что-то продолжает говорить, но я уже не слышу слов — только всхлипывания мамы.

После войны, в одну из минут откровения, Мирра вспомнила конец фразы, произнесенной тогда врачом: «Если не произойдет чуда, жить ему осталось три-четыре дня».

Утро следующего дня. Папа, сторбившись, в сером ватнике, в валенках и нахлобученной на глаза черной меховой шапке, мол-

ча сидит за столом, отвернувшись от меня. Мама рядом. Она держит мою руку в своих полутеплых ладонях и гладит ее. Мы молчим. Мирра ушла куда-то. Почему-то ее долго нет. Мама пытается что-то рассказать мне. Но я дремлю и плохо улавливаю смысл ее слов. Она меня периодически будит. Мне это неприятно. Особенно мне тяжело встречаться с ней взглядом: она заглядывает мне в глаза с такой скорбью, с таким страданием, с такой мольбой, что мне становится не по себе — вроде бы я в чем-то виноват перед ней.

Звонок в дверь — и в комнату вбегает, нет, врывается Мирра, возбужденная, радостная, активная.

— У меня новости!

Она потрошит сумку и вынимает из нее какие-то необыкновенные вещи.

— Левушка, вот тебе белый сухарь! Вот еще один — папе! А это нам с тобой, мамочка — один на двоих!

— Откуда? — Мама всплескивает руками. — Откуда это?

— Это еще не все! Вот две витаминные плитки. Их нужно нарубить на куски и принимать от цинги. А вот две свечи, настоящие, из белого парафина. А это тебе, папа, прислал Яков Бенедиктович для подкрепления.

Мирра торжественно выкладывает на стол пачку табака и двухсотграммовую бутылочку с медицинским спиртом!

Я с изумлением рассматриваю толстый пористый пшеничный квадрат шириной во всю буханку. Белого хлеба мы уже не видели полгода, если не считать тех нескольких сухарей из посылки Гаррика, присланной месяц назад. Отгрызаю, отламываю кусок и сощу его с наслаждением, одновременно слушая Миррин рассказ.

— Я узнала, что Яков Бенедиктович, Полин муж, работает в стационаре на Обводном канале. Он там заведует аптекой. Сейчас в городе открыто несколько таких больниц для дистрофиков. Обещал узнать у начальства, можно ли положить туда папу и Леву. Там дают усиленное питание! Вы слышите? Усиленное питание! Завтра я побегу туда снова и приду с ответом. А пока он дал мне все это с собой. Сухари — его собственные. Свечи он делает для больниц сам, отливает их в бумажные цилиндрики. Он обо всех расспрашивал, обещал помочь. Поля с Гришей в эвакуации, а он живет в больнице, ночует у себя в аптеке. Он говорит, что стационары только что открылись и люди там оживают...

— Мирра, я же не хожу. Если даже нас туда примут, как я туда доберусь?

— Я тебя отвезу на санках. Я все придумала. Мы тебя тепло оденем, спустим вниз, посадим на саночки, и я отвезу тебя в стационар. Папа, ты сможешь сам дойти до Обводного?

Мы собираемся в дорогу. Мама с Миррой укутывают меня; обняв за плечи, выводят на лестницу. Держась за перила, мы медленно спускаемся вниз. Около парадной меня ждет папа, и стоят мои детские санки с привязанной к ним веревкой. Полусижу, полулежу в них. Мирра укрывает меня одеялом, привязывает веревкой, и мы трогаемся в путь. После домашней полутьмы глаза жмурятся от непривычного света. Мимо плывут высокие сугробы, впереди мелькают Миррины полусапожки и высокие серые папины валенки. Мы минуем нашу улицу и на проспект Красных Командиров сворачиваем налево, к Варшавскому вокзалу. Двигаемся с остановками. Папа держится за Мирру, часто останавливается. Ему трудно. Дойдет ли? А вдруг упадет, что тогда? Ведь ему уже пятьдесят пять, он уже стар...

## ФЕВРАЛЬ

Стационар. Огромный зал, в котором установлена, наверное, сотня коек. Нас с папой помещают рядом. Между нами — тумбочка, куда мы складываем наше имущество: ложки, бумагу для писем, карандаши и стеклянную баночку, захваченную мной с особой целью.

В нашем ряду от окон до противоположной стены коек двадцать, а рядов всего десять или двенадцать. В нескольких местах зала установлены большие буржуйки с черными трубами, выходящими через окна на улицу. Около них оживление, толпятся сгорбленные, худые фигуры, подкидывают чурки, греют руки. Большинство коек занято лежачими. Я тоже лежачий. В зале относительно тепло. Я с интересом разглядываю новую обстановку. Сколько же здесь доходяг! Старые и молодые, лысые и волосатые, низкорослые и высокие — все они похожи друг на друга как люди одного племени — истощенные, дистрофичные, с неуверенными движениями, замедленной походкой и серыми лицами, на которых ввалились глаза, обтянулись кожей скулы, носы и подбородки.



Наступает главный момент дня — обед. Все расплзаются по койкам, а в дверях появляется старшая сестра с помощницами, стопки тарелок на столике с колесиками и какие-то котлы, к которым приковано всеобщее внимание. У котлов движение — понесли порции первым рядам, вторым, третьим. Наконец очередь доходит и до нас. Мы с папой получаем роскошный обед: тарелка крупяного супа, по четыреста граммов хлеба каждому, а на второе — настоящая мясная паровая котлета! Я ее не жую, а сосу, отрывая маленькие благоухающие кусочки с непередаваемым, удивительным, забытым вкусом. На третье (!) блюдо нам приносят стаканы с зеленоватой, пахнущей сосной жидкостью. Это витамин «С». Соседи говорят, что этот противощинготный напиток из сосновых иголок открыл какой-то ленинградский профессор.

Вечер. Темнеют окна. Светятся красные жерла буржеек. Пахнет жареным хлебом. Многие подсушивают, поджаривают свой хлеб на горячем железе. Темные тени с горящими лучинками в руках движутся по залу. Огоньки вспыхивают у буржеек и растекаются по разным углам, высвечивая прямоугольники коек, гаснут и снова возникают, как светлячки в лесу.

Ужин. Снова роскошный. Настоящая пшенная каша с шершавыми желтыми крупинками и... по пятьдесят граммов вина! Вот это уже настоящее чудо! Папа одним глотком разделяется со своим вином, а я сливаю свое в кашу. Потрясающая вкуснота, и внутри становится тепло.

Ночь.

Темнота.

Храп, стоны, кто-то слабым голосом зовет сестру. Двигутся, встречаясь и расходясь, светляки лучинок. И вдруг — крик! В нашем ряду. Истошный и пронзительный:

— Он ушел недавно! Верните! Я не хочу... Я не буду... Почему трупы? Почему трупы?..

На койках зашевелились. Поднимаются с подушек головы, лучики-светлячки начинают движение к центру, и в их неровном мелькающем свете я вижу, как справа от меня, примерно с шестой койки, встает огромный белый человек в очках с вздетыми к небу руками. Это из его разверстого рта несется бессмысленный отчаянный крик, взбудораживший всю палату.

Прибегают сестры. Они пытаются уложить кричащего, но он иступленно расталкивает их, и над темным встревоженным залом несется его безумный вопль:

— Я архитектор... Я вас не знаю!.. Верните его! У меня рост Петра Великого...

— Сошел с ума, — говорит папа. — Психика не справилась. Надо помочь уложить его.

Он встает и направляется в глубь зала, туда, где происходит суматоха. Белые халаты вперемешку с темными тенями возятся у койки обезумевшего. Вспыхивающие лучинки выхватывают из мрака темный длинный предмет — носилки, глухой шум борьбы, выкрики...

Четверо, сопровождаемые факельным шествием, выносят человека из палаты.

Папа возвращается и ложится. Мы пытаемся заснуть. В темноте слышится голос:

— Не донесли до изолятора. Отдал концы на носилках...

К утру еще двоих выносят из палаты. Они умерли тихо.

Наступает другой день и третий. Каждое утро я ссыпаю свою ложку сахарного песка в банку, чтобы отдать Мирре, когда она придет. К нам не пускают, но мы обмениваемся записками, которые папа приносит из приемного покоя. Я жадно набрасываюсь на эти листки, исписанные знакомым красивым учительским почерком:

«Мой родной! У нас все благополучно. Мы здоровы и относительно сыты. О нас беспокоиться не следует, надо поправиться тебе и папе. Сегодня мы с мамой приготовили на завтрак поджаренный хлеб и мучную кашу. Вчера я принесла от Лили немного рисовой плюс твоя школьная тарелка супа — вместе что-то дают, оставляя чувство сытости надолго. А я вообще в этом смысле счастливица — есть не хочется. У Лили все нормально. Я счастлива, что эти дни она полностью ела свой обед — ей тоже надо немного окрепнуть. Она дала мне 700 граммов хлеба, 50 грамм масла и 35 грамм песку, так что мы вчера пировали. Кончаю. Тороплюсь к вам. Любящая тебя сестра. 10 февраля 1942 г.»

И другая записка. Такой же знакомый, но другой, детский почерк:

«Братик мой! Ты будешь спасен, ты поправишься, ты силен духом, спаси нам папу, поддерживай его морально, не давай ему быть угрюмым, говори с ним. Будь здоров, дорогой, не могу много писать. Целую тебя. Лилия. 9 февраля 1942 г.»

После очередного утреннего обхода врач прописывает мне адонис — сердечное. Странно, ведь у меня ничего не болит, только слабость. Впрочем, я замечаю некоторые сдвиги: мне уже не хочется, как в первые дни, только лежать на койке; я сажусь, спускаю ноги и пробую встать. Пока безуспешно — кружится голова. Но появилось желание, а это уже что-то. Люди в палате неразговорчивы, замкнуты, сосредоточены на себе. Слова и мысли только о еде, самочувствии, карточках. Изредка кто-нибудь упоминает о положении на фронтах. Старик в темном пиджаке, с замотанным синим шарфом горлом присаживается к папе на кровать.

— Самсон Львович! Вы меня узнаете?

Пауза. Папа вглядывается, пытается вспомнить, потом смущенно качает головой.

— Мы работали с вами в «Дорводмосте».

Он называет себя, папа узнает его. И начинается разговор.

— Почему в январе два дня вообще не давали хлеба?

— Остановилась 5-я ГЭС. Кончился уголь. Вода перестала поступать на хлебозавод.

— Как же наладили?

— Ведрами таскали. А угля и сейчас нет. Дровами топят. Разобрали деревянные дома по окраинам и топят.

— Надолго ли хватит?

— Кто знает. Я свалился две недели тому назад. Привезли сюда на санках как покойника. Сейчас хожу.

— Дров нет, а огня много. Пожары каждый день. Откуда пожары? Немец сейчас вроде бы поутих, не стреляет.

— Постреливает.

— От буржук больше. Топят мебелью, не следят. Или затопят, а сами свалются, заснут. Так и сгорают.

— Электричества нет, угля нет, воды нет, еды нет, — перечисляет папа.

— Электричество есть. Для Смольного. И еда есть, и вода...

— Как ваша семья, Иван Степанович? Где они — здесь или уехали?

Старик молчит. Греет руки меж острых колен. Я жду ответа. Папа поворачивает заросшую седой щетину голову, некоторое время смотрит на соседа, потом отворачивается.

Старик медленно поднимается и, опираясь на спинки кровати, ковыляет к своей койке.

— Что же ты спрашиваешь? — вырывается у меня, — Разве можно сейчас такое спрашивать?

— Помнится, жил на Карповке, — как-то невпопад роняет папа. — Трое детей...

Среди многообразных звуков — стонов, ругани, бессвязного бормотания умирающих, глухих, тусклых и унылых голосов — меня уже несколько дней удивляет и привлекает громкий и уверенный бас справа. Он перекрывает остальные голоса и шумы в палате не только мощью своих голосовых связок, но и бодрыми оптимистическими интонациями и главное — сутью. До меня долетают обрывки фраз, кажущихся чем-то невероятным в этой обстановке.

— Нет, это не так! — уверенно и авторитетно утверждает голос. — Джотто родился значительно раньше Леонардо. Лет на двести. Джотто стоял у истоков раннего Ренессанса. Его воспитывали такие литературные титаны, как Данте, Петрарка, Боккаччо. Король обращался с ним как с равным. Это была крупная фигура. Но он был пигмеем по сравнению с Леонардо, который...

— Папа, кто это?

— Это архитектор Шольп, друг того, который сошел с ума.

— Ты можешь меня довести до него?

Я спускаю ноги с койки и с папиной помощью, держась за спинки кроватей, дохожу до Шольпа. Вокруг него, как всегда, несколько человек, ловящих каждое его слово.

Шольп поворачивается ко мне. У него интересное лицо, умные серые глаза, густая шевелюра, и вообще он не похож на дистрофика.

— А вот и мальчик пришел нас послушать, — говорит он приветливо, как будто мы с ним знакомы. — Ты школьник?

— Да.

— А чем ты увлекаешься?

Дикий вопрос... Чем увлекаюсь?.. Хлебом увлекаюсь. Кашей... Берегу тепло... Маме сахар коплю... Вот на ноги встал... Здесь моя мысль обрывается, и я тупо молчу.

— Он рисует, — вмешивается папа. — До войны занимался лепкой во Дворце пионеров.

— Вот как? — оживляется Шольп. — Так ты хочешь стать скульптором?

Нет, он определенно ненормальный. Такой же, как его друг «Петр Великий»...

Хочу ли я стать скульптором? Я выжить хочу. Хочу сил набраться. Чтобы ноги ходили, а ногти не нарывали и не сходили с пальцев. Чтобы все мои родные выжили среди этого ада. Чтобы хлеба прибавили. И чтобы кончилась война...

— Значит, мы с тобой коллеги, — уверенно объявляет Шольп.  
— Скульптура и архитектура — родные сестры, у которых одна общая мать — искусство.

Он, конечно, ненормальный, но поток его речи чарует и захватывает. И я сижу, открыв рот, ловлю каждое его слово.

— Ты бывал в Эрмитаже?

— Много раз. У нас от дворца там был кружок по искусству. Нас водила по залам и рассказывала о скульптуре ... Жаннета Андреевна Мацулевич. Удивительное дело! Из каких уголков памяти прорвалось это имя? Почему тут же поплыли перед глазами стройная торжественная колоннада, боковой яркий свет из широких окон на Неву и беломраморные статуи над широкой парадной лестницей? Как давно это было? В далеком детстве? Или всего год назад?..

— Кого из скульпторов ты любишь?

— Канову.

Вокруг нас собирается ходячий народ. До обеда еще далеко, а голос Шольпа как магнитом притягивает каждого, кто имеет уши. Я тоже весь во власти его гипноза — иначе это не назовешь, но при этом замечаю странность: живое лицо, «довоенная» мимика, убедительная жестикуляция больших красивых рук и полная неподвижность от пояса. Что-то с ногами?

— Великолепный скульптор. Жил при папе Пии Седьмом. Классик. Блестящий, может быть, лучший в мире мастер резьбы по камню. Все работы выполнены из каррарского мрамора. Непревзойденный шедевр «Амур и Психея» — наши, эрмитажные. Помнишь?

— Конечно! Скульптура, как кружево из мрамора.

— В центре Копенгагена, — продолжает Шольп, — стоит музей знаменитого датского скульптора Торвальдсена — единомышленника и одновременно оппонента Кановы. Титан. После себя оставил сотни великолепных скульптур. Они заполнили все три этажа музея, стены которого облицованы красным поли-

рованным итальянским мрамором. И на этом фоне его работы из каррарского, белого с тепловатым оттенком...

— Обед принесли! Обед!

Мы расходимся, расплозаемся по койкам, и я фиксирую сразу два чуда. Во-первых, сказка, нарисованная Шольпом, меня настолько увлекла, что я забыл о предстоящем обеде! И во-вторых — я хожу! Я ХОЖУ!

## МАРТ

Солнце бьет в окна. Мы переселились из маленькой Лилиной комнаты, где ютились всю эту страшную зиму, в спальную. Тетя Нехам — соседка, жена водопроводчика дяди Яши (дворовое прозвище «Шындер-Мындер-Трубка») пришла как-то к нам и энергично вмешалась в нашу жизнь — перенесла нашу буржуйку в спальную, постелила под ней серебристый цинковый лист и установила трубу в топку нашей белой кафельной печи. Сразу стало просторно, уютно, хорошо.

Буржуйка — центр нашей жизни, источник тепла, предмет нашего внимания и постоянной заботы. Ржавая, коричневая, с раскаленной трубой, она весело потрескивает, немного дымит, но греет комнату, помогая солнечным лучам. Как это мы раньше не догадались переехать и облегчить себе жизнь? Папа снял ватник, простер руки над буржуйкой, сидит неподвижно, наслаждается теплом. Мама что-то готовит. Мирра появляется с улицы и с порога радостно возвещает:

— Отгадайте, что я принесла?

И, не дождавшись ответа, извлекает из сумки и торжественно водружает на стол буханку белого хлеба с ярко-коричневой верхней коркой!

— Откуда?

— Оттуда. Из пекарни. — И встретив наши недоуменные взгляды:

— Не волнуйтесь, мне подарили.

Мы ни о чем не спрашиваем. Мы уже знаем, что Мирра способна на чудеса, и с радостью набрасываемся на очередное чудо. Мама режет буханку пополам. Одну половину прячет «на потом», а другую мы съедаем сразу, жадно впиваясь в ломти аро-

матного мягкого сладковатого белого хлеба. Мирра, отломив себе корочку, остаток ломтя подсовывает мне и стоит рядом счастливая. Она очень похудела за зиму, на щеках румянец, голос бодрый, она шутит и смеется. Она хороша собой, своей энергией, своей подвижностью, своей бодростью. Я верю в нее, люблюсь ею, я люблю ее больше всех, даже больше мамы. Ведь это благодаря ей я живу, хожу, вижу солнечный свет, думаю, существую. Сколько мне тогда, в январе оставалось до конца? А она сотворила чудо.

А сейчас я хожу! Правда, болят цинготные ноги. Правда, с пальцев сошли ногти. Правда, я худ, как щепка, а под глазами не проходящие сине-зеленые полумесяцы. Но я живу!

Сейчас, весной, когда мы вышли из полосы длинных темных ночей, сменяющих короткие серые дни, из замкнутого пространства узкой комнаты и немного ожили, круг наших интересов расширился до масштаба дома. У нас в квартире снова стали появляться люди. Оставшиеся люди. Заходит наша благодетельница тетя Нехама, в прошлом полная женщина с басовитым голосом и черными усиками над верхней губой. Заходят Зоя Веревкина, Фанька Кушак. В разговорах главные темы: нормы выдачи продуктов, перечисление умерших в доме, рассказы о пережитом, о разбомбленных домах на Шестой Красноармейской, на Двенадцатой, на Обводном, на Загородном. К нам врывается тот внешний мир, в котором мы пока не живем.

В который раз до нас доходят слухи о случаях людоедства, растущем бандитизме, нападениях на людей, выкупивших по карточкам продукты. Такую сцену я сам видел в конце ноября, когда еще ходил в магазин. Пожилая женщина, получившая в очереди передо мной кулек дурандовых «соевых» конфет и полбуханки хлеба, бережно уложила все в сумку и вышла из магазина. Следом за ней вышел и я. Она ковыляла медленно, прижимая к груди сверток. И вдруг к ней метнулась тень. Парнишка лет пятнадцати вырвал сверток и побежал в проходной двор. Женщина отчаянно закричала и побежала за ним. Они оба бежали на ватных ногах, но парнишка бежал быстрее и скрылся за углом.

Тетя Нехама рассказывает случай, когда трехлетняя девочка, играя с ножницами, расстригла оставленные без присмотра карточки. Случилось это в начале января. К концу февраля вся семья вымерла.

Дом наш за зиму опустел. Вымерли все Ивановы. Опустела соседняя квартира № 6. Осиротели Ранневы. Умер Грюнбаум.

Пустуют целые квартиры. Многие пропали без вести. Отдельным семьям удалось осенью эвакуироваться.

Новые слова — «дорога жизни», «эвакуация» — все чаще звучат в нашем доме. С весной закопошился, ожил притихший «муравейник». Оставшиеся в живых бросают обжитые насиженные места и уезжают — эвакуируются.

— Надо уезжать, — настойчиво, в который раз повторяет Фанька. — Самсон Львович, почему вы не едете? Что нас ждет здесь? Не сегодня-завтра попадем под обстрел, под бомбежку... Этой крупой, что стали давать по столовой ложке, разве всех накормишь? Уж если мы здесь такое пережили, разве там может быть хуже?

— Куда ехать? — сердится папа. — Я обезножен, он обезножен, Татьяна Максимовна слаба... Как мы поедем? Куда? Кому и где мы нужны?

— Но там же хоть смерть не висит каждый день над головой, — не сдается Фанька, — Смотрите, наши отогнали немца под Москвой, а под Ленинградом он стоит, и что тут будет, неизвестно...

Папа устало машет рукой. Разговор окончен. Он не любит Фаньку, она раздражает его своим напором.

Действительно, куда ехать? И как? Отъезд представляется мне чем-то смутным, тревожным и невероятным. Если я с трудом начал выходить на улицу, если не в состоянии ничего носить, таскать, помогать, как мы поедем? Папа молчит. Маму эти разговоры пугают и нервируют. Мирра решительно выступает за отъезд. Она, как всегда, берет на себя всю ношу и всю ответственность. Странно убеждаться в том, как переменились роли в семье. Папа, чье слово всегда было свято, чье мнение было законом, сейчас вроде бы отошел на второй план. Лидером семьи стала Мирра. Она нас всех ведет, объединяет, кормит, спасает. Она всегда бодра, энергична, сильна. Она ни на что не жалуется, никогда не ропщет, не плачется. Она всегда на подхвате, на подъеме, всегда в действии, ее энергией мы живем.

Вбегает Фанька. Она всегда в курсе всех событий, это такое домашнее радио. Выглядит неплохо. Ее муж, офицер, всю блокаду воевал где-то под Ленинградом, постоянно подкидывал ей свой паек.

— Вы слышали, что сказала Люська Грюнбаум во дворе? — спрашивает она, стоя на пороге. — Она сказала, что если немцы



возьмут Ленинград, она первая покажет все еврейские квартиры! Как вам это нравится?

— Люська? Вот сволочь! Так это правду говорили мальчишки, что Грюнбаумы — немцы?

— Сам Грюнбаум был такой же немец, как и мы с вами, — объясняет всезнающая Фанька. — А жена его — немка. А Люська — невесть кто...

— Невесть кто? Сволочь она! Побить бы ей стекла, врезать бы по толстой морде...

Я вскакиваю, делаю два быстрых шага, и мои пыл и возмущение сразу же гаснут. С такими ногами и нынешними силами не докинуть камня даже до второго этажа, а уж до четвертого...

Перебирая свои старые вещи, я случайно натыкаюсь на альбом для рисования. Давненько я не брал в руки карандаша... А не нарисовать ли мне себя? Сажусь перед зеркалом. Рисую долго и тщательно. После часа рисования отрываюсь от карандаша и резинки и оцениваю свой «шедевр». Сходства я не добился, однако что-то заставляет меня не разорвать рисунок сразу, а оставить хотя бы на время. С листа на меня смотрит незнакомый мальчик в черной куртке, с тонкой шеей, смотрит хмуро, исподлобья. Глаза запали. Под ними темные полукружья. Это не я. Кто же это? Ответ прост: это я — блокадник.

Между тем у нас происходит событие. К нам в гости приходит известная всему дому могущественная личность — сама Тоська Раннева. До войны ее никто не знал. Она жила вместе с дочерью в маленькой комнате во дворе. Сейчас ее знает весь дом. Ее расположения добиваются, перед ней заискивают, ее дружбы ищут. Секрет ее могущества прост — она работает в пекарне на Второй Красноармейской. Здоровая крупная баба из скромной труженицы быстро превратилась в человека с мертвой хваткой. Ее практичности, деловитости и наступательной энергии можно только удивляться.

Пекарня сохранила ей силы, обеспечила важными знакомствами и связями, открыла перед ней нужные ворота. На фоне общей беды и постепенного опустения дома она добилась официального разрешения переселиться из своей темной комнаты в просторную и светлую квартиру Раулиных на четвертом этаже по парадной лестнице. Переезд осуществился в начале марта. А сейчас Тоська обставляется — скупает за продукты приглянувшуюся ей мебель

у оставшихся в живых. Действует она широко и напористо, не боясь огласки или осуждения.

В сопровождении мамы и Мирры она неторопливо прогуливается по комнатам, ведет дружеский соседский разговор, интересуется моим здоровьем, шутит. Потом за ней захлопывается дверь, и до меня доносятся отголоски разговора.

— Нет, — говорит мама, — об этом не может быть и речи... Пианино за полтора кило? Это же грабеж!

— Мамочка! Но это же греча! Ты понимаешь — греча! Надо же поднимать их... Они оба еле ходят.

— Я понимаю. Ты же знаешь — я готова всю душу отдать... Но это пианино не просто пианино. Это же папа покупал для меня, это же память об отце.

— Мамочка! О чем ты говоришь? При чем тут память, когда надо спасти живых. И потом ты говоришь, полтора кило. А белая буханка?

— Так это был аванс?

— А ты как думала? Сейчас такое время, когда так просто дадут белую буханку?

Через два дня четверо мужиков, подхватив наше пианино длинными поясами, вытаскивают его на площадку и уносят наверх, к Тоське. Сделка состоялась, и, по общему мнению, она очень удачна: два кило гречи плюс буханка плюс, плюс сто рублей деньгами! Тоська — все-таки широкая натура! Впервые за год мы едим настоящую разварную ароматную кашу, смакуя каждое зернышко, а у нас еще много-много крупы — еще каш на пять хватит!

## МАЙ

1 мая мне исполняется шестнадцать лет, и через несколько лет я могу получить паспорт. 3 мая снова открывается школа. С первого же дня я спешу туда. Черный репродуктор сообщил, что школьникам будут выдавать ДШП — дополнительное школьное питание без карточек. Я иду налегке, без портфеля, без учебников, без тетрадок. Главное — встать на ДШП, а про занятия все в первый день расскажут. И вообще открытие школ носит чисто символический характер, хотя это и красиво звучит: Ленинград живет, Ленинград борется, Ленинград учится.

Как неузнаваемо изменилась школа! Нет ни обычного шума, ни гомона первых дней. Нет несущихся, дерущихся, орущих, спущенных повсюду малышей. Нет празднично одетых к первому дню преподавателей. Нет переключки, развода по светлым, чистым, пахнущим свежей масляной краской, умытым классам. Нет волнений первых встреч с шумными и озорными друзьями. Где-то в холодных и грязных залах, неприветливых классах с частично забитыми фанерой окнами, с рваными картами и учебными пособиями, висящими на одном гвозде, жмутся к стенкам серые тени. Некоторые сидят за партами, неподвижно устремив глаза к дверям, некоторые, вроде меня, медленно ходят взад и вперед. Все мы какие-то неловкие, неуклюжие, неразговорчивые. Говорить не хочется, да и не о чем. Все мы ждем. В осунувшихся лицах, заострившихся носсах, провалившихся глазах тоска и ожидание — когда же поведут в столовую?

Напряженная тишина взрывается грохотом распахивающейся двери. В класс вваливается, врывается с хохотом группа ребят во главе с Авкой Спиридоновым.

— Эй, Левка! Здорово! Живой?

— Здравствуй. Как видишь.

Меня поражает его здоровый, даже цветущий вид. Он в офицерских хромовых сапогах, на голове черная кепка; движения быстрые, он полон сил, энергии, говорит напористо, в каком-то новом залихватском тоне. Рослые ребята вокруг него так же отличаются от нас своим видом, все они какие-то упитанные, розовощекие, здоровые. И абсолютно довоенные.

— Вот это Левка из нашего класса, — говорит Авка высокому плотному парню с маленькими темными сверлящими глазками и недобрым выражением лица. — А это Гоша Финогенов, Витька Антонов, Володька. А Юрку узнал?

Узнал. Как не узнать. Юрка Поддубный, хулиганистый и вредный парень из нашего класса. Всегда отличался наглостью и жестокостью своих шуток, если их можно было считать шутками. Дрался лихо только с более слабыми, а, наткнувшись на моего друга Колю Фукса, который в два счета набил ему морду, собрал компанию и вечером во дворе школы расправился с Колькой впяттером. Юрка вырос, окреп и, если бы не наглая ухмылка, даже стал красивым.

Незнакомая маленькая седая учительница собирает нас, восьмиклассников, пересчитывает (нас двенадцать) и приглашает

в столовую. Настает тот миг, которого мы так вождеденно ждали. Нам приносят размазанную по плоским тарелкам овсяную кашу и по стакану темно-розового киселя. Напротив меня сидит Авка. Я смотрю, как он лениво пробует овсянку, съедает одну ложку, потом быстро выпивает свой кисель и вдруг предлагает:

— Хочешь полкаши?

— Хочу. А ты почему не хочешь?

— Да наелся утром картошки. Каша не лезет.

Не веря своим ушам, я не выдерживаю и задаю нелепый вопрос:

— Картошки? Откуда?

— Батя привез, — небрежно бросает Авка. — Так возьмешь полкаши?

— Конечно, возьму! Спасибо тебе большое.

— За кисель.

Я думаю мгновенье — жаль киселя, но каша нажористей.

— Давай.

Авка в два глотка выпивает мой кисель и ловко, легко выпрыгивает из-за стола.

Занятия. Нам предлагают принести учебники, тетради; рассказывают, чем мы будем заниматься, какая программа. Все это чушь, ерунда, плата за предстоящий обед. В двенадцать нас снова ведут в столовую. Жидкий крупяной суп, пшенная каша, стакан хвойного сока. Не густо. Но все это без карточек! Это дополнительно! Значит, дома я сегодня с легкой душой и чистой совестью поем еще, поскольку за последнее время стали отоваривать все талоны. Мы теперь получаем много хлеба: шестьсот граммов на папину рабочую карточку, четыреста — на Миррину и по триста нам с мамой. К празднику выдали пшено, сахарный песок, сливочное масло по сто граммов, пряники, давно забытый чай.

Вот окрепну немного и пойду работать, буду получать рабочую карточку. Только бы окрепнуть! А на школу наплевать — надо выжить.

Месяц, проведенный в школе, вспоминается смутно. Я не помню ни лиц, ни занятий. Ярко запомнился только эпизод, связанный с Авкиными друзьями, которые верховодили в школе, играли в карты, носились по коридору, сбивая с ног еле движущихся дистрофиков, издевались над слабыми, выменивали за хлеб и кашу нужные им вещи. Главой этой группы был Финогенов, сын

директора магазина. Авка всегда заискивал перед ним. Круглолицый Антонов — сын какого-то исполкомовца. Поддубный — сын видного партийца. Остальных не запомнил. Но навсегда запомнил сцену, когда выйдя из класса, наткнулся на их компанию, взявшую в плотный круг какого-то высокого и тощего, как хлыст, бледного, в надвинутой на глаза шапке парня.

— Деньги будем отдавать? — спросил Финогенов.

В ответ что-то нечленораздельное.

Хлеть! — кулаком по скуле. Парень пошатнулся. Хлеть, хлеть! — работают кулаки Поддубного. Несчастный парень стал падать, но ему не дали, навалились всей кучей и молотили кулаками, коленями, ногами...

Сволочи... Гады... Сытые, здоровые, сильные... Дистрофика...

С Авкой я дружил до войны. Он был мастер на все руки. Изобретатель. Приучил меня к опытам с электричеством. С его подачи и под его руководством я сделал настоящий светофор, работающий от батареек. Он увлекался физикой, был любимым учеником Евдокии Исааковны. Умел выпиливать, строгать, паять, чинить все, что ломалось у нас в руках. В пятом классе он изобрел и сделал домашний автомат по продаже спичек. Коробка спичек стоила десять копеек. В Авкином автомате коробок выскакивал, когда в щель опускался двугривенный. Когда спички кончались, зажигалась надпись: «Спичек нет!»

Он был одним из лучших спортсменов класса. Мы регулярно встречались с ним на новогодней елке у Лии Терпуговой, моей симпатии, угощались пышными пирогами и другими вкусностями, приготовленными ее мамой Антониной Карповной, и делали первые шаги в танцах с девчонками, наступая им на ноги и стараясь не касаться их пальцами.

Прошел год. Год, равный жизни. Все изменилось. Между нами пропасть. И нет рядом моих друзей — Вальки Федорова, Коли Фукса, Коли Ласточкина, Лии, Крамы. Все они где-то далеко в разных уголках страны...

Второе июня 1942 года. Через двадцать дней годовщина начала войны. Мирра переходит на другую работу, становится воспитателем детского дома на улице Правды. Я тоже решаю начать работать. Школа закрылась, и я чувствую себя немного лучше.

— Только недалеко от дома, — первое условие мамы.

Недалеко так недалеко. Напротив Технологического института находится известная всем ленинградцам Палата мер и весов. В глубине обширного двора, за железным забором возвышается башня с самыми точными часами в городе. У часов черный циферблат и белые стрелки. Перед войной у нас с папой был свой маршрут прогулок: до башни, где папа сверял свои часы, потом по бульвару к Витебскому вокзалу смотреть паровозы. Во дворе Палаты — завод «Эталон», где в отделе кадров мне предлагают стать учеником механика часовой мастерской. Что это такое, я понятия не имею. Но впереди маячит рабочая карточка, и я без колебаний соглашаюсь.

Светловолосая женщина в синей спецовке, начальница весовой мастерской Розалия Яковлевна проводит меня и другого паренька, Вовку, в музей завода и показывает различные весы: пружинные, обычные магазинные с двумя металлическими чашками и сходящимися носиками-уточками, маленькие лабораторные с коромыслом и крохотными гирьками и самые точные — аналитические. Весы эти стоят в стеклянном ящике, герметически закрытом, чтобы не попадала пыль, на особом, выверенном уровнями столе. Эти весы, коромысловые, с двумя черными пластмассовыми чашками, в обычное время зафиксированы. Для приведения их в рабочее состояние поворачивают никелированный рычажок, чашки поднимаются и слегка вибрируют на нитях. Можно открыть дверцу шкафа и специальным пинцетом, покоящимся в черном бархатном ложе отдельной коробочки, вынуть из той же коробочки одну из многочисленных никелированных блестящих гирек. Каждая гирька имеет свое гнездо в той же коробке. Гирьки от пятидесяти граммов до одного миллиграмма представляют собой квадратные пластиночки из светлого металла с выбитыми на них цифрами веса. Ключ от этих весов хранится у Розалии Яковлевны. Она одна имеет право пользоваться ими.

Аналитические весы вызывают у нас с Вовкой почтение и некоторый испуг.

— Вот дадут чинить такие, — тихо бормочет он, — а мы нарпорти́м что-нибудь...

Розалия Яковлевна проводит нас из музея в мастерскую и передает бригадиру — высокому, худому парню лет семнадцати. Он оглядывает нас с явным неудовольствием, подводит к железнодорожным товарным весам и командует:

— Снимайте крышку!

Мы с Вовкой с трудом неумело стаскиваем тяжелую деревянную крышку-платформу. Внутри рамы система рычагов, соединенных со стойкой, на которой находятся шкала веса и крючок для установки крупных дисков — гирь. Бригадир бросает нам ветошь, приказывает убрать мусор, насыпавшийся в раму из щелей крышки, протереть все рычаги тряпкой с керосином особенно тщательно, до блеска протереть «ножи» — ржавые стальные призмы, на которые опирается крышка. Мы выгребаем землю и щепки, протираем всю систему керосином и ставим крышку на место. Вовка вытирает пот со лба. Я присаживаюсь на край платформы.

— Что сел? — вскидывается бригадир. — Принимайся за друзей! Помощники!

До обеда мы успеваем сделать еще одни весы, после обеда еще пару. К концу смены у нас с Вовкой языки на плечах.

— Ну вот! — ворчит Вовка. — Вот тебе и аналитические...

Так шли дни. Июнь — месяц обстрелов. Немцы уже давно не бомбят Ленинград — себе дороже, но зато регулярно и методично его обстреливают. Их орудия стоят у Средней Рогатки, у Пулково и еще где-то рядом. Ежедневно в разных районах рвутся снаряды и гибнут люди. Рассказывают о прямом попадании снаряда в движущийся трамвай. Кровавое месиво вывозили на грузовиках. На стенах домов появились синие прямоугольники с белыми надписями «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Наше место тоже опасное. Немцы постоянно бьют по Обуховскому мосту, в трехстах метрах от нас. Достается и нашему заводу. За недели, что я здесь работаю, снаряды трижды разрывались на его территории. Один из них попадает в башню. На один день останавливаются знаменитые, самые точные в городе часы, но на другой — они снова в ходу. Не удается немцам остановить время!

В середине второй недели папа спросил меня:

— Как тебе нравится работа?

— Никак. Тяжело. Грязно. Тупое дело. Бригадир грубит. Целый день в мусоре, керосине, мазуте...

— Но ведь это работа. Ты просто никогда не трудился.

— Трудился. Чердак мы очистили — раз. Платформу песка в прошлом июле сгрузили — два. Щели я в Польском саду копал — три. Дрова мы с тобой зимой пилили — четыре. А тут каждый день одно и то же: платформы, мусор, номерок в восемь, номерок в пять. Как в тюрьме.

— То, что ты говоришь — ужасно. — Папа внимательно и строго смотрит на меня. — Никогда не думал, что у тебя может быть отвращение к труду.

Он был не прав, мой умный и всезнающий папа. У меня не было отвращения к труду как таковому. Ни тогда, ни после. У меня было отвращение именно к этому виду труда. Видимо, я не был рожден механиком часовой мастерской. И поэтому мне было тошно.

Но иногда весовая мастерская приносила неожиданные радости. Однажды Вовка не вышел на работу, и я трудился один. Товарные весы, обсыпанные чем-то белым, попались на этот раз особенно грязные. Я с тоской, нехотя отвалил щелястую платформу. Внутри рамного ящика рычаги утонули в каком-то белом порошке. Чертыхаясь, я взял щепотку, поднес к свету, понюхал, потом попробовал на язык. Мука? Взглянул на накладную: отправитель — Мельница имени Ленина... Мука! И сколько! Вот это да!

Как же ее унести? Ни мешка, ни сумки. В карманы! Ага — кепка!

Ладошкой я тщательно выгреб муку и пересыпал ее в кепку. До обеда полчаса. Кепка оказалась вместительной, но она уже полна. Остатками набил карманы штанов. На башне пробило двенадцать. Я отряхнул белые брюки, прижал кепку к груди и побежал к проходной. Лишь бы выпустили! Лишь бы не остановили! Но мне сегодня везет: вахтерша в проходной, жуткая стерва, даже не посмотрела в мою сторону, так как бурно ругалась со сменщицей.

Я за воротами! Ура!

Взбежал по лестнице, ворвался домой и торжественно водрузил кепку на стол. Выворотил карманы в тарелки. Мука! Мука! Настоящая белая мука с Мельницы имени Ленина!

Быстро проглотил свой суп, заказал маме блины на вечер и в приподнятом настроении побежал обратно на завод.

Через пару дней я с великим облегчением подал заявление об увольнении. Для этого появилась важная причина: круто менялась вся жизнь нашей семьи.

Детский дом № 55/61, в котором работает Мирра, эвакуируется из Ленинграда. Мирра уезжает с детдомом и забирает с собой маму и меня. Папа и Лиля остаются в Ленинграде, каждый на своем посту: Лиля — в госпитале, папа — главным инженером коммунального хозяйства Южного района. Нас ждет новая неведомая жизнь — жизнь в разлуке со своими, в тесном постоянном контакте с коллективом детского дома.



## Часть вторая

### ДЕТСКИЙ ДОМ № 55/61

11 марта 1995 года, накануне пятидесятой годовщины со дня окончания войны, в квартире Гены Морица был накрыт большой стол на двадцать человек, который по установившейся неписанной традиции как всегда ломился от яств. Колбаса трех сортов, ветчина, сыр, шпроты, селедка, разнообразные салаты... Бутылки с вином, водкой и фруктовыми соками. Гостеприимный Гена и его жена подавали гостям горячее мясо. А спустя час-полтора стол с закусками сменился на сладкий — с чаем, пирогами, домашним печеньем, фруктами и наборами шоколадных конфет.

Столь подробное описание стола приведено не случайно.

Мы, дети блокады, чудом выжившие в смертельную голодную зиму 41–42 года, будем до последних наших дней помнить серозеленый сырой кусочек дурандово-опилочного хлеба величиной в два спичечных коробка — нашу суточную пайку, которую мы съедали, часто не донеся из булочной до дома, а потом мучительно ждали новой пайки во мраке и стуже наших обезлюдевших квартир. Поэтому обильный стол и вкусная разнообразная еда для нас — не чревоугодие гурманов, а некий не оговоренный символ нашей победы над смертью, символ радости бытия и благодарности судьбе за достойно прожитую, несмотря на все испытания, жизнь.

Нас было немного. За столом встретились: Ольга Александровна Сарёнок, Ревекка Лазаревна Златогорская, Вера Николаевна Рогова, а также Боря Богач, Боря Гусев, Нина Громова, Нина Иванова, Завен Аршакуни, Зина Ефимова, Игорь Каверкин, Геня Мориц, Надя Каштелян, Тамара Логинова, Нонна Сарёнок, Сайма Пелле, сестры Трофимовы, Валя и Вера и я.

Все были взволнованы предстоящей встречей. Приподнятое праздничное настроение царило за столом.

— Ребята! — сказала Ольга Александровна. Мы собрались сегодня здесь, чтобы в очередной раз вспомнить наш детский дом и годы войны. Нас никто не заставлял идти на эту встречу. Мы все пришли сюда по зову сердца, добровольно, чтобы встретиться с друзьями, давно уже ставшими родными. Мы встречаемся так уже больше пятидесяти лет. С каждым годом круг наш сужается. Это естественно. Будем надеяться, что даже когда останутся и встретятся только два человека, память о детском доме будет продолжать жить.

## НАЧАЛО

Солнечным утром 5 июля 1942 года я вошел в двери дома № 20 на улице Правды и сразу оказался среди множества тюков и ящиков, сваленных в кучу на кафельном полу посреди обширного вестибюля.

С широкого марша лестницы спускалась румяная девочка с большими синими глазами. Сбросив тук на пол, она приветливо мне улыбнулась и спросила:

— Ты кого ищешь?

— Мирру Самсонову. Я ее брат.

— Она работает наверху с ребятами. А зачем ты ее ищешь?

— Она велела документы принести. Меня в воспитанники зачисляют.

— Так ты с нами поедешь?

— Да.

— А как тебя зовут?

Я представился.

— А меня Ника. Ника Бобровская. Запоминай!

— А я уже запомнил!

— Вот и хорошо!

Махнув мне рукой, девочка легко взбежала по лестнице, еще раз одарив меня доброй улыбкой...

Дальнейший текст — это выдержки из дневников и воспоминания участников событий. В ряду других — и мои личные воспоминания, наблюдения, заметки. Первое слово — основателям детского дома.

*Лев Разумовский. Санкт-Петербург, 2000 г.*

## Ольга Александровна Сарёнок

В начале 1942 года меня вызвали в райком партии Фрунзенского района для организации детского дома. Выделили помещение бывшей школы № 320 на улице Правды, 20.

В это время я заведовала двумя детсадами. Один находился в Апраксином переулке. В этом доме было бомбоубежище, разделенное на два отсека: один — для жильцов дома, другой — для детсада. Во время одной из бомбежек бомба пробила отсек жильцов. Дети не пострадали. Помещения были смежные, и меня позвали на помощь раненым. Я была в белом халате — подумали, что я врач. Одному мужчине глаз выбило, я его забинтовала; у другого из шеи кровь лилась. Я ему плотно-плотно затянула бинтами шею, кровь остановилась. Потом приехала «Скорая», и военврач мне руку пожал, сказал: Вы спасли двоих людей.

В бомбоубежище у нас был железный шкаф — сейф, в котором хранился неприкосновенный запас детсада — галеты. Однажды прибежали ко мне, говорят: «Сейф вскрыт, галет нет!» Начали искать — кто? У меня было подозрение на одного из рабочих, убиравших бомбоубежище. Узнали его адрес. Позвала я с собой двух рабочих. Пошли. Открыл дверь он сам. Растерялся. В комнату вошли — на столе галеты лежат.

— Откуда галеты?

Молчит. Я говорю:

— Руки назад!

Он послушно заложил руки за спину. Отвели его в милицию.

### Из дневника О. А. Сарёнок

*5 февраля 1942 года. Запасишься грозной бумагой от председателя райсовета Мартынова, я отправилась на улицу Правды к управляющей домом № 20. Она встретила меня враждебно:*

*— Не будет здесь детского дома рядом с интеллигентными жильцами!*

*Я приготовилась вынуть мою бумагу, но тут пришел мальчик с просьбой выдать ему справку о том, что у него умерли папа и мама. И тогда я сказала:*

*Будет здесь детский дом! Вот для таких детей!*

*Управляющая притихла. Моя бумажка осталась в сумке.*

**23 февраля.** Сегодня мы приняли первых двенадцать детей. Эту дату можно считать открытием детского дома. Завуч Златогорская лежит дома с температурой сорок...

**25 февраля.** Вчера прошла первая летучка. Народом я довольна. Молодые, ретивые, грязной работы не боятся. Я поблагодарила их за тяжёлый труд и предложила воспитателям высказаться, как прошёл первый день.

— Хорошо прошёл.

— Прошёл хорошо, но учтите: истощённым детям лучше давать по полтарелки два раза, чем один раз полную. И ещё — ватки класть на постель запрещаю...

После летучки поехали все за дровами.

<...>

В доме на ул. Правды было холодно, как на улице. Зима стояла жестокая. Морозы в эту зиму доходили до сорока градусов. От эвакупункта нам остались разруха, свалка, грязь и вонь. Все стекла были выбиты. Дом промерз.

Прежде всего нужно было очистить помещение, чтобы предотвратить эпидемии, и согреть его, чтобы в нём стало можно жить. Возник целый ряд проблем: где достать печника, столяра, водопроводчика; где найти специалистов — ведь те, кто остался, еле бродят. Кроме того, необходимы материалы: печнику для кладки плиты — кирпичи, песок, глина; столяру — стекла на весь дом; для лужения большого котла в кухне требовалось три килограмма олова. Как отопить наше промерзшее здание, где найти дрова?

Дрова оказались недалеко, на Растанной улице. Надо было только их выпилить из разбомбленных домов, где на разных этажах торчали деревянные балки. Это была тяжёлая и опасная работа. Среди разваленных стен, битого бетона и кирпича самоотверженно работали молодые девушки, наши воспитатели: сестры Ксения и Лена Галчёнковы, сестры Вера и Люся Роговы, Наташа Попченко и Люся Чидина. Лена Галченкова однажды чуть не сорвалась, чуть не убилась, когда пилила на втором этаже.

Когда напилили много, Лена придумала:

— *Давайте все грузовики, проходящие по Растанной, останавливать и просить подвезти.*

*Я сказала:*

— *А вы не просите, а требуйте. Говорите, что есть приказ председателя Ленгорисполкома Коновалова, чтобы каждая проходящая машина доставляла дрова для детдома на Правду. В случае чего валите на меня. А я уж разберусь.*

*<...>*

*У нас не было кроватей. Мы узнали, что на улице Марата, в разбомбленном доме, где раньше находился детский сад, на высоте третьего этажа стоят кровати — все на виду, потому что стену бомбой снесло. Я позвала сестер Галченковых, двух уборщиц, и мы пошли за кроватями. Поднялись со двора на третий этаж, взломали дверь в соседнюю квартиру, оттуда сделали проем в помещение детсада, где кровати стояли, и через него осторожно вынесли тридцать детских кроватей, спустили вниз и перевезли на санках в детский дом.*

*<...>*

*В марте первая большая партия детей (около 200 человек) была эвакуирована в Ярославскую область. В апреле уехала другая группа в Сызрань.*

### **Вера Николаевна Рогова**

3 февраля 1942 года к нам домой ворвалась моя учительница Мария Вячеславовна Кропачева и с порога заявила:

— У нас в детдоме на Подольской несчастье — сыпной тиф! Все возможные меры там приняты. Надо срочно спасать вновь поступающих детей — дистрофиков, оставшихся без родителей. Дети поступают ежедневно. Их число растет, а размещать их нигде. Бросайте все! Мобилизую всех комсомольцев нашей школы на спасение детей!

Вместе с Марией Вячеславовной пришел ее муж Лев Моисеевич Никольский, журналист, корреспондент «Красной газеты». Оба были в шинелях, оба были мобилизованы с начала войны.

Мария Вячеславовна, заслуженная учительница РСФСР, член Верховного Совета РСФСР, не бросала слов на ветер. В течение двух-трех дней мы получили помещение на улице Правды, 20, где с начала войны был размещен эвакуационный пункт, прекративший свое су-

ществование после того, как замкнулось кольцо блокады. Очистку дома начали 6-го февраля вместе с сестрами Галченковыми и моей сестрой Люсей.

В доме стоял уличный мороз, водопровод и канализация не работали, на всех этажах дома — замерзшие stalactites нечистот. Мы их срубали топорами и выносили ведрами. Выкидывали сгнившие матрацы, разгружали шкафы.

Срочно нужен был волевой, сильный директор.

Ревекка Лазаревна Златогорская, работавшая раньше в детском доме на Подольской, предложила кандидатуру Ольги Александровны Саренок, известную ей по комсомольской работе. Мария Вячеславовна согласилась и, как показали дальнейшие события, в выборе не ошиблась.

Когда дом был очищен и убран (к нам в феврале присоединились Наташа Попченко и Люся Чидина), мы проделали дымоходы — дырки в форточках, обзавелись буржуйками.

Потом к нам в разное время пришли опытный педагог-дошкольник Мария Степановна Клименко, педагог-дефектолог Роза Михайловна Молотникова, а в конце мая пришла Мирра Самсоновна Разумовская, ставшая в дальнейшем стержнем культурной жизни детского дома. Очень много помогал в организации детского дома заведующий Фрунзенского РОНО Семен Ильич Гансбург.

### **Ревекка Лазаревна Златогорская**

Наш детский дом не случайно имел двойной номер — 55/61. В нем слились два детдома — школьный и дошкольный. Мы осуществили эксперимент — не разлучать детей из одной семьи. Это оказалось очень полезным и для малышей, и для старших детей. Старшие опекали не только своих братьев или сестер, но и остальных, тем самым помогая воспитателям и одновременно приобретая навыки работы с детьми.

Перед тем как попасть в наш детдом, я работала завучем в детском доме на Подольской улице, организованном в самом начале войны; до блокады там воспитывалось около ста двадцати детей. К несчастью, туда был занесен сыпной тиф. Там я видела самое страшное за всю войну: здоровые дети спали вместе с больными и мертвыми, и по ним всем ползали вши.

Я сама заболела сыпняком и свалилась с температурой 40. У себя дома провела некоторое время в горячке, за мной ухаживала мама, а потом Ольга Александровна увезла меня на детских санках к себе. Уже позже, поправившись, я узнала, что детдом на Подольской прекратил свое существование, так как часть детей умерли, а выжившие были переданы в другие детские дома.

Работая завучем детского дома, я не ставила перед собой какие-то особые задачи. У всех нас, у всего коллектива была одна общая главная задача — вернуть к жизни блокадных ленинградских детей с подорванным здоровьем и надломленной психикой. Для этого были нужны не только человеческое участие и теплое отношение к детям, но и требовались значительные материальные средства.

### **Ксения Николаевна Галчёнкова**

Когда началась война, я училась на втором курсе исторического факультета в институте Герцена. Скоро нас послали рыть окопы, а в конце сентября институт эвакуировался. Я осталась в Ленинграде.

Рядом с моим домом на Апраксином переулке был детский сад, которым заведовала Ольга Александровна Саренок. Я поступила туда работать сменным воспитателем. Шла на работу в три часа дня, когда было светло, а возвращалась в десять, в кромешной тьме. Идешь наощупь, ни один фонарь не светит, ни одно окошко не горит. Спотыкаешься о тела покойников, которых выносили из домов, как только стемнеет — днем стеснялись.

Город находился на военном положении, и ночью ходить было запрещено. Однажды Ольга Александровна и завхоз по какому-то делу шли по ночной улице в детсад. Раздался гул самолета.

— Бежим! — закричала Ольга Александровна, — он сейчас бомбу сбросит! Только они успели вбежать в бомбоубежище, как взорвалась бомба. Детсад располагался на первом этаже окнами во двор-колодец. В этот двор и упала бомба, высадив все окна и рамы.

Став директором детского дома, Ольга Александровна позвала работать в нем меня и других работников из 13-ой школы: сестер Роговых и Люсю Чидину. Мать Люси умерла, а отец очень боялся за Люсю и надеялся на ее отъезд с детским домом. Вслед за мной на работу пришли моя сестра Лена и мама Лидия Павловна, на должность бухгалтера.

Во время очистки здания мы выкинули множество грязных смерзшихся матрасов и наткнулись на три трупа. У одного нашли документы и сдали их в милицию, трупы вынесли на улицу. Там их подбирали особые бригады и увозили на Пискаревку.

Когда детдом заполнился детьми, часть из них мы начали готовить к эвакуации. Среди детей были такие слабые, что эвакуировать их было невозможно. Мы решились пойти на отбор. Устроили испытание, возможное в тех условиях: ставили ребенка у стенки комнаты и предлагали пройти до другой стенки. Если ребенок нормально преодолевал это расстояние, мы оставляли его в списках на эвакуацию. Если же он несколько раз падал или вообще не доходил до стенки, мы его оставляли в детдоме, чтобы подправить и подготовить к следующей отправке.

Как-то во время нашего испытания явились две тетki из исполкома. Стали шуметь:

— Как это вы делаете? Так нельзя!

Мы говорим:

— Дайте на каждого ребенка по сопровождающему, вот и будет, как надо!

Разве мы были неправы? Время было такое! Когда нас на Финляндский вокзал привезли, только мы к вагонам — сирена! Бомбежка! А у нас двадцать детей. Мы все бегом в бомбоубежище вместе с ними. Потом вернулись, стали их в вагоны сажать, каждого на руки берешь и подаешь в тамбур, а там перехватывают. А что бы мы делали со слабенькими? Их бы не уберегли и других потеряли.

Дети, присланные нам РОНО, иногда умирали прямо в канцелярии во время оформления документов. Так, однажды доставили нам девочку, страшно худую. Начали записывать какие-то сведения о ней, а моя Лена говорит:

— Зря пишем, она сейчас умрет

И эта девочка действительно умерла минут через пятнадцать.

У меня был такой случай. Я дежурила ночью в детдоме, устала до смерти и прилегла на ближайшую кровать рядом с ребенком. И сразу провалилась, уснула. Чувствую, меня нянька тормошит:

— Ксения! Вставай!

Я спросонок:

— Что такое? Зачем будишь?

Она:

— Вставай! Павлик Миронов умер.



- Ну и что? Завтра разберемся.
- Так он рядом с тобой лежит!

### **Елена Николаевна Галчёнкова**

В детский дом я пришла 6 февраля 1942 года. Меня сразу назначили завхозом и кастеляншей. Я отвечала за белье, за имущество, а кроме того, принимала людей на работу. Каждого, кто приходил наниматься, первым делом подводила к окну и смотрела — может ли человек хотя бы шевелиться? Может ли работать прачкой или уборщицей? Хватит ли у него сил?

Основная наша работа была у всех одна: грязь убирать и дрова доставать. Дрова мы пилили и вывозили не только с Расстанной, но и из разбомбленного института киноинженеров, прямо напротив нашего дома на улице Правды. Там и балок было много, и паркет шел под растопку. А под паркетом трупы смерзшиеся находили. Один труп детский был.

А матрасы, посуду и кровати мы вывозили из студенческого общежития Холодильного института, которое находилось в переулке Ломоносова.

Когда началась эвакуация, меня из завхозов перевели в воспитатели. Дали группу пятилетних дошколят — двадцать пять человек — и сказали: «Воспитывай». Ну а какое там воспитание? Пасли мы их просто, кормили, берегли. Вот и все воспитание.

### **Из дневника Натальи Николаевны Попченко**

*Ребята, которых доставляли к нам, в большинстве своем были худые, изможденные — настоящие дистрофики. Многих было уже не спасти. Ясно было, что они попадали к нам слишком поздно. Мы зашивали трупы в простыни и выносили во двор, откуда их потом вывозили специальные машины. Один случай мне особенно запомнился. Появился у нас новый мальчик лет двенадцати, звали его Вася. Он выделялся среди всех своей подвижностью, энергией, был веселый, не похожий на дистрофика. Очень он был мне симпатичен. Пришла как-то утром на работу. Нянька говорит:*

*— Помоги мертвого вынести, я его уже зашила.*

*Мы понесли, а она спрашивает:*

*— Знаешь, кого несем?*

— Кого?

— Васю.

*У меня прямо сердце оборвалось. Никак не ожидала, что Вася может умереть.*

### **Надя Каштелян**

До войны мы жили в коммуналке на Лиговке, 107. У родителей нас было трое: я и два брата. Старший брат Миша ушел добровольцем в 41-м. Он погиб в 43-м в звании старшего лейтенанта. Похоронка пришла с Ленинградского фронта. Младший брат Ваня эвакуировался с интернатом на тридцатый день войны. В декабре от голода умер отец, в марте 42-го — мать.

Мне тогда было пятнадцать лет. Я осталась одна. Меня взяла к себе наша знакомая, которая за это брала себе по сто граммов хлеба с оставшейся маминой карточки. К тому времени я уже много сил потеряла, исхудала вся. Еще при отце мы варили сыромятные ремни. Резали их на мелкие кусочки и ели. Двух кошек съели с отцом. Мама не ела и нам не велела. А мы ели, и было вкусно. Ели кофейную гущу, студень из столярного клея (тогда плитки можно было купить за деньги). Потом соседка привезла съедобную землю — ели как творог... Помню, я говорила:

— Когда кончится война, буду есть вволю дуранду и жмых.

А после войны так ни разу их и не видела...

Как попала в детский дом не помню. Провал в памяти. В детдоме меня сразу поставили на усиленное питание. Все мы были острижены наголо и ходили в белых панамках.

### **Ника Бобровская**

Война обрушилась на нашу семью, как и на всех, неожиданно и стремительно. Никто не мог предположить, что уже в августе немцы будут на подступах к Ленинграду.

Мы жили в Лигово. Нас обстреливали и бомбили. Папа, чтобы спасти нас, выкопал недалеко от дома землянку, и мы некоторое время жили там, надеясь, что немцев отгонят. Однако с каждым днем линия фронта приближалась. Мимо нас в Ленинград постоянно шли отдельные группы красноармейцев или просто солдаты-одиночки. Немцы заняли Красное село. Это было уже совсем

рядом. И 15 сентября мы все: папа, мама, мой брат близнец Вова и я — бежали, бросив все. Успели вскочить в последний трамвай. На другой день немцы заняли Лигово.

В Ленинграде мы остановились у папиных сестер. Папа, белобилетник, добровольно ушел в армию, а уже в ноябре в Ленинграде наступили черные времена. У нас были три иждивенческие карточки, которые не отоваривали. 23 февраля от голода скончался Вова, а 3 марта — мама, Ольга Павловна Бобровская.

Меня забрала к себе тетя Лида, мамина сестра. Она работала бухгалтером в столовой, а потом перешла на работу в детдом, где уже работали воспитателями мои двоюродные сестры Ксения и Лена.

Подробности дороги в Угоры не помню. Помню, что быстро перезнакомилась с ребятами, что у нас в вагоне было весело. Еще помню, как мы слевой Разумовским на какой-то станции тащили из пункта питания большой котел с супом и, пролезая под вагонами к нашему эшелону, споткнулись и пролили чуть ли не половину на рельсы... Очень жалко было!

В Кобоне во время общей сутолоки и погрузки вещей неожиданно лицом к лицу столкнулась с отцом! Бросились друг к другу, у обоих слезы радости. Перекинулись несколькими словами, и он тут же включился в нашу работу — кинулся грузить детдомовские вещи. Поэтому наша встреча была короткой, поговорили на ходу минут десять-пятнадцать и распрощались. Наш эшелон тронулся в путь.

Это была моя последняя встреча с отцом.

В 44-м мне в детдом пришла похоронка. В ней сообщалось, что мой отец, Бобровский Борис Александрович, погиб при форсировании реки Нарвы 20 апреля 1944 года.

### **Ира Синельникова**

Когда началась война, у мамы нас было трое: старший брат Лева, сестра Фаина и я, младшая. Мне было 13 лет.

Отец, Яков Ефимович Шперлинг, инвалид первой мировой войны, в 1939-м был арестован по доносу. Родом он был из Невеля (Западная Белоруссия), и некоторое время мы переписывались с родственниками, потом прекратили. При обыске нашли эти письма на еврейском языке. А раз переписка с границей да еще на

иностранным языке, то и статья была соответственная — шпион. Забрали его. Мама была на суде, вернулась седая. Через некоторое время пришло от него письмо. Он писал, что не вернется, потому что открылись старые раны, работать он не может, а кто не работает, того здесь не кормят. Брата его, парторга Карбюраторного завода, после ареста отца тоже арестовали. Он тоже не вернулся.

1941 год. Я уехала в Невель с двоюродной сестрой. Мы приехали в Невель в 5 часов утра 22 июня, а в 12 часов объявили, что началась война. Сестра сразу же уехала в Ленинград. Она была членом МПВО. Сначала мама писала мне, что надо возвращаться домой, а потом написала, что не надо. Она не знала, где мне лучше оставаться.

Когда немцы вошли в Витебск, из Невеля начали бежать, и я с родными тоже побежала, но было уже поздно. Во всех деревнях были немцы. Началась паника. Я потеряла родных и вернулась на станцию Невель. Там стоял какой-то поезд. Мне крикнули: «Садись, а то останешься у немцев!». Я была маленькая, мне было не взобраться на подножку, но какой-то мужчина подхватил меня, и я оказалась в вагоне. Поезд тронулся.

В Великих Луках нас стали бомбить. Поезд загорелся, люди стали прыгать в канаву. Когда самолеты улетели, подошел паровоз, подцепил оставшиеся вагоны, и поезд сразу же тронулся. В Бологом я сразу же заснула на скамейке вокзала. Разбудила меня женщина и попросила поныть ее ребенка — ей с мужем нужно было сходить узнать, когда пойдет поезд на Ленинград. Вернувшись через полчаса, спросила: «Ты, наверное, есть хочешь?». А я не ела с того времени, как ушла из дома. Она отрезала ломоть хлеба и такой же ломоть сала, и я с такой жадностью стала есть, что у нее появились слезы.

Когда подошел поезд, то объявили, что сначала поедут семьи военных. Тогда эта женщина говорит: «Мой муж полковник, и я скажу, что ты моя няня». Так я поехала в Ленинград. Не доезжая до Ленинграда, поезд остановился. Многие пошли пешком, и я с ними. Когда дошли до окраин, я еле стояла на ногах. Знала, что к Витебскому вокзалу идет трамвай № 9. Села в него. Подошла к кондуктору и говорю: «Тетенька, у меня нет денег, но мне надо доехать до Витебского вокзала». Она пустила.

Когда я вошла во двор, там гуляли дети и среди них моя старшая сестра Фаина. Я к ней подбежала, и она закричала, увидев,

какая я грязная и рваная. Когда пришли домой, мой брат Лева спал после смены. Мы его разбудили. Он вскочил и стал меня целовать. Я была младшая в семье, он меня очень любил. После обеда меня отправили в баню. Вечером я пошла встречать маму — она работала на фабрике им. Володарского. Домой она ходила по Фонтанке. У Военно-медицинской академии был горбатый мостик со ступеньками и фонарями. Когда она вошла на мостик, я бросилась к ней. Она, увидев меня, сразу упала — сердце схватило. Когда мама очнулась, она зарыдала, потому что думала, что я осталась в Невеле, а там уже были немцы.

После пожара на Бадаевских складах Фаина подбирала там патоку с песком, потом мама это варила и процеживала. Во время бомбежек мы спускались под лестницу с мешочком сухарей. В бомбоубежище у нас была детская самодеятельность — стихи и танцы. Потом нам, детям, поручили закрашивать на чердаке все деревянное известью — говорили, что если попадет зажигалка, известь не загорится.

В сентябре Лева, 1923 года рождения, ушел в народное ополчение. Когда мама сказала ему, что он у нас единственный кормилец, он ответил: «Мама, я же комсомолец. Я не могу оставаться». И ушел.

А в октябре он был ранен и контужен. Его положили в Боткинскую больницу. Я туда ездила. Там были поля, на которых я собирала капустную ботву. Раненые давали мне еду — все, что могли. После госпиталя Лева был отпущен домой на поправку. Он пошел опять работать на завод. Трамваи уже не ходили, и он в морозы добирался до дома пешком. В декабре его привели домой с отмороженными ногами.

В ноябре я слегла. В декабре у мамы вырвали сумку с хлебом. К счастью, прохожий отнял у вора сумку и вернул маме. Но, видно, на нее этот случай очень подействовал, и через несколько дней она тоже слегла. Теперь нас, лежачих, было уже трое — я, мама и брат. Сестра приносила из ремесленного училища супчик. Мама разжигала буржуйку и делила суп на четверых. Сестра говорила маме, чтобы она тоже ела гущу. Мама отвечала, что Ира самая слабенькая и ее надо спасать.

13 января 1942 года в 7 утра мама попросила кусочек плавленого сыра. Фаина обычно приносила свой паек домой, но с этого

дня пайки на дом отменили. Мама, как это услышала, сразу захрипела, и ее не стало. Она умерла утром 13 января 1942 года.

Брату стало хуже. Мы вызвали врача. Врач сказал: «Один-два дня, и его не будет». Лева умер в 4 утра 15 января 1942 года.

Сестра договорилась с дворником похоронить маму и брата за хлеб, который остался на их карточках. Она завернула тела в простыни. Они с дворником свезли их за ТЮЗ, где был дровяной склад. Сестра говорила, что покойников там складывали, как дрова. Где их похоронили, я не знаю. Сейчас я на Пискаревское кладбище езжу каждый год.

Когда сестра вернулась, она была не в себе. Плакала, говорила, что не хочет больше жить. Потом ушла, не сказав куда. Я думала, что она утопилась. Как я сползла с дивана, не помню, но как-то добралась до входных дверей и там лежала и звала сестру. Тетя Поля, соседка, шла домой, увидела меня и спрашивает: «Что ты здесь делаешь?». Я не помню, как она меня на диван положила. Увидела, что нет мамы и Левы, и сказала: «Ты теперь тоже умрешь».

А через три дня вернулась Фаина с двоюродной сестрой Софой. С ними пришла тетя Злата, папина сестра. Фаина рассказала родным, что мы остались одни. Они решили перейти к нам жить. Мне дали кусок дуранды (тетя Злата шила вещи и меняла их на дуранду). Я же три дня не ела и не могла есть — зубы шатались, была цинга. Тогда стали давать дуранду, предварительно размочив.

В конце января к нам приехал брат Софы Изик, бежавший из Невеля. Мы стали жить впятером. Работали только Фаина и Софа.

В марте умер Изик.

Через две недели умерла тетя Злата.

Софа решила сменить ее бостоновый костюм на еду. Когда она вернулась, то плакала навзрыд. Мы с сестрой говорим ей: «Что ты плачешь, смотри, сколько дали еды: буханку хлеба, чашку гороха и две луковицы». А она объясняет, что там, где она меняла, целый буфет хлеба, целый мешок гороха и много связок лука. Ей там дали суп и сказали, что она может есть, сколько хочет. Ей казалось, что она наелась, но когда вышла на лестницу, опять захотела есть. Потом Софа ушла на казарменное МПВО, и мы с Фаиной остались одни.

Весной 1942 года у нас на переулке Ильича открылась баня. Воспитанников ремесленного училища, где работала Фаина, послали туда мыться. Девочки отнесли меня в баню — я уже не хо-

дила. Мылись все вместе — девочки и мальчики. У меня была сильная цинга и пролежни. Вдруг объявили тревогу, но все продолжали мыться в темноте. Помню, я очнулась после бани дома. Сестра постелила мне все чистое, и мне было хорошо, только очень хотелось есть. Девочки ушли в ремесленное, а я осталась одна. Фаина оставила мне кусочек хлеба, и я намазала на него содержимое какого-то тюбика. Когда сестра пришла, я ей говорю: «Больше нет этого варенья» — и показываю ей тюбик. Она говорит: «Ты же угробишь себя — это клей».

С каждым днем мне становилось все хуже. Я переставала дышать, Фаина дышала мне в рот, и я открывала глаза. Она рассказывала, что я приняла все лекарства из аптечки, но лучше мне не становилось, и сестре посоветовали сдать меня в детдом, потому что дома я все равно умру. Заведующая детприемником сказала, чтобы мы несли из дома ценные вещи, так как они нужны для покупки нашего питания. Мы с Фаиной сдали серебро и дорогой китайский сервиз. И другие дети несли кто что мог.

25 апреля 1942 года она повела меня в детприемник, в Лештуков переулочек — ныне переулочек Джамбула. Когда мы вышли из ворот, светило яркое солнце и дистрофики грелись на бревнах. Вышли мы днем, а пришли в детприемник уже к вечеру, отдыхали через каждый метр.

Начались неприятности с документами. Сначала меня не хотели брать, потому что мне в июне должно было исполниться 14 лет. Потом сказали, что меня примут, так как я дистрофик. Меня сразу накормили, помыли, остригли, намазали мои пролежни и положили спать на чистую койку. Сколько я пробыла в детприемнике, не помню, но стала потихоньку ходить. Потом меня перевели в детдом на улице Правды, дом 20. Весь июнь я была в госпитале для дистрофиков на Малодетскосельском переулочке. Кормили по тем временам хорошо. Давали полкирпичика белого хлеба, сахарный песок, витамины, суп и второе.

28 июня — мой день рождения. Мне говорят: «Ира, тебя кто-то зовет». Я выглянула из окна и увидела Софу, свою двоюродную сестру. Мы нашли веревочку, и я ей спустила вниз все, что нам дали утром, — пусть порадуются.

Мы в госпитале учились ходить, а потом бегать по коридору. Скольких синяков стоило это учение! Через некоторое время

меня выписали, и я снова вернулась в детдом. Я была в старшей группе. Мирра Самсоновна была у нас воспитателем.

Фаина с ремесленным училищем была на огородах в Пери. Однажды мне сказали, что пришла сестра. Я побежала с лестницы и чуть не упала — ноги не держали. Она меня подхватила. Фаина мне сказала, что она через два дня эвакуируется с ремесленным училищем, и мы договорились, что будем переписываться через Софу в Ленинграде..

Видно, у меня были нервные срывы, и мне все время казалось, что ко мне приходит мама. Это случалось так часто, что я не могла спать, и Мирра Самсоновна часто сидела ночами у моей постели.

### **Геня Морниц**

В июле 1941 года мой отец Александр Григорьевич Зарецкий ушел на фронт. Был дважды ранен и демобилизован. После войны мы с ним встретились.

Мы с мамой жили на Лиговском проспекте, 107. В декабре наш дом сгорел, и мы переехали жить к тетке в коммунальную квартиру на ул. Рубинштейна, 34. На углу Разъезжей и Загородного находилась школа, в которую на новогоднюю елку были приглашены дети, живущие в этом районе. Нам подарили какие-то игрушки. Но самым главным подарком для нас было приглашение в актовЫй зал, где стояли столы, покрытые белыми простынями, и перед каждым поставили по тарелке теплого овсяного супа, по полстакана желе и положили по три грецких ореха. Этого не забыть!

К маю квартира на Рубинштейна опустела. Одна семья уехала, другая вымерла. А 5 мая умерла моя мама, и я остался один. Мне было тогда 11 лет.

Не помню, как я жил это время. Не помню, как оказался в больнице им. 25 Октября на Фонтанке. Подобрали, наверное, на улице добрые люди и отправили в больницу. В больнице лечили от дистрофии. Пролежал месяц. Выписали, когда начал ходить. Что мне было делать?

Возвратился на Рубинштейна, встретил управдома. Он посоветовал мне пойти в детприемник на ул. Чернышева. Оттуда меня направили на ул. Правды.



## **Лида Филимонова**

Мои отец и мать родом из деревни. Отец, Иван Филимонович, участвовал в Первой мировой войне, потом работал каменщиком. Мама, Евгения Прохоровна, работала в типографии. У родителей нас было трое — старший брат Володя, я и Галя. Все четыре года войны Володя прослужил авиамехаником на военном аэродроме. Он постоянно писал нам в детдом и присылал деньги со своего аттестата. Зимой мы прожили очень тяжело. К весне родители свалились. Мне тогда было двенадцать лет, а Гале всего три годика. От слабости она тоже уже не ходила.

Выручила нас тетя Маруся. Она сказала:

— Надо спасать Галю, отдать ее в детсад, там детей кормят, особо слабым дают усиленное питание.

Мы с ней повезли Галю на саночках, но в детсады уже не принимали. Тогда тетя Маруся снова посадила Галю в санки, положила в карман документы, отвезла Галю в детский сад на Коломенской и оставила там. А мне сказала:

— Идем со мной, будем у соседей прятаться.

Буквально через час к нам домой прибежали заведующая садика с Коломенской и воспитательница. Они вошли в открытую дверь и застали там умирающего отца и лежачую маму. И они сказали маме:

— Не волнуйтесь, мы вашу девочку не бросим, оставим у нас.

В марте умер отец, а за ним через месяц и мама. Я попала в открывшийся недалеко детдом на улице Правды, а через некоторое время туда же перевели мою Галю. Когда я впервые вошла в палату, мне показалось, что я попала в больницу — девочки там были все худые, бледные и стриженные. Потом стала привыкать к режиму, начала регулярно есть и силы стали возвращаться.

## **Сайма Пелле**

Папа мой Иван Иванович Пелле умер в 1938 году в деревне Пески под Пулковым, где мы жили. Там жили русские и финны. Я знала финский, потому что дома говорили на двух языках, а потом все позабыла. Когда началась война, мне было 11 лет. Немцы подступали к Пулкову, и мы с мамой (ее звали Анна-Мария Адамовна), сестрами Олей и Любой бросили дом и пошли

в Ленинград. Мы и корову прихватили с собой — не оставлять же ее немцам.

Был конец лета 41-го года. В Ленинграде у нас никого не было, но мы довольно скоро нашли приют во Фрунзенском районе на Воронежской улице, 5. Нас приютила одна русская семья — женщина с маленьким мальчиком. Мы все жили в одной комнате. Корову пришлось прирезать. Часть мяса мама продала, часть отдала за проживание, остаток мы быстро прикончили. Началась голодная зима.

20 апреля мама умерла. Оля умерла после мамы, когда нам уже дали небольшую комнату на Подольской улице. Там была чужая мебель. Жильцы, наверное, эвакуировались. Люба ходила на работу. А меня отослали в детприемник. Там помыли. Остригли наголо и послали в детдом на улице Правды. Моя сестра Люба (ей было 16 лет) вслед за мной эвакуировалась в Кемеровскую область вместе с заводом, на котором работала.

### **Валя Иванова**

8 сентября 1941 года. День моего рождения, прекрасный, тихий и солнечный день, немецкие самолеты взорвали первой бомбежкой Ленинграда...

До войны мы жили очень скромно. Мама одна тянула нас, четверых детей. Я была самая старшая, Тося — самая младшая. Папа умер до войны от воспаления легких.

Началась блокада. У мамы хватило сил продержаться до 2 февраля 42-го года. Утром она нас накормила, вымыла посуду, легла отдохнуть и не проснулась.

Вскоре к нам пришел управдом, описал наше имущество, а меня с сестрами отвели в детский дом на улице Правды.

Там меня и восьмилетнюю Нину положили в изолятор. Мы были самые слабые и умирали рядом. Я выкарабкалась, а Ниночка, самая красивая и талантливая из нас, умерла. Я пролежала в изоляторе с марта по июнь. Своей спасительницей считаю врача Варвару Константиновну Казонову, фотографию которой до сих пор храню. Когда мы в 45-м вернулись в Ленинград, мы встретились, и Варвара Константиновна узнала меня... по голосу. Тогда она подарила мне красный берет, и теперь я всегда ношу красные береты.

Пока я лежала в изоляторе, Люсю, мою младшую сестру, увезли в Ярославскую область, а Тося осталась со мной. Как-то воспитательница на руках принесла ее ко мне, и Тося меня не узнала, до того я изменилась. Я ничего не могла ей сказать, только обливалась слезами.

### **Завен Аршакуни**

Мой отец Петрос Агаджанович Аршакуни мечтал стать скульптором и поступал на скульптурный факультет Академии художеств, но не прошел по конкурсу.

В свое время отец вместе с Вениамином Борисовичем Пинчуком работал у Томского, когда тот лепил большого Кирова. Их мастерская была в здании личной церкви Лазаревых на армянском кладбище. Осенью 41-го отец был на фронте под Пулковым. Той же осенью умерла от дистрофии и голодного поноса мама, а я пошел в детдом. В первый же день меня там вкусно накормили. А на столе лежала книжка «Маугли» с рисунками Ватагина. Я ее сразу схватил и стал читать, удивляясь, как здорово Ватагин рисует зверей.

Понемногу стал знакомиться с ребятами. Многие были такие слабые, что не вставали с коек. А те, кто мог ходить, после обеда выходили на улицу, грелись на солнышке. Подружился с Валей Пирияйненом. Он хромал на одну ногу — наверное, перенес полиомиелит.

### **Тамара Логинова**

Трудно вспоминать и заново переживать то страшное время. Когда началась война, мне было восемь лет. Незадолго до Отечественной закончилась финская компания. Она запомнилась мне светомаскировкой и гибелью на фронте нашего соседа — Леши.

22 июня было воскресенье, жаркий день. Мы, дети, играли во дворе в войну. Почему-то мы часто играли в войну.

В семье нас было пятеро: мама Серафима Арсентьевна, отчим, мой брат Юра, сестра Люся и я.

Нас с Юрой мама отправила в пионерский лагерь, но мы пробыли там недолго. Лагерь был под Тихвином, немцы быстро продвигались к Ленинграду, и нас срочно вывезли обратно. Начались бомбежки. Наступила осень. Бомбили все чаще и чаще.

Нашу Предтеченскую улицу бомбили каждый вечер, потому что она шла параллельно железной дороге, которую немцы старались разбомбить. Зенитки, стоявшие рядом с нашим домом, били по самолетам. Спали мы одетые. По сигналу воздушной тревоги сонные, напуганные бежали в ближайшее бомбоубежище.

Осенью в школу не пошли. Наступил голод. Не стало еды, воды, тепла и света. Первым слег дядя Вася, которого почему-то не взяли на фронт. От него у нас в семье родилась в сороковом году Люся, ее носили в ясли недалеко от дома. Когда дядя Вася умер, мама отвезла его в блокадный морг на углу Марата и Звенигородской.

Потом слегла мама, и мамина сестра перевезла на санках ее и Юру к себе на Международный проспект. Я шла рядом.

25 февраля мама умерла. Этот момент я хорошо помню. Мы с братом стояли, обняв круглую печку. Мама умирала в сознании и очень беспокоилась за маленькую Люсю, которая оставалась в яслях.

Тетя отвезла маму туда же, на Марата.

Еды у нас не стало совсем. Тетя согревала самовар, наливая кипятком в чашки, рядом ставила солонку. Мы макали пальцы в соль и запивали теплой водой. А потом слегла и тетя. И велела нам возвращаться домой, к соседям. Мы так и поступили.

Возвратившись домой, мы нашли пустую квартиру. Жившие там до войны две семьи отсутствовали: одна семья эвакуировалась, другая умерла.

Что нам было делать? Мы пошли к маминой подруге, тете Шуре, и 3 марта она отвела нас в детский дом на улице Правды, 20. В доме, как и везде, не было стекол. Отапливались буржуйками. Мы, дети, настолько плотно жались к ним, что на мне стало тлеть пальто, которое я вообще не снимала, а на левой руке навсегда остался шрам от ожога. Приближалась весна, и мы стали понемногу оживать. Но ноги по-прежнему были слабыми, на улицу мы не выходили, еду нам подавали прямо в кровати.

Пришел апрель. Приближались майские праздники. Ольга Александровна вместе с врачом отбирала детей, которые могли ходить в столовую, а ослабленных оставляли в постелях. Среди лежачих был и мой брат Юра. Его положили в изолятор, и я его навещала. Но я тоже еще была совсем слаба, и преодолевать путь до столовой приходилось с трудом — вниз спускалась, держась

за перила, а обратно, наверх, поднималась на четвереньках. Я это хорошо помню.

В мае мы вышли во двор, на солнышко, нарисовали на асфальте мелом скачок и попытались скакать, но ничего не получилось, ноги были не те.

2 мая кто-то из ребят сказал, что моего Юру увозят на «скорой» в больницу. Я пошла к нему, но уже не застала. Больше я его никогда не видела. Он умер 24 мая сорок второго года. Через сорок лет взяла похоронную на него в архиве больницы, шла и, не стесняясь, плакала.

После этого я пошла проведать Люсю в ясли и там узнала, что она умерла в марте... И так, я осталась одна в живых из семьи в пять человек...

### **Валя Тихомирова**

До войны мы жили на Серпуховской, 3, в квартире № 9. Маму звали Анна Васильевна, папу Александр Николаевич.

Когда мама уходила на работу, она оставляла нам с сестрой большую палку, чтобы мы, не вставая с кровати, могли отпугивать крыс. Крысы лезли на постель, а мы стучали. У мамочки от голода была водянка, большой живот. Мне было десять, а Вере пять лет. Мама слегла. Написала мне записку на хлебозавод, где она работала кондитером, чтобы мне что-нибудь дали. Я пошла на Одиннадцатую Красноармейскую, где был хлебозавод, и в проходной подала записку. Начальник сказал: «Подожди». И вдруг началась бомбежка, полетели стекла, осколками мне поранило ноги, они были в крови. Я лежала за ящиком. Про меня не забыли, дали буханку, сказали, чтобы спрятала под кофточку. Около дома меня встретила тетя, мамина сестра, увидела хлеб, стала просить кусочек. Я ей отломилла граммов двести. Остальное унесла домой.

Мама уже не ждала меня, думала, что я погибла. А я вернулась, да и еще и с хлебом. Поели на радостях.

Когда маме совсем плохо стало, тетя Катя посадила ее на коврик, стянула вниз по лестнице, а потом на коврике же ползком дотянула до больницы. Больница была напротив, на Серпуховской.

Я ходила в эту больницу смотреть список умерших. Мамы там не было. У нас дома висела икона Николая Чудотворца. Тетя сказала:

— Молись за маму. Детская молитва дойдет.

Я молилась. Но, видно, не дошла моя молитва. Мама умерла 24 июня. Когда мне сказали об этом, мне стало плохо, я потеряла сознание.

Мы с Верой остались одни. У нас на столе стоял глиняный растворник, в него мы клали карточки и деньги. Однажды карточки исчезли. Есть стало совсем нечего. Мы стали шарить по квартире, надеялись что-нибудь найти. Обыскали все ящики комода, где мама прятала пайки хлеба, нашли там крошки, щепотки соли, все подъели.

Этот комод сделал папа, он был краснодеревщиком. Вся мебель у нас была сделана его золотыми руками. Он и обувь сам шил.

Потом мы обглодали все домашние растения и отравились. Стало совсем плохо. Пришла к нам незнакомая женщина от управдома и посоветовала идти в детдом.

Сначала мы попали в детприемник в переулке Чернышева. нас остригли и заставили таскать ведра с нечистотами. А оттуда уже направили на улицу Правды вместе с мальчиком Генрихом Зонбергом, худеньким, бледным, прыщавым. Ребята его обижали, потому что он был немец.

## **Нина Иванова**

Мой отец Виктор Яковлевич Иванов пропал без вести на Лужском участке фронта в начале ноября 41-го года. С этого времени перестали приходить от него письма. Он был танкистом, радистом, а в ноябре под Лугой шли жестокие бои с прорвавшейся армией Гудериана. Вот там, наверное, он и погиб.

Мне было одиннадцать лет, когда мама показала мне золотые серьги с изумрудом и сказала:

— Это тебе вроде как приданое от бабушки. Наденешь, когда тебе будет восемнадцать лет. В ноябре 42-го, когда голод уже взял нас за горло, я вспомнила об этих серьгах и решила: раз мои, то и распоряжусь ими, как хочу, — сменяю на хлеб.

Я дружила с мальчишками с нашего двора. Одного из них, старше меня года на четыре, звали Альбертом. Он немного говорил по-немецки, потому что был наполовину немец.

Я показала ему сережки, объяснила, чего хочу. Он взялся помочь. Я спросила:

— Где ты собираешься менять?

Он сказал:

— У немцев. Они стоят за Средней Рогаткой, и у них можно выгодно сменять. Надо только линию фронта миновать. Я уже так делал. И еще туда пойду.

На другой день рано утром мы с ним и еще с несколькими мальчишками вышли из дома и на попутках добрались до Средней Рогатки. Там было поле, дорога, а вдали виднелись какие-то строения.

Альберт велел нам где-нибудь спрятаться и ждать его. А сам, захватив с собой все наши колечки, часики и мои серьги, вынул белый платок и пошел по дороге в открытую, помахивая платочком.

Мы все попрятались кто куда. Я залегла в канаву около обочины. Ждали долго. Я уже коченеть стала. Наконец он появился с мешком, из которого начал доставать хлеб. Мне досталась буханка, в корку которой была воткнута пуля с клочком бумаги и словом «Нина» на нем. У других тоже были пули с такими же клочками. У кого в буханке, у кого в полбуханке.

Домой я вернулась вся мокрая и замерзшая. Положила на стол буханку. Мама спросила:

— Откуда?

Я ей рассказала всю историю. Она меня не ругала, не отчитывала, а была очень испугана и смогла только сказать:

— Какой ужас!

Моя мама Ираида Николаевна Иванова работала воспитателем в детсаду на Лештуковом переулке, там и жила, а я была при ней.

12 февраля 1942 года она пошла к нам домой на Невский, 173 и не вернулась. В этот день немцы произвели несколько тяжелых обстрелов города. Я пошла искать маму по местам обстрелов. Проходила весь день в февральскую стужу в драных валенках и отморозила себе ноги и руки. Никого не нашла и возвратилась в детский сад. Медсестра, увидев мои ноги, немедленно отправила меня в госпиталь у Витебского вокзала, где я пролежала месяц, а оттуда меня направили в детдом при фабрике имени Крупской. Там, наверное, было вредительство: детей кормили пересоленной пищей, поэтому мы очень много пили. Дети-дистрофики заболели и умирали. Я решила бежать.

Детдом находился за высокой оградой, ворота были заперты, поэтому пришлось лезть через забор. Какой-то мужчина-дистрофик за две конфеты помог мне перекинуть мои вещи через забор.

После этого я попала в детдом на улице Правды. Там первое время Ревекка Лазаревна водила меня на кушаке, чтобы я не сбегала. Такая была у меня слава.

## ЭВАКУАЦИЯ

### Ира Синельникова

Наш детский дом стал эвакуироваться. Перед посадкой в поезд у многих ребят начался понос. Нас, старших, послали в вагоны, где были малыши двух-трех лет. Мы за ними ухаживали. Потом нас посадили на пароход. Я была на палубе, когда объявили тревогу. Какой-то моряк сказал, что лучше оставаться наверху, накрыл меня брезентом и сказал, чтобы я не боялась. Слава Богу! Мы переплыли Ладогу и остановились в какой-то деревне. Узнав, что мы из Ленинграда, местные жители стали нас расспрашивать о блокаде, но не поверили нашим рассказам, решили, что мы хотим их разжалобить.

### Из дневника Мирры Самсоновны Разумовской

*Июль 42 года. Я никогда не была воспитателем. И вот мне пришлось окунуться в воспитательное море. Я получила шестьдесят ребят, с которыми была помещена в один вагон. Мы эвакуировались из Ленинграда в неизвестном направлении. Маршрут менялся трижды.*

*Началась новая, не похожая на прежнюю, напряженная, динамичная и интересная жизнь, которая полностью захлестнула меня и помогла справиться с непроходящей тоской и мыслями о Ленинграде. Я стала жить, растворив себя в детском коллективе.*

*Появились новые, чисто психологические задачи. Это очень нелегко — подойти вплотную к сердцу ребенка. Не каждое откликается на зов, не каждое открывается, не всякое поверит и доверится.*

*Мой отряд — самый старший. Вместе со мной работает воспитателем доброжелательная и энергичная девушка Вера Рогова. В отряде много интересных ребят, с которыми мы уже подружились в пути. Разные характеры, разные судьбы, объ-*



единенные одной общей бедой — войной. Подавляющее большинство — сироты. У некоторых где-то на фронте отцы, у какого-то родственники в разных концах Союза. Почти все дети сильно изломаны пережитым, с психологией дистрофиков. Еда — Бог и царь их душ, ради нее они готовы на все. Разговоры постоянно кружатся вокруг этой темы даже тогда, когда они сыты. Были случаи, когда под подушками у девочек находили кучи обглоданных корок и даже плошки с остатками скисшей каши.

Постепенно вагон обжился. Дети знакомились, привыкали к необычной обстановке. Ссор почти не было, конфликты возникали только на почве еды, — трехразовые кормления были центральной темой дня, своего рода священнодействием. Особенно ненасытными казались Володя Панфилёнок, худой костлявый парень, изможденная голодом Надя Каשתелян и Геня Мориц. Геня, набив рот так, что уже не мог ходить, ложился на полку и, тяжело дыша, свесив вниз руку, просил добавку.

В вагоне процветала «менка». Сначала меняли друг у друга хлеб на кашу и наоборот. Потом стали менять чужие мелочи на съедобное. Потом переключились на казенное белье. На остановках тапочки, трусы, даже синие форменные береты быстро превращались в огурцы, яйца, молоко и ягоды. Однажды Панфиленок появился в вагоне с тремя селедками, от запаха которых весь вагон зажал носы. Бдительная Ревекка Лазаревна немедленно конфисковала добычу, решительно заявив, что холеры в вагоне не допустит. Панфиленок ужасно обиделся на этот «произвол начальства» и потом в течение недели ходил к матери Ревекки Лазаревны, жалуясь на лихую судьбу. И каждый раз добрейшая Ита Ноевна подкармливала его, чем могла, с лихвой возместив ему утрату злосчастных селедок.

В остальном все было нормально. Ехали дружно. Много говорили, шутили, смеялись. Постепенно, сближаясь, ребята начали делиться своими историями, рассказами о пережитом, которые часто заканчивались плачем, потому что за спиной у каждого была трагедия — потеря родителей, дома, семьи. Однако надломленные детские души почти всегда были открыты для шуток, для улыбки, для юмора. И я сразу поняла, что это чудо детской души нужно всемерно беречь и поддерживать. Наш путь до места, где детскому дому суждено было жить, состоял, как потом выяснилось, из нескольких этапов: поездом Ленинград —

*Шлиссельбург, парходом через Ладогу до Кобоны, оттуда поездом дальнего следования через Горький до Мантурово, а из Мантурово «лошадиным транспортом» сорок километров до деревни Малые Угоры.*

### **Лев Разумовский**

Поезд из Ленинграда останавливается в Шлиссельбурге. Здесь кончается блокадное кольцо. Мы выгружаемся, чтобы продолжить наш путь через Ладожское озеро на восточный берег. Многочисленные тюки, ящики, узлы и пакеты постепенно заполняют всю платформу небольшой станции. Старшие ребята строятся поотрядно и под руководством Мирры и Веры Роговой уходят на пристань. Все происходит шумно, суматошно, но после переключки становится на свои места, и перрон понемногу пустеет.

— Позаботься о Мустафе! — уходя, кричит мне Мирра. — Что-то с ним неладно.

Мы, старшие, — Олег, Женька, Ника и я перекидываем вещи в бортовые машины. В таких же машинах уехали дошколята со своими воспитателями: Люсей Роговой, Марией Степановной Клименко и мамой. Я передаю очередной ящик Олегу и подхожу к Мустафе, одиноко сидящему около своего вагона на свернутом матрасе.

— Что с тобой?

— Ослаб. Ноги не ходят.

— Совсем не ходят?

— Совсем. Пропал Мустафа...

— Ну-ка, давай попробуем встать. Я тебе помогу.

Мустафа цепляется за мою руку, пытается встать. Но ноги его подкашиваются, и он падает рядом с матрасом.

— Олег! Давай сюда! Ну-ка подсади мне его на закукры.

Мне хорошо знакомо это — когда ноги становятся ватными и подкашиваются. Ровно шесть месяцев назад мои тоже не ходили, а сейчас я могу ему помочь.

Мустафа обнимает меня за шею, обхватывает бока ногами, и я несу его сначала через пути, потом мимо серых бревенчатых домов, потом грунтовая дорога выводит меня на небольшой пригорок. С него уже открывается серебристая Ладожская гладь. На ней парходы, рядом с пристанью снующие по ней люди.

На пристани я высаживаю Мустафу на деревянные мостки около Зинаиды Сергеевны Якульс, которая раздает ребятам своего отряда горячую кашу из большого котла.

Надо спешить к поезду, помочь ребятам завершить разгрузку. Через пару шагов я оборачиваюсь, чтобы еще раз взглянуть на Ладогу, и с изумлением вижу, как ослабший Мустафа довольно бодро встает с мостков, своими неходящими ногами приближается к котлу и протягивает руку с миской...

Прощальный гудок, и пароход с тремя сотнями детей на борту отчаливает от причала Шлиссельбурга. Идет дождь. Серое небо, свинцовые волны, хмурое Ладожское озеро. Старшие дети тесной кучкой сгрудились на борту, вцепившись худыми руками в поручни, с тоской и надеждой смотрят вдаль, туда, где небо соединяется с водой, где нет бомбежек, где их ждут покой, еда и жизнь.

В трюме тесно и сыро. Там набито битком. Малыши — вповалку на полу, так что не пройти, не пролезть к любому из них. Как тени, бродят воспитатели с красными от бессонных ночей глазами. Смотрят за детьми, пытаясь помочь им. Пароход сильно качает, детей рвет, они стонут и плачут. На палубу выходит боцман.

— Эх, ребят жалко! — бормочет он, застегивая бушлат.

— Конечно, жалко! — откликается молоденькая круглолицая Люся Рогова, — Мучаются дети...

— Что мне ваших жалко? — искренне удивляется боцман. — Мне своих ребят жалко. Им убирать!..

На палубе появляется Ольга Александровна. В руках у нее серое цинковое ведро, полное обрезков хлеба и булки. Она направляется к группе детей, стоящих у борта.

— Ребята, берите хлеб. По очереди.

Слово «хлеб» действует как удар кнута. Доселе неподвижная кучка прижавшихся друг к другу детей срывается с места и в момент окружает ведро с хлебом. Мелькают руки, головы. Кто-то падает, кто-то набивает себе куски за пазуху, кого-то толкают, а он, вцепившись в ручку ведра, тянет его к себе...

— Назад! — кричит Ольга Александровна, и ее голубые глаза становятся круглыми. Она вырывает ведро из уцепившихся в него рук и... раз! — выбрасывает его за борт...

Ведро с легким стуком ударяется о волну. Серые и светлые кусочки исчезают в темных волнах. Дети, перегнувшись через борт, замирают от ужаса и невероятности происшедшего.

Ольга Александровна еще кричит что-то своим резким и высоким голосом. А маленькие фигурки повернулись спинами к ней и оцепенело глядят на темную зыбкую воду, поглотившую такую драгоценность...

### **Из дневника М. С. Разумовской**

*Ладога встретила нас проливным дождем, под которым мы выгрузили наше имущество из вагонов и погрузили его на пароход. Работали до изнеможения, до боли в руках, но дружно и слаженно. Воспитатели, администрация, старшие ребята — все участвовали в этом.*

*Впервые оказавшись на Ладожском озере, я сразу вспомнила, что именно здесь зимой пролегла узенькая дорога жизни, которая непременно войдет в историю. Вспомнился голод, заснеженные пустынные улицы и драгоценные граммы, от которых зависела наша жизнь. А та ледовая дорога была не шире десяти метров.*

*Когда пароход с зенитками, возле которых неотступно дежурили моряки, медленно отчалил от берега, я неотрывно смотрела назад. Там, в Ленинграде, остались мои близкие. Шел 1942 год. Блокада не снята. Что ожидает город и его жителей? Пароход шел быстро. Через два часа мы уже были у пристани на другой стороне озера и вздохнули с облегчением: нам повезло, мы прошли водный путь без бомбежки!<sup>1</sup>*

*Самое сильное впечатление от встречи с Большой Землей: рабочие, сидевшие на досках пристани, ели крутые яйца, спокойно макая их в соль и заедая хлебом и зеленым луком. Это было невероятно! Сама обыденность этой сцены не укладывалась в наших головах...*

*Только здесь, ступив на серую дощатую пристань, я с полной очевидностью поняла, что наша эвакуация — свершившийся*

---

<sup>1</sup> Воспоминания участников расходятся. Одни говорят, что нас бомбили, другие отрицают это, хотя все помнят, что во время перехода через Ладогу была объявлена воздушная тревога. Лично я помню тревогу и момент, когда стволы зениток нацелились в небо. Но этим все и закончилось.

*факт. Назад пути не было. И снова мысли вернулись к Ленинграду и сами собой родились строки:*

Стоит опаленный в боях Ленинград,  
Столицы священной несогнутый брат.  
Пусть раны на теле твоём, Ленинград,  
Пусть в воздухе часто снаряды свистят...

*Записать их было нечем, не на чем и некогда — тяжелые вещи перемещались с парохода на пристань вручную, а потом в кузова присланных машин.*

*Олег, Женя, Ника, Люся Чидина, Мария Николаевна Рогова остались выгружать вещи из трюмов. Я решила подкормить грузчиков. Выпросила у поварихи Лиды буханку хлеба и банку сгущенки. Все это богатство в минуту исчезло в ребячьих ртах. Они повеселели и с новой энергией принялись за тюки. Вдруг завывла сирена, и послышался самолетный гул. Вмиг были сброшены брезенты. Зенитки на пристани подняли стволы в небо. Быстро отчалили и растаяли в тумане катера. Тревога продлилась минут двадцать. Гул самолетов исчез, все закончилось благополучно.*

*Подошедшие вскоре машины забрали все вещи и ребят. Я поехала последней машиной после трехчасового ожидания. Дорога была ухабистой, машину бросало из стороны в сторону, соответственно вещи вместе со мной летали свободно от борта к борту. Из повстречавшейся на пути машины выскочил Панфиленок и радостно прокричал:*

*— Мирра Самсоновна! Я в Лаврове съел пять тарелок супа с настоящей картошкой, мясом и крупой!*

*Небольшой поселок Лаврово — пересылочный эвакопункт, — сплошь забит эвакуированными из Ленинграда. Люди бегают с посадочными талонами, переносят вещи, бидоны, кастрюльки с молоком и вповалку спят на земле.*

## **Надя Каштелян**

В поезде нас кормили хорошо, только мне было все не наесться. Только и думалось, как дожить от завтрака до обеда, от обеда до ужина.

Когда приехали в Кобону, нас кормили, но мне показалось, мало. Я пошла в соседний огород, нашла там за сараем много ле-

беды, рвала ее и ела до сытости. Там же на Ладогe, у меня украли чемодан со всеми моими вещами.

Когда мы потом приехали в Угоры, пошли в деревню и поменяли наши чистые школьные тетрадки и блокнотики на картошку. Хозяйка нам наварила, поставила на стол целый большой чугунок с картошкой, и мы всю эту картошку съели прямо с шелухой.

### **Из дневника М. С. Разумовской**

*Весь день в лихорадке и сутолоке непрерывной работы, а вечером старших ребят разместили по каким-то домам: улеглись вповалку на полу, положив под голову рюкзаки или вещмешки.*

*Ранним утром следующего дня началась погрузка в эшелон дальнего следования, который должен был везти нас далеко на восток, в безопасный район России.*

*Грузили лихорадочно быстро, тюки просто кидали в тамбуры вагонов. Состав двинулся. Сначала медленно, потом, набирая скорость.*

*Началось растаскивание вещей по вагонам и размещение их под полками, на полках и на полу. Мы распорол тюки с матрасами, и вагон приобрел почти жилой вид. Скоро все дети, измученные обилием впечатлений и кратковременными ночевкам, крепко уснули, и даже к еде их невозможно было разбудить.*

*Ехали без комфорта. На нижних полках спали по два человека. На полу, на тюках между полками спал еще один. Когда ночью вдруг раздавались вопли, это означало, что слезавшие с верхних полок наступили на спящего на полу.*

### **Лев Разумовский**

Кобона. Эвакопункт. Поздний вечер. Я иду искать маму. Огромное помещение бывшей церкви битком набито сотнями детей. В церкви полутемно. Слабые огоньки коптилок и редких свечей выхватывают из полутьмы фрагменты полуциркульных сводов, лица и отдельные фигуры взрослых из копошащейся, плачущей, гудящей массы детей, лежащих вповалку на всей площади внутреннего зала церкви. Здесь скопилось сразу несколько детских домов, выехавших из Ленинграда. В размещении детей, видимо, существует определенный порядок, но на первый взгляд

это все равно огромное скопище. Этот детский муравейник вызывает чувство щемящей тоски, тревоги...

Еще у входа я замечаю маму, которая с растерянным и горестным видом с трудом передвигается между плотно лежащими телами своих малышей. Мама наклоняется то к одному, то к другому, что-то им говорит, поправляет одежку.

Я издали машу ей рукой и, осторожно ступая через детские тела, пытаюсь пробраться к ней. Сначала я продвигаюсь успешно, но чем дальше, тем труднее становится найти пустое место, чтобы поставить ногу. Шагах в пяти-шести от нее я останавливаюсь. Дальше — сплошные тела, пройти невозможно. Мама протягивает мне кружку с водой — это большая ценность, я очень хочу пить, но дотянуться до кружки не могу. Мы перекликаемся с ней на расстоянии. Я сообщаю ей последние новости и спрашиваю, где и как она собирается ночевать.

— О чем ты говоришь? — устало машет мне рукой мама, и я ухожу, оставляя ее в тревоге и озабоченности.

Тяжелый смрад, исходящий от поносящих детей, преследует меня до выхода. Июльская ночь встречает прохладой, ветерком и приносит облегчение.

### **Из дневника М. С. Разумовской**

*26 июля 42-го года. Опять стучат колеса. Уже третьи сутки мы едем на восток. Уже проехали Волхов, Тихвин. Сегодня была остановка в Пикалево. Едем медленно, подолгу простаивая на неизвестных железнодорожных разъездах, а иногда в поле или лесу. В вагоне душно. Июльское солнце раскаляет железо. Тяжелый запах испарений, пота, давно немых тел и нестиранного белья.*

*Едем уже третьи сутки. Я продолжаю знакомиться с детьми. Каждый день новые впечатления, новые характеры. Мне интересно.*

*Олег Громов, племянник Ольги Александровны. Родители погибли в блокаду. Красивый сильный мальчик. Мужественное лицо, светлый чуб, голубые глаза. Спокойный, уверенный в себе, всегда готовый прийти на помощь, на выручку. Про таких говорят — «надежный».*

*Ника Бобровская — сгусток энергии, доброжелательности, улыбочности. Выделяется из всех детей цветущим видом, бодростью и работоспособностью. Румянец во всю щеку — кровь с молоком!*

*Женя Ватинцев — живой разболтанный веселый мальчишка. Музыкален. Любит петь, быть в центре внимания.*

*Забавный и хитрый Мустафа. По-русски говорит скверно, но рассуждает много. Ссорится со всеми, не переставая улыбаться. Не знает разницы между своим и чужим и одевается в то, что лежит рядом. Вот очередная ссора с Сонькой Сулеймановой, которая, не обнаружив своих тапок, свесила с верхней полки над Мустафой голые ноги и запричитала, требуя свои туфли.*

*— Сонька, говнюк, чего ноги свесил, как рак?*

*— Сам говнюк! Отдай мои туфли!*

*— Нет у меня твоих тухль. Это мои тухли.*

*— Нет мои!*

*— Иди на куфню. Спроси этого, как его... тетю Лиду. Наверное, он забрал. Общий смех в вагоне. Девочки за Соньку, мальчишки за Мустафу. Тема еды на время забыта.*

*Мустафа был одним из самых слабеньких. Он целыми днями лежал, любил, чтобы за ним ухаживали, в еде был капризен. Положение ослабленного позволяло ему не вставать и не мыться, часто стонать и лежать с голым задом. Когда ему пеняли на это, он невозмутимо отвечал:*

*— А жарко. Можете отвертеться и не глянуть.*

*Его жалели. До тех пор пока не застучали: ночью после двух суток лежания и стонов он встал и выпил двухлитровый бидон со сладким чаем. Потом бодро влез на полку и застонал снова.*

*У него был друг Шавкет. Круглоголовый живой и подвижный мальчишка с круглыми хитрыми глазами, в прошлом мелкий воришка. Говорил он басом, быстро, немного заикаясь. Однажды он пришел к Мустафе не утром, как обычно, а к ужину. Я спросила, где он был. Он ответил, что весь день искал тóну.*

*— А что такое тóна?*

*Ответ был настолько же многословен, насколько непонятен. Потом выяснилось, что «тóну» его послала искать Ольга Александровна. Ольга Александровна подтвердила:*

*— Да, он позволил говорить со мной неподобающим образом. Я его выставила и потребовала найти другой тон...*



*На протяжении десятидневного пути в поезде дальнего следования между трехразовыми кормежками, общими разговорами и мелкими конфликтами под стук колес дети продолжали делиться воспоминаниями.*

### **Валя Тихомирова**

Когда нас стали эвакуировать, каждому выдали в дорогу неприкосновенный запас — по буханке хлеба и строго предупредили, чтобы в конце пути сдали на кухню. Ольга Александровна сказала:

— Если тронете хлеб, высажу!

Мы с Тамарой Соевой ехали на одной полке. Нас кормили хорошо, но запах хлеба дразнил постоянно. И Тамара стала потихоньку от своей буханки отщипывать. А я боялась, буханку берегла, напоминала ей про угрозу Ольги Александровны. Она ответила: пугают...

По приезду в Угоры нам велели буханки сдать. У меня была целая, а у Тамары один мякиш серединный, так и сдала, и ей ничего не сказали.

### **Лев Разумовский**

Поезд дальнего следования. Говорят, едем на Горький. Я знакомлюсь с ребятами. Среди них заметно выделяется невысокий хромой парень с острым взглядом, облупленным носом и уверенным хриловатым голосом. У ребят, даже более рослых и сильных, он пользуется необъяснимым бесспорным авторитетом: «Сашка сказал», «Не тронь — это Сашкино», «Скажу Сашке, тогда узнаешь!» — слышу много раз за день.

Мы встречаемся с ним в проходе у окон. Прищур зеленоватых глаз, обмен двумя, тремя фразами, и завязывается наш интересный разговор.

— Ты «Овода» читал?

— Конечно! Вот человек был! Никого не боялся!

— А «Монтекристо» читал?

— Еще бы! Любимая книжка!

— Ты много читал, я смотрю. А что до войны делал?

— Учился. Много учился, — быстро, в тон мне реагирует Сашка. Плутоватая улыбка. Хитрые глаза. Чувствую какой-то подвох.

- Чему учился?
  - Где притырить, что слямзить, как хавиру на бой пустить...
  - Врешь ты все..
  - Ты что — не веришь? Хочешь, фокус покажу?
  - Давай.
  - У тебя носовой платок есть?
  - Есть.
  - В каком кармане?
- Я хлопаю себя по боку
- Так. Следи за мной, я его красть буду. Следи внимательно.

Особенно за руками.

- А-а-ап-чи!

Сашкино лицо сморщивается, глаза превращаются в щелочки, рот открывается, и он оглушительно чихает несколько раз. Потом медленно лезет в свой карман, достает мой платок, вытирает выступившие слезы, затем с хрюканьем сморкается в него, сует мне в руки и говорит:

- Извини, у меня насморк!
- Ну и чудеса!
- Не зевай!

Сашка заразительно хохочет, радуясь блестяще выполненному трюку, и я хохочу вместе с ним.

Поезд мчится, постукивая по шпалам. За окнами проплывают зеленые поля, под колесами громыхает мост, в речке купаются мальчишки. Я замечаю, что к подножке нашего вагона прилепился парень с бледным и рыхлым лицом, на ногах — лапти, холщовый мешок за плечами.

- Смотри, вон с нами еще один пассажир едет.

Сашка выглядывает в открытую верхнюю часть окна, замечает парня и резко выкрикивает:

- Эй ты, хмырь! Ты что прилип?
- А тебе пошто? — огрызается парень и раздражается матюгом.

Реакция наступает мгновенно. Сашка меняется в лице. Одним движением подтягивает свое сухое жилистое тело к открытой фрамуге и перекидывает ногу за окно.

— А ну вали отсюда, падло скобское! Рви с подножки, — рычит Сашка, перекидывает вторую ногу и, перебирая руками по раме (в зубах неизвестно откуда взявшаяся финка), двигается к подножке, к обомлевшему деревенскому...

Я вскакиваю на приступок, перегибаюсь наружу и хватаю Сашку одной рукой за волосы, другой за руку. Он поворачивает ко мне искаженное злобой лицо и что-то хрипит сквозь сомкнутые зубы. Я что-то тоже ору и изо всех сил тяну его наверх. Боковым зрением вижу перепуганного парня, который присел, забился в угол подножки и отчаянно кричит:

— Не надо! Ой, не надо...

Каким-то невероятным усилием втягиваю в вагон Сашкину голову, захватываю ее и начинаю всем телом давить вниз. Финка со стуком падает на пол. Сашка рычит, но я все-таки перетягиваю его и держу, зажав изо всех сил. А он, дрожа всем телом, понемногу затихает и успокаивается.

— Ты что, с ума сошел? Чего ты на него полез? Да ты бы скопытился под колеса!

Сашка молчит, хмурится, а потом, шмыгая красным носиком, выдавливает, глядя на меня исподлобья:

— Ну, Лева, пускай он за тебя Богу молит. А то лежать бы ему сейчас в крови под откосом ...

### **Зина Тютикова**

Мой отец Николай Михайлович Тютиков был начальником цеха завода «Арсенал». После его смерти в мае 42-го мама пошла работать ночной няней в детский дом. Моя восьмилетняя сестра Ира умерла от дистрофии в марте 42-го, а в июле мы с мамой и трехлетней Маринкой эвакуировались вместе с детдомом из Ленинграда.

Дорога была тяжелой. Мама целиком была занята со своими дошколятами, а все наши вещи — несколько узлов и Маринка были на мне. Маринка очень ослабела, поэтому я ее носила все время на руках. Мне тогда было тринадцать лет.

В Кобоне, когда мы пересаживались с парохода на поезд, я усадила сестренку на узлы и начала переносить их один за другим за десять-пятнадцать шагов, потом возвращалась за следующим узлом, потом Маринку снесу и так дальше. Помочь было никому, кругом народ слабый, о себе думали.

В поезде нас начали хорошо кормить, появились даже сливочное масло и сгущенка. Наверное, их нельзя было давать Маринке, потому что она была очень слабенькая, но хотелось быстрее ее поправить. А вышло хуже — у нее начался кровавый понос. Лекарств не было. Маринка прожила еще месяц и умерла в сентябре.

## УГОРЫ

**Тамара Логинова**

Когда нас привезли в Мантурово, местные женщины, глядя на нас, плакали, а Ольге Александровне говорили: «Доченька, ты их по дороге всех похоронишь». По приезде в Мантурово нас завели в столовую, и посудомойка, жалея нас, говорила: «Какие скелеты!»

А через три года, когда мы уже возвращались в Ленинград, та же женщина в той же столовой радовалась за нас: «Какие мордастые стали!».

**Из дневника М. С. Разумовской**

*Так и ехал наш дом на колесах двенадцать дней, а на тринадцатый остановился на неказистой полупустой станции Мантурово.*

*На грунтовой привокзальной площади нас ожидало около двадцати крестьянских подвод, которые должны были отвезти нас со всем нашим скарбом за сорок километров от станции, в далекую деревню Малые Угоры в отведенное для нас здание церкви. Мы свалили на подводы наши вещи, посадили сверху детей. Обоз двинулся в далекий путь. Чахлые, полуголодные клячи медленно волокли телеги по равнине, бойчее под уклон и останавливались перед подъемами. Приходилось всем слезать и дружно толкать телеги. Начали мы наш поход с утра, к ночи с многочисленными остановками проехали половину пути и заночевали на подводах, укрыв детей всем теплым, что оказалось под руками. Это было 2-го августа 1942 года.*

**Лев Разумовский**

Вот и Угоры. Деревня тянется вдоль дороги, по которой мы ехали. Перед каждым серым бревенчатым домом изгородь из жердей. За ней огороды. Крестьяне смотрят на нас доброжелательно и с любопытством. Наш приезд — большое событие для захолустной деревни. За поворотом дороги посреди большой зеленой поляны стоит высокая розовая церковь с куполом и колокольней. Белые пилястры обрамляют окна на обоих этажах церкви.

Суматоха. Работают все сотрудники детского дома. Весь объемистый груз постепенно втаскивается в открытые полуциркуль-

ные церковные двери. На нижнем этаже от входа до полукруглого алтаря с тремя высокими окнами рядами устанавливаются железные кровати. Все старшие ребята при деле. Младшие рассыпались по поляне, радуются зеленой траве, деревьям, солнцу. Весело и радостно оттого, что закончилась утомительная дорога, что мы обрели наконец дом, в котором нам жить.

Втаскивая вместе с Женей Ватинцевым очередной ящик, я уже с паперти слышу знакомый властный высокий голос с напористыми интонациями. В притворе в окружении нескольких местных мужчин стоит Ольга Александровна и, как я понимаю, отчитывает председателя сельсовета. Рослый, грузный небритый мужик с одутловатым лицом, на голове кепка, выцветшая рубаха выбивается из брюк, стоит навтыяжку перед нашим директором, хрупкой голубоглазой блондинкой, и что-то бубнит себе под нос, теряясь перед стремительным напором этой миниатюрной женщины. Есть от чего потеряться! Голос Ольги Александровны крепчает с каждой фразой, резкость слов нарастает, глаза буравят председателя.

— Вы были предупреждены заранее! Вы были обязаны подготовить помещение для ленинградского детдома! Обязаны были обеспечить горячее питание в день приезда детей! Ни того, ни другого вы не сделали! Я буду жаловаться на вас в Мантуровский райком партии! Из-за вашей халатности триста блокадных детей сегодня остались голодными! Это даже не халатность! Это преступление! Почему не подготовлена кухня?

Сельсоветчик разводит руками и пытается что-то сказать. Но Ольга Александровна перебивает его:

— Мне не оправдания нужны, а дело! Если через два часа дети не будут накормлены, партийный билет на стол положишь!

Она поворачивается спиной к обалдевшему председателю и продолжает в том же темпе:

— Мария Степановна! Я иду звонить в Мантурово. Размещайте детей пока в церкви. Роза Михайловна! К вам это тоже относится! Вера Николаевна! Четвертому отряду распаковать матрасы. ... А вы что здесь стоите? — напускается она на нас с Женькой. — Взялись нести так носите, а рот нечего резать!

Через два часа на поляну перед церковью въезжает телега с большим черным котлом. А спустя еще двадцать минут все мы, старшие и младшие, расположившись на траве или ступеньках паперти, уплетаем горячую густую манную кашу.

Когда нас привезли в деревню, мне было четыре года. Помню вой сирен. Помню запах хлеба в поезде — запах, который разбудил меня, и я закричала от страха, что проспала хлеб, и успокоилась после того, как няня сунула мне в рот сладко пахнущий мякиш.

Помню, как мы лежали на зеленой лужайке перед деревянным домом. В доме стучали, что-то строили, а у меня перед глазами почему-то возник большой каменный дом, серое небо и дядя с фронта, весь перепоясанный ремнями, и конфеты из его рук — мне и сестре...

Помню, как в день приезда я заболела, и меня увезли в больницу.

Когда через месяц привезли обратно, весь наш дом был украшен внутри флажками, картинками и воздушными шариками.

В доме было тепло и чисто. И всегда вкусно кормили.

### Из дневника М. С. Разумовской

*Угоры. Я продолжаю знакомиться с ребятами. Витя Элинбаум, интересный и трудный. Ох, какой трудный! Очень способный, много читает, пишет стихи, интересуется политикой. Неопрятен — любая вещь на нем в течение дня становится тряпкой.*

*В Ленинграде во время артиллерийского обстрела потерял глаз. Теперь у него протез.*

*Однажды по дороге в детдом я увидела, как Виктор, окруженный деревенскими ребятами, под изумленные выкрики демонстрировал глаз. За это они тут же расплатились с ним четырьмя брюквинами.*

*У него была отличная память. Он любил пересказывать ребятам прочитанное, таким образом удовлетворяя свое желание быть в центре внимания. Это ему не удавалось, так как ребята не чувствовали в нем ни силы воли, ни твердости. В результате он скатился до паясничания, над ним смеялись, и он стал сторожиться ребят, ходил, втянув голову в плечи, угрюмый и одинокий.*

*Я занялась им. Прежде всего нужно было пробудить в нем чувство собственного достоинства. Поручила ему доклад «Немецкие зверства на оккупированной территории». Он взялся за дело с большим интересом, зарылся в газеты. Был очень доволен,*

а я еще больше — и назначила его звеньевым. В диктовку по теме «Союзы» вставила фразу: «Я хочу, чтобы ты стал звеньевым, и верю, что ты будешь хорошим пионером». После этого я предложила придумать собственные фразы на союзы и сдать мне тетради. Мой прием удался. В тетради Виктора я прочитала: «Вы поверили мне и поняли меня. Я буду стараться, а вы мне помогите».

Постепенно мальчик подтянулся, обрел некоторую уверенность, выровнялся и успокоился. Однако в дальнейшем с ним было еще много хлопот — человек он был нервный и непредсказуемый.

Ребята в детдоме много пели. Пели, кто что знал. Иногда запевали грустные: «Позабыт-позаброшен» и «Мама». «Мама» была опасной песней и, как правило, заканчивалась слезами. Поэтому я старалась переключить их на что-нибудь нейтральное, например, просила Иру Синельникову исполнить ее любимую «Гречаныки». Лучшие всех пел Женя Ватинцев. У него был приятный и сильный голос. Любимые его песни «Пара гнедых» и «Песня о неизвестном моряке», которую он исполнял особенно задушевно.

У Саши Корнилова свой репертуар — блатные песни. Он пел их со вкусом и настолько залихватски, что многие заразились этим жанром, и переключить их было трудно.

Вообще Сашка был особым человеком — властным и одновременно ранимым, заводным, озорным, но часто впадающим в грусть или даже отчаяние. Он был начитан, пожалуй, больше всех, но при этом любил изъясняться на блатной фене, пересыпая свою витиеватую речь словами «кающийся грешник», «романтическая баллада», но и «насунуть», «притырить», «урки», «шкварки» и т. д.

Однажды я случайно наткнулась на оставленную им на тумбочке тетрадь с заглавием «Моя борьба с администрацией». Эпиграф: «Я не переношу приказы». Дальше записи: «1. Чрезвычайно трудно сидеть на уроках. Меня мучают кошмары. 2. Урок геометрии. Учитель зекает, как аллигатор, и не дает пошевелиться. 3. Учитель вопит, как гад. Ох, как он мне надоел!».

Володя Панфиленок тоже трудный парень. Наверное, из-за своего роста. Он больше других страдал от голода и никак не мог наестся. Наша медсестра Валя однажды сообщила мне, что лежащие в изоляторе с чесоткой Панфиленок и Элинбаум (чесотка была бичом детей, переходила от школьников к дошко-

лятам, от воспитанников к взрослым, и справится с ней удалось только через несколько месяцев) часто вылезают в четыре утра из окошка изолятора и пропадают где-то до завтрака. Вечером же едят овощи, яйца, ягоды и пьют молоко.

Я немедленно пошла в изолятор. Не прошло и получаса, как Панфиленок признался, что они с Виктором ходят в деревню Поломы, где меняют на еду вещи Виктора. За рубаху — чугунок картошки, за брюки — пару яиц, два огурца и брюквина. «Казенное белье не меняли», — уверял меня Панфиленок. Я сделала вид, что поверила.

После праздника у меня в отряде пропали казенные брюки. Мои розыски ни к чему не привели. Поздно вечером, когда я шла домой мимо изолятора, из окошка высунулся Виктор и попросил зайти к нему. В изоляторе было темно. На койке сидел Виктор, завернутый, как римлянин в тогу, в красное байковое одеяло. Потом он встал в позу и театрально произнес:

— Я решил помочь вам поймать вора. Этот вор — Панфиленок!

Последовавший разговор с Панфиленком оказался ниточкой, которая помогла размотать целый клубок. Сначала он проклял своего неверного друга, а потом подробно рассказал, где, когда, и что променял он сам. Он назвал еще нескольких ребят, занимавшихся тем же промыслом — обменом казенных вещей на еду в соседских деревнях.

Дело приняло серьезный оборот. Ольга Александровна потребовала любой ценой вернуть казенное имущество. И на другой день утром Ревекка Лазаревна, надев военную гимнастерку и прицепив внушительную финку к ремню, отправилась в Поломы, подхватив для подкрепления Веру Рогову и Элинбаума с Панфиленком как участников мены. Они заходили во все избы, где имел место обмен, и, угрожая судом, получали назад свои вещи.

Вечером все меняльчики предстали перед директором, и началась разборка. Провинившиеся ребята держались по-разному. Леня Баринов винился легко, слезно просил прощенья и клялся, что больше это не повторится. Коля Леонтьев, высокий, всегда улыбающийся парень, держался спокойно. Он сразу признался во всех своих грехах и покорно отправился по деревням собирать все, что успел намять.



*С Виктором Элинбаумом оказалось сложнее. Он отпирался, путался, открывая свои секреты не сразу. Ольга Александровна быстро разобралась в этой игре и приказала запереть его в подвале, чтоб поразмышлял на досуге. Одиночество и темнота сработали быстро: уже на другой день несколько простыней вернулись в кладовую нашей кастелянши.*

*С Панфиленком было еще сложнее. Сознавшись в экспроприации двух простыней и обмене их на яйца с пряженниками, он подозрительно быстро вернул их. А вечером обнаружилась пропажа двух простыней в соседнем отряде. Вся комбинация оказалась проще пареной репы: вместо того чтобы утруждать себя походом за несколько километров, гораздо проще было забрать одеяло с койки соседа и честно рассчитаться с назойливыми преподавателями...*

**16 августа 1942 года.** *Вечер, посвященный открытию детского дома. Я прочитала свой «Ленинградский дневник», написанный в один присест в мае 42 года. Пережитое впервые читала на людях. Их искренняя реакция (многие плакали) меня очень взволновала.*

*Этот вечер еще больше сблизил меня с ребятами. В моих строках они услышали то, что пережили сами.*

**18 августа.** *Мой отряд вчера и сегодня помогал колхозу — теребили лен. День был жаркий, наш участок поля находился недалеко от берега Унжи, поэтому соблазн был велик. Я разрешила сделать перерыв. Однако купаться нам не пришлось. Около спуска к реке мы встретили Ревекку Лазаревну, которая решительно завернула нас назад, сказала что, пока мы не выполним положенную норму, ни о каком купанье не может быть и речи. Норму мы выполнили, но купаться было уже поздно.*

## **Лев Разумовский**

Сельсовет выделил нам еще несколько домов рядом с церковью, в которых разместились дошколята с воспитателями, столовая с кухней, лазарет. Началось строительство бани.

Мария Николаевна Рогова организовала кружок кройки и шитья. Я тоже искал дела и организовал кружок рисования. Вспомнив свои занятия во Дворце пионеров, я начал приучать ребят рисовать с натуры — ставил им простые натюрморты, а также поощрял их интерес к вольным композициям — рисуй, что хочешь!

Среди ребят самым способным оказался маленький черноглазый мальчик Завен Аршакуни. Он легко схватывал суть моих требований и выражал свою мысль в рисунках лучше всех.

Недалеко от деревни Ступино я обнаружил в овраге выходы бурой глины, накопал ведро и принес ребятам. Так наш кружок рисования превратился в кружок рисования и лепки.

Первое задание — вылепить с натуры кошку — оказалось слишком трудным. Дети, не привыкшие к объемным изображениям, вылепили кошек плоскими, с тоненькими ножками, свисающими частоколом от живота.

Однако после моих объяснений в нескольких вылепленных фигурках можно было узнать кошек, а кошка Завена была как живая! Высушенные фигурки дети с удовольствием раскрасили акварелью. Других красок у нас не было.

После того как мы устроили в столовой маленькую выставку наших работ, Ревекка Лазаревна предложила мне оформить отсек в церкви, отведенный для игр и клубной работы.

Я с радостью взялся за это дело. У меня сразу возникла мысль расписать стенки сюжетами из сказок Пушкина, как в «Комнате сказок» в ленинградском Дворце пионеров.

На другой же день один из отсеков церкви был отгорожен высокими деревянными рамами, которые местные столяры обшили белой, чистой фанерой, аккуратно подогнав лист к листу.

Я собрал все имеющиеся материалы — иллюстрации, книги, учебники — и начал работать. Добросовестно перерисовал все иллюстрации Билибина к сказкам «О золотом петушке», «О царе Салтане», «О рыбаке и золотой рыбке», расположив их вольным образом по четырем стенам

В центре поместил круг с портретом Пушкина, срисованным со школьной тетрадки.

Работа над этими незатейливыми росписями доставила мне много радости — ведь я делал конкретное полезное дело! Открытая мной новая техника — роспись акварелью по фанере — оказалась интересной и дала неожиданный результат: рисунки красиво расцвелились на теплом тоне березовой глади фанеры.

Занимался я этой комнатой недели две, и все это время ребята с интересом следили за моей работой, радовались появлению новых персонажей, советовали, вспоминали стихи, сопереживали, т. е. оказались стихийно вовлеченными в творческий процесс.

Моя работа и контакты с ребятами имели неожиданное продолжение. Однажды утром Ревекка Лазаревна вызвала меня к себе и сказала:

— Ты уже взрослый, и дальше считать тебя воспитанником мы не можем. Мы убедились, что ты можешь быть полезным, если начнешь работать в детдоме как пионервожатый третьего отряда. Тебе будет выдаваться зарплата, и теперь ты сможешь ночевать не в церкви, а дома.

— А что я должен делать?

— Проводить воспитательную работу: следить за порядком, организовывать отряд на полезные дела, проводить политинформации по газетам, учить ребят ходить на лыжах, рассказывать им то, что считаешь нужным. В общем, ты должен будешь делать все то, что делает сменный воспитатель. Вот, например, сегодня нужно во время уложить детей спать и остаться дежурить на ночь. Согласен?

— Так они меня не послушаются!

— Послушаются. Я объявлю о твоём назначении, и все будет в порядке.

Слегка ошеломленный таким предложением, я весь день думал. Посоветовался с Миррой — и согласился.

Ревекка Лазаревна привела меня в отряд, представила, сказала, что ребята отныне должны меня слушаться и относиться ко мне как к воспитателю, и ушла. Я остался один на один с тридцатью гавриками, каждый из которых был моложе меня всего на три-четыре года. С любопытством разглядывали они меня в новой для них роли. Лукавство и скепсис в их глазах были настолько откровенны, что я сначала растерялся. Собравшись, я стал рассказывать то, что знал сам о художниках, об их жизни, о судьбе их картин. Постепенно скепсис сменился интересом, а когда я рассказал о сумасшедшем, который порезал картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына», посыпались вопросы. К десяти часам я закончил и предложил ребятам идти спать, что они, к моему удивлению, послушно выполнили.

Однако радость моя оказалась преждевременной. Увлечшись собственным рассказом, я забыл, что в церкви кроме моих ребят размещались еще два отряда — второй и четвертый, шестьдесят человек. Войдя в полутемный зал, освещенный двумя свисающими с потолка керосиновыми лампами-молниями, я застал такую

картину. Некоторые ребята уже лежали под одеялами; другие, собравшись в группки, что-то бурно обсуждали; несколько девочек у открытого жерла печи слушали чтение сидящего в центре их кружка с книгой на коленях Кольки Иванова; несколько мальчишек в кальсонах и рубахах прыгали с койки на койку и с хохотом лупили друг друга подушками. В зале стоял невообразимый шум. Перекрывая его, я закричал:

— Ребята! Десять часов! Отбой!

Несколько голов поднялись с подушек и с удивлением уставились на меня; остальные, не обращая внимания, продолжали свои разговоры и игры.

— Отбой! Всем по кроватям!

Ноль внимания. Что делать? Укладывать каждого насильно? И вдруг с койки среднего ряда поднялась худая фигурка. Два пальца в рот — и оглушительный свист перекрыл все шумы. В наступившей на секунду тишине прозвучал резкий повелительный окрик:

— Тихо, шпана! Лева дежурит!

Дальше было как в кино. Сначала, как по мановению волшебной палочки, разом выключился звук. Потом ребята быстро нырнули под одеяла. И уже через несколько минут в зале воцарилась тишина, нарушаемая лишь дружным сопением. Я пробрался по ряду к Сашкиной кровати. Он не спал.

— Ну, герой! Спасибо тебе!

— И вам мерси, товарищ воспитатель!

— Как это ты их сразу? Ты мне здорово помог!

— А чего тут такого? Пара плёвых. А знаешь, почему помог?

— Почему?

— Наклонись. На ухо скажу.

Он садится, я наклоняюсь.

— Потому что шпана не ударит урку в грудь!

Сашка хохочет. Я зажимаю ему рот рукой и валю на койку.

— Молчи, дурак, разбудишь!

— Разбужу — снова положу! — буркает Сашка. Мы расстаемся довольные друг другом.

### **Из дневника М. С. Разумовской**

*30 августа 1943 года. К сожалению, не всё было розово в нашей коллективной жизни. Мне пришлось столкнуться с фактом детской зависти и детской жестокости.*

Пределом мечтаний детей всегда была работа на кухне. Зная это, я старалась пропустить через кухню весь мой отряд. Однажды я отправила на кухню Иру Синельникову, синеглазую, тихую, всегда грустную девочку. Она была замкнута, неразговорчива, не сумела, как другие, сблизиться с кем-нибудь, найти себе подругу. На следующий день я встретила Иру бледной, с распухшим носом и заплаканными глазами. На вопрос, что с ней, она тихим голосом попросила меня снять ее с кухонной работы. На вопрос о причине отказа не ответила и ушла, так ничего и не объяснив. Вечером я пошла к ней поговорить на эту тему и, поднимаясь по лестнице, услышала чей-то плач. Оборачиваюсь и вижу Нину Николаеву, которая работала вместе с Ирой на кухне.

— Что с тобой? О чем слезы?

— Боюсь идти спать. Меня тоже будут бить, как били Иру...

— Как бить? За что? Кто бил? Ну-ка рассказывай!

Молчит.

Тогда я поднялась в спальню девочек и там очень быстро узнала обо всем происшедшем. Организовала избивание Ляля Спажеева, маленькая юркая девочка, очень активная, оказывавшаяся всегда в центре детских игр, ссор и разборок. Подговорив девочек заранее, она крикнула ночью «Полунора!», после чего целая группа накинула одеяло на спящую Иру и начала ее избивать.

На другой день был собран совет детского дома и все участники заговора. Все девочки, принимавшие участие в этом гнусном деле, плакали, изображали себя жертвами и валили вину друг на друга. Одна Ляля была относительно спокойна и членораздельно отвечала на вопросы. На главный вопрос, почему били, ответ был:

— Били, потому что все били.

Совет детдома постановил: всех, кто избивал, изолировать от коллектива. Их на время рассадили в баню, на колокольню, в отдельные комнаты. Лялю Спажееву постановили исключить из пионеров, а также из воспитанников детдома и временно перевести ее на работу няни в дошкольной группе. Она приняла это решение внешне спокойно и вечером переселилась из церкви в дом с дошколятами. Прошло около двух недель. Девочка сильно изменилась. На работе она не уставала, но изгнание из детского коллектива далось ей не просто. Из бойкой задиры она превра-

тилась в какое-то жалкое существо, замкнулась в себе, ходила с опущенной головой.

Мне захотелось помочь ей. В конце концов в чем состояла наша главная задача? Вернуть к жизни ребят, которым война и блокада жестоко переломали личные судьбы. Мы теперь в равной мере несли ответственность за всех детей — добрых и злых, легких и трудных. Надо было готовить их к будущей жизни, и от нас, от нашей гибкости, ума, нравственных качеств зависело, с каким багажом они покинут детский дом: с запасом злобы и обиды или с добром, с пониманием нашей реакции на их дела, с ощущением справедливости как общего климата детского дома.

Надо было возвращать Лялю в детский коллектив. Но куда? Возвратить в ее же третий отряд? Я боялась рецидива. Поэтому я решила перевести в четвертый отряд, взять к себе.

Я надеялась, что устоявшийся климат моего отряда, в котором ей было бы невозможно верховодить, повлияет на нее хорошо.

После серьезных бесед и получения согласия сторон (Ольга Александровна, вопреки моему ожиданию, сразу согласилась, а ребят пришлось уговаривать) Ляля под мою диктовку написала заявление на имя директора и в адрес совета детдома и в эту ночь спала уже в общей спальне.

Когда я пошла проверить, как она устроилась, она внезапно бросилась мне на шею и заплакала. С тех пор она явно переменилась. Стала спокойной, деятельной, слушалась меня с первого слова и приходила ко мне со всеми своими проблемами.

Неожиданные взрывы настроений, необъяснимые поступки блокадных детей часто ставили меня в тупик.

Однажды после переезда нашего отряда в сельсовет, за мной прибежали взволнованные Витька Шерстюк и Юра Шумелин. Из их слов я поняла, что Виктор ударил Лялю по голове, и Ляля умирает.

Я бросилась бежать в сельсовет, проклиная себя за свою короткую отлучку. Ляля лежала бледная, неподвижная и почти без пульса. На темени — большая шишка. По дороге я к счастью встретила медсестру, и она побежала в изолятор за камфарой.

Укол подействовал почти сразу. Бледность сошла, и Ляля заснула.

*Этот случай показал, что ребят никогда нельзя оставлять одних.*

*Я стала искать виновника происшествия. Ребята, оказываясь, выгнали его на улицу. Поздно вечером он вернулся. Испуганный, взъерошенный, приготовившийся к крику, нападениям, обвинениям. Я выгнала любопытных и спокойно предложила ему сначала поужинать, а потом поговорить.*

*Реакция оказалась настолько же неожиданной, насколько бурной. Он разрыдался и заявил, что не хочет жить. «Отпустите меня добром, я все равно убегу, куда глаза глядят...».*

*Я сидела молча, ожидая, когда закончится эта истерика. Разговор, упреки, обвинения или нравоучения в этот момент были бессмысленны, бесполезны. Я предложила ему попытаться уснуть и перенесла разговор на другой день.*

*Драки, обиды, выяснения отношений вообще характерны для эмоциональных и реактивных от природы детей. У наших детей все эти качества были особенно обострены.*

## **Валя Иванова**

Меня вместе со старшими ребятами поселили в церкви, а сестренку Тосю — с малышами в деревянном, как сказали, поповском доме. Я сразу же стала просить Ольгу Александровну вызвать к нам старшую сестру Люсю из Ярославской области. После приезда мы с Люсей никогда не расставались. Всегда вместе, ночью и днем, и в церкви, и в столовой.

С 1 сентября начались занятия в школе. Я оказалась в шестом классе вместе с деревенскими ребятами. Русский язык и литературу вела у нас наша воспитательница Мирра Самсоновна. Она давала нам хорошие знания. Я и мои подруги хорошо учились по основным предметам, но немецкий, «фашистский», язык никак не хотела учить, о чем в дальнейшем я не раз пожалела.

Уроки мы делали в пионерской комнате, расписанной на сюжеты сказок Пушкина. Уютно, тепло и таинственно было в этой комнате вечерами.

Летом мы ходили босиком. Желающим выдавались лапти и олучи. К зиме всем нам сшили зимнее пальто на вате из одеял защитного цвета и раздали валенки. Рукавицы мы шили себе сами или вязали, кто как умел. Моя Люся была освобождена от по-

левых работ, потому что вязала всем кофты, распуская старые. Из нескольких старых и рваных получалась одна новая и красивая.

Я была прикреплена к кастелянше. Гладила, чинила белье, пришивала пуговицы, готовила белье к банному дню. Все воспитанники детдома имели свои личные номера, который каждый из нас вышивал на своем белье, чтобы не перепутать с чужим.

Во время истории с грибами Тося тяжело заболела. Ее едва спасли. Потом долго еще была так слаба, что я носила ее на плечах на прогулки.

В Угорах были многодетные семьи фронтовиков, и мы, пионеры, шефствовали над ними: мальчики пилили и кололи дрова, девочки нянчились с малышами, я пару раз стирала в щелоче из золы. Мыло было редкостью. Когда настала пора ягод, нам сделали из больших консервных банок ведерки, с которыми мы ходили в лес. Каждый должен был сдать определенное количество ягод или грибов на кухню.

В детдоме нас приучали мыть полы, готовить, гладить. Ольга Александровна учила нас вышивать на пяльцах. Столы в столовой придвигались к окнам, мы усаживались на скамьи со своими пяльцами, вышивали и пели, как в тереме в старину. Вообще песни всегда сопровождали нашу детдомовскую жизнь. Мы пели на прогулках, по дороге в лес, в школу, в праздники и будни. Уменьше вышивать осталось у меня на всю жизнь, и потом я даже зарабатывала этим ремеслом.

Очень любили мы театр. Особенно запомнилась мне постановка пьесы «Голубое и розовое». Я играла в ней гимназистку. Костюмы делали мы сами. Форменные гимназические фартуки шили из накидок на подушках. Работа на репетициях и участие в спектакле так мне понравились, что в дальнейшем я дважды поставила эту пьесу со своими учениками в Тихвинском педучилище и в Кондратьевской средней школе.

## **Р. Л. Златогорская**

Поскольку мы жили в глуши и были оторваны от мира, воспитатели должны были проявлять все свои способности и все свои возможности, чтобы сделать жизнь детей краше и интересней. Моя задача состояла в том, чтобы давать идеи, и в этом плане, мне кажется, мы прожили неплохо. Что касается материального



благополучия, то тут трудно переоценить вклад Ольги Александровны. Среди других детдомов наш, насколько я знаю, был наиболее обеспечен необходимым питанием и одеждой.

Если старшие дети доставляли нам много хлопот, то дошколята всегда радовали. У них всегда царили образцовый порядок и чистота.

Можно с ответственностью сказать, что дошкольные работники во главе с Марией Степановной Клименко совершили настоящий подвиг.

Дети из приемников попадали в детдом стриженными наголо, у нас же волосы у девочек отрастали и со временем у каждой был завязан бант. Одежда на детях всегда была чистой, у каждого через плечо висела сумочка с носовым платком, украшенная вышивкой. У всех дошколят были мягкие домашние тапочки, также сделанные руками их воспитательниц.

В дошкольном отделении существовал четкий распорядок дня. Утром умывание, полоскание ртов, завтрак, затем прогулки, игры, обед, тихий час. Во время классных занятий Люся Чидина играла на фисгармонии и учила их танцам и песням.

В праздники малыши активно участвовали в представлениях: пели, играли, читали стихи и танцевали.

### **Лев Разумовский**

Мы с мамой и Миррой поселились в одном из домов недалеко от церкви. Наша хозяйка, Анна Флегонтовна Шаброва, высокая крепкая крестьянка лет пятидесяти, жила со своими детьми: хуленькой белобрысой Лизкой, четырнадцатилетним Колькой, десятилетней рыжей Галькой и четырехлетним крепышом Толькой. Анна Флегонтовна вставала до петухов, доила корову, кормила ее, растапливала печь, готовила еду на всю семью. Девчонки приносили воду из колодца, сливали ее в чистую бочку в сенях, мыли полы в избе и часто садились за прялки.

Я впервые в жизни увидел, как прядут, как делается нитка первобытным способом. Пряжа ставила прялку на лавку, садилась на ступицу и начинала теревить пальцами пук кудели, привязанный к верху прялки. Нить из-под ее руки тянулась к веретену, которое она одновременно ловко вращала одной рукой. Скрученная нить наматывалась на веретено, пока не кончалась куделя.

Колька выполнял мужицкую работу: точил пилы, делал топища, пилил и колол вместе с матерью дрова.

При доме был огород, позади дома большой участок был засажен картошкой, которая составляла главную основу питания семьи целый год. Хлеб нигде не продавался. Крестьяне сами пекли его, добавляя жмых, потому что, как они нам сами рассказали, колхоз расплатился с ними из нормы четыреста граммов зерна на трудовой день, «а сколько на этот год придется, то и того хуже...». Про нашу хозяйку в деревне говорили, что она хорошо живет: у нее корова есть, дом справный, чего ей не жить?

Коров в деревне было немного, а понятие «хорошо живет» было синонимом понятия «хорошо ест». И тот, кто ел в деревне досьта, тот, значит, и жил хорошо.

А дом был действительно крепкий, с добротным высоким крыльцом, с наличниками на окнах, с двумя комнатами и просторной кухней. Половину кухни занимала большая белёная русская печь с лежанкой, с широкой и глубокой топкой, закрывающейся железной заслонкой, и с маленькими квадратными отверстиями — «печурками», в которых всегда сушились портянки, шерстяные носки или рукавицы.

Флегонтовна рассказывала, что пока не было бани, мылись в самой печи, сидя согнувшись в три погибели на рогожке на теплом поду. Моющемся подавали туда кадушки с водой для мытья и ополаскивания. Особое искусство для вымывшегося и распаренного состояло в том, чтобы вылезти из печи, не задев спиной, головой и плечами густо покрытых сажей стенок и потолка топки.

Я впервые увидел, как ловко наша хозяйка орудует у печи ухватками на длинной ручке («хватушками» по-угорски), вытаскивая черные чугуны из самых дальних углов печи при помощи круглого деревянного валика. Вытащенный чугун с горячими щами ставился на середину деревянного, выскобленного ножиком стола, вокруг которого усаживалась на лавках вся семья.

Первые я увидел и сковородник, также на длинной ручке, которым захватывались огромные сковороды с жареной залитой яйцами картошкой. Это блюдо красивого золотистого цвета называлось почему-то «яблочник». К обеду сама Флегонтовна брала краюху хлеба и аккуратно, даже благоговейно отрезала каждому

по толстому ломтю, прижав хлеб к груди. Остальное тут же заворачивалось в чистое полотенце и куда-то пряталось до ужина. Хлеб, мука были драгоценностью. Забегая вперед, скажу, что в следующем, сорок третьем, году (третий год войны) обнищавший колхоз вообще ничем не расплатился с колхозниками, и тогда-то я и услышал крамольную частушку:

Трактор пашет глубоко,  
А землячка сохнет.  
Скоро ленинский колхоз  
С голоду подохнет.

### **В. Н. Рогова**

Я и Мирра работали сменными воспитателями в четвертом отряде самых старших ребят (14–16 лет).

Для старших детей мы постоянно проводили политинформации. Материалы брали из газет «Правда», «Комсомольская правда» и «Ленинские искры», которые я регулярно приносила с почты. Все мы, взрослые и дети, пристально следили за событиями на фронте, сводки Информбюро ежедневно вывешивались на стене в столовой. И мы понимали, что наша судьба зависит от успехов Красной армии. Война была далеко, но ее дух пронизывал всё — и наше пребывание в Угорах, воспоминания о Ленинграде, и сиротство детей, их рассказы о родителях, и мысли и чувства в стихах и прозе, звучавших в нашем детдоме и в праздники и в будни.

Летом 1943 года исчез Аркаша Терентьев, воспитанник моего отряда. Поиск не привел ни к чему. Было много переживаний, версий, хлопот, неприятностей. Через два года, уже будучи в Ленинграде, я как-то обнаружила на двери своей квартиры надпись мелом: «Я, Аркадий Терентьев, был у Вас. Простите».

Потом в очередной приезд, застав меня дома, рассказал свою историю. По его словам, он убежал из детдома потому, что его постоянно бил Сашка Корнилов. Аркадий подкопил хлеба в дорогу, украл лодку на Унже и на ней поплыл по течению. Где-то пристал к речной флотилии и с ней вышел по Волге к Сталинграду.

Поступок Аркадия Терентьева был, конечно, из ряда вон выходящим. Из детского дома, кроме него, никто не бегал.

Самое яркое воспоминание после приезда в Угоры — нас повели в малинник. Нашей радости не было конца. Мы набросились на спелую, вишнево-красную, сладкую, как мед, малину — это было чудо!

Дальше начались будни. Строгий режим, школа и труд. Конечно, мы еще были очень слабы, но все-таки понемногу выправлялись. Трехразовая еда и деревенский воздух делали свое дело.

Нас разбили на отряды. В нашем, четвертом, отряде командиром была Нина Крепкова, темноволосая красивая девочка. Потом она вышла замуж за Володю Громова — это оказалась единственная детдомовская пара.

Часто я дежурила по кухне, где мы чистили картошку, мыли посуду, резали хлеб, убирали столы. Я была санитаркой: следила за чистотой и боролась с чесоткой — мазала больных ребят ихтиоловой мазью.

Лес рядом с деревней был замечательный, полный черники, земляники, брусники и грибов. Я такого леса больше никогда в жизни не видела.

Однажды мы с несколькими девочками, заговорившись, оторвались от отряда и заблудились. Плутали долго, кричали, но никто не откликнулся. Нина Иванова перегрелась на солнце, и ей стало плохо. Мы сплели руки и понесли ее. Она говорила:

— Оставьте меня.

Но мы все равно несли и, наконец, по тропке вышли на дорогу с другой стороны деревни Поломы. Вернулись часа на два позже остальных, получили, конечно, нагоняй.

Еще помню, что 23 февраля у нас была военная игра. Мы разделились на два войска. Наше защищало ригу, где мы построили крепость из снега и заготовили арсенал: много-много снежков, лепили до самой ночи и прятали от противника. Потом был снежный бой. Все было очень здорово!

После долгой зимы все обрадовались весне. Солнце, тепло, пробилась первая травка, потом все кругом зазеленело. Деревенские ребята научили нас есть песты. Они были сладкие и безвредные. Грызли также смолу от елок, сосали сок из надреза на березе — в общем, весна принесла много радости.

Однажды мы с девочками делали грядки. Кто-то из нас вытянул из земли белый корешок, попробовал его и сказал:

— Сладкий! Наверное, это петрушка.

Мы все стали искать такие корешки и грызть, они действительно были сладкие. Однако скоро у меня заболела голова, да и остальные почувствовали себя плохо. Мы бросили грядки и побежали в церковь, потому что с каждой минутой становилось все хуже: голова кружилась, и все плыло перед глазами. У церкви мы наткнулись на Эсфирь Давидовну. Я успела ей рассказать про корешки и потеряла сознание. Как узнала потом, на четыре дня.

Нас спасли Ольга Александровна и Эсфирь Давидовна, которые бросились отпаивать нас молоком. Меня и Валю Урбан поили, разжимая зубы, так как мы были в самом тяжелом состоянии. Оказалось, мы ели белену...

Иногда мы, старшие девочки, подменяли нянечек, работали с дошколятами, а нянечки в это время трудились на огородах.

Каждый раз седьмого ноября мы устраивали демонстрацию: ходили по Угорам с флагом. Местные жители смотрели на нас с удивлением.

Зимой пионерские линейки проводились в столовой. Двоечников — Два шага вперед! — отчитывали и стыдили все вместе.

Мирра Самсоновна, которая к каждому празднику писала много стихов, иногда посвящала стихи отдельным ребятам. Мне она подарила к моему дню рождения 28-го февраля добрые стихи о том, как я люблю свою сестру.

Ее мать — Татьяна Максимовна, по моим воспоминаниям, была несовременная женщина, очень добрая и сентиментальная. Про нее говорили, что из-за этого она дисциплину держать не умела, прикрикнуть ни на кого не могла.

К одному из моих дней рождений я получила из Ленинграда от крёстной посылку. Открывали ее всем отрядом. Там были нитки, тетради, томик Лермонтова и шоколадка, которую я разделила на троих: Гале, себе и моей лучшей подруге Вале Тихомировой.

### **Зина Тютикова**

В Угорах я очень любила нашу самодеятельность. В пьесе «Голубое и розовое» Эсфирь Давидовна поручила мне роль директрши гимназии, а сама играла воспитательницу этой гимназии.

Вообще у нас было много интересного. Мирра Самсоновна устраивала литературные игры-викторины. Например: кто больше всех назовет пьес Шекспира? После каждого названия она трижды хлопала в ладоши, и тот, кто успевал за это время еще что-то вспомнить, становился победителем.

Местная учительница подарила детдому старый патефон и две пластинки. На них были два танго «Дождь идет» и «Девушка играет на мандолине». Вот под эту музыку с хрипотцой и шипением мы без конца танцевали. Однажды даже приз выиграли на вечере танцев.

У нас в детдоме существовала традиция — тому, кто отличался, поручали поднять флаг на линейке. Мне тоже досталась эта награда за то, что, теребя лен, я выполнила норму за троих.

### Из дневника М. С. Разумовской

*В середине сентября 42-го года наш отряд перевели в деревню Железцово, расположенную на берегу Унжи. Нам выделили большой деревянный дом с обширной кухней и четырьмя комнатами. Одну из них (самую маленькую) занимала хозяйка этого дома, старуха Ваганова, со своей родственницей, тоже старой женщиной, приживалкой, которая ее обслуживала. Про хозяйку в деревне шел слух, что в прошлом была она помещицей, владелицей Железцово. Еще говорили, что была она шибко грамотной — в самом Горьком (Нижем Новгороде) гимназию кончала! Потом ее раскулачили, уплотнили, и в ее добротный большой дом въехал сельсовет. Слово «сельсовет» плотно укрепилось среди народа как название дома и перешло к нам. Так мы и говорили: «Пойду в сельсовет» или «В сельсовете случилось ЧП».*

*ЧП действительно случилось в ночь на 23 декабря 42-го года. Олег и Лева, вернувшиеся из Угор, открыли двери и со свежего морозного воздуха сразу почувляли неладное: дым и сильный запах угара. Стали расталкивать спящих ребят. Несколько человек проснулись с рвотой; другие плакали, жалуясь на головную боль. Сразу были открыты все двери, и ребята, быстро одевшись, выбежали на улицу. Некоторых было не поднять: Нина Николаева и Рита Кипровская были в полубморочном состоянии.*

*Прибывшие из Угор Ольга Александровна и Вера Рогова быстро организовали сани, на которые погрузили особенно постра-*

*давших. Лева и Олег впряглись в них и повезли больных в лазарет. За санями шли Вера и Ольга Александровна. То ли общее дело, то ли лунная ночь и мерное поскрипывание за спиной саней ввергли «лошадей» в лирическое состояние, и они запели: «Пара гнедых, запряженных с зарею», а потом: «Идут с ними длинные тени. Две клячи телегу везут, лениво сгибая колени, конвойные сзади идут...»*

*Угоревшие ребята на чистом морозном воздухе начали довольно быстро приходить в себя и к утру, к всеобщей радости, полностью оклемались и сами пришли в «сельсовет».*

*Виновника ЧП искать не пришлось. Им оказался Женя Резвов, черноволосый угрюмоватый парень, который был в этот день истопником. В своем грехе он признался сам. Не дождавшись, чтобы головешки полностью прогорели, он закрыл печные вьюшки и улегся спать... Сам он не пострадал, так как спал в другой комнате, где не было печки.*

### **Лев Разумовский**

После «угарной» истории Мирра попросила меня несколько дней и ночей провести в «сельсовете» — посмотреть за печками и заодно за ребятами, во избежание каких-нибудь новых ЧП.

Я с радостью согласился, так как в четвертом отряде жили мои друзья: Олег, Сашка и Женька. С ними всегда было интересно и весело. Мы много гоняли на лыжах. Особое же удовольствие доставляли нам придуманные Олегом ночные катания с крутых, высоких берегов Унжи. Из дома на эти катания я уходить не мог — мама наверняка бы волновалась. Про наши же ночные вылазки из «сельсовета» она знать не могла и спала спокойно.

Вообще всяких историй у нас хватало. Героем одной из них стал Сашка. По натуре он был бунтовщиком. Но при этом чрезмерно ранимым. Любую, даже мелкую обиду или несправедливость по отношению к себе он воспринимал гипертрофированно и переживал мучительно.

Однажды Ольга Александровна за какую-то провинность вызвала его к себе и отчитала в свойственной ей резкой манере. Сашка вернулся в «сельсовет» мрачнее тучи, ни с кем не разговаривал, на вопросы не отвечал. А когда пришла пора ложиться

спать, он вместо своей кровати улегся на голом столе. На наши недоуменные вопросы отвечал так:

— Она сказала, что я позорю детский дом и мне в нем не место! А раз не место, то я и не буду занимать детдомовское место! Пускай подавится!

— Да брось ты! Ложись нормально. Все равно она ведь не узнает, где ты спал.

— Ни за что!

— Ну, возьми хоть одеяло. Укройся.

Сашка с бешенством отшвырнул одеяло в угол. После нескольких попыток уговорить его мы отстали.

Ночью я проснулся и зажег керосиновую лампу. Сашка спал на прежнем месте. Скрючившись от холода. Я накинул на него одеяло. Чем закончилась его забастовка, не помню. Кажется, его уговорила Мирра, с мнением которой он считался.

Другая история романтическая.

У Ольги Александровны было двое детей: двухлетний белоголовый Сашка и четырнадцатилетняя Нонна, красивая девочка.

Со временем, когда ребята стали поправляться, а у девочек отросли обстриженные волосы, старшие мальчики начали приглядываться к ним. В Нонну влюбилось сразу двое — Женька и Сашка. Из двоих: порывистого, резкого и непредсказуемого Сашки и веселого, легкомысленного Женьки — Нонна предпочла Женьку. Сашке же сказала что-то резкое и обидное.

Однажды ночью мы не спали: травили анекдоты, перебрасывались шутками, Женька монотонно напевал какую-то песенку. Сашка лежал молча и вдруг вскочил с постели с криком:

— Это все из-за моей больной ноги! Утоплюсь! — ринулся из избы. Мы бросились за ним...

Это была сумасшедшая картина! Ярко светила полная луна, темнел на снегу сруб колодца с журавлем, а рядом с ним, босые, в кальсонах, мы боролись с Сашкой, который отчаянно рвался к колодцу, отпихивая нас руками и ногами, а мы, вцепившись в него, что-то орал и тянули его к крыльцу. Наконец, общими усилиями нам удалось его перебороть, втянуть в дом и уложить. Постепенно он утих. А мы, стуча зубами, забрались под одеяла, набросив на себя сверху пальто и куртки.



## Нина Иванова

Не помню, зачем меня послали в Железцово, и я разговорилась с хозяйкой дома старухой-помещицей, которую мы звали «графиней Ниной». Она казалась мне женщиной из другого мира. Она всегда сидела на веранде в кашемировом платье. Платье, наверное, было сто лет. С «графиней Ниной» связывалась какая-то тайна, легенда: живая помещица, которую обслуживала ворчливая тетя Катя, ее крепостная крестьянка, тоже совсем старая. «Графиня» рассказывала, что ей здесь принадлежала большая усадьба с яблоневым садом. Был муж, с которым она ездила в Париж, откуда они привезли много красивых вещей, но от них ничего не осталось. Я спросила:

— Ведь была революция. Почему же крестьяне вас не тронули?

Она ответила:

— Это у вас была революция, а у нас все было тихо и спокойно. Я хорошо относилась к крестьянам, и никто нас не трогал. В саду было много цветов, много сирени, — добавила она. — А теперь... — и махнула рукой.

— А муж ваш где?

— Муж после революции уехал в Париж, забрал все мои драгоценности, а я так и осталась здесь одна, пирожок ни с чем...

На меня произвела впечатление ее интеллигентная речь и то, что она ни о чем не сожалеет. Пенсии у нее, конечно, никакой не было, питались обе старухи с огородика, который возделывала тетя Катя. Была у них коза, да иногда старые крестьяне что-то по доброте душевной подкидывали — то молочка кринку, то картошки мерку.

Когда она зимой умерла, сани с гробом провожала одна Катя.

## Лев Разумовский

Вечер в церкви. В эту ночь дежурю я. Объявляю отбой. Ребята ложатся мгновенно, без обычной суетни и мелких проволочек. Через пять минут все под одеялами, и гул их голосов сразу смолкает.

Это образцово-показательное укладывание — никак не моя воспитательная заслуга. Все объясняется очень просто: сама Ольга Александровна обходит ряды коек, делает замечания, поправляет одеяла. Бросает отрывочные фразы. Судя по голосу, порядком довольна, даже шутит.

Ребята это моментально почувствовали:

— Ольга Александровна! Спойте нам! — кто-то из девочек.

— Поздно уже. Вам спать надо.

Спокойная интонация заставляет подняться с подушек несколько голов.

— Спойте! Мы скорее заснем! Пожалуйста, спойте!

— Ну, хорошо. Я спою вам колыбельную.

В комнате уютно, тихо, тепло... Огоньки керосиновых ламп чуть высвечивают стены и своды. Ольга Александровна запекает. Голос у нее высокий, чистый, поет она с чувством... В церкви хорошая акустика. Сотня детей притихла, внимательно вслушиваясь в мелодию и добрые слова:

Погасили свечи, в комнатах темно.

Месяц серебристый глянул нам в окно.

Расскажу я сказку, песенку спою:

Баю-баю-баю, баюшки баю...

Я слушаю с интересом, испытывая противоречивые чувства. Эта женщина — сплошные контрасты! Ведро с хлебом за борт — и эта ласковая песня!

Я знаю, что дети боятся ее резкого крика, яростных вспышек; я знаю, что многие взрослые с трудом переносят ее командный тон и недопустимую форму обращения; но я также знаю, что теми же методами она выбивает для детдома все лучшее: питание и одежду.

Хорошо, что ты забот не знаешь.

Пусть они проходят в жизни стороной.

Я отдам тебе ночи бессонные,

Спи спокойно, мой сын дорогой!

Ольга Александровна желает всем спокойной ночи и уходит. С нескольких коек слышны сморкания и всхлипывания.

Однажды мама вернулась из детдома совсем расстроенной и сказала, что ее ночное дежурство в отряде малышей окончилось плачевно.

— Что произошло?

— Вечером после ужина я обычно рассказываю им сказки. Потом высаживаю на горшки и затем укладываю. Многие засыпают не сразу, мечутся, зовут маму, плачут. Я придумала, как их успокоить. Брала свои два куса пиленого сахара, делила их на маленькие кусочки и каждому давала такую вот конфетку. Пососав ее, они сразу засыпали. За этим делом и застала меня Ольга Александровна. Она накричала на меня, назвала дерьмовым воспитателем и сказала, что завтра уволит...

### Из дневника М. С. Разумовской

*В середине октября 42-го года к нам приехала сестра Ольги Александровны Антонина Лаврентьевна Каверкина с сыном Игорем и трехлетней Машей. Мы сразу подружились. Антонина Лаврентьевна, обаятельная, душевная женщина, как-то органично и спокойно вошла в коллектив, став одной из воспитательниц дошколят. Игорь тоже быстро сошелся с ребятами. Он был хорошо воспитан.*

*После того, как мой отряд был переведен в новое здание, мы зажили своей, несколько обособленной жизнью. Нашим мучением были полы. Кто бы из администрации ни приходил, все говорили, что пол грязный. А мы эти полы мыли ежедневно и по дежурству, и по нарядам. Система нарядов за провинности сразу по приезду была введена администрацией и существовала параллельно с системой очередных дежурств.*

*Второй моей заботой стала посуда, которую били немилосердно, особенно стаканы. Приходилось проводить постоянные беседы на «стаканную тему», запрещая разводить в них чернила, использовать как пепельницы и т. п.*

*В «сельсовете» всегда было шумно илюдно. Из школы мы возвращались вместе, толпой, вместе хлюпали по грязи, которая потом оказывалась на свежесмытом полу. И мытье начиналось снова.*

*Очень скоро по приезду меня пригласили работать в Угорскую среднюю школу-семилетку. Приглашение пришлось мне по душе. Я снова стала заниматься своим прямым делом, в котором чувствовала себя как рыба в воде. Обучать детей русскому языку и литературе намного интереснее и привычнее, чем подсчиты-*

вать разбитые стаканы или украденные простыни, хотя я и понимала, что эта сторона жизни — суровая необходимость.

В школе свой коллектив. Директор Анна Григорьевна Панова — грамотный работник. Начитана. К ленинградским коллегам относится уважительно. Ее муж, Кронид Васильевич, инвалид войны, могучий и веселый мужик, стал завхозом детдома и с первых дней зарекомендовал себя как деятельный и инициативный человек.

Завуч Софья Исааковна Ламанен — преподаватель алгебры, геометрии, физики и истории. Очень сердечная женщина, ленинградка. Во время блокады потеряла мужа и сына.

Я присутствовала на уроке географии. Учительница давала материал точно по учебнику. Тема — «Хозяйственные и политические связи Германии». Меня поразило, что она ни словом не обмолвилась о том, что Германия находится в состоянии войны с нами... Когда я спросила ее об этом, она покраснела и сказала:

— Но ведь этого нет в программе...

Елизавета Михайловна Смирнова — агроном. Преподает немецкий, черчение и рисование. На уроке рисования она повесила на доске смятую бумажку, на которой ею было нарисовано дистрофичное яблоко, и предложила детям его срисовать. В классе было полутемно, ребята шумели, бросались карандашами, с третьей парты «учебное пособие» было вообще не видно.

Остальной коллектив как-то бесцветен. Живут скучно. Большинство не дружит с книгой, на уроках не выходят за рамки программы. Ссорятся, мирятся, сплетничают. На вечеринках пьют водку, поют частушки.

Особенно удивляет их отношение к войне. К сводкам Информбюро они абсолютно равнодушны, как к событиям на Марсе. Какой контраст с ленинградцами!

Все поглощает у них быт. Все заботы о пропитании. Война не задела их, как нас. Только мужики ушли, и жить стало голоднее. Учителям, как и колхозникам, иногда платят натурой — зерном, мукой. У каждой учительницы свой огород, иногда коза, изредка корова. Забот хватает. Образ жизни не изменился, место проживания осталось прежним. Может быть, отсюда это равнодушие?

**Октябрь 1942 года.** Новую нагрузку приняла с радостью. Я люблю преподавать, учить детей грамоте, знакомить их с со-

кровищами мировой литературы. Здесь я чувствую себя уверенно, у меня много разработок и новых идей. Учительская работа — одна из немногих, требующая отдачи максимума душевных сил. И в этом ее трудность и привлекательность.

За месяц освоилась. Веду пятый и шестой классы. Уровень развития ребят удручающий. Предстоит много и упорно работать. Вспоминаю мой дебют в десятом классе сестрорецкой школы. Там ребята писали мне рефераты студенческого объема и качества... Где они сейчас? На каких фронтах?

Здесь же сплошные «перлы». Прохожу вводные слова. Например, «к сожалению». Предлагаю составить фразу. Пишут: «К сожалению, я не могла познакомиться с моей подругой детства», или «К сожалению, командир был жив»...

Объясняю согласование определений и причастий. Говорю, что они характеризуются различными суффиксами, что «ВШ» — суффикс причастия, привожу примеры: уставший, пропавший.

— Поняли?

— Да!

— Напишите предложения, в котором причастие с суффиксом «ВШ». И Олег с посветлевшим лицом пишет на доске: «Вша — это насекомая»... Такие вот шедевры.

Местный диалект. Это очень интересно. Не «Он лицом на меня не похож», а «У него маска не та». Не «навоз», а «назём», не «похлебка», а «делегатка» или «пятылетка».

В Угорах не говорят «Это было в прошлом году», а «Это было в третьем годе». Вместо «когда» — «коли», вместо «тогда» — «толи», вместо «даже» — «нали», вместо «если так» — «будя так». В Угорах ты не «курильщик», а «табакур». Выразительно! «Перемогает» — «перебарывает». «Мост» — крыльцо. «Хинькает» — по-угорски «плачет». Может быть, это искаженное «хныкает».

Чем дальше, тем интереснее вникать в угорский диалект. «Сбитень» — это место, где собираются парни и девушки для гулянки. «Бараба» — темная комната, в которой уединяются пары. «Бараба» — обязательный элемент «беседок» — традиционных вечеринок, в основном зимой, с прялками, песнями, чащушками и плясом. «Галушливая» — веселая, радостная. «Аландась» — недавно. «Лишо» — сейчас. «Погоучим намедни» — по-

говорим после. «Нагансник» — брючный ремень. «Она напетлит вам» — наговорит лишнего.

**15 ноября 1942 года.** Продолжаю совмещать детдом со школой. С трудом преодолеваю сложности с дисциплиной. Это в равной степени относится как к сельским детям, так и к детдомовцам. Из детдомовцев самый трудный — Сашка Корнилов. Он воюет с учителями. Отказывается выполнять их требования. Иногда изгоняется из класса, иногда присутствует, но сидит в шкафу и мяукает. Когда я ругаю его за эти дела, он молча слушает, обязательно улыбается, извиняется. А на другой день творит то же самое.

Сашка, может быть, самый интересный и разносторонний мальчишка в детдоме. Эмоционален, вспыльчив, прибалтнен. Искренен, романтичен, начитан, раним. Свой, индивидуальный, юмор. Безусловный лидер. Сохранил привычки уличной шпаны. Еще в Ленинграде выиграл у Кольки Леонтьева по прозвищу «Плаха» в карты «на раба». Однажды я заметила эту рабскую зависимость «Плахи» от Сашки. Сашка мог разбудить его ночью и приказать принести себе воды или залезть под кровать и мяукать. «Плаха» беспрекословно выполнял все требования. Я решительно вмешалась. Очень серьезно поговорила с Сашкой, и он меня понял. Унижение, рабство Коли Леонтьева закончилось.

Властную и сильную натуру Сашки нужно было ввести в какое-то организованное русло. Посовещавшись с Ревеккой Лазаревной и Советом детдома, мы предложили Сашке стать комиссаром детдома. В данном случае мы действовали точно по Макаренко, и на этот раз его метод дал положительный результат.

Надо сказать, что в методике воспитания трудных детей Макаренко для нас — единственный и абсолютный авторитет. Его «Педагогическая поэма» — наш учебник, и цитаты из нее постоянно звучат. Жизненные ситуации его воспитанников сравниваются с нашими. Выводы делаются с учетом его опыта, решения принимаются по Макаренко. Система трудового воспитания строится также по Макаренко. Наверняка мы совершаем множество ошибок в сложных и порой непредсказуемых ситуациях с детьми, но общая доминанта отношений между взрослыми и детьми правильна: дети видят самоотверженную работу воспитателей, ставку на справедливость, искреннюю заботу

*о них и, не взирая на мелкие обиды и естественные в большом общежитии конфликты, относятся к взрослым с уважением и пониманием. Процесс сложный. Шаг за шагом мы учим детей правилам жизни в коллективе и сами учимся у них.*

*В коллективе воспитателей особое место занимает Роза Михайловна Молотникова — опытный педагог, логопед, имеющий двадцатилетний стаж работы с глухонемыми детьми. Она, конечно, бесценный кадр для детдома. Всегда спокойная, разумная и тактичная, Роза Михайловна пользуется всеобщим уважением. Потеряв мужа в ленинградском ополчении, она вывезла с детдомом троих детей: двенадцатилетнюю Валю, пятилетнюю Инну и грудного Витьку, которого не спускала с рук от Ленинграда до Угор. Валя, на равных со взрослыми участвовавшая во всех погрузках пути, самоотверженно помогала матери в возне с малышом и в других заботах. Официально числясь воспитательницей моего отряда, Валя живет дома, подменяя Розу Михайловну, когда та уходит на работу. При этом Валя отлично учится, прекрасно читает стихи и танцует. Всегда вежлива, доброжелательна и сдержанна.*

### **Валя Козловская**

До войны мы жили на Загородном, 14. Проходя по улице в июне 42-го года, мама прочитала объявление, что детскому дому требуются воспитатели. С этого времени и начался наш новый период жизни.

Подробности эвакуации не помню. Первое воспоминание связано с Горьким — здесь мы впервые получили горячую пищу.

Ладога. Летели немецкие самолеты. Солдатики в бушлатах, мальчишки лет по семнадцати, поднимали стволы зениток. Два самолета покружились и улетели. Было страшно.

В Мантурове нас ожидал большой конный обоз и один грузовик, в который посадили весь мамин отряд и меня с грудным Витькой на руках. В Угорах нас разместили в клубе рядом со столовой. Там мамин отряд и прижился.

Ольга Александровна уважала маму за профессионализм, но иногда ее заносило, и она при ребятах грубо кричала на маму и других воспитателей, подрывая их авторитет.

Во время полевых работ на детдомовском огороде я была одной из шести лошадей, впряженных в оглобли. Пахал на нас Сашка Корнилов.

Помню строительство овощехранилища. Мы, девчонки, рыли яму под руководством Кронида Васильевича, а мальчишки мастерили сруб.

Осенью мы сами солили на зиму капусту. Веселая была работа! В столовой лежала груда бело-зеленых кочанов. Мы их шинковали, укладывали в чистые бочки и плотно уминали, пересыпая солью. А кочерыжки были нам наградой. За постройку овощехранилища девочкам сшили синие диагональные юбки, а мальчикам — брюки.

Курс за шестой класс я сдавала экстерном и сразу перешагнула из пятого класса в седьмой. Потом старших ребят перевели в Шулёвскую школу-десятилетку. Мы там и жили в Шулёво всю неделю, а на выходные возвращались в детдом на лыжах.

Зимой 42/43 года в Горьком проводилась олимпиада школьников области. Нас туда пригласили. Девочки там танцевали, а я читала стихи Симонова «Был у майора Деева товарищ майор Петров». За чтение я получила ценный подарок — кусок душистого мыла.

### **Из дневника М. С. Разумовской**

*В начале декабря 1942 года* пришло известие: наших ребят берут в ремесленные училища. Все всполошились. Начались догадки, предположения, сомнения. Одни хотели ехать; другие, боясь неизвестности, предпочли бы остаться; третьи приняли это известие как удар, плакали.

*Вечером меня вызвала к себе Ревекка Лазаревна, и мы с ней решали, кого мы будем отправлять в первую очередь. Выбор пал на самых старших: Панфиленка, Каштейян, Леонтьева, Кузькина и Зернову. Они должны были стать первыми ласточками, улетающими из нашего детдомовского гнезда в новую жизнь, чтобы получить профессию и органично войти в мир взрослых.*

*Ночью они уехали в Мантурово, чтобы пройти медицинскую комиссию, а потом ненадолго вернуться. Мы собирались устроить им проводы. Однако следующей ночью я была разбужена громкими голосами вернувшихся ребят. Они рассказали, что ко-*



миссию прошли, но об их ночевке в Мантурово никто не позаботился и, не спавши сутки, они вернулись в родные Угоры.

Когда они уезжали, я дала им на дорогу одеяла, чтобы декабрьской ночью они не замерзли на телегах. Перед тем, как завалиться спать, Панфиленок доверительно сообщил мне, что дорога была в ухабах, телегу бросало из стороны в сторону, и его одеяло, когда он заснул, где-то выпало.

— И мой хлеб, на котором спал Вовка, тоже выпал, — добавил Кузькин.

— Володя, — сказала я ему, — одеяло не могло выпасть вместе с хлебом. Скажи сразу, что сменял.

Ехавшие с ним ребята подтвердили мою догадку: он действительно сменял большое красное казенное одеяло на вареную картошку, уместившуюся в карман. Приказ директора был краток: утром не давать завтрака, отправить туда, где находится одеяло, и вернуть его детскому дому. Панфиленок идти отказался, потому что у него не было валенок, а место преступления находилось в двадцати восьми километрах от Угор. Мне самой казалось немислимым отправить его без валенок в мороз. Завтрака он утром не получил. И сидел, жалкий и голодный, отдельно от своих товарищей.

Я послала его к директору, но Ольга Александровна была непоколебима. Наступило время обеда. Панфиленок явился в столовую с тайной надеждой, что его простят. Однако и в обед картина не изменилась. Он сидел с глазами, полными слез, глядя на обедающих товарищей. Я увидела, что Витька Шерстюк незаметно сует ему хлеб. Решив любой ценой накормить Володю, я взяла свою порцию супа, подошла к Игорю Каверкину и сказала:

— Я выйду, а ты как бы от себя передай ему суп.

Так и сделали.

Отправив свой отряд в школу, я, договорившись с поварихой Лидой и обязав ее хранить тайну, привела Панфиленка к ней. Лидка накормила его, как она выразилась, «дбсеру». Все было сделано так, что казалось, никто из начальства не узнает. Каково же было мое удивление, когда через пару часов ребята из другого отряда рассказали мне всю историю со злополучным супом. Но мое удивление достигло кульминации, когда я узнала, что обо всем этом рассказал сам Панфиленок, хвастаясь: «Вот какой у нас воспитатель в отряде!». Я ожидала бури.

Она и разразилась. Но это был не обычный ураган, а вполне терпимый ливень.. Я стояла молча, пока Ольга Александровна обрушивала на меня град обвинений в подрыве авторитета, дисциплины, в пособничестве воровству. Прозвучала и угроза снять меня с воспитательской должности. В свое время эта угроза была осуществлена.

Когда Ольга Александровна ушла, я вздохнула облегченно, однако нужно было что-то решать с проклятым одеялом, которое висело надо мной Дамокловым мечом. Наконец решение пришло: Панфиленка накормить обедом и немедленно отправить в Мантурово, в ремесленное. Он дал слово в последний день ничего не «тяпнуть» и не сменять. Мне осталось сделать вид, что я поверила.

На другой день стало известно, что из моего отряда уедут пятнадцать человек. Эти ребята стали сразу особенно дороги — все-таки многое было пережито вместе. Они были до предела возбуждены предстоящим отъездом. Все видели в нем смену впечатлений, обстановки, какую-то надежду на новую жизнь. Предотъездные настроения оказались более заразительными, чем можно было поначалу предположить.

Утром, сидя у печки, Игорь Каверкин вдруг заявил, что тоже поедет в ремесленное. Внутренне я не одобрила его решение. Для этого мальчишка, способного и энергичного, хотелось большего, тем более, что он мечтал о морской школе. И мне верилось, что он может стать настоящим моряком, капитаном или штурманом. Я ему высказала все это, однако он не послушался и умчался к Ольге Александровне за разрешением. Я была рада, когда узнала о провале этого плана.

Наступила предпоследняя ночь, которую мои воспитанники проводили под крышей нашего «сельсовета». Я пришла поздно. Ребята меня ждали. Мы долго говорили о жизни, о будущем. Мне удалось, как мне показалось, создать атмосферу взаимного тепла и доверия.

— Вы самый дорогой мне человек! — сказал Витя Элинбаум на прощание. А Володя Панфиленок от души предложил украть для меня что-нибудь, что я только захочу.

Наше прощание закончилось, и я легла, пытаюсь заснуть после бурного и напряженного дня. Однако из-за двери до меня до-

носились обрывки разговора, которые заставили сначала насторожиться, а потом и сон, как рукой сняло .

— Есть горох! — голос Элинбаума.

— Отвечаешь американкой?

— Зуб даю!

— Поверим?

— Факт, поверим, елы-палы.

— Давай, Витька, говори, — голос Панфиленка.

— Ну так во! Задумал я пустить на бой бабкину хавиру. Прикурочим горох, зашибем огурцы и дрюпу, закалечим бруснику и да погибнут на плахе четыре ее курочки. А потом сквозанём.

Смысл сказанного дальше я не могла уловить целиком, потому что разговор перешел на шепот, но отрывочные слова: «Взломает!», «через чердак можно», «тянуть бабку топорищем» окончательно лишили меня сна. Надо было что-то предпринимать.

Однако на другой день вопрос разрешился сам собой. Ребята, узнав, что каждому дадут в дорогу по шесть килограммов хлеба, по три кило картошки, по одному огурцу, по десять пшеницков, а также масло и сахар, обрадовались и полностью успокоились.

Получив на отряд ужин плюс по прянику и конфете на каждого, я отправилась в «сельсовет», где мы должны были провести последние предотъездные часы. Ужин прошел довольно мрачно. Ребята были настроены тоскливо — все ощущали реальность отъезда. Плакали Боря, Шурик, Женя, громко всхлипывала Люся Зернова. Только сейчас стало понятно, как сблизила всех общая жизнь и как в ней прежде чужие стали родными. Пытались петь песни, но ничего не получалось. Как назло, вспоминались только «Прощания», «Расставания», «Страдания»...

Потом ребята начали дарить мне на память то, что у них было, и с этого момента атмосфера переменилась, стала теплой и откровенной. Дарили все. Люся Зернова подарила самое дорогое, что она собиралась увезти с собой в ремесленное, — куклу и какие-то бусинки. Витя Шерстюк подарил фотографию своей мамы и добытый у какого-то дошколенка карманчик с вышитой собачкой, а Витя Элинбаум — свою фотографию и книгу «Тихий Дон». Стасик Кузькин выложил на стол собственноручно вырезанный из дерева кинжальчик, Павлик Михайлов — маленький карандашик с привязанным к нему пером. Коля Иванов торжественно преподнес мне две картофелины из своего путевого

запаса. Коля Леонтьев долго шарил по карманам, последовательно извлекая из них дряхлый бумажник столетней давности, облигацию и, наконец, маленькую финочку в футляре. У Бори Балакирева не было ничего «подарочного», и он отдал мне фотокарточки своего зятя-летчика и братишки, похожего на самого Боря.

Больше всех насмешил Панфиленок. Кроме фотографии, на которой ему шесть месяцев, он вручил мне напильник для «кекалки»<sup>1</sup>. Этот напильник тут же был опознан возмущенным Стасиком — ведь только что он лежал в его в кармане!

Пестрая груда подарков, взгромоздившаяся передо мной, была священна: в нее могли попадать любые вещи, но из нее не исчезало ничего. Потом ребята стали выкладывать на стол свои пшенички. Я собрала всё съестное, разделила поровну на всех, и мы славно закусили! Правильно ли это было с точки зрения педагогики, что сказали бы по этому поводу Песталоцци и Ушинский, не знаю. Знаю только, что было шумно, тесно, дымно — «ремесленники» открыто дымили цыгарками — и очень тепло...

В конце вечера из спальни девочек послышались какие-то странные звуки. Когда я вбежала туда, то увидела катающуюся от боли по полу Люсю Зернову: оказывается, пока мы праздновали, она съела почти весь свой паек, выданный на дорогу. После сильной рвоты ей полегчало, и когда появились лошади, она смогла одеться и присоединиться к остальным.

Вот и подошло время отъезда. Несколько саней с запряженными в них лошадьми стояли у крыльца «сельсовета». Ребята по одному выходили во двор. Мне стало тяжело, и я не вышла к воротам. Как-то не смогла. Буду писать им письма. Лева говорил, что из Угор ребята отъезжали с песнями.

Ребята ушли в новую жизнь. Очень бы хотелось, чтобы она была к ним поласковее...

**25 декабря.** Непривычная тишина. От пустой комнаты веяло холодком. Чего-то явно не хватало... Не хватало заразительно-го Борькиного смеха, не хватало добродушного, всегда улыбающегося Юрки, не хватало непредсказуемых выкриков Виктора... Сколько тревог и неприятностей доставляли эти ребята, особенно мальчишки, от которых каждый день можно было ожидать любых подвохов. Но они были слитны с коллективом и, уехав, оставили в нем брешь.

---

<sup>1</sup> Кекалка — приспособление для получения огня.

## Эсфирь Давидовна Рабинович

Когда началась война, я училась на первом курсе университета. Через некоторое время мы с сестрой и отцом эвакуировались в Киров. В январе 43-го года, я, предварительно списавшись с Ольгой Александровной, приехала работать в детдом.

Приехала я с фанерным чемоданом, кое-как одетая, на ногах бахилы, перевязанные веревочками.

Встретили меня хорошо. Мне сразу понравился порядок в детском доме, налаженность жизни в нем произвела хорошее впечатление. Начала знакомиться с сотрудниками, обратила внимание на то, что многие воспитатели жили семьями — Роговы, Разумовские, Галченковы, Козловские. Старшее поколение воспитателей видело в нас, молодых, потерянных детей. Я сразу с головой окунулась в жизнь теплого, дружелюбно настроенного коллектива, попала под опеку родителей-воспитателей, ощутила на себе их дружескую заботу, проявлявшуюся зачастую в неожиданных трогательных мелочах. Шла я как-то вечером на работу и встретила Татьяну Максимовну. Она сунула мне в руку небольшой пакетик, по дороге я развернула его — там был кусок кекса.

Мне было тогда 19 лет, а моим воспитанникам — по 12–13. Они сразу меня приняли как воспитательницу. Работа с детьми пришла мне по душе и доставляла радость. Дети всегда интуитивно чувствуют, нужны они или нет, и тянутся к искреннему человеку. Я искала свои подходы к детям с самого начала; сразу поняла, что с ними надо держать определенную дистанцию, чтобы я могла задать им любой вопрос, а они мне — нет. Кроме того, я поняла, что дети никогда не протестуют против справедливых требований.

Я выработала свой комплекс наказаний. Вечерами, во время своих дежурств, я обычно подходила к каждому ребенку, садилась на кровать, беседовала, укрывала его и желала спокойной ночи. Если же я сердилась, к кровати не подходила. Это было наказание номер один. Наказание номер два — перестать общаться. Ребенок это чувствует немедленно.

Однажды Нина Иванова, девочка с норовом, в тихий час не явилась в спальню. В окно первого этажа было видно, что она катается на лошади. Когда она вернулась, я перестала с ней разговаривать. Началось немое соревнование на объяснение. Нина не подходила ко мне три дня. Потом она объяснила, что просто не могла решиться подойти. Я сказала:

— Найди слова — и объяснишься.

Лишения еды и прогулки как метода наказания я не признавала. Еще одно правило: к каждому ребенку — индивидуальный подход. К примеру, Римма Григорьева — замкнутая девочка. Часто у нее слезы на глазах. Замечаний при всех я ей не делала. Разговор наедине давал результат. Несколько девочек имели братьев, сестер в отряде дошколят. Я всегда приветствовала их встречи и дружбу.

Подростковый возраст — трудный. Много хлопот доставляли Геня Мориц и Коля Иванов. Чтение девочек приходилось направлять. Они начали увлекаться Мопассаном и Бальзаком. Свою функцию я видела в том, чтобы острые вопросы обсуждались только наедине со мной. Надо было потихоньку вводить их во взрослый мир. Нина Иванова по вечерам в кровати читала «Тридцатилетнюю женщину» Бальзака.

— До этой книги ты пока не доросла! Тебе сейчас не понять то, что ты легко поймешь позже!

Передо мной встала проблема: чем же заменить? Чем увлечь? Предложила «Неточку Незванову». Успех был полный. Дети были взволнованы, когда я им читала, многие плакали. Высокая литература плюс ассоциации (бедная девочка жила в каморке) сделали свое дело.

Так рождалась наша общность.

Октябрь 43-го года. Мне 20 лет. Дети знали мой день рождения, им хотелось семейного праздника. За полторы недели до него они перестали есть конфеты и собрали для меня целую коробку. За четыре дня до празднования коробка исчезла. Виноватого не нашли. И тогда они перестали брать конфеты и утром и вечером и ко дню рождения собрали новую коробку.

Праздник устроили в пионерской комнате. Столы накрыли чистыми скатертями. На столах были огурцы, помидоры, грибы. Передо мной поставили тарелку с жареной рыбой — мальчишки наловили ее с утра. За столом уже сидели Ревекка Лазаревна и Ольга Александровна, но пиршество не начиналось. Все чего-то ждали. Вдруг дверь открылась, и в комнату торжественно выплыла повараха тетя Шура, держа в руках глубокую тарелку. Она поклонилась мне и сказала:

— Эсфирь Давидовна! Это вам!

Лица детей сияли. Я взяла горячую тарелку: в ней была моя любимая пшенная каша, сваренная на молоке! Я предложила раз-

делить ее, но дети отказались. Напоследок ребята порадовали меня большой очищенной брюквой, на которой морковкой была выложена римская цифра XX, а также подарили рисунок с изображением курицы с цыплятами, несущими плакат «3 отряд».

Летом мы всем отрядом ходили в лес за ягодами. Когда каждый сдал свою норму, набралось два лукошка черники. Мы поставили их под дерево, а сами разбрелись по лесу, чтобы поесть ягод. Пришло время идти домой, а мы не нашли лукошек... Тогда каждый собрал в свою чашечку сколько смог. Пришли домой поздно, намного позже ужина. В столовой было темно. Дежурный сказал:

— Время ужина закончилось, и теперь надо получить разрешение у директора.

Я попросила:

— Накормите детей, пока я схожу за разрешением.

Ребят начали кормить, а я направилась к Ольге Александровне в ожидании нахлобучки. Она не заставила себя долго ждать. Уже с порога меня начали строго отчитывать. Я рассказала всю нашу историю, а потом сказала:

— Дети ни в чем не виноваты, наказывайте меня.

Она подумала и сдалась:

— Пусть ужинают.

— Спасибо! Они уже поужинали.

На одной из пионерских линеек командир четвертого отряда Вова Николаев во время рапорта директору доложил, что весь отряд выполнил норму сдачи ягод, кроме одного человека — Нонны Саренок.

— Нонна Саренок! — загремела Ольга Александровна, — Два шага вперед!

Нонна вышла из строя, опустив глаза.

— Почему не сдала норму? Отвечай перед дружиной!

— Ну, мама, — заныла Нонна.

— Не мама, а Ольга Александровна! Изволь завтра же сдать две нормы! Командир отряда, мне доложить!

Однажды в детдом пришло письмо из мантуровского РОНО. Ленинградка Гаятулина запрашивала, нет ли у нас в детдоме мальчика пяти лет, черноволосого, черноглазого, с родимыми пятнышками на мизинцах обеих рук.

В списках детдомовцев такой фамилии не было. Однако, учитывая, что дошкольники часто путали свои фамилии или называли их приближенно, Ольга Александровна собрала всех воспитателей дошколят и приказала немедленно начать поиск. Был уже поздний вечер, малыши все спали, поиск проходил при керосиновых лампах, но письмо так взволновало всех, что решили не откладывать до утра и начали осматривать всех черноволосях и черноглазых. И уже на третьем подозреваемом нашли желанные родимые пятна! Восторгу и радости не было конца!

Через некоторое время приехала мать, узнала сына и забрала его с собой.

Другой случай. Весной 44-го в детдом приехал офицер, отец Риты и Вали Климук. Встретили его с большим интересом: человек с фронта — событие в детском доме! Потом он уехал, обещав вернуться и забрать девочек.

Через год пришло письмо, что он едет за дочерьми после тяжелого ранения. За ним послали подводу в Мантурово и встретили как героя. Все его лицо было в шрамах. Дети вели себя как взрослые — сочувственно, чутко, понимающе.

### **Нина Иванова**

Как-то я в очередной раз набедокурила, и Эсфирь Давидовна сказала в сердцах:

— Таких девочек, как ты, надо отчислять из детдома и посылать работать на фанерный завод в Мантурово.

Я очень обиделась. Вечером сняла одеяло с койки и пошла ночевать на кладбище. Там улеглась в крапиве и промучилась до утра, сильно промерзнув. Вернулась в церковь, улеглась тихонько на койку, укрылась с головой. Только согрелась — надо мной голос Эсфири:

— Ах, вот ты где! А мы с Кронидом Васильевичем всю ночь тебя с фонарями искали!

После этого она со мной месяц не разговаривала, а когда наш отряд стал собираться в поход на встречу с кировским детдомом, сказала мне:

— За то, что ты тогда удрала из детдома и ночевала на кладбище, останешься дома. Я ничего ей не ответила, а про себя решила: ни за что я не останусь! Пойду с ними тоже.



Когда отряд построился и вышел, я немного подождала, а потом пошла за ними по дороге, держась от них метров за тридцать. Ребята меня заметили, стали оборачиваться, наверное, Эсфири сказали. Она тоже обернулась, подала мне знак, чтобы я вернулась. Но я не послушалась, продолжала идти, сохраняя дистанцию. Так мы и шли довольно долго — они впереди, а я сзади вместе с нашей собакой. Мне так обидно было. Я иду и Индусу говорю: «Ты один здесь человек, меня понимаешь, а они все сволочи...» Индус хвостом помахал, все понял.

Я иду, а сама думаю: «Никуда вы от меня не денетесь. Пирамиду физкультурную будете делать, как же без меня, я же ее всегда завершаю. (Я всегда была маленькая и легкая, и меня на верх пирамиды ставили) ... Так оно и получилось. Километров через пять Эсфирь остановила отряд и мне рукой уже по-другому махнула. И я тогда бегом как припустила! Догнала их. Все ребята мне обрадовались, и дальше мы пошли уже все вместе.

### **Валя Тихомирова**

Про Эсфирь Давидовну скажу, что у нее была своя педагогика, свой подход. Она, когда вечером нас укладывала, к каждому подходила, говорила теплое слово. Провинившегося же сознательно обходила стороной. У нас даже был по этому поводу свой конспиративный язык. Если она еще была в церкви, а мы уже лежали, мы переговаривались:

— К тебе «Пэ» (значит подходила) или «Нэ» (не подходила)?

А хлопот мы доставляли воспитателям немало. Вот и я раз выкинула номер. Мы репетировали постановку «Белеет парус одинокий...». Я была Гавриком. Многие тогда болели гриппом. Я еще вечером на репетиции почувствовала себя нехорошо, а утром голова болела. А Роза Михайловна, которая поднимала отряд, не поверила мне и послала в школу. Я обиделась и зимой пошла в школу в одном платье и без чулок. Учительница отправила меня обратно в детдом, и я в таком же виде пошла обратно. На полдороги встретила бегущую навстречу Эсфирь. Она увидела меня и пришла в ужас:

— Боже мой! Ты без пальто и чулок! Ты бы еще босиком пошла!

Я сказала:

— Могу!

Демонстративно сбросила с ног галоши и по колено залезла в сугроб. И тогда она вдруг заплакала, и мне ее жалко стало. Я надела галоши и пошла с ней в детдом. Там, конечно, слегла и проболела около месяца. И она от меня не отходила. Зато когда я встала, она меня месяц не замечала. Потом, много позже, подошла ко мне и рассказала такую сказку. Будто бы мы всем отрядом набрали в лесу на пересечение разных дорожек. Отряд с ней во главе выбирает светлую дорожку, а я пошла в другую сторону по темной, каменистой. Она будто бы пыталась меня уговорить, но я упрямо уходила все дальше. А когда отряд уже ушел, мне стало страшно, я повернула и догнала своих. Все обрадовались, а Эсфирь меня обняла и поцеловала. И с тех пор мы шли по одной дорожке.

Эту сказку я хорошо запомнила.

### **Из дневника Натальи Николаевны Попченко**

*20 ноября 1942 года. Мне и Розе Михайловне достался первый отряд — первоклашки. Много хороших разумных ребят. Старуюсь быть для них полезной; мы много гуляем, играем, я читаю им вслух Гулливера и объясняю непонятное. Слушают внимательно.*

*1 декабря во втором отряде был сбор. Отмечали день памяти Кирова. Я привела своих ребят. Ита Ноевна сделала хороший доклад. Во время выступления Цапалина и Бори Богача мои ребяташки понемногу задремали, а Валюшка Зуева даже расплакалась — «спать хочу».*

*Мое жилье за километр от церкви. Хозяйка — старуха. Поэтому заготовка дров на мне. С утра напилела дров, натаскала воды и побежала в церковь. Накормила детей, потом мыла их в бане, сделала лыжи Фоле Галкину, написала письмо Ире Гусевой для ее родных.*

*12 декабря было комсомольское собрание. Поставили три цели: 1. Количественный рост комсомольской организации. 2. Реорганизация ядра. 3. Культурное слово — деревне.*

*Днем играли в снежки, лепили бабу, учились кататься на лыжах. Вечером — педсовет. Наметили прекрасную программу подготовки к Новому году, и с середины декабря начали делать игрушки. Наш отряд репетирует песенки поросят и поварят для*

новогоднего праздника. Воспитатели вместе с детьми клеят игрушки из цветной бумаги.

Вечером состоялось совещание о сборе средств среди работников детдома, а также среди колхозников на Чкаловскую эскадрилью. Наши подписались все. Я — на 100 рублей при моей ставке 185. А с крестьянами намного труднее: народ здесь тужой, правда, и бедный. Походили немного, получили пустяк. А ведь есть такие колхозники, которые дают по сто тысяч! Например, Ферапонт Головатый (о нем писали в газетах).

**30 декабря** школа подарила нам целый ящик замечательных игрушек. Завтра будем украшать елку, а вечером разложим под нее подарки детям.

**1 января 1943 года.** Новогодний вечер. В столовой — украшенная елка. На столах — праздничное угощение. После доклада Розы Михайловны начался карнавал — все нарядились, кто как мог. Ольга Александровна была изумительно хороша в наряде светской дамы. Ревекка Лазаревна — в костюме тореадора. Ксения и Мирра нарядились цыганками. Ксения всем гадала, а Мирра каждому прочитала стихи на тему «Будьте здоровы, живите богато!». Вера с Итой Ноевной преобразились в японок и рассказывали байки из японской жизни. Мария Степановна была Алеко. Люся Рогова в черно-желтом шелковом платье танцевала с Евгенией Борисовной в образе кавалера в черной паре с цилиндром.

Я оделась крестьянкой, Антонина Лаврентьевна — украинкой. А в центре внимания оказалась Вера Галченкова, изображавшая дошколёнка в короткой юбочке и передничке.

Веселье было общим. Приглашенные гости — председатель колхоза и председатель сельсовета — хорошо выпив, тоже пустились плясать и петь. Разошлись все в пятом часу.

**2 января.** Сегодня детский праздник. Ребята выступали по сценарию, написанному Миррой. Ведущий — Маг (Лева) в высоком колпаке со звездами и в восточном халате — представлял участников. Дед Мороз (Саша Николаев) отчитывался перед маленьким Новым Годиком, которого играл Толя Макаров. Ему много хлопали — уж больно он был хорош в своей красной шапке и шубке, отороченной белой ватой.

Замечательно сыграла черта Эля Закревская. Было много смеха и шума. Она вообще талантливая девочка — мастер на все руки. Сделала всем маски и проявила настоящий актерский талант.

*Бабу-Ягу играла Оля Воскобойникова, тоже способная девочка, художница, много и удачно работавшая над елочными украшениями. Валя Козловская с блеском исполнила танец пирата под песню «Море, принимай обломки, мертвых похоронит мрак...».*

*Праздник закончился целой серией коротких стихов-загадок, которые задавал Маг, и общим танцем-хороводом вокруг елки.*

*Через несколько дней состоялась читка пьесы «Раскинулось море широко». Распределили роли. Режиссером Ольга Александровна назначила Розу Михайловну.*

**19 января 1943 года. ПРОРВАНА БЛОКАДА! БЛОКАДА ПРОРВАНА!!!** *Вечером мы разбирали роли и читали пьесу. Вдруг ворвались Вера и две Люси с криком: «Ура! Блокада прорвана! Ура!». Тут началось неопишное. Мы побросали роли, заликовали. Проснулись дети и тоже зашумели: Блокада прорвана! Ура!*

*Как обидно, что в такой момент мы здесь, а не там!*

*Наша комсомольская ячейка пополнилась. Вчера на собрании мы приняли в комсомол Женю Ватинцева, Элю Закревскую и Леву. А Олега сняли с должности начальника штаба дружины с формулировкой «как не справившегося с делом и оторвавшегося от масс».*

*Состоялась первая репетиция. Роза Михайловна не сумела стать хорошим режиссером, поэтому Ольга Александровна сначала внесла ряд полезных советов, потом взяла режиссуру на себя. Она — скопище противоположностей!*

*Пришло письмо от моего брата Сергея. Он ушел на фронт добровольцем, водителем машины. Пишет, что отмечен благодарностью заместителя командующего фронтом и рукопожатием самого Ворошилова! Еще пишет, что убил немца. Как это ужасно, что человек должен убивать человека!*

*У Люси Чидиной в Ленинграде во время обстрела погиб отец. Теперь она осталась одна*

*Дома страшный холод, а Кронид Васильевич дров не везет.*

## **Лев Разумовский**

*Зимой 42/43 годов перед детдомом встала серьезная проблема: для того чтобы протопить церковь и принадлежащие детдому два отрядных дома (столовую, баню и медицинский изолятор), нужно было огромное количество дров.*

Дрова — длинные и толстые двух-трехметровые бревна — доставлял нам сельсовет. Огромная груда их темнела на снежной площадке рядом со столовой. Потом появились пильщики — местные колхозницы. Они смастерили козлы, на которые вчетвером взгромождали бревно, потом распиливали его на отдельные кряжи, потом кололи.

Работали эти женщины по восемь часов в день, до позднего вечера, и, закончив, получали из рук нашего завхоза Кронида Васильевича по буханке хлеба.

Среди крестьян были просто виртуозы колки дров. Однажды мне случайно довелось увидеть, как колол дрова один мужик. Он ставил кряж, потом двумя сильными и точными ударами колуна половинил его, при этом кряж оставался на месте с трещиной посередине. После этого мужик делил половины на четвертухи, а затем четвертухи на поленья. Кряж, разбитый, как апельсин, на отдельные дольки, продолжал стоять, и тогда, крикнув, он сильным ударом обуха по боку, разваливал березовый кряж на груду золотистых поленьев.

Той же зимой детдом получил на всех лыжи, и начались наши ежедневные прогулки на лыжах и катания с гор. Лыжи доставляли много радости ребятам. Зима побелила поля, крыши изб, два купола на церкви, бескрайние поля вокруг и крутые берега Унжи, с которых мы, старшие, научились кататься не хуже деревенских, привыкших к этим маршрутам и спускам.

В эту же зиму мы организовали военную игру. Разделили отряды на «красных» и «синих». «Синие» выстроили вокруг риги снежную крепость и наготовили множество снежков для обороны, а «красные» должны были наступать двумя группами лыжников и взять крепость. Кто победил и кто проиграл в этом сражении, не помню, но битва была ожесточенной: все участники оказались храбрыми солдатами и покрыли себя неувядаемой славой. Подробности боя с большим азартом и горячими эмоциями долго обсуждались за ужином. В общем, потехи было много.

Через пару дней мы обнаружили недостачу лыж в нашем отряде. Ребята сказали, что вечером около церкви видели деревенских мальчишек, они-то, наверное, и унесли. Приказ Ольги Александровны был краток: «Лыжи вернуть!».

Я собрал отряд, и все вместе мы пошли по попавшим под подозрение избам в конце Угор и в Железцово. Войдя в дом, я объ-

яснял, что у нас пропали казенные лыжи, подозреваем, мол, вашего Кольку, Ваську, Митьку и будем искать.

Пока я вел переговоры, мои ребята уже осматривали сарай, заглядывали в хлев, шарили по чердаку. При словах «казенные лыжи» хозяйки обычно пугались, не спорили с нами, а говорили: «Ишщите, коли так». Только в одной избе молодая и бойкая хозяйка на казенные слова ответила казенными же словами: «Вы не имеете права на обыск!», но тут же стушеввалась, когда ребята с радостным криком «нашли!» внесли в избу первую пару лыж, вытащенную из-под рогожи в сарае. Окрыленные успехом, мы пошли дальше и изъяли еще три пары лыж. Очень довольные своей победой, мы построились и с песней пошли по Угорам. У дома Ольги Александровны я скомандовал: «Отряд, стой!», побежал в дом и радостно доложил, что мы нашли и вернули четыре пары лыж.

— Сколько ты сказал?

— Четыре пары. А что?

Ольга Александровна смотрела мне в глаза, не отрываясь, и это не предвещало ничего хорошего.

— У нас, — сказала она, отчеканивая каждое слово, — пропали две пары лыж! Ты что же наделал?

Охо-хо! Оказывается, мы в своем полицейском рвении слегка перехватили. Стыдуха-то какая!

Пришлось мне возвращаться, искать обиженных, отдавать лыжи и извиняться.

### **Завен Аршакуни**

Когда мы приехали в Мантурово, некоторых ребят взяли к себе мантуровские семьи. Помню первый выход за горохом для детдома. Горох складывали в мешки, а больше — себе за пазуху.

У нас в церкви жила белочка, почти ручная. Ребята ее кормили, чем могли.

Я любил ходить к Татьяне Максимовне. Она всегда давала мне что-нибудь вкусное: то морковку, то пряженник. А один раз, когда у нее ничего не оказалось, дала мне луковицу. Я возвращался в церковь по весеннему снегу, грыз луковицу и закусывал сосулькой. Зимой очень красиво смотрелась на снегу наша розовая церковь. По талому снегу копыта лошадей оставляли глубокие

круглые, как стаканы, рытвины. Однажды зимой я шел из школы, задумался и попал ногой в такой стакан. Упал и вдруг увидел над собой невесть откуда взявшиеся лошадиные ноги, застрял между лошадьё и санями, и в таком положении лошадь протащила меня, пока ее хозяйка меня не вытащила.

В детдоме у нас были тимуровские команды. Мы ходили по дворам вдов и жен фронтовиков и укладывали дрова в поленницы. А местные парни, напившись во время гулянок, их разваливали.

Запомнились мне в Угорах очень красивые красные зори. Особенно зимой.

### **Из дневника Н. Н. Попченко**

*10 февраля 1943 года в годовщину смерти Пушкина Ита Ноевна сделала доклад, а ребята четвертого отряда проиллюстрировали его стихами. Второй отряд поставил сказку «О попе и работнике его балде», а третий — «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях». Было много смеха, когда королевич Елисей (Геня Мориц) вышел с огромными заплатами на штанах. Мои ребята выступили со сказкой «О золотой рыбке». Тамара Киуру играла деда, Валюшка Зуева — рыбку, а Надюша Огородова — старуху. На старуху пришлось все одежки надеть сразу, а потом по ходу сказки снимать по одной.*

*16 февраля. День насыщенный. На педсовете решили: День Красной армии отмечать по отрядам, а годовщину детдома на дружине. Я подобрала нужный материал, распределила по ребятам, а Роза Михайловна начала с ними репетировать. Она достала замечательную книгу Бориса Житкова «О вещах». Ребята ею зачитывались.*

*Ревекка Лазаревна объявила, что «Раскинулось море широко» будем показывать четыре раза: первый день — для детдома, второй — для школы, третий — для местной молодежи и четвертый — для колхозников. Вот денечки будут! Поэтому опять репетиции. А у нас масса мелочей не отработана. Плохо с освещением и шумами. Ольга Александровна страшно требовательна к артистам, а сама не выучила своей роли. Меня назначила суфлером.*

**23 февраля** состоялась первая постановка. Не обошлось без накладок. Некоторые артисты так толком и не выучили своих ролей, а Ита Ноевна в один из драматических моментов вообще забыла свою реплику и тем затормозила всю пьесу. Пришлось Ольге Александровне, к изумлению публики, выскочить на сцену и грозно выкрикнуть: «Ита Ноевна! Уж, какие мы гости!»

На другой день у дошколят был свой парад и выступления. Особенное впечатление произвел Вовочка Пучков из самой младшей группы. Он прочитал без запинки большое стихотворение. Потом было угощение для работников детдома — картофель с котлетой и кофе с пирогом, а затем Мирра читала написанную ей историю детского дома. За лучшие выступления наградили Толю Макарова — командира первого отряда, Надю Огородову, Иру Веригу, Лелю Елизарову и Риту Климук.

Вечером снова играли пьесу перед местными школьниками и учителями. Опять накладка: когда мы, схваченные немцами, сидели взаперти в сарае и ждали допроса, на сцену выбежала кошка. Ребята в зале сразу зашумели, засмеялись и стали «ки-скачь»... Это было ужасно! Но местные учителя нас пожалели, и кто-то даже прослезился, несмотря на кошку.

**Конец февраля.** Ураган, дождь, град. Крестьяне говорят: если в мясоед дождь — лето будет грибное и ягодное.

Сегодня всем раздавали американские подарки: платья, джемпера. Джемперов на всех не хватило — были слезы. Вокруг американских подарков вообще много шума и обид. Роза Михайловна считает, что распределяются они несправедливо. Дома холод. Кронид дрова обещал, но не везет. Пришлось взять один большой кряж и тащить его на себе всю ночь. Хорошо, что луна светила. Иногда я, устав, катила кряж по земле ногами. Пришла домой вся мокрая.

Мирра предложила нам по средам собираться на свои беседки.

В середине марта за Саней из Ярославской области приехал отец. Саня задал ему вопрос: «А ты мне родной?». Отец у Сани старенький, и лицо узкое, плутоватое... Может поэтому? За Хельмой Рока приехал брат из Молотова.

**20 марта.** Мои ребята — молодцы! Сами организовали на прогулке военную игру, как у старших. Командир, конечно, Толя — замечательный мальчуган. Он умен, храбр и добр. Заставляет себя слушать. Впитывает знания, как губка. Среди девочек вы-



деляются *Надя Огородова* и *Рита Климук*. Обе хорошо декламируют, ловко бросают снежки.

С утра проверяла ребят на вышивку, а потом читала им «Пионерскую правду». Провела занятия ручного труда — учила их вышивать.

Наблюдая за ними уже несколько месяцев, пришла к выводу, что прежние горластые драчуны стали спокойными и дружными.

### **Лев Разумовский**

Весна 1943 г. Впервые в жизни (как много мы, жители большого города, увидели впервые, попав в обычную российскую деревню, живущую натуральным хозяйством) мы залюбовались красивейшим зрелищем — светло-зеленым полем, покрытым ковром мелких голубых цветков. Порывы ветра колыхали всю эту голубизну, и создавалось ощущение, что это большое светлое озеро с зыбью на его поверхности. Так цвел лен. К осени нежно-зеленые стебли стали бурыми, а голубые цветы превратились в крепкие коричневые звонкие шарики — плоды льна.

Вот тут-то мы впервые на собственном опыте столкнулись с понятием и истинной ценой трудодня. Детдому предложили помочь колхозу убрать лен. Нам выделили часть поля, две крестьянки подвели нас к шелестящему на ветру золотистому звонкому полю и спросили, умеем ли мы терebить лен.

— А чего тут уметь. — ответил кто-то. — Рви да собирай в пучки.

Колхозница тетя Дуся рассмеялась, потом сказала:

— Вот глянь-ка! Пойду-ка я по своей делянке.

И пошла в стоящий прямоком лен, ловко выкручивая сведенными накрест руками пучки льна, оставляя после себя пустую дорожку стерни. Через пару минут у нее в руках оказался пушистый толстый снопик, который она в мгновение завязала последним тонким пучком льна.

— Ну, как? Ясно, что ли?

— Да не очень... Как это вы?..

Колхозницы посмеялись, а потом занялись с каждым отдельно. Сначала казалось, что этот прием очень неудобен, но они настаивали на своем, и постепенно, с большим трудом, мы начали осваивать их технику. Работали внаклонку. Неловкие руки не слу-

шались, пучки получались неровные и рассыпáлись, солнце па-лило вовсю. Не прошло и двух часов, как мы выдохлись, начали распрямлять и тереть затекшие спины.

Наши учительницы за то же время легко и как бы играючи сделали почти половину своей обширной делянки.

— Тетя Дуся, — спросил я, показывая на довольно длинную полосу стерни за моей спиной, — заработал я трудовень?

— Эх, паря! На трудовень восемь соток надо сделать, а ты и двух не одолел, и уже не смогаешь...

Места вокруг Угор были красивые: леса, поля, переходящие в перелески, недалеко протекала Унжа — приток Волги. В радиусе пяти-десяти километров находились деревни Ступино, Поломы с самыми черничными и брусничными местами; Шулево, большое село с заводом и школой-десятилеткой. Где-то подальше — городок Макарьев, поселок Шарья, реки Межа и Нея. Частушка напоминала об этом:

Скоро в армию поеду  
Через Неюшку реку.  
Вот вам, девушки, на память  
Елочка на бережку!

Мужиков в деревне почти не было. Молодые ушли на войну. Оставшиеся, старики и инвалиды, плотничали, работали коноводами, пахарями на колхозных полях или уходили на заработки в соседние районы — «жгонили», т. е. валяли валенки, катали катанки и чесали чесанки. Изготовление валенок было традиционным ремеслом в нашем Мантуровском районе.

Молодежь — парни допризывного возраста и девушки всех возрастов — развлекались на гулянках. Гулянки обычно начинались вечерами, кончались к утру. Парни пили водку, горланили частушки и плясали с девчонками под гармошку. Чем многолюднее случалась гулянка, чем больше играло на ней гармоней, тем она считалась лучше, богаче: «Баская была гулянка — о пяти гармоник!». Гулянки часто заканчивались пьяными драками или буйным озорством. Завалить изгородь, разломать в ней тычины, раскидать поленницу, поставленную на зиму, было обычной забавой разгулявшихся парней. Зимой вместо гулянок традиционно проводились «беседки». В один из зимних вечеров Лизка, дочь

Флегонтовны, заявила Мирре, что в следующую субботу «беседки» будут в нашей избе, что мы для этого должны потесниться и не мешать.

Пришлось нам сдвигать наши кровати и пожитки в угол, после чего Колька вбил два гвоздя в стенки, натянул веревку и повесил занавес, отгородив нас от помещения, где должны были проходить «беседки». Маму вся эта пертурбация сильно расстроила, а нам с Миррой было интересно, несмотря на то, что нам пришлось несколько часов сидеть в неудобных позах на своих узлах, взгроможденных на кровати.

Лизка «примыла» пол ровно до занавески, подвесила к потолку лампу-молнию, вынесла с Колькой стол и кадки с цветами, расставила по стенкам лавки, уселась с прялкой на одной из них и стала ждать гостей. Вскоре пришла первая ее подружка с прялкой, уселась на ступицу<sup>1</sup> и на ней объехала все лавки, «чтобы беседки были хорошими». Потом начали приходиться и рассаживаться по лавкам и другие девушки, каждая со своей прялкой. Парни ввалились вместе разноголосой гурьбой, и в избе стало сразу шумно и весело. Заиграла гармоника. На середину избы выскочил парень в куртушке<sup>2</sup> и кепке и пустился в пляс, дробно печатая пол кирзовыми сапогами, а напротив него вышла девушка, ожидая его частушку. Парень:

Что ты, милка, зазнаешься,  
Али харя широка?  
Я видал такую харю  
На базаре у быка.

Общий смех, в основном мужской. Отплясав свое, он встал в позу. А девчонка, махнув платочком и приняв вызов, стала выбивать чечетку и петь:

Из Сибири ты приехал  
И полпуда вшей привез,  
Батька думал, что овес  
И на мельницу увез.

Общий смех, преимущественно женский.

---

<sup>1</sup> *Ступица* — сиденье у прялки.

<sup>2</sup> *Куртушка* — верхняя одежда.

Парень:

Из тюремного окошка  
Посмотрю на Ленинград.  
Все там девочки гуляют,  
Чем я, мальчик, виноват?

Девушка:

Из тюремного окошка  
Посмотрю на Вологду.  
Принеси, залетка, хлеба,  
Помираю с голоду.

На смену первому парню выскочил второй, ударил шапкой об пол и продолжил тюремно-географическую тему:

Из тюремного окошка  
Посмотрю на город Буй,  
Принеси, залетка, хлеба...

Допеть ему не дали дружно вскочившие девки. Они вытолкали хулигана на кухню и закрыли дверь. Это не помешало ему, однако, через пять минут вернуться и продолжить участие в общем веселье.

Один из ребят решил потешить девок по-своему. Раздобыв где-то книгу по искусству, он раскрыл ее на странице с фотографией скульптуры Аполлона Бельведерского и стал обходить весь круг, тыкая пальцем в книгу и произнося каждый раз:

— Глянь! Голый парень! А?

Девки хихикали, отворачивались от такой срамотищи, отпихивали его руками, а он невозмутимо продолжал свой обход.

— Искусствовед, — покачала головой Мирра.

Между тем «беседки» вступили в новую фазу. Между плясом и песнями кто-нибудь из парней приглашал выбранную им девочку в «барабу», и пара на некоторое время исчезала в темной кухне. Девчонка могла отказаться от «барабы», и это считалось позором для парня — его потом осмеивали чуть ли не до следующих гулянок или «беседок». Таков был обычай.

На все это мы с Миррой смотрели из занавески во все глаза, а она что-то быстро записывала в дневнике.

«Беседки» закончились поздней ночью и продолжались на улице, превратившись в гулянку. А мы, распрямив затекшие руки-ноги, стали перетаскивать кровати на свои места и приводить комнату в прежний вид.

Частушки с гулянок быстро перелетели в детдом, прилипли и четко запечатлелись в памяти на всю жизнь.

Мантуровская милиция  
Хорошая была,  
По нагану отобрала,  
По кинжалику дала.

Из нагана дали выстрел,  
По реке пошел туман.  
Что ты голову повесил,  
Наш веселый атаман?

Всю пшеницу за границу,  
А картошку на вино.  
А голодные колхознички,  
Пойдемте на кино!

Состряпай, маменька, селяночку  
Последний раз у вас я ем.  
Скоро в армию забреют,  
Больше вам не надоем.

Посмотри, родная мать,  
Как солнце закатается.  
Не последний ли сынок  
В армию собирается?

### **Нина Иванова**

Мы слышали про деревенские «беседки», и мне очень хотелось посмотреть, что это такое. Я упросила одного местного парня, Аркашку-пекаря, взять меня с собой. Он был такой здоровый, крутой, лучше всех с гор на лыжах катался. Он сначала удивился:

— Куда тебе, малявка? Что ты там делать будешь?

Но я пристала к нему — своди, да своди. Уговорила. Пошли мы с ним, а мне и интересно и боязно очень. Ну, пришли, там пляс, частушки, а Аркашка поплясал немного и с одной девчон-

кой в «барабу»... А я за ним — на меня там никто внимания не обращал. А в «барабе» Аркашка девку тискает, а она визжит, чуть не плачет — отпусти!

Ну, я думаю: надо девчонку спасать, он ведь ей больно делает. Вцепилась ему в брюки и оттаскиваю. Он разозлился, меня ногой как двинет, как собаку: — Мотай отсюда!

А я опять в него вцепилась, опять тащу. Девчонка орет, Аркашка матерится, а я не отпускаю...

Ну, тогда он девчонку бросил, меня за руку своей клешней схватил и из избы потащил. Злой, как черт. Быстро, чуть не бегом, меня до детдома дотащил, все за руку по дороге дергал со зла, а там бросил и напоследок крикнул:

— Вот ты, малявка, плесень такая, всю «барабу» мне испортила! — и бегом назад в Угоры...

### **Лев Разумовский**

Два эпизода вокруг церкви, вроде бы не связанные между собой, однако по странному стечению фактов и по размышлению над ними, возможно, и взаимопереплетенные.

Церковь досталась нам в довольно приличном состоянии: крыша не текла, полы чистые, потолки и стены побелены, низ столбов и стен покрашен коричневой масляной краской. Как-то у меня возник вопрос: был ли на куполе крест? Старуха Мирониха, к которой меня отослали по причине того, что она хоть и старая, а все помнит, да и молится до сих пор, охотно рассказала:

— Крест-от был — как ему не быть? И ограда церковная металлическая была, и кладбище коло церкви было.

— А куда ж все девалось?

— Да к куда? Все порастаскали. Решетки еще в двадцатом посымали да куда-то увезли. Столбы кирпичные народ на печи перетаскал. Кладбище тоже: много баских камней было, куда-то все перетаскали, вон два-три еще валяются в лопухах.

— А крест?

— А крест, паря, никто сымать не хотел. Боялись: Бог накажет. А начальство с району велело сымать. Потом уж коммунист один с Поломы, Васька Крутцов, снял. За деньги.

— Как за деньги? — ахаю я.

— А так. Опосля пил на эти деньги кой-то срок. Я хвостить не стану...

Надо сказать, что я этой бабке не поверил. Не мог коммунист за деньги сделать такую работу, это не укладывалось в моей патриотически настроенной голове...

Прошел, может быть, месяц после этого разговора. Однажды, сидя на могильном камне, я рисовал двух деревенских мальчишек. Один был в кепке, другой — в зимней шапке, несмотря на летнее время. Они охотно позировали, и я сделал довольно живой набросок в маленьком альбомчике, который подарил мне Олег. Когда они ушли, я, собирая свои рисовальные принадлежности, машинально отогнул лопух... и замер.

Первые же слова, которые удалось прочитать на черном, когда-то полированном, а теперь разбитом и заросшем мхом граните, захватили, заколдовали, затащили в иной, волшебный мир, ничего общего не имеющий с бытовой суетой нашей нынешней жизни:

Река времен в своем стремленьи  
Уносит все дела людей  
И топит в пропасти забвенья  
Народы, царства и царей.  
А если что и остается  
Чрез звуки лиры и трубы,  
То вечности жерлом пожрется  
И общей не уйдет судьбы.

Часть надписи была утрачена, но и оставшиеся могучие, весомые, емкие слова поразили меня глубиной мысли, величием образов и масштабом понятий... Вечность. Судьба. Народы. Царства... И фатальная Неизбежность...

Только спустя сорок лет, я узнал, что у этих строк есть автор — Гаврила Романович Державин, и, взяв в библиотеке томик стихов поэта, полностью восстановил текст.

Наступила весна. Благодаря усилиям Ольги Александровны к тому времени детдому принадлежало уже двадцать четыре гектара земли, наибольшая часть которой была отведена под посадку картофеля. Поле надо было вспахать, унавозить, посадить семенной картофель и приниматься за посадку других овощей.

К этому времени у нас были уже две лошади, на которых научились пахать Олег и Игорь. Сельсовет разрешил детдому выбрать из колхозного скотного двора столько навоза, сколько нужно для нашего огорода. Эта ответственная задача выпала на долю моего отряда.

Тогда почему-то ни у кого не возник простой вопрос: а как же сам колхоз остается без удобрений? Земля и так тощая — «травинка за травинкой бегаёт с дубинкой». Почему же колхоз так просто отдаёт детдому основу будущего урожая?

Ответ, оказывается, был тоже прост. Районное начальство понимало, что ленинградский детдом осе­нён вниманием областного начальства. Не дать навоз детдому — дело политическое. А с колхозниками церемониться никому и в голову не приходило. Тем более что колхозное хозяйство было уже так развалено, что его парой подвод с навозом не спасешь.

Вооруженные носилками и лопатами, мы пришли на скотный двор. Бригадир встретил нас неприветливо, критически оглядел и сказал мне хмуро:

— Ты бы хоть штаны завернул, да и рубашку закатил, ведь весь в дерьме будешь.

Услышав в ответ, что я буду работать аккуратно, он сплюнул под ноги, выматерился и спросил:

— Зачем лопаты взял?

— Навоз копать.

Тяжело вздохнув, он взял в руки вилы.

— Вилы-то держал когда в руках?

— Не приходилось.

— Давай носилки сюда.

Девчонки быстро подставили носилки. Он открыл широкие дощатые двери. Оттуда сильно пахло, и девчонки попятились. Не обращая на них внимания, он легко вонзил вилы в коричневую массу, поддел большой пласт и ловко сбросил его на носилки. Второй такой же заполнил носилки доверху, и я скомандовал девчонкам нести. Бригадир молча сунул мне вилы в руки и, не оборачиваясь, ушел. А я приступил к делу: храбро, с силой воткнул вилы в вонючую массу и... застрял в ней намертво. Спрессовавшийся под коровьими ногами толстый пласт соломы не отпускал вилы, как я ни старался. Ребята с носилками наготове с интересом наблюдали за моими телодвижениями. Пришлось сбросить с себя ботинки, влезть босыми ногами в чавкающий навоз. Я перепачкал руки по локоть и ноги до колен, но и с вилами в конце концов справился и попытался снова поддеть пласт навоза так, как делал это бригадир: зубья вил должны были войти в массу под острым углом и пройти под тонким пластом почти параллельно земле.



На этот раз мне удалось выполнить задачу, и, окрыленный успехом, я начал подавать на носилки ком за комом. Дело пошло, но не так быстро, как мне хотелось: вилы не каждый раз слушались меня, ребята простаивали, пока я барахтался с обработкой приема. Нужно было что-то предпринять.

К этому времени я уже не боялся запачкаться, так как был уже по уши в дерьме, как точно предсказал мудрый бригадир. Поэтому я отбросил вилы и начал выгрывать навоз просто руками.

Открытый мной передовой метод оказался намного эффективнее. Я бойко наполнял носилки, ребята тоже приспособились быстро их переносить, и конвейер заработал.

Мы проработали с утра до обеда, после чего я послал ребят мыться, а сам пошел мыться домой: я был похож на черта, и явиться в таком виде в детдом было просто невозможно.

Мама, увидев меня, пришла в ужас и сразу организовала мытье в огороде. Я сбросил всю одежду и около часа отмывался серым мылом и колодезной водой.

После обеда мы вернулись на скотный двор. На это раз я решил действовать только вилами и к концу дня, наконец, освоил прием. К вечеру мы вычистили весь хлев и ушли, довольные тем, что сделали полезное для детдома дело.

### **Ляля Якульс**

После смерти младшей сестры в апреле 42-го моя мама Зинаида Сергеевна Якульс пошла работать в детский дом. Я пришла в июле, когда детдом готовился к эвакуации. Помню, как мы с Никой сбрасывали тюки с бельем в лестничный пролет с четвертого этажа, а потом на этих же тюках ехали на Финляндский вокзал и пели песню «В далекий край товарищ улетает...».

Мы с мамой жили в бывшей помещичьей усадьбе вместе с Антониной Иосифовной, матерью Марии Вячеславовны Кропачевой, и Еленой Самойловной Бик. Елена Самойловна была пианисткой и на всех детских праздниках играла на фисгармонии. Огород на земле, выделенной нам колхозом, мы начали обрабатывать ранней весной 43-го года. Большой участок целины, спускающийся к реке, нужно было вспахать под капусту. Лошади были заняты пахотой большого поля под картошку, и мы решили пахать на себе, как делали это взрослые. Впряглись в оглобли по четыре

человека в каждую и потянули плуг. Пахарем был Сашка Корнилов. Получалось плохо — при повороте мы сами же и затаптывали вспаханные борозды. Пришлось бросить эту затею и перепачкать все поле уже на лошади.

Вспоминаю интересную историю, связанную с подготовкой к празднику песни. Наш отряд разучивал старинную русскую песню:

Вдоль по Волге-реке снаряжен стружок.  
Как на том стружке, на снаряженном  
Удальцов-гребцов сорок два сидят.  
Как один-то из них добрый молодец  
Приздумался-пригорюнился.  
Ах, о чем же ты, добрый молодец,  
Приздумался-пригорюнился?  
Я задумался-пригорюнился  
Об одной душе красной девице.  
Эх, вы, братцы мои, вы, товарищи,  
Сослужите мне службу верную:  
Киньте-бросьте меня в Волгу-матушку,  
Утоплю я в ней грусть-тоску мою,  
Лучше в море мне быть утопимому,  
Чем на свете жить нелюбимому...

Мы увлеченно играли в лапту перед церковью. В этот момент пришла Ревекка Лазаревна и сказала, что хочет проверить, как мы выучили песню. А мы хотели играть, а не петь. Однако она настаивала на своем. Тогда Сашка Корнилов, подмигнув нам, запел:

Пльви ты наша лодочка блатная, да, да,

а мы дружно подхватили:

Куда тебя теченьем понесет,  
Воровская жисть такая, ха, ха,  
От тюрьмы она далёко не уйдет!  
Воровка не делается прачкой, да, да,  
Шпана не ударит урку в грудь!  
Грязной тачкой рук не пачкай! Ха, ха!  
Это дело перекурим как-нибудь!

Мы проорали всю песню. Наступила тишина.

Мы ждали реакции — разноса, наказания. Ольга Александровна, наверное, отреагировала бы сразу: взорвалась, наорала, может быть, надавала пощечин. Интеллигентнейшая Ревекка Лазаревна сидела молча, не шевелясь. Как статуя. Потом встала, выпрямилась и изрекла:

— Еще Горький говорил: «В каждом человеке есть что-то скотское».

Повернулась и ушла.

Еще эпизод. В столовой и на кухне всегда было много тараканов. В одно из дежурств на кухне, как сейчас помню, мы все были в синих платях с малиновыми оборочками и в фартуках, пошитых неутомимой Марией Николаевной. Повариха куда-то на минуту отлучилась, а кто-то из дежурных открыл большой чан с кипящим супом, и тараканы посыпались в чан с потолка — их обдало паром. Что было делать? Мы сразу закрыли окно раздаточной, тараканов выловили шумовкой и никому ничего не сказали. Не выливать же суп!

### **Лев Разумовский**

Время в Угорах тянулось медленно, и я начал тяготиться своей работой. Реальной переменной представлялся осенний призыв в армию, и я ждал его с нетерпением. Особенно меня раздражала входившая в мои обязанности проверка домашних школьных заданий.

Как-то весной, в разгар огородных работ, мне пришлось проверять у отряда домашние задания. Ребята отвечали плохо, иногда не попадал. Меня это злило. Хотелось скорее закончить и взяться за лопату.

Последними отвечали три подружки: Валя Тихомирова, Тамара Сысоева и Аня Сулова. Девчонки были настроены весело, отвечали кое-как, с шутками и хихиканьем. Терпение мое к этому времени лопнуло, и я, выдав им всем по наряду, с облегчением пошел на огород.

Мое нетерпение стало причиной серьезной истории, которая могла бы закончиться настоящей трагедией.

Ниже привожу полностью рассказ Вали Тихомировой и, спустя 50 лет, приношу девочкам-«нарушительницам» мое искреннее запоздалое покаяние.

## Валя Тихомирова

Леве было поручено проверить наше домашнее школьное задание. Он проверил у всего отряда, остались мы: Тамара, Аня и я. Аня стала путаться с ответами, потом сказала, что лягушки дышат жабами. Мы захохотали. Леву это, почему-то, вывело из себя, и он сказал:

— Получи наряд!

Мы возмутились и сказали, что это несправедливо. Лева сходу дал и нам по наряду и ушел на поле к ребятам копать грядки. А мы очень обиделись и решили убежать из детского дома.

Вокруг никого не было, и мы ушли незамеченными к Поломе. По дороге прутиком на песке написали: «Три мушкетера убежали».

Зашли в лес, стали есть песты и заблудились. Потеряв направление, вышли к какой-то риге. Там, на риге, и переночевали.

Рано утром проснулись, захотели есть и решили вернуться. Стали думать, как выйти, какую из множества тропинок выбрать, стали гадать: «Рыба-рыба, рыба кит, рыба правду говорит и по той тропинке идти велит». Рыба не обманула, вывела нас к детдому.

А там тревога, нас уже ищут. Явились мы пред светлые очи Ольги Александровны с повинной. Она сказала:

— Я поговорю с Валец, а вы, Ревекка Лазаревна, поговорите отдельно с Аней и Тамарой.

А мы по дороге домой договорились, что скажем, будто мы просто заблудились и потерялись.

Ольга Александровна говорит:

— Гляди мне в глаза и говори правду. Я по твоим глазам вижу, что врешь!

Мне стало обидно, и я замкнулась.

Тут приходит Ревекка Лазаревна и говорит:

— Девочки признались, что Валя подговорила их на побег.

Ольга Александровна:

— Вот почему она молчит! Ну и пусть идет на все четыре стороны!

И толкнула меня к двери.

Вышла я. Сидят на улице мои девочки. Неужели они меня предали? Они говорят:

— Нам сказали, что ты нас выдала. А мы ничего не сказали. И нас тоже выгнали.

Тогда мы пошли к сельмагу, сели там на крылечке, прижались друг к другу, сидим, горюем.

А в это время — гулянка! Одна шеренга — парни в обнимку частушки поют, а навстречу им девушки, тоже в обнимку.

Парни:

Эх по нашим по Угорам  
Шла интеллигенточка,  
Рукава засучены,  
Юбка по коленочко.

Девушки:

Моя милка заболела,  
Ничего не кушает.  
Надо доктора позвать,  
Пусть ее послушает.

Парни:

Как по нашим по Угорам  
Ехала милиция.  
Задирайте, девки, юбки,  
Будет репетиция.

Парни нас заметили, окружили, стали приставать. Мы заплакали. И они отстали, отошли.

Я сказала:

— Чем так жить, лучше умереть. Найдемте колодец и утопимся.

И мы решили покончить счеты с жизнью. Пошли дальше, увидели старый колодец.

— Кто будет прыгать первый?

— А кто придумал, тот и первый, — сказали девочки.

Я решилась прыгнуть, но с условием:

— Дайте честное мамино слово, что вы тоже прыгнете.

— А мы на том свете увидим маму?

— Конечно!

И я прыгнула...

Оказалось, воды до пояса. Девочки подали мне руки, вытащили меня, мокрую. Мимо проходила деревенская женщина, спросила нас, что мы здесь делаем. Мы рассказали ей.

— Не дурите, идемте ко мне в избу. Я бедная, вас не накормлю, детей много, но хоть в тепле поспите, посохнете.

Мы пришли и легли на полу, на ветоши, на лохмотьях, думали, заснем. Однако поспать не удалось. Нас заели клопы. Мы всю ночь от них отбивались.

Наутро хозяйка дала нам по корке хлеба и говорит:

— Идите в детдом, просите прощения.

Мы пошли, только не в детдом, а в школу, в класс. Там была местная девочка Валя Мухина, скупая, ела лепешки. Мы обступили ее, стали кланчить.

— Нету-ка!

А у нас уже животы от голода свело, мы больше двух суток ничего не ели. Мы тогда у нее лепешки отняли и съели. Она заревела, а мы испугались и побежали в Давыдово. По дороге встретили Тоню Суслову, сестру Ани. Она сказала:

— Девочки, в детдом не ходите. Ольга Александровна очень злая!

— Мы есть хотим!

Она посоветовала:

— Просите милостыню. Я буду говорить, а вы подпевайте.

Постучали мы в первый же дом. Вышла женщина. Тонька заревела, какие мы несчастные, нас выгнали, и теперь мы без еды и без крова... Женщина накормила нас пшенной кашей с молоком, дала с собой еще картошки, брюквы. И мы пошли к другому дому. Дом был богатый, с наличниками. Мы понадеялись, что здесь нам еще больше дадут. Вышел мужчина, послушал Тонькино пение, молча пошел домой, вернулся с ухватом и на нас! — Ах вы нахалки! — И за нами!

А мы бегом к детдому и повстречали по дороге добрую женщину Татьяну Максимовну. Она нас пожалела и уговорила вернуться:

— Ольга Александровна сегодня в хорошем настроении. Идите быстрее, сегодня пирожки на полдник!

В детдоме нас накормили и спать уложили, а разборку оставили на завтра.

На другой день состоялась очередная линейка. Командиры отрядов отдали рапорт Олегу Громову о проделанной вчера работе. После этого выступила Ольга Александровна и сказала:

— Ребята у нас хорошие. Но не все. Есть такие, которые позорят детский дом. Вот эти три кумушки просили милостыню и позорили детский дом!

Ребята стали нас ругать и стыдить. А оттуда, где был выстроен первый отряд, раздался плач. Это Вера, моя сестра, меня пожалела и заплакала. Ночью, когда все улеглись спать, группа девочек окружила наши кровати и потребовала, чтобы мы просили прощения. Аня сразу попросила прощения, Тамара с ними заспорили, а я сразу сказала, что никакого прощения просить не стану. Тогда на меня набросили одеяло и стали бить, а я отбивалась, как могла и из-под одеяла щипала их за ноги. Спасла меня Татьяна Максимовна. Она закричала на девочек и разогнала их по кроватям.

### **Геня Морниц**

В детдоме дни рождения ребят всегда отмечались официально. Но существовала наша собственная традиция: каждый от себя дарил юбиляру или по куску сахара, или по финику (нам их давали в ужин). Все это заворачивали в платочки, пошитые девочками. Однажды скопленный нами сахар пропал. Проследили и поймали с поличным негодяя Борьку Баринова, которого тут же отлупили. Но традиция, к сожалению, умерла.

Работали мы как-то в поле, и после работы я возвращался в детдом на телеге. Лошадь бежала резво, телегу сильно тряхануло на ухабе, и я громко матюгнулся. Ольга Александровна услышала, позвала меня к себе и, когда я подошел, дала мне пощечину.

В другой раз мы возвращались из леса. В руках у меня была убитая змея, которую я держал за хвост. Навстречу нам толпа девочек. Я размахнулся и бросил змею в девочку, не заметив, что с ними была Ольга Александровна. Слава Богу, что не попал в нее.

Вообще мои отношения с Ольгой Александровной складывались как-то противоречиво: то она меня била, то лечила.

Возились мы как-то в церкви, то ли боролись, то ли играли. Моя нога застряла между досками, а в это время меня кто-то толкнул, и нога сломалась. Сразу прибежала Ольга Александровна, быстро наложила на ногу какие-то деревяшки и крепко обмотала ее тряпками. На другое утро запрягли лошадь и отправили меня в Халбужскую больницу, где я пролежал месяц, пока нога не зажила.

Весной 43-го мы с мамой и Миррой переехали на новую, уже третью квартиру — в Железцово.

У новой хозяйки, высокой и суматошной Степаниды, мужа нет, а дома семеро по лавкам — от старшего Митьки, рыжего и занозистого парня, на год младше меня, до двухлетней девчушки. Все семеро босые, полураздетые, крикливые и вечно голодные.

Хозяйка — худая, измученная жизнью женщина, не пользовалась уважением в селе. Когда мы собирали вещи для переезда, наша Флегонтовна сказала:

— Непутевая она, Степанида. Непутевая. Вот в третьем году ей с Макарьева кум сахарного песку килограмм привез. Дык, ты думаешь, она этот сахар сберегла, схоронила на черный день? Ништо. Она всех семерых за стол усадила, краюху хлеба нарезала, да весь песок им на стол, каждому по горсти, ссыпала. Они за минуту все и подмели...

Я сразу вспомнил, как застал утреннюю трапезу этой семьи. Ребятишки сидели за пустым столом. Мать брякнула на середину большую миску, плеснула туда молока из ведра и быстро нарезала туда штук пять-шесть огурцов. Бойко, наперегонки застучали ребята ложками, вылавливая из белой жижи зеленые кружки. Когда с ними было покончено, остаток молока ребята дохлебали уже не торопясь. Вспомнив, я живо представил себе картину: темный дощатый расщелившийся стол, вокруг него на лавках счастливая орда, быстро расправляющаяся с белыми кучками белого сладкого чуда...

У Степаниды мы чувствовали себя спокойнее и вольнее, чем у хозяйственной и придиричивой Флегонтовны. Мало того, новая хозяйка выделила нам две грядки, которые я начал немедленно осваивать. Вычитав в «Ленинских искрах», как из одной картофелины получить пуд урожая, я задался целью провести эксперимент и получить не меньше, чем агроном, написавший эту статью. Следуя советам автора, я выкопал большую яму, удобрил ее собранными на дорогах коровьими лепешками, положил туда крупную розовую картофелину, присыпал землей, пересыпал золой из печки, положил слой конского навоза и последний слой — земляной.



Осенью, тщательно собрав урожай до самой маленькой картофелинки, я взвесил его на безмене и убедился, что получился хоть и не пуд, но 13 килограммов.

Примерно в это же время Ревекка Лазаревна поручила мне украсить столовую такими же росписями, какие я сделал в пионерской комнате в церкви, «чтобы детям в столовой было не только вкусно, но и приятно». На этот раз я решил порадовать ребят иллюстрациями басен Крылова. Столяры сделали из чистой фанеры несколько стендов, и я с удовольствием провозился с ними около двух недель. Нарисовал сюжеты из «Волка на псарне», «Квартета», «Лисы и винограда». Потом расписал их красками все из той же коробочки, которую, на счастье, вывез из Ленинграда.

Вернувшись как-то домой после работы над стендами, я застал маму, которая со счастливой улыбкой варила манную кашу на молоке. Дело в том, что на днях мы получили из Ленинграда посылку с банкой сгущенного молока и узелком манной крупы. Сегодня мама решила устроить пир — священнодействовала над кастрюлей, а рядом с ней крутились хозяйские дети, привлеченные небывалым запахом. Когда каша сварилась, мама достала из шкафа все наши блюдечки и наполнила их до краев горячей ароматной белой массой — каждому ребенку по блюдечку.

— Вот только ложечек у меня на вас всех не хватит, — сокрушалась мама.

Однако ложечки не потребовались. Каждый ребенок благоговейно и осторожно брал блюдечко обеими руками и отправлял его содержимое в рот. После окончания трапезы, каждое блюдо было тщательно вылизано и абсолютно чистым и блестящим возвращено маме.

### **Из дневника М. С. Разумовской**

*1 марта 1943 года. Я теперь детдомовский летописец. Ревекка Лазаревна поручила мне писать историю детского дома. Совмещаю работу в детдоме с преподаванием в школе. Прохожу словосочетания типа женщина-летчик. Ребята придумали — парень-рубаша, душа-человек. Неожиданно прозвучало:*

девка-простыня... Общий хохот. Спросила у учителей, есть ли такое. Говорят, есть.

Из Горького детдом получил по ленд-лизу большую партию американской одежды. Яркие кофточки, платья разных фасонов, клетчатые шотландские юбочки наделали много шума. Обнова в детдоме — большое событие. Неизбалованные дети, особенно девочки, были просто счастливы: щебетали, передевались, красовались перед зеркальцами. Мария Николаевна с утра до вечера занималась подгонкой по росту и фигуре полученных даров. Все эти вещи, как оказалось, уже были в употреблении. Но все они чистые, глаженные, добротные. Совсем как новые.

**8 марта.** Ужасные сообщения с фронта. Лозовая, Павлоград, Краматорская оставлены нашими войсками. Сегодня теплый солнечный день, душе бы радоваться... Но немцы рвутся к Сталинграду.

**19 апреля.** Мне поручили сделать доклад о Макаренко. Начала перечитывать книги. С первых же строк он втягивает, вовлекает в диалог, в полемику, заставляя рассуждать, мыслить, делать выводы. Сколько мной наделано ошибок! Что я могу дать ребятам, кроме добрых чувств? Да и они поистратились за последнее время. Между прочим, у Макаренко нет теорий, все ощупью, как и у нас. Помогли ему личные качества, именно те, которых у меня нет. Выводы для себя: дисциплина, не гладить по шерстке. Мама, любящая поговорки, мудрее меня, она часто говорит: «Все, что слишком — плохо». Я слушала в полуха, а теперь вижу, что это для меня. Оказывается, и добро должно быть уравновешено и проконтролировано рассудком. Иначе ребята быстро переходят грань допустимого. Надо уметь сдерживать свои душевные порывы.

**25 апреля.** Завтра Пасха, и сегодня из двадцати пяти ребят в школу не явилось восемнадцать. Потому что грех — ведь завтра праздник. В городе, работая в школе, я никогда не замечала религиозных праздников. А тут прямо священнодействие. Все вымыли полы в избах, помылись в банях, почистились. Хозяйки необычно много варят. В семьях матери сегодня запрещают петь. Между прочим, вчера в Давыдово, когда женщины устроили богомолье, председатель сельсовета и председатель колхоза разогнали молящихся. Считаю это позорным перегибом на местах.

## Из дневника Н. Н. Попченко

*27 апреля 43-го года. Из-за постоянных проблем с дровами я попросилась у Анны Григорьевны, жены Кронида, пустить меня в отдельную комнатушку. Но она отказала, сказав, что у них там овца. Я снова тащила дрова на себе.*

*В воскресенье Мирра сделала на дружине исключительный доклад о Горьком. Как она красиво говорит! Я получила огромное удовольствие. Повар Лида разжалована Ольгой в ночные сторожа за самоуправство на кухне. Лидину дочку перевели в новую группу, где та от большого ума хвасталась хорошей едой у мамы. Все довольны этим решением. Теперь повар — Шура Тютикова.*

*1 мая. Всю неделю делала подарки: вышивала чехлы, подушечки, кисеты для фронтовиков.*

*Утренник у дошколят. Лучший танец у семилетней Эмочки Закревской. Самая младшая группа показала прекрасную, придуманную Марией Степановной композицию «Весна» в двух частях: «Танцы букашек» и «Пробуждение трав». Танцы дошколят поставила Люся Рогова.*

*Первомайское выступление школьников подготовила и провела Мирра.*

*Вечером праздничный ужин для взрослых со сладким пирогом.*

*3 мая. Праздник закончился. Начались трудовые будни. С раннего утра вместе с Миррой илевой копали под картошку дальнюю полосу. Вечером с ребятами поливали огород. Полили двадцать гряд и два парника, потом дополнительно, по распоряжению Ольги, еще десять гряд. Не хватает ведер, ребята поливали из тастика, облились сами. Руки у них замерзли. Ольга сказала: «Пока все не польете, не пойдете ужинать». Дети начали плакать. Тогда Ольга разрешила ужин. После ужина дети согрелись, отошли, болтали и смеялись, а у меня вступили окоченевшие руки.*

*Горячие денечки. Очнуться некогда: все дни на огороде, потом восстанавливаем записи в отрядном журнале. Вчера засыпали ямы под окнами. На обед крошка из хлебного кваса. Обеды стали несытными: на первое — суп-водичка, на второе — кусок пирожка. Продукты кончаются. Мешок муки детдом где-то занял. Сразу после обеда пахали на себе, впряглись в оглоблю по шестеро, а Ольга за плугом. Когда вспахали участок, сменили плуг на борону и снова впряглись. Было очень тяжело. Вечером к ужину заслужили дополнительно по стакану молока.*

**8 июня.** С утра на детдомовском огороде, а с восьми вечера — на коллективном, да еще и на заем ходили подписывать по деревне. Наскребли малость — всего 3600 рублей. Председатель Столяров развалил колхоз — вот у них и нет денег. Уж лучше, впрягшись в плуг, пахать, чем вести по избам эти разговоры!

Июнь выдался горячий. Отряды купались, полдничали, потом устроили игры и веселые аттракционы.

В честь праздника нас, служащих, угостили свежей редиской (по две штуки) и пирогом с черникой. Натянули сетку и в первый раз играли в волейбол. Ольга и Ревекка уехали в Мантурово, Роза Михайловна осталась за директора, а я теперь работаю в отряде за двоих по двенадцать часов подряд.

**9 июня.** Ходили с ребятами полоть горох. Собирали щавель. После ужина сажали брюкву.

**14 июня.** В пять поливали детдомовский огород, а в семь — коллективный. За щавелем переправлялись через Унжу на плосеньких лодочках. Переволновалась за ребят. От непрерывной работы начали опухать ноги — туфли не надеть. А ведь мне только девятнадцать!

### Из дневника М. С. Разумовской

Бегут, летят дни. Вот уже вторая половина мая. Глухой осенью пахнет этот май — резкое похолодание, дожди. Старые, привезенные из города боты вязнут в весенне-осенней грязи.

В колхозе не хватает лошадей, а сеять надо, весна уже на исходе. Лошадей заменили люди. Ужасная картина, когда шесть женщин, грудью навалившись на оглоблю, медленно и надрывно тянут за собой плуг, отваливая сырой бурый пласт земли. Эта картина почище репинских «Бурлаков»! Я, наверное, была не права, сетуя на равнодушие крестьян и сельских учителей к сводкам с фронта. Потаскай-ка такой плуг день, потом поработай на своем огороде, иначе есть детям будет нечего, — не захочешь ни сводок, ни каких-либо других вестей. Тем более что ни газет, ни книг здесь нет. Деревня кормится слухами, и все силы физические и духовные уходят на выживание. Мы для них городские «заковыренные» (эвакуированные) и бездельники. А то, что мы блокадники, — понимают, сочувствуют, особенно детям, в силу своего характера.

*Местные коровы, у кого они есть, дают по пять-шесть литров молока в день. Как-то я сказала нашей хозяйке, что читала в газете, будто на Украине коровы давали по 20 литров. Ответ: «В газете наплести, чего хочешь можно...».*

*Прошел год, войне не видно конца, а мы так же, как и год назад, говорим о ней и о хлебе насущном. Здесь мы далеко не сыты. Конечно, если сравнивать с блокадой, живем, как боги.*

*Утром в детдоме мы получаем манную кашу, шестьсот граммов хлеба, в два часа — обед. Все, что у нас было из вещей, мы уже сменяли на продукты, на мою зарплату прикупаем картошку и иногда овощи, на большее не хватает.*

**31 мая.** *Сегодня получила письма от своих бывших учеников. И в каждом сообщении о чьей-нибудь смерти. Уже нет Левы Ареничева, Пети Ковальского, Юрика Фомичева, Сережи Лапина, Ромы Оркина. Я начала перебирать их фотокарточки и растравила себя окончательно. Какие они все были разные: шумливые и сдержанные, добросовестные и разгильдяи, озорные, веселые мальчишки со своими заботами, привязанностями, планами и хитростями...*

**3 июня.** *Ну вот, и мы познакомились с лошадиной работой — пахали и борошили на себе! Картофельное поле вспахали на лошадях, а огородное, под овощи, пришлось на себе. Вообще огородные работы отнимают много времени и сил. Но коллективно работать легче и приятнее.*

*Я усиленно готовлюсь к выставке, увлеклась, рада, что занято время. Но порой все кажется ненужным, мелким. Сейчас живешь лишь войной и думаешь о войне.*

*На фронте без перемен. Это беспокоит. В Ленинграде в днях была сильная бомбежка. Как болит сердце от этих сведений! На подступах сбито 23 немецких самолета. Скорее бы получить письмо от этого числа.*

**4 июня.** *Сегодня подписывались на военный заем. О подписке в Горький послала телеграмму: «Стопроцентной подпиской на новый заем вместе с Армией Красной врага разобьем, 9375 ленинградцы для армии просят принять!».*

**5 июня.** *Снова пахали и борошили на себе. Как много сил отнимает огород! Днем пашем, а утром к шести часам надо идти поливать. Сейчас я одна. Мама на работе, а Лева пошел по избам подписывать крестьян на военный заем. Плохо это де-*

ло идет здесь. Темень здесь страшная. Война для них — это не кровь, жертвы, потери людей и территорий и жестокая борьба за судьбу родины. Война для них — это хлеб с мякиной, это увеличенные налоги, это пустые и скучные гулянки без парней и утяжелевшийся труд без помощи мужиков.

**16 июня.** В детдоме ЧП! Множество детей чем-то перетравились и теперь лежат с температурой, болями в животе и рвотой. Мы полагаем, что отравление произошло от грибов. Сварили грибной суп два дня тому назад, и несколько ребят сразу почувствовали себя к вечеру плохо. Сразу не сообразили, в чем причина, и на другой день — снова грибной суп. Мой отряд весь лежит. Странно, что другая половина детей и взрослых, тоже евших этот суп, ничего не почувствовала. Все воспитатели мобилизованы на ночные дежурства.

**19 июня.** Вот когда мы воочию убедились, что значит жить в такой дыре, за сорок километров от станции. У нас всё вверх дном! Говорят, что среди грибов оказались мухоморы. Приехали врачи из Мантурово, секретари райкома, прокурор и начальник НКВД. Мы уже потеряли двоих детей. Ужасно! Умереть в Угорах, пережив голодную зиму в Ленинграде и эвакуацию. Умереть от каких-то грибов! Вот уже третий день у нас находятся врачи, и до сих пор точно не установлен источник отравления. Они ведут себя чуть ли не как следователи. Ищут виноватых. Додумались до того, что это может быть диверсия и чуть ли не со стороны самих работников детдома. Паники и слухов много. Идут разговоры, что это было приготовлено и отравлено для армии. По сути, это все ужасно. Дети страдают, количество заболевших растет.

Что будет? Вчера ночью я дежурила в церкви — стоны, крик, стеклянные глаза. А мы, взрослые, мечемся около них, не зная, чем помочь, не зная, как спастись.

**20 июня.** Сегодня с высокой температурой и болями в животе свалилась Эсфирь, которая двое суток не отходила от больных детей. Лежит в церкви вместе с ребятами.

Прилетел самолет из Горького, сел на картофельном поле. Врачиха, пожилая, энергичная, деловая, привезла какую-то сыворотку, моментально сориентировалась, колет всех подряд, отстранила мантуровских, вселила в нас надежду. Как хорошо, что есть такие люди — знающие и сильные!

## Из дневника Н. Н. Попченко

**18 июня.** Ужасный день! Семьдесят детей и двое взрослых отравлены! Два дошколенка в тяжелом состоянии. В моем отряде пять больных. Хуже всех Тамаре Кнурр. Я ее перетащила на руках в церковь. За Фаиной и Алей приехала сестра и увезла их и заодно Шавкета. Сегодня ночью дежурю у больных, а завтра с утра работаю в отряде.

**21 июня.** Ночь с 18-го на 19-е была очень тяжелой. В церкви со всех сторон стоны. Мантуровские врачи — размалеванные бестолковые вертихвостки. В ужин всех детей еще накормили черными сухарями с маслом и простоквашей. Начались жуткие боли. Всю ночь давали грелки, делали компрессы, растирали животы, малюток качали на руках. Сердце надрывалось, когда они тянули ручонки и кричали. Эсфирь, дежурившая вторую ночь, уснула. Татьяна Максимовна тоже.

С утра окучивали картофель, к восьми опять дежурство в церкви. Из взрослых ребят почти никто не пострадал, кроме Ани Кипровской.

Вторая ночь была спокойнее первой. Делали уколы камфарой Нине Крепковой. Очень плохо было моему Толику и Юрочке Кнурр. Я им принесла грелки. В какой-то момент мне показалось, что у Толи нет пульса. Прodeжурила до шести, два часа поспала и пошла в группу.

Вдруг прилетел самолет из Горького с доктором. Эта женщина стала по-деловому лечить всех. Заставила переменить всем больным белье, обследовала в кладовой продукты, допрашивала Николая Васильевича Рогова, сразу потребовала для осмотра детские горшки и через два-три дня поставила детдом на ноги! В благодарность ей — цветы, праздничный ужин и концерт — лучшие выступления из программ прошлых праздников. Ребят уложили — и на собрание с Мантуровским начальством и начальником всех детдомов Горьковской области Левиным. Мнение начальства о детдоме самое хорошее. Воспитание правильное. Хозяйство удовлетворительное. Дети в хорошем состоянии, как дома.

**2 июля.** В свой свободный день пошла за земляникой на косогоры «Отрады» — имения, в котором когда-то жил Фонвизин. От барского дома остался один остов. Крестьяне разобрали дом на

доски, рамы; нетронутым остался только парк. В этом парке детдом дважды устраивал праздники.

Во вторник местный праздник — Тихонов день. Все население перепилось, в урочище местные ребята передрались.

У нас справляли дни рождения Толи и Вовы Павловых. Всю собранную землянику отдала именинникам. Девочки-вожатые подарили им свое печенье.

Третий и четвертый отряды отправились на реку сгребать сено, а второй — в лес по ягоды. Началась гроза с проливным дождем.

Наступила ягодная пора. Каждый день отряды собирают ягоды на общий стол и для дошколят. Одновременно учимся плести корзины из ивовых прутьев. Заготавливаем сено со вторым отрядом на той стороне Унжи. Заодно купались и немного позагорали на нашем пляже. Места там красивые. Кругом поляны белые — ковер из ромашек — красота!

## О. А. Саренок

Лето 43-го года. Мы с Ревеккой поехали в Мантурово за продуктами. Получили там мешок сушеной картошки и впридачу мешок сухих грибов. Лошадей на обратный путь мы не достали, поэтому согласились на предложение погрузить продукты в лодку и плыть по течению Унжи от Мантурова до Угор — это примерно сорок километров. Грести не надо, лодку течение само понесет.

Поплыли. Привезли продукты, сдали на кухню. На другой день повара наварили на обед грибной суп. Все ели, радовались. А ночью половина детдома легла с болями в животе, рвотой и поносами. Это произошло 13 июня 43-го года. Я сразу позвонила в сельсовет в Мантурово. Вызвала помощь: санитарного врача, главного эпидемиолога. Пока врачи добирались мобилизовала всех взрослых для оказания помощи детям. Мучились мы с ними всю ночь и следующий день. Температура у ребят все поднималась. Особенно тяжело было с дошколятами. А врачей из Мантурова нет как нет. Я снова в сельсовет, звонить. А мне говорят:

— Приехали они. Уже вчера. В избе лесника пьют.

Я бегом туда. Открываю дверь, а там дым коромыслом! Две женщины-эпидемиологи, санитарный врач и начальник Мантуровского НКВД Кудреватых пьяные в дымину. На столе полу-



пустой графин со спиртом, который привезли для уколов детям, огурцы, хлеб... Не то чтобы детей лечить — встать от стола не могут, так напились!

Я бегом на почту. Даю телеграмму в Горький: «В детдоме массовое отравление. Прошу срочную помощь. Местной помощи нет. Директор д/д 55/61 Саренок.». Оттуда сразу же прилетел самолет с очень хорошими врачами, которые сразу взялись за дело, — начали всем больным промывать желудки и делать все необходимое.

К сожалению, двух дошколят потеряли. Спасти их не удалось: очень были тяжелые, и помощь опоздала.

Потом меня потянули в суд в Горький. Эти трое из Мантурова, когда протрезвели, чтобы свалить вину на меня, дали показания, что отравление произошло из-за нелуженых котлов. Однако вскрытие желудков погибших детей показало, что смерть наступила от грибного яда.

Суд состоялся 27 августа. Санврачу дали пять лет, Кудреватых сняли, а мне — принудилровка на полгода. Двадцать пять процентов зарплаты.

### **Р. Л. Златогорская**

Кудреватых уже давно обиду на детский дом затаил, и виноницей этой обиды, видимо, была я.

Когда Ольга Александровна уехала за своими детьми в Сибирь, она оставила меня исполняющей обязанности директора. В это время, как на грех, нагрянул начальник Мантуровского НКВД со своей подругой. Они оба были сильно под мухой. Я представилась ему, а он сказал, что хочет посмотреть наших детей и поговорить с ними, на что я ему довольно сухо ответила, что у нас сейчас тихий час, дети спят, и я их будить не намерена.

С тем он и уехал. Потом ко мне подошла медсестра Валя и спросила, как мне понравился начальник НКВД. Я ответила:

— Не понравился. На территории детского дома не должно быть пьяных...

Откуда мне было знать, что Валя в детдоме работает по совместительству, а основная ее должность в ведомстве Кудреватых?

Мои неллицеприятные слова немедленно были переданы в Мантурово и аукнулись Ольге, когда ей потребовался пропуск

с подписью Кудреватых для какой-то деловой поездки. В пропуске он ей отказал, сказав, что ее заместительница распускала про него ложные слухи, будто он пьет. Ольга еще поддала жару, сказав, что ее завуч никогда не врет, после чего разговор о пропуске закончился.

Грибная история потрясла всех. Когда мы с Ольгой Александровной возвращались на лодках, мы не знали и не ведали, что везем в детдом большую беду...

Когда пришла беда, весь коллектив и сама Ольга Александровна вели себя исключительно самоотверженно, не отходя от детей несколько суток.

Может быть, если бы в работу сразу активно и квалифицированно включились мантуровские врачи, двое дошколят тоже бы остались жить. Но эти наглые молодые бабы ночь пьянствовали и день протрезвлялись, а потом уже в их услугах никто не нуждался, потому что за дело взялась доктор Клорина, прилетевшая из Горького, и моментально, ни минуты не теряя, развила бурную деятельность.

Не могу не отметить еще один факт, характеризующий этих местных «врачей». Угорские колхозницы, узнав, что приехали врачи, потянулись к ним со своими болезнями за советами. Им всем отказали: «Прием только в больнице». А Клорина всех приняла, всем дала нужные советы, выписала рецепты, раздала оставшиеся от детей лекарства.

### **Лев Разумовский**

Как-то летом мы устроили «День смеха». На большой зеленой поляне перед церковью собрался весь детдом. Мы предложили потешное соревнование — бег в мешках. Добровольцы влезли в большие мешки из рогожи и по команде бежали наперегонки метров двадцать, до финиша. Ребят охватил азарт. Они очень старались, поэтому часто падали, но вставали и снова бежали. Победителей ждали призы, придуманные самими ребятами. Не помню, кто победил, но смеху было много.

Второй вид соревнований — бег с картофелиной в ложке. Надо было пробежать те же двадцать метров, не выронив картофелину. Соревнующиеся стояли в очереди, каждому хотелось попробовать свои силы. Зрители бурно болели за своих друзей.

Но самый главный потешный аттракцион я оставил напоследок и преподнес его как сюрприз. К нему я стал готовиться за неделю до Дня смеха. Вылепил из папье-маше круглую голову с улыбающимся ртом до ушей и выпученными круглыми глазами. Расписал ее — нос и щеки красные. Голова получилась большая: через отверстие снизу в нее легко проходила моя голова. Дырочки для глаз я не проделал сознательно — так было задумано.

Когда ребята закончили соревнования по бегу, я пригласил двух желающих провести потешный бой. Одному надел на голову маску и дал в руки подушку, другому завязал глаза полотенцем и дал в руки колокольчик. Дальше по моему свистку тот, у кого был колокольчик, должен был убежать от своего противника и время от времени звонить, а другой должен был его догонять, ориентируясь на звук колокольчика, и лупить подушкой.

Эта игра проходила под общий хохот. Партнеры, не видя друг друга, бестолково металась по кругу, натыкались друг на друга, на зрителей, разбегались в стороны. Маска остервенело лупила подушкой, направо и налево, по воздуху и по зрителям, а колокольчик звенел то тут, то там, иногда под самым носом противника. Полный восторг у ребят вызвал момент, когда подушка просвистела в воздухе рядом с головой нашей кастелянши Евгении Борисовны, вовремя шарahnувшейся в сторону.

### **Из дневника М. С. Разумовской**

*24 июня. Пошел уже третий год войны. Самое время открыть второй фронт. Хоть бы превратилась в реальность эта всеобщая мечта. Нашей армии стало бы намного легче. Дни бегут быстро, но почему же время движется так медленно?*

*Веру сняли с отряда, очень жаль. Думаю отвлечься от всего постановкой пьесы Александры Бруштейн «Голубое и розовое».*

*27 июня. Чьи-то козы сожрали капусту на нашем личном участке. Жаль. Хорошо хоть картофельную ботву не едят: есть надежда, что картошку уберезем.*

*Сегодня сидела и мечтала о будущем. Когда-нибудь я снова попаду в Ленинград, увижу Публичку, Эрмитаж.*

*30 июня. К Наде приехал муж, правда, только на сутки. Но и сутки большой подарок после двухлетней разлуки. Он много и интересно рассказывал о войне, мы засыпали его вопросами.*

*Когда закончится война? Почему не выступают союзники? Пустят ли нас в Ленинград?*

*Лева тяготится своей работой пионервожатого. Ну, какой он воспитатель в свои семнадцать лет? Третий отряд — 30 человек, они младше его всего на три-четыре года. На днях он вообще сорвался: его воспитанник дал ему в глаз, а он, не выдержав, дал ему сдачи по зубам.*

*Победа на Белгородском и Орловском направлениях — ура! Сталин сказал: нужны еще три-четыре таких удара, и немцы будут разбиты. Когда же будет нанесен последний удар, и мы глубоко вздохнем на освобожденной нашей Родине? Но он будет. Это время придет. Надо терпеливо работать и ждать.*

*26 июля. Муссолини скинули. Одним фашистским вождем меньше. Отразится ли это на войне? Ускорит ли ее конец?*

#### **Из дневника Н. Н. Попченко**

*8 июля. День рождения Ревекки прошел скромно. Подарили миску земляники. Земляника кончается, зато полно черники. Вчера набрала семь килограммов.*

*13 июля. Ходила в Мантурово — провожала девочек в ремесленное училище. Почти всю дорогу шли пешком. Телега с вещами шла рядом. Девочки выдохлись. На место пришли поздно вечером. Ночевали в школе. Потом канитель с оформлением. Сфотографировались вместе и расстались. Пошла в кино на «Сталинград».*

*26 июля. День рождения Ольги. Торжественная линейка с подарками. Цветы, голубой передник, лукошко черники и четыре банки варенья. Именинница была в белом шелковом американском костюме.*

*2 августа. Ровно год, как мы в Угорах. Итоги для себя: хотя физически приходилось работать, как никогда, но обогатились разнообразным опытом. Начинать учиться будет трудно. Много позабыто, речь засорилась местным диалектом.*

*Успехи на фронте — взяты Орел и Белгород.*

*3 августа. Сегодня «Праздник Урожая или «Ешь сколько хочешь!». Прошел торжественно. Пятому отряду — Красное знамя за хорошую работу, сообщение директора о результатах:*

собрали пшеницы 500 кг, ячменя 230 кг, гороха 400 кг, картофеля 30 тонн, капусты 3.5 тонны.

Потом был праздничный обед, ребята съели по две порции. Потом разыграли литературный монтаж. Появился Урожай в костюме из соломы, пояс из брюквы, на голове — тыква.

Урожай:

— Добрый день! А вот и я! Рад вас видеть всех, друзья! Кто же я — вы угадайте — быстро имя называйте. Ну, кто первый? Соображай! Мое имя...

Ребята:

— УРОЖАЙ!

Потом были песни, танцы, выступления дошколят.

**1 сентября.** Мой отряд пошел в школу, а я провела политинформацию в колхозной бригаде. Женщины ближе всего приняли рассказ о героизме солдат. Но при этом ворчали, что их без хлеба гоняют в поле.

Теребим лен, потом околачиваем его на риге — помощь колхозу.

**5 сентября.** Пришел долгожданный пропуск в Ленинград.

**11 сентября.** Италия капитулировала! Скорей бы немцы пришли к краху, так же, как Наполеон.

Собрались у Люси Роговой на день рождения. Мирра довела всех до коликов в животе от смеха своими рассказами о хозяевах, о поле и о суде, который недавно состоялся в сельсовете.

**16 сентября.** Три картофельных дня. Три дня в мокрых лаптях. Все тело болит. Пришлось перемерить и разделить всю картошку с коллективного участка. Получилось по 15 пудов на человека. Занимались этим с девяти утра до двенадцати ночи. Уже при луне догнала Мирру и в последний раз помогла ей донести до дому мешок с картошкой.

Прощай, Угоры! Уезжаю в Москву учиться.

## Лев Разумовский

Июль закончился событием знаменательным и долгожданным: Шурка-письмоноск принесла мне повестку из Мантуровского райвоенкомата. Я обязан явиться для приписки 2 августа к 9.00.

Только вечером вышел из Угор. До Шулево было светло, хотя и моросил мелкий дождик, а дальше стало темнеть. Скоро уже шел в полной темноте, угадывая белеющую дорогу и минув боль-

шие лужи. Лапти быстро промокли, поэтому на середине дороги, километров за двадцать от Угор, постучался в крайнюю избу, попросился ночевать.

Хозяева открыли не сразу.

— Чего надо?

— Я из Угор. Иду в Мантурово на приписку. Нельзя ли переночевать?

— Кто такой?

— Я из детдома.

Дверь открылась, и меня впустили. В избе было чисто и красиво. На полу лежали домотканые цветные дорожки. Хозяева, худой мужчина лет пятидесяти и его жена, оказались очень добрыми людьми. Позвали к столу, накормили густым гороховым супом. Хлеб, вынутый мной из котомки к столу, велели убрать назад («еще долго пойдешь»), а дали своего.

Стали расспрашивать про детдом, искренне удивлялись, что я «с самого Ленинграда». В тепле, за ужином я разговорился, рассказал о блокаде, бомбежках, голоде, о родителях. Хозяева слушали сочувственно, с большим вниманием. Они ничего не знали о блокаде! Лапти мои поставили сушиться в печурку, а мне постелили на полу.

Рано утром хозяйка разбудила меня и, провожая, сунула мне в котомку пару крутых яиц и две луковицы, а хозяин сказал:

— Буде, паря, еще мимо нас ходить — не проходи мимо!

В райвоенкомат я пришел вовремя, ровно к девяти. Грязное, тесное помещение, суeta шумных парней в очереди к столу, грубость и резкие выкрики служащих военкомата — какой контраст после теплоты и радушия простых крестьян! Всех прибывших на приписку остригли под машинку. До чего же смешной у меня будет вид, когда явлюсь в детдом!

### Из дневника М. С. Разумовской

*6 августа 1943 года. Леву побрили, сейчас он дома и ждет приказа явиться. Сразу как-то повзрослел и возмужал. У меня новости: пока я болела, меня перевели на другую работу — теперь я секретарь директора, короче канцелярская крыса.*

*Еще одна любопытная новость, совсем из другой оперы. Когда уезжали из Ленинграда, я написала «Историю детдома»*

и сдала ее Раскину в Институт усовершенствования учителей. Каково же было мое удивление, когда в журнале «Дошкольное воспитание» я увидела эту мою работу, опубликованную за подписью Раскина! Ну, как тут не вспомнить одну из многочисленных маминых поговорок: «Боже, как велик и разнообразен твой зверинец!» А, да черт с ним.

**8 августа.** Сводки Информбюро очень хорошие! Орел и Белгород наши! Несчастный Орел двадцать два месяца был оккупирован. Наступление продолжается на брянском и харьковском направлениях.

Лева пока дома, но все время ощущаю, что это последние денечки. Пока он по-детски радуется каждой выкопанной картофелине и каждому снятому огурцу с нашего огорода, который он сам же и посадил.

**9 августа.** Наши овладели городом Богодухов под Харьковом. Наступление продолжается. Может быть, скоро войне конец? Но ведь вся Украина, Белоруссия, Крым еще у врага. Не отвлекают меня от тревожных мыслей ни лес, ни ягоды, ни речка. Читаю «Записки Пиквикского клуба». Как бесконечно далека та жизнь!

**13 августа.** Пришло горькое письмо от Лили. Много выпало на ее долю. Хорошо, что с ней папа. Ленинград все время обстреливают и, судя по письму, видимо, очень интенсивно.

**24 августа.** Ура! Харьков наш!

Сегодня получили со своего коллективного огорода наш пай — 700 граммов моркови. Мы не агрономы — это очевидно. Мы сняли урожай по 600 граммов лука на человека. А сажали по 800! Ну и Мичурины же мы!

Газетные новости: союзники провели совещание на высшем уровне. Почему там не было Сталина? Почему из Америки отозвали Литвинова?

Ольгу Александровну вызвали в суд по делу о массовом отравлении грибами. Мне жаль ее, так как она ни в чем не виновата. Более того, во время общей беды она не вылезала из церкви, оказывая помощь больным детям и днем и ночью. Было бы несправедливо обвинять ее.

**27 августа.** Ленинград под непрерывным обстрелом. Несчастный город! Военный госпиталь Лили — объект обстрела. У папы проклятая работа — все время на улице...

*В напряжении ждем звонка из Мантурова. У всех один вопрос — как дела с судом?*

*Вспоминаю первое сентября несколько лет назад. Институт, мечты, юность. Подруги, учеба. Сейчас ощущаю себя очень уставшей, словно за спиной вереница лет. Часто болит сердце.*

*Решили устраивать «наши беседки». Собираться вечерами вместе. От скуки и тоски и это можно.*

*Лева пока дома. Каждый день — это наш вырванный у войны день. Сколько еще таких дней нам осталось?*

**4 сентября.** *Освобожден город Сумы. Английские и канадские войска высадились на территории Италии. Неужели это и есть долгожданный второй фронт?*

*От Ольги пришла телеграмма — «Все в порядке!» Молодцы они, добились своего! Значит, суда не будет. Правда восторжествовала. Будет ли наказан порок?*

**6 сентября.** *У нас оживление — в нашу глушь привезли кинопередвижку. Будут показывать «Боевой киноборник». Пойду и я смотреть.*

*Вечер. Нам показали семь киножурналов. Все очень интересно. Кроме сюжетов жадно смотрела на новые лица — ведь так приелось целый год видеть одних и тех же людей.*

*Наши продолжают наступать. Взяты Константиновка, Конотон, Краматорская. Все это приближает конец войны. Скорее бы!*

**11 сентября.** *Говорят, капитулировала Италия. Скорее бы пришла газета! Эти дни сумасшедшие: копаем картошку, детдомовскую и свою, переезжаем на новую квартиру, и все надо делать сразу, в одно время. Потом, когда закончится уборочная, будет полегче.*

**15 сентября.** *Какие-то безумные дни. Картофельное наводнение, нашествие. Картошка даже снится.*

**20 сентября.** *Наташа Попченко едет в Москву. Ее вызвал институт. Счастливица!*

## **Лев Разумовский**

В августе 43-го в Угорах прошли слухи, что вскоре состоится суд над местной колхозницей, укравшей два ведра семенной ржи. Через несколько дней в нашей столовой появился мужчина, сразу привлечший к себе всеобщее внимание необычным видом



и поведением. Среди женского коллектива детдома несколько раз прошелестело слово «судья». Судья был чисто выбрит, аскетичен и бесстрастен. Черный костюм, отглаженная белая рубашка и черный галстук завершали его портрет. Особенно поразило всех, как он обедал. От радушно предложенных ему супа и каши сразу отказался. Аккуратно подпернув складки на глаженных брюках, присел за стол, раскрыл свой чемоданчик, вынул бутерброды, завернутые в кальку, развернул газету, положил ее на стол и принялся невозмутимо откусывать маленькими кусочками белый хлеб, читать газету и попивать чай из своего термоса. Внимательно наблюдавшая эту сцену наша повариха тетя Шура Тютикова вытерла мокрые руки о передник и, тихо и убежденно сказав: «Этот засудит!», ушла на кухню.

Вечером помещение сельсовета, где должна была состояться выездная сессия суда, было набито битком. Событие было из ряда вон выходящее. Пришли все, кто мог. Духота, шум, многолюдство. Пьяные парни лузгали семечки, тискали девок, те визжали. Над собравшимися висел густой дым крепкого самосада. Кто успел, разместился на лавках и на полу, остальные теснились стоя.

У противоположной стенки стоял стол, накрытый красной материей, на нем графин с водой и граненый стакан.

За столом сидели две незнакомые женщины из Горького, в углу — здоровенный мужик в милицейской форме. Рядом с ним сидела на табуретке худая, испуганно озирающаяся по сторонам женщина лет сорока — подсудимая.

Под этот базар судья встал перед столом и негромким тусклым голосом объявил:

— Судебное заседание выездной сессии Горьковского областного суда считаю открытым.

Первые его слова потонули в шуме. Не повышая голоса и даже не сделав паузы, судья монотонно продолжил:

— Предупреждаю: шум, выкрики и нарушение дисциплины в зале суда, срывающие судебный процесс, приравниваются к хулиганству и дают основание для возбуждения уголовных дел согласно статье № 206 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР.

Слова последней фразы падали как удары молотком по железу в мгновенно наступившей в зале гробовой тишине.

Дальше начался сам суд. Подробности его, к сожалению, за давностью лет уплыли из памяти. Помню только рассказ бригадира о том, как он встретил Прасковью (имя условно), идущую

с колхозного поля с мешком на спине. Заподозрил неладное. Остановил ее. В мешке оказалась рожь. Где взяла? С ответом стала путаться. Завернул ее назад, к полю, и обнаружил, что колхозники, работавшие там, куда-то ушли, бросив два мешка с семенами на краю поля. Один мешок был наполовину пуст.

Помню, как бестолково, сбивчиво оправдывалась обвиняемая, как плакала, утирая слезы и нос платком, как поминала своих голодных детей.

В памяти остались слова приговора, монотонно зачитанного судьей: «На основании статьи... Уголовного кодекса РСФСР... и учитывая... к одному году лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях...»

Год тюрьмы!

Помню еще, что при выходе одна женщина негромко сказала соседке:

— Вот так, Марья! Хлеба дети просили... А нынче без хлеба и без матери...

И испуганно оглянулась на меня.

После суда был объявлен перерыв, и милиционер попросил не расходиться. Половина сельчан ушла, молодежь осталась. Милиционер рассказал, что за последнее время в области появилось много дезертиров, укрывающихся от армии. Они живут в лесах, вооружены, нуждаются в питании и поэтому иногда заходят в дома и забирают продукты, угрожая оружием.

Он призвал нас быть бдительными и немедленно сообщать о подозрительных лицах в сельсовет или прямо в район.

### **Из дневника М. С. Разумовской**

*8 ноября. Вот и праздник миновал. Взят Киев! Мы все целовались! Я всех обегала, чтобы первой прокричать эту радость. Вчера отмечали праздник. Было шумно, весело, много вина. Это последний праздник Левы в Угорах. Дома уже собраны в дорогу все его вещи. Осталось собрать запас еды на несколько дней.*

### **Лев Разумовский**

С утра одиннадцатого ноября началось прощание с детским домом. После школы и обеда ребята моего отряда собрались в столовой. Туда же пришел почти весь четвертый отряд и не-

сколько ребят из второго. Еще ни разу в течение полутора лет я не был в таком центре всеобщего внимания. Взрослые, воспитатели всех отрядов и технические работники, провожали меня добрыми словами, улыбками и напутствиями. Дети же наперебой дарили разные мелочи, нужные и ненужные, обещали писать мне в армию, не забывать и хором пели мне наши детдомовские песни.

Наша повариха тетя Шура Тютикова сама принесла мне суп и щедро отвалила вторую порцию второго:

— Когда еще тебя в армии накормят!

Ребятишки из второго отряда преподнесли кулек с конфетами, накопленными ими за последние несколько завтраков, а на кухне сама Ольга Александровна пекла мне в дорогу пирожки с мясом.

При общем шуме я как-то обмолвился, что для армии у меня есть все, кроме перочинного ножа. Кто-то из ребят сказал:

— Юрка! У тебя же есть ножик. Подари Лева.

— Ну, уж нет, — сказал Юрка и вышел из столовой.

Мы продолжали разговаривать. Я вручил Завену коробочку с акварелью — она верно мне послужила и была больше не нужна. Во взаимных приветствиях и прощаниях прошло еще минут сорок, ребята стали расходиться. Я тоже направился к выходу, надо было еще закончить паковать вещи и еду, которую я брал в дорогу. У двери меня встретил Юрка. Как-то странно избочась и опустив голову, сказал:

— На нож..

Я взял нож, поблагодарил его, внутренне подивившись, чего это он так раздобрился. Он повернулся и быстро вышел, но я успел заметить, что одна щека у него была красной и вроде бы слегка припухшей. Я окликнул его, но он убежал. За дверью промелькнула Сашкина физиономия и сразу же исчезла...

Вечером, когда вещи уже были сложены, в нашей избе собрались самые близкие друзья: Вера и Люся Роговы, Эсфирь, Ревекка Лазаревна, Роза Михайловна с Валею. Мы выпили по чашке чая с конфетами, тепло попрощались. Я надел бушлат, взял котомку, и мы с мамой и Миррой вышли на зимнюю дорогу. Светила луна. На улице шумно. Это угорские матери провожают своих сыновей. Плачут. В отдалении двое саней, на которых свалены сидора уходящих. Я еще раз целую маму и Мирру, мы жмем друг другу руки, и я, бросив свой мешок на воз, вливаюсь в группу полупьяных парней, впервые реально ощутив, что мне теперь жить с ними, а детдом и родные с этой минуты остаются далеко-далеко...

## Из дневника М. С. Разумовской

**12 ноября 1944 года.** Опустели Угоры. Вчера вечером пришли все сотрудники. Тускло горела копилка. Все сидели и пели, а я петь не могла. Потом, когда все ушли, я сбегала в дом напротив, где гуляли призывники. От одного вида этих ребят закружилась голова. В этой среде ему жить...

Наконец, часа в два ночи мы вышли. Была тихая, светлая, снежная ночь. Парни орали пьяными голосами, матери в голос выли, играл баян. Дошли до Коцневской горы — традиционного места расставаний. Уходя, он все оборачивался, группа таяла вдали, наконец, скрылась за поворотом. Слышались только затихающие песни... Теперь надо ждать писем...

**21 ноября.** Пришла телеграмма из Горького о подготовке группы ребят для отправки в ремесленное училище в Ленинград. Все всполошились. Это хороший симптом. Значит, Ленинград становится сравнительно спокойным. Но ведь обстрелы еще не прекратились. Что все это значит?

**23 ноября.** Наши оставили Житомир! Меня словно обухом по голове... Вот несчастье!

Сегодня выдали по 125 граммов сахара. Очень приятно, ведь мы забыли его вкус.

Ольга выгнала Игоря из детдома, приказала сдать лыжи и снять его с питания, чем восстановила против себя весь коллектив. Антонина Лаврентьевна очень переживает эту историю.

Сегодня в школе проходим сложные слова. Задаю вопрос:

— Кто ловит рыбу?

— Рыболов.

— Правильно. Кто мелет муку?

— Мукомол.

— Правильно. Кто печет хлеб?

— Аркашка Громов (местный пекарь) ...

Прохожу поговорки.

— Кто знает какую-нибудь поговорку?

Поднимается рука.

— Говори.

— На сарае наш поросенок съел всю свеклу...

Хохочу вместе с классом.

Все эти дни перед праздником репетирую новогодний монтаж. В нем участвуют ребята из всех отрядов. Самых актив-

ных, способных и артистичных я назначаю на главные роли, другие участвуют в хоровом пении или декламации. Мне нравится их живая реакция на новые стихи и чисто детская особенность — любовь к переодеваниям и к перевоплощениям. С ними я забываю о своих заботах и болячках..

**27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА...** Ленинград салютует двадцатью залпами из трехсот двадцати четырех орудий!!! Наконец-то! Когда ко мне пару дней тому назад ворвалась Вера и звенящим от волнения голосом прокричала о прорыве на Ленинградском фронте и взятии Петергофа, я сразу как-то ослабла от радости. Мы все обнимались и целовались, и даже опостылевшие мне Угоры показались в этот день милее. И все эти дни подряд несся победный поток отобранных у врага знакомых и любимых мест: уже Пушкин, Лигово, Стрельна! Уже Новгород, Красное село, Тосно, Любань!.. Представляю ликование ленинградцев. Как хочется быть там, разделить их радость!

От наших пришла телеграмма: «Ждите вызова». События замечательные. Война, видимо, идет к концу. Теперь я начинаю верить, что через некоторое время увижу папу, Лилю, Гаррика. Из письма узнаю: пленные немцы в Ленинграде убирают снег.

**2 февраля.** Будем праздновать снятие блокады! Готовлю материалы, а пока родилось следующее (на мотив песни из кинофильма «Истребители»):

*Сегодня город наш спокойно дышит,  
Родные ветры веют над Невой,  
Любимый город выстрелов не слышит,  
Любимый город — воин и герой.*

*Когда домой в края свои вернемся  
И радость птицей взмлет над Невой,  
Мы Ленинграду нежно улыбнемся —  
Любимый город — воин и герой!*

**25 февраля.** Пока суд да дело, продолжаю работать в школе. Местные нравы. Одна учительница набрала 22 адреса левых почт и двадцати двум фронтовикам посылает свои карточки. Письма пишу ей я, по ее просьбе. Письма она сшила в тетрадь с надписью «Образцы». Я спросила. Почему такое количество? Ответ:

— А почему я знаю, какой будет мой? Тот или этот?

*Учительница немецкого языка дала классу самостоятельную работу — перевод, а сама ушла за перегородку, легла за русскую печку и оттуда через фанерную стену руководила уроком.*

*В школе говорю, что нужно сделать в тетради поля. Ученик встает и, глядя невинными голубыми глазами, серьезно переспрашивает:*

*— Мирра Самсоновна, делать поля или хоть насрать?*

*Когда угорцам говоришь «Спасибо», они отвечают: «Не на чем».*

*Лева прислал фотокарточку. Он в шинели, зимней шапке и в погонах. Мой брат — красноармеец! Не могу поверить.*

### **Галя Филимонова**

Хозяйка дома, в котором находился изолятор, вместе с другими колхозницами заготавливала в лесу дрова для детдома, и на нее напала медведица. Хозяйку увезли в больницу, охотники пошли в лес искать следы и через три дня вернулись, везя на самодельных санях тушу большой медведицы и трех живых медвежат в мешке. Двух увезли в Мантурово, а одного отдали в детдом. Медвежонок бегал по двору, пугал кур и скулил около вывешенной на плетне шкуры матери. Потом он стал выходить на улицу и забрел к нам в группу, где и остался жить. Как мы радовались, когда у нас появился свой медвежонок! Это было счастливое для нас время! Все его наперебой кормили, гладили, играли с ним. А он привязался к нам и ходил в нашем строю в столовую. Но время шло, и мишка рос быстрее нас. Скоро игры с ним стали опасными. Кроме того, он научился лазить через окно в столовую: по ветке березы добирался до окна, раскачивал ее и прыгал в окошко. Ольга Александровна отправила его с оказией в Мантурово.

### **Из дневника М. С. Разумовской**

*5 марта 1944 года. К восьмому марта написала литературный монтаж «Ленинградке».*

*Тебе, ленинградке, тревоги познавшей,  
Тебе, ленинградке, на крыше стоявшей,  
Тебе, ленинградке, спасающей жизни,  
Работавшей честно на славу отчизны,*

*Тебе, ленинградке, познавшей невзгоды,  
Достойно прошедшей сквозь трудные годы,  
Сегодня привет пионерский мы шлем  
И поздравление с праздничным днем.*

*В этом монтаже стихи чередуются с прозой, после нее звучат песни, написанные мной на популярные мотивы «Если завтра война», «Лейся песня на просторе» и др.*

**2 апреля.** *Взят Очаков. Фронт движется к Одессе, Кишиневу, Тирасполю. Дни стали очень длинные. Я стараюсь занять время: переделываю прочитанные сюжеты из книг на пьесы или сочиняю письма в стихах, которые пишу сразу без черновиков.*

*«...Эти дни я все время с тобой, дорогой и любимый мой брат, потому что в стихах своих роясь, возвращаюсь я душой назад. В эти дни я тебя вспоминала — ведь апрель, а за ним будет май. В прошлый май я тебя поздравляла, вновь стихи ты мои прочитай. Все в порядке у нас. Мы здоровы. Писем ждем от тебя, дорогой. Твое каждое краткое слово нам приносит желанный покой. Сводки радуют: мы в наступленье, отступают фашисты гурьбой, скоро наша земля, без сомненья, наконец-то получит покой. Как живешь ты? Пиши нам, хороший, расскажи о себе, о друзьях, расскажи об учебе, что можно, и о ваших чувашских краях. Спать пойду. Завтра много работы. Я устала за день трудовой. Спи, братишка, без всякой заботы. Будь здоров, невредим, дорогой!».*

**12 апреля.** *Освобождены Одесса и Керчь. В детдоме репетируем к Первому мая бездарную пьесу Водопьянова «Вынужденная посадка». Очевидно, что как летчик он лучше, чем как литератор.*

*По просьбе местных девушек, ведущих переписку с «заглазниками», я пишу им письма. В знак доверия они показывают мне ответные письма. В них феноменальны первые фразы. Например: «Разрешите войти!», «Фронт и тыл едины — будем семьянины!», «Милости просим, и я к вам не прочь!». В одно из писем была вложена записка: «Уважаемый цензур! Если Вы мужчина, прошу вас не вынать вкладыш, в нем нет ничего против вождей или там чего. Это письмо любимой — проверка сообразительности и как забава. Но записку мою изъять».*

**15 мая.** Сегодня работала в поле. Оглянулась и подумала, что уже прошел еще один год. А вокруг ничего не изменилось, и трава такая же на буграх растет. Как-то очень хорошо действуют эти весенние теплые деньки, шелест листвы, шум ветра, голубизна Унжи.

Двое наших сотрудников получили вызовы и пропуска и могут хоть сегодня выезжать в Ленинград.

**26 мая.** Сижу на экзаменах по литературе в девятом классе Шулевецкой школы. Учительница очень важничает. Спросила, где я работаю. Обрадовалась, узнав, что веду пятый класс. Дала тему: «Образ Рахметова» и потом долго и подробно объясняла мне, где описан этот Рахметов и кто он. Я внимательно слушала, ни разу не улыбнувшись. Ученье — свет, а не ученье — тьма...

Вчера видела Сергея, Вериного друга, вернувшегося с фронта. Он показывал трофейные снимки, вынутые из кармана убитого немца. Было очень неприятно держать в руках эти фотографии. Некоторые лица — лица кретинов, другие — породистые, тонкие. Женщины все полные, холеные, хорошо одетые, откормленные, на пальцах — драгоценности. Как ни странно, все брюнетки с пышными прическами. А я представляла немок светлыми — все-таки, арийская раса!

**30 мая.** Сегодня мне всю ночь снились дети, а утром мне сказали, что это к большой радости и удивлению. Вот и не верь снам! Буквально через два часа мне принесли две телеграммы. Одна от Гаррика: «Нахожусь Гатчине», а вторая от папы: «Вызов выслал Левушке вышлем Вовочке целую мама».

То, что Сема оказался мамой, не удивило, так как телеграф уже трижды передавал его имя, как Саня, Соня и Саша. Но что означает это таинственный Вовочка, о котором печется папа, куда и зачем выслан вызов Левушке, находящемуся в армии, и почему не нам? Думала всяко, прикидывала версии. Одна из них: «Вызов выслал, Левушке вышлем очки.» Но и это не удовлетворило. Ясно было только, что телеграф снова что-то переврал. Пошла в школу, закончила прием экзаменов, вернулась домой и, подходя к столу, вдруг ясно и четко прочла: «Вызов выслал. Левушка в ВЫШНЕМ ВОЛОЧКЕ». Давно мы с мамой так не смеялись!

Наконец-то мы дождались! Вызов выслан! Как это замечательно! Наша эвакуация закончилась — впереди встреча!



Девочки выросли. Многие стали заботиться о своей внешности. Появились самодельные бантики на заколках, бусы из рябины, какие-то кружева, ленточки. Серые однообразные детдомовские платья начали украшаться белыми воротничками.

Среди всех дел, которыми мы старались увлечь детей и сделать их жизнь богаче, особое место занимал детский театр. Сначала мы поставили пьесу «Белеет парус одинокий», а в конце 43-го года и другую, более сложную — А Бруштейн «Голубое и розовое». Главную роль — Блюмы — хорошо сыграла Нина Николаева. Роли дети выучивали очень быстро. Их увлекало то, что они начинали жить другой жизнью — жизнью своих героев. Особенно интересной получилась роль Гаврика, которого играла Валя Тихомирова — девочка с явно актерскими данными, ловкая, быстрая, энергичная.

Огромный интерес у ребят вызывало изготовление из подсобных материалов костюмов и декораций. Момент из спектакля — пароход причаливает к утесу. Как сделать утес? Мальчишки нашли на конюшне старую попону, притащили столы, взгромоздили на них стулья. Девочки сшили серые байковые одеяла и покрыли ими высокое сооружение. Утес получился на славу!

Дети сами были и режиссерами и актерами, а воспитатели, активно участвуя в творческом процессе, одновременно учились у детей многому, радуясь находкам и ощущая себя участниками общего праздника.

В подготовке спектаклей трудно переоценить роль Марии Николаевны Роговой. Эта добрая женщина все делала с душой, подбирая цвет платья к цвету волос каждого ребенка индивидуально. В своей бельевой она обсуждала с девочками и с воспитателями фасоны платьев, советовалась с ними, если не нравилось, охотно меняла отделку или другие детали. Ее практическая работа с детьми была тоже своего рода воспитанием.

Увлечение театром не заслоняло от нас других более важных дел — мы постоянно искали родных наших детей, поднимали документы, по метрикам устанавливали место рождения, по адресам посылали запросы. Из разных мест начали приходить ответы, благодарности. Какая была радость, когда у Олега Лукина нашлись бабушка и дед, которые забрали его к себе в деревню!

В апреле 1945 года я уехала в Ленинград. В 46-м году встречала ребят. Выяснилось, что большинство девочек попали в технические ремесленные училища, где их обучали слесарному и столярному делу, к которому душа не лежала. Я поехала в Смольный, объяснила ситуацию, попросила перевести девочек в швейное училище. Инструктор обкома, выслушав меня, ответил кратко:

— Раз направлены, значит, стране так надо.

Однако через два месяца девочек все же перевели в швейный комбинат, где они закончили ПТУ.

Общая атмосфера в детдоме была доброжелательной, серьезных конфликтов между детьми и воспитателями не возникало, если не считать нескольких исключительных случаев. Коллектив воспитателей был дружный! Объединяющую роль играла Ревекка Лазаревна. Все взрывы Ольги Александровны объяснялись ее личными качествами, но основное, характерное для нее — могучая энергия и неустанная забота о детдоме и его обитателях.

#### **Из дневника М. С. Разумовской**

*5 июня 1944 года. Итак, я уже сдала вызов в НКВД. 19-го велено позвонить. Наши мечты становятся реальностью. Лева в районе Пскова — в самом пекле и огне.*

*Нам остается только верить и надеяться. Сюда из Крыма навезли множество татар. Говорят, три тысячи. «Спецпереселенцы». В чем их обвиняют, точно не знаю, но на этих людей спокойно не могу смотреть. Везут их, по слухам, на лесосплав и лесозаготовки. Среди них очень много стариков и калек. Что могут они делать в лесу? Сегодня один менял десять грецких орехов на килограмм картошки.*

*Когда группа ссыльных татар проходила мимо нашего дома, мама стояла на крыльце. Одна женщина остановилась и попросила воды для ребенка. Мама вынесла ей воды в кружке и заодно незаметно сунула кусок хлеба.*

#### **В. Н. Рогова**

Летом 44-го мы с Миррой как-то вышли после обеда из столовой и увидели, как от Ступина поднимается к нам в гору целая

процессия — несколько подвод, рядом с которыми идет большая группа людей, человек тридцать-сорок. Мы остановились в недоумении — что за люди?

— Татар гонят. С Крыма, — объяснила немолодая колхозница, стоявшая у края дороги.

О ссыльных татарах мы уже знали от нашего завхоза и парторга Кронида Васильевича. Со смешанным чувством любопытства и презрения к ссыльным стояли мы, ожидая приближения этих осужденных нашим правительством людей. Раз их выслали, значит, не зря, значит, они сотрудничали с оккупантами, может быть, выдавали немцам наших партизан... О таких предателях много писали газеты, а я не раз читала ребятам во время политинформации выдержки из газет.

Перед горой подводы остановились, с них сошли люди, чтобы лошадям было легче, старики и старухи с детьми, и заковыляли в гору. Остальная группа продолжала идти и скоро поравнялась с нами. Люди шли усталые. Лиц мы не видели, так как они шли, опустив головы, не желая встречаться с нами взглядами. Одеты они были, кто в чем, несли на себе какие-то мешки. Остальная поклажа была на подводах. Только на одной телеге осталась сидеть молодая красивая беременная женщина в цветной шали. Поравнявшись с нами, она не опустила головы, и мы смогли заглянуть в лицо «врага», встретившись с ней взглядами. Ее огромные, глубоко запавшие черные глаза смотрели на нас с такой болью и тоской, что мы не выдержали и отвернулись.

Тоскливая процессия в полном молчании медленно прошептывала мимо нас и повернула за церковью на большак в сторону Мантурова. Потом говорили, что в Мантурове их погрузили в поезд, идущие на север.

### **Из дневника М. С. Разумовской**

*7 июня. Открылся второй фронт! Семь с половиной тысяч вылетов сделали союзники, высадив во Франции войска и технику! Это так здорово! Наконец-то наступило это счастье!*

*9 июня. Сегодня по радио передавали молитву Рузвельта. Слушала с удивлением. Так непривычно слышать по радио слово «Бог».*

*Близится час нашего отъезда. Жаль все-таки расставаться с коллективом, сжились за два года, особенно с семьей Роговых.*

***11 июня.** Сейчас вечер, но солнце еще не село. Блеют овцы, мимо окон в освобожденные районы идет и идет скот. Невдалеке копают целину под огороды. У окон стоят двое — председатель колхоза, пьяный в дым, и председатель сельсовета, пьяный в той же мере. Чертова власть на местах. Эти дни трудно с хлебом. Я теперь получаю в детдоме триста граммов, мамин хлеб не берем, экономим на дорогу, а триста на двоих — ерунда!*

***17 июня.** За эти дни была в Мантурове, свезла три тюка наших вещей. Сколько еще мытарств впереди: вокзал, переезд... Но хоть бы скорее! Напоследок пишу заказанные мне литмонтажи «Лес» и «Река». Ничего не получается — голова забита совсем другим... Решили с мамой выезжать из Угор 20 июня.*

***20 июня.** Дневник вести ни к чему. Лева в опасности. Гаррик в опасности. Мама плачет целые дни. Я замкнулась. Сколько еще может выдержать человеческое сердце?..*

## **Ира Синельникова**

В конце февраля 1943 года пришло письмо от Фаины. Она жила в Казани. В письме был адрес. Меня стали собирать в дорогу. Дали зимнее пальто, валенки и что-то из еды. В Горьком была пересадка, я познакомилась с девушкой, которая также ехала в Казань. Мы приехали поздно вечером, и она взяла меня с собой в общежитие переночевать. Утром я нашла сестру, и мы пошли в баню. К нам подошла женщина, мы разговорились. Узнав, что мы из Ленинграда, она сразу достала хлеб, который выкупила на свою карточку, отдала нам и сказала: «Ленинградцы должны жить как одна семья».

Вот думаю... Сколько за войну я встретила добрых, честных, бескорыстных и душевных людей.

Одна из них Мирра Самсоновна, которая постоянно нам читала вслух художественную литературу и отрывки своих записей о детском доме. Каждый праздник мы разыгрывали написанные ею литературные монтажи. Лучшей учительницы и человека я не встречала.

В 1944 году мы вернулись в Ленинград, и я стала работать на заводе «Большевик» — ныне Обуховский завод.

О Шулёвской школе. Она предопределила мою дальнейшую судьбу. Там началась моя духовная жизнь, мое серьезное приобщение к литературе. Наша учительница Герасимова имела прекрасную домашнюю библиотеку — вся русская классика в старинных изданиях, в переплетах с золотым тиснением. Она заметила мою любовь к чтению и стала мне давать книги — том за томом. Так я прочитала всего Гончарова, Тургенева, Толстого. Вспоминая Шулёво, вижу себя лежащей на топчане с книгой в руках, либо сидящей за столом, где все мы, шулевыцы, в поте лица своего решаем задачи по геометрии...

В Шулёво мы занимали две избы: одну — для мальчиков, другую — для девочек. Жили там прекрасно. Раз в неделю, в выходные ходили в Угоры, летом пешком, зимой на лыжах. Всегда старались попасть к обеду. В Шулёво готовили себе еду сами. Кашеварили в русской печке. Первой научилась ее растапливать Ника Бобровская, у которой всегда все горело в руках. Продукты из детдома получали на неделю вперед. Картошка завозилась заранее, с осени, и хранилась в гоубце<sup>1</sup> при доме. Уроки готовили коллективно. Я всегда была слаба в математике, поэтому жила за счет способностей Ники Бобровской и Вали Козловской. Зато с ухватами у печки, чугунами и горшками справлялась хорошо. Решая задачи, мы до того упаривались у горячей печки, что иногда снимали с себя всю одежду и прямо с крыльца бросались в глубокий сугроб. Тело обжигало. Бежали в дом, вытирались, одевались и снова садились за задачи, которым ни конца ни края не видно было...

Шулёвская школа занимала старинное приземистое здание из черных бревен с железной крышей.

С нами вместе учились сельские ребята. Приходили издалека. Учителя были простые человеческие люди, очень любили детдомовцев.

Когда мы получили американские подарки, то в карманах платьев или кофт обнаружили записки и адреса на английском языке. Мне достался адрес на русском языке: США, Калифорния, г. Ан-тиок, Валентина Суворцева...

---

<sup>1</sup> *Гоубец* — местное название погреба.

У нас завязалась переписка. Выяснилось, что Суровцевы были петербургскими сахарозаводчиками, во время революции бежали в Харбин, а оттуда в США.

Никогда не забуду День Победы. Нам объявили об этом во время урока. Все бросились обниматься, целоваться, от радости плакали. Шутка ли — ведь мы этого дня ждали целых четыре года! Многие плакали не только от радости, но и от горя — ведь война отняла у них родителей или братьев и сестер...

### **Сайма Пелле**

Весной 44-го года я получила из Казахстана письмо от моей тети Хильды. Её с семьёй выслали туда в 38-м году, — всех финнов выселяли из Ленинградской области. Она связала меня с Любовью. Потом переписка наша оборвалась. В 45-м году уже в Ленинграде неожиданно круто изменилась моя судьба. За два дня до поступления в ФЗО на квартире Мани Павловой я случайно встретилась с женщиной, которая стала моей второй матерью.

Ева Евсеевна Смирнова в 41-м году потеряла мужа и осталась совсем одна. Работала она бухгалтером на фабрике «Красная работница». В тот же вечер нашего знакомства она увезла меня к себе домой, потом забрала мои документы из ФЗО, определила в школу и удочерила по закону. Мы с ней дружно прожили 16 лет.

Детдом вспоминаю хорошо. Я всех там любила, и меня все любили.

### **Надя Каштелян**

В детдоме жила хорошо, но мало. В декабре меня вместе с Фридой Рабкиной и Валею Редькиной отослали в ремесленное в Горький, в поселок Канавино. В ремесленном мы работали по 12 часов у станка. После работы ночью чистили картошку. Нам говорили:— Спать будете после войны!

Выучилась я на токаря, стала работать. Ела досыта, но хлеб свой, 800 грамм, продавала, чтобы одеться. Из полученных за хлеб денег брату младшему в Молотов посылала сначала по 200 рублей, а потом по 400. Себе купила платье и туфли.

В Ленинград вернулись в мае 44-го. Фрида Рабкина убежала с завода имени Сталина в Горьком. В Ленинграде ее за это аресто-

вали как дезертира трудового фронта и посадили. Она очень красивая была. После войны раз встретились, расцеловались, а потом она опять пропала.

**О. А. Саренок**

За нашу работу детский дом № 55/61 был дважды награжден грамотами Горьковского облисполкома, а после раздела и перехода в Костромскую область — дважды награжден грамотами Костромского Облисполкома.

В июне 45-го года меня вызвали в Костромской облисполком и назначили начальником эшелона всех детских домов, возвращающихся из области в Ленинград. Состав был из восемнадцати вагонов, в котором ехали семь детдомов.

Возвратились мы в Ленинград в июле 1945 года.

В Угорах остались три отряда дошколят, примерно шестьдесят человек, с местными воспитателями. Директором детдома стал Кронид Васильевич Целиков, бывший наш завхоз.

**Письмо К. В. Целикова О. А. Саренок. 1945 год**

...Детский дом имеет в этом году 100 тысяч рублей прибыли с подсобного хозяйства и в настоящее время по всем показателям занимает первое место в Костромской области.

Ольга Александровна, не думайте, что я здесь горы своротил. Вашего труда здесь больше. Нарботанное в течение трех лет коллективом ленинградцев, трудившихся под вашим руководством, и труд, вложенный лично вами, помогли мне как директору детского дома выйти сейчас на первое место в области. Все, что заложено коллективом ленинградских работников и лично вами, я поддерживаю.

В детском доме почти все то же. Те же порядки и те же хорошие ребята. Сейчас к Новому году закупаю детям подарки. В общем, живем неплохо. О детях не беспокойтесь. Все в порядке.

**Галя Филимонова**

...После отъезда детдома в Ленинград нас, малышей, осталось три отряда. К тому времени у детдома были большие огороды,

свой скот: коровы, овцы, свиньи. Детдом, в отличие от сельчан, постоянно снабжался хлебом.

Места вокруг были сказочные. Леса, поля, широкая Унжа, куда мы ходили купаться и загорать на песчаных плесах. Мы валялись на песке, играли и постоянно жевали сочный шавель, так что казалось, что во рту уже нет кожи. Мы уже знали все травы, чувствовали съедобное, как звери.

Наши шефы — военные — жили недалеко от нас, в деревне у леса. За грибами и ягодами мы шли лесными дорогами мимо голубых полей льна. Проходя мимо военного поселка, били в барабан и трубили в горн. Из казарм выскакивали солдаты, смотрели на нас и смеялись: звучит горн, но это, слава богу, не военная тревога.

Леса наши были дремучие. Один раз встретились с медведем. Побросали все ягоды, закричали, побежали — мы в одну сторону, медведь в другую.

Мы очень любили наших молодых воспитательниц. У Дины Петровны была светлая коса до колен. В лесу на поляне она выпускала косы, и мы забирались под навес ее волос, как в стог душистого сена, а она смеялась, читала нам сказки, и все царевны и королевны казались нам похожими на нее.

Мы любили Унжу. Весной она разливалась синью. По ней шли маленькие пароходики, а мы сидели, свесив ноги с высокого берега.

Весна 45-го года. На Унже прошел ледоход, и она разлилась. В один солнечный и теплый день нас вывели на прогулку к реке, чтобы мы посмотрели разлив. И вдруг кто-то из взрослых прибежал и закричал:

— Война закончилась! Победа!

Мы были еще очень малы, чтобы ощутить радость победы, но на всю жизнь запомнили, как плакали, целовались и обнимались наши воспитательницы. А главное, нам дали в обед по три чайные ложки сахарного песка, и мы сразу почувствовали, что сегодня действительно большой праздник!

Зимой мы, дошколята, не ходили в общую столовую, так как падали, проваливаясь в сугробы или в ямы от лошадиных копыт. Еду приносили в наш бревенчатый дом, который стоял на самом



краю Угор. Дальше были дорога, поле, лес, река. Зимой в полях гудели метели, а по вечерам слышался волчий вой. Летом в теплую погоду на большую лужайку перед домом выносили матрасы, и мы спали на свежем воздухе. Туда же выносили патефон и часто гоняли «Тиритомбу», единственную оставленную нам пластинку, уехавшими старшими.

Ежедневно мы делали зарядку и мылись холодной водой до пояса. Мы это не любили, но медсестра зорко следила за нами: не помоешься — не пойдешь в столовую.

Новый год всегда отмечался как большой праздник. Мы красили бумагу, вырезали из нее флажки, нанизывали на нитки комочки из ваты и подвешивали эти «снежинки» к потолку.

Однажды в обед к нам пришли два заросших мужика с автоматами, поставили наших воспитательниц лицом к печке, заставили поднять руки вверх. Нам приказали сидеть тихо, не реветь. Набрали себе еду из наших котелков и ушли.

Обе наши воспитательницы, местные девушки, очень испугались, а мы хныкали от страха. Потом закрыли двери на засовы, накормили нас и успокоили.

Война только что закончилась, леса наши — глухие, в них было много зверья, и дезертиры тоже водились.

С отъездом старших детей жизнь наша стала намного скучнее. Но летом у нас появлялись гости из Ленинграда. Приезжали воспитатели, — их тянуло в Угоры, где они проработали два года, где было пережито так много.

Летом 1946 года приехал Лева. Целый месяц он для нас рисовал и очень много возился с ребятами как воспитатель. Слепил нам из глины маски волка, медведя, козы и другие, научил нас делать папье-маше и устроил праздник с масками, шуточными играми и еще многими интересными забавами. Уехал он в конце лета, оставив свет в наших сердцах. А мы вспоминали, как плакали наши старшие девочки, когда узнали, что он был тяжело ранен.

### **Валя Козловская**

Вернулся детский дом в Ленинград в июле 1945 года. На Московском вокзале нам устроили торжественную встречу с музыкой. Нас встречали представители Горно и оставшиеся в живых родители немногих детей.

## **Геня Мориц**

После возвращения в Ленинград сразу поступил в ремесленное училище, где получил специальность слесаря. Потом четыре года работал на Кировском заводе, отслужил армию и пошел работать на завод «Кинап», ставший потом объединением ЛОМО. Там я проработал 39 лет слесарем шестого разряда.

## **Лида Филимонова**

Когда мы вернулись в Ленинград, жизнь развела нас по разным дорогам. Мы как бы потеряли свою семью. Только тогда мы по-настоящему поняли, сколько труда вложили в нас наши воспитатели, чтобы мы, сироты, жили полной интересной жизнью.

Я всегда рассказываю родным и детям о нашем замечательном детском доме, о людях, которые окружили нас теплом и заботой.

Мы их никогда не забудем.

Все они останутся в наших сердцах навсегда.

## **Лев Разумовский**

С Сашкой Корниловым я встретился после войны два раза.

Году в 45-ом или 46-ом, когда были еще слишком свежи детдомовские впечатления, когда постоянно будоражили воспоминания о недавнем прошлом, кто-то из ребят сказал мне, что я могу увидеть Сашку в садике напротив кинотеатра «Правда» около Звенигородской, что он бывает там ежедневно.

Я пошел туда, сильно сомневаясь, что встречу его, однако ошибся. Я узнал его сразу среди группы парней, азартно игравших в карты на двух составленных скамейках недалеко от входа. Рядом с ними прямо на земле лежали пачки денег.

Первый же взгляд на этих приклатненных ребят и их ответные взгляды исподлобья с явной враждебностью ко мне, когда я окликнул Сашку, сразу убедили меня в наихудшем — Сашка вернулся в ту среду, из которой в войну его вырвал детдом.

Сашка тоже узнал меня сразу, вскочил на ноги и, что-то крикнув своим дружкам, обнял меня за плечи и быстро вывел из сада. Это был жест защиты меня, одновременно предупреждающий картежников, что он меня знает и в обиду не даст.

Когда мы немного отошли от сада, я сказал:

— Сашка! Что же ты, гад такой, опять попал в блатную кодлу и забыл все, что было у нас в детдоме, мать тебя перемать!

Сашка остановился, посмотрел пристально и спросил тихо и укоризненно:

— Зачем ты матерись, Лева? Или язык общий со мной най-ти хочешь?

Пристыженный, я извинился.

Он широко и радостно улыбнулся и ответил уже без фокусов:

— Вот так-то лучше. Да. Живу интересной жизнью. А ты что хотел? Чтобы я с моей ногой пошел пилать на 80 рубчиков в месяц?

Дальше пошли разговоры о ребятах: кто где, кто учится, кто в ремеслухе, кто в Ленинграде, кто пропал... Незаметно дошли до Международного проспекта, и я потянул Сашку к комиссионному магазину, где в витрине стояли два бронзовых мушкетера, прекрасно вылепленных и прочеканенных неизвестным мне мастером прошлого века. Они были в шляпах с перьями, в камзолах, плащах, ботфортах и со шпагами.

— Смотри, какая красота!

— Тебе они нравятся? — спросил Сашка.

— Еще бы!

— Давай, я тебе их куплю.

— Ты что, с ума сошел? Они же по восемьсот рублей каждый!

Сумма казалась мне неслыханно огромной. К тому времени, после долгого и мучительного оформления документов на инвалидность, я получил вторую группу и пенсию 53 рубля в месяц (через год вторую сняли и заменили на третью — на десятку меньше).

Однако сумма совершенно не смутила Сашку. Он вытащил из кармана штанов пухлую пачку денег, повернул к двери магазина и спокойно сказал:

— Здесь хватит. Пошли.

— Никуда я не пойду. Не дури.

— Лева! — сказал Сашка ласково, — что ты гоношишься? Мне эти деньги легко достались. Завтра еще столько же будет. А тебе — забава.

Я дал ему понять, что если он не спрячет деньги в карман, наш визит к Мирре отменяется. Он покачал головой, запихал деньги назад и замолчал до дома. Обиделся.

Мирра встретила его радостно, обняла, усадила за стол и разговорила. От острых тем Сашка ушел, я их тоже не поднимал, и мы весь вечер проговорили о детдоме.

После этого Сашка исчез.

Прошло два года.

Я был дома. В дверь позвонили. Я открыл. На площадке стоял мужчина с суровым обветренным лицом и прищуренными недобрыми глазами.

— Сашка? — ахнул я. — Заходи!

Он не двинулся с места.

— Дома есть посторонние?

— Никого нет.

— Где Мирра Самсоновна?

— На даче с дочкой.

— Жаль. Но все равно зайду.

Он шагнул ко мне. Мы прошли в мою комнату и проговорили весь вечер. Он только что вышел из тюрьмы. Рассказывал о тюремных нравах, обычаях, отдельных эпизодах тюремной жизни. Рассказывал как всегда образно, ярко, с его особым, корниловским юмором. А я смотрел на него, не переставая удивляться, как он изменился: под яркой речью и шутками скрывались тоска, настороженность, надломленность.

После этого визита он опять исчез. На этот раз навсегда.

## **Нина Иванова**

...Не надо бить в барабаны.

Вся наша жизнь была тяжелой и прошла в жестокой борьбе за существование. Мы с большим трудом сочетали учебу с работой, которая давала нам возможность жить, — поэтому многие из нас остались недоучками.

Будучи по специальности геофизиком, я восемь лет копила деньги, работая уборщицей, мыла полы, чистила уборные, чтобы купить себе жилье.

Мы — поколение, надломленное войной. Рассказ каждого из нас начинается со слов «мама умерла» или «отец погиб на фрон-

те», «Ленинградская блокада». Детдом был как спасательный круг. Потом была жизнь, жестокая и беспощадная, в которой каждый карабкался, как мог, чтобы не утонуть...

\* \* \*

Мы встали, чокнулись, выпили. И снова подняли рюмки за тех, кто не дожил до этого дня, — за Олега, Володю и Лёву Громовых, Лиду Суслову, Валю Спиридонову, Машу Павлову, Полину и Тоню Сусловых, Люсю Балашову, Люсю Чидину, за Игу Ноевну Златогорскую, Татьяну Максимовну и Мирру Самсоновну Разумовских, Зинаиду Сергеевну Якульс, Розу Михайловну Молотникову, Марию Степановну Клименко, Николая Васильевича, Марию Николаевну и Люсю Роговых, Антонину Лаврентьевну Каверкину, Лидию Павловну Галченкову и многих других, по разным причинам исчезнувших, ушедших из нашей жизни...

*Санкт-Петербург. 1996–1997 гг.*

*Дочерям моим посвящаю*

# НАС ВРЕМЯ УЧИЛО...

*(ноябрь 1943 — май 1945)*



## Часть первая

### В ЗАПАСНОМ ПОЛКУ

#### МАНТУРОВО

Мы сидим на заплеванном полу Мантуровского военкомата.

Все время хлопают двери — вдруг входят новые партии призывников и располагаются на полу, положив под голову сидора.

Рядом поют частушки. Мотива почти нет, слова оглушительно выкрикиваются, обрываясь на полуслове, слышен нехитрый перебор гармошки, потом снова многоголосое рывканье.

Нас уже обрили наголо, теперь мы ждем медосмотра, отдыхаем после сорока километров пути из Угор. Кто-то с хрустом жуёт сухарики, вынимая их из большого холщового мешка, дымят самокрутки... Ноябрьская стужа леденит забитые фанерой окна, крепкий запах самосада смешивается с вонью из дощатой загаженной уборной, стоящей во дворе.

— Все призывники вшивые! — споткнувшись о мою ногу, чертыхается дядька, который стриг нас час тому назад.

Я достаю из вещмешка пирог с картошкой, жую и радуюсь своему богатству: у меня десятка два пирогов, испеченных в детдоме, черные квадратные сухари, небольшой кусок масла и мешочек вяленой свеклы вместо сахара.

— Выходи строиться!

Торопливо сую остатки пирога обратно и выбегаю во двор. Призывники выходят, ищут свое место, путаются, бестолково месят лаптями грязный снег. Наконец мы образовываем какое-то подобие строя, кривого и нечеткого.

— Рравнясьсь! Смир-на! — слышен надрывный крик худого мужчины, одетого в короткое штатское пальто, военные брюки и сапоги. Кричит он истошно, и щека у него при этом дергается. Демобилизованный...



— Смир-на!

Перед нами начальство — тучный высокий мужчина с красным грубым лицом — райвоенком майор Краснов. Широкие черные брови высокомерно подняты, губы презрительно поджаты.

На майоре форма с незнакомыми погонами. За ним на некотором отдалении еще трое пестро одетых людей, какая-то смесь военного со штатским.

— Праа-авнение на середину!

Наш командир не говорит, а поет, команда подается протяжно и на самых высоких тонах, торжественность нарушает только не в такт дергающаяся щека.

Высоко задирая негнущиеся ноги, он подшагивает к майору:

— Товарищ районный военный комиссар! Новый набор призывников выстроен!

Майор обводит глазами наш строй. Меня удивляет выражение его лица: я ожидал увидеть внимательный взгляд старого командира, оценивающее приглядывание, может быть, добродушную усмешку — ничего этого нет. На лице его — высокомерие и неприязнь. Может быть, мне это кажется?

— Здравствуйте, товарищи бойцы! — выкрикивает он неожиданно.

Мы отвечаем разноголосо и нестройно.

Ему это не нравится. Он повторяет приветствие-команду. Мы отвечаем еще хуже.

— Сержант! — Наш командир вытягивается перед ним. — Ну-ка, погоняйте их передо мной немного!

Погоняйте? Нет, я не ослышался. Впрочем, он прав, мы должны были лучше ответить ему.

— Нале-во! — слышится команда. — Ша-агом марш!

Мы маршируем. Несколько сот ног в лаптях уминают грязный снег во дворе военкомата. Пестрая масса призывников, одетая во что попало, даже отдаленно не напоминает воинскую часть. Ватники, полупальто, ушанки, кубанки, мешки за плечами, — мы выглядим мешочниками в пути. Единственное, что нас всех объединяет и создает видимость некоей формы, — это лапти. На мне тоже лапти и черный матросский бушлат.

— Подтянуться! Направляющий, короче шаг! — надрывается командир. — Взять ногу! Р-раз-два три, рраз-два-три!

Ничего не помогает. Усталые люди спотыкаются, идут не в ногу, мы растягиваемся по всему двору, мешки болтаются, лапки скрипят.

— На месте! — слышим мы пение командира.

Часть толпы начинает вразнобой топтать ногами на месте, передние уходят вперед.

— На месте! Мать вашу в душу! Направляющий, стой!.. Вашу мать!

Люди останавливаются. Командир в бешенстве матюгается, мы подтягиваемся, выравниваемся, дышим тяжело. Сегодня ночью мы прошли сорок километров. Ноги болят, усталость сковывает мысли и движения.

— Сержант, ко мне! — слышно с середины двора.

Мы видим, как майор отчитывает нашего командира. Поделом ему! Наверно, за ругань... Разве можно так ругаться, когда идет строй, какой пример он подает будущим солдатам? Ведь каждый командир — воспитатель в Красной армии.

Майор подходит к нам.

— Разве так ходят? — обращается он к нам.

Мы молчим.

— Ходить ни ... не умеете! Вот как надо ходить!

Он выбрасывает вперед ногу в начищенном сапоге почти на девяносто градусов и делает таким образом несколько шагов. Весь он как заводная кукла, лицо принимает торжественное выражение. Он явно любит себя.

В наших рядах раздаются смешки.

— Как гусь! — произносит кто-то сзади.

Майор оборачивается. С лица сходит выражение торжественности, оно принимает свое обычное брезгливо-надутое выражение.

— Кто смеялся?

Молчим.

— Кто смеялся в строю, я спрашиваю?

Люди сопят, переминаются с ноги на ногу.

— Сержант! Два часа строевой этим недоноскам!

Следует грязная ругань.

Ничего, — вмешивается один из сопровождающих, — в армии их обломают! Научат жить! Дадут прикурить!

...Вечером, еле волоча ноги, я разыскиваю по адресу, данному мне в Угорах, место, где я могу переночевать. Мне открывает

скрипучую дверь девчонка лет двенадцати, закутанная в серый платок, в валенках на босу ногу.

— Смирновы здесь живут?

— Мы Смирновы.

— Можно у вас переночевать? Я из Угорского детского дома, пришел на призыв.

Девчонка исчезает. Вместо нее появляется мать, худая женщина в платке. Она быстро окидывает меня взглядом, улыбается и открывает дверь.

— Ночуй, милый, ночуй! Мне не жалко. У меня завсегда детдомовские ночуют, изба большая, только холодно, дров нынче мало...

— Ничего, мамаша, спасибо! Где можно лечь?

Она указывает мне место в большой комнате, и я с наслаждением вытягиваюсь на полу. Коптилка на столе выхватывает темную зелень большого фикуса, некрашенный стол, лавки, иконы в углу, рядом с ними в рамке фотографии. Снимаю лапти. Расстилаю бушлат на полу, укладываю удобно мешок под голову. В голове отрывочными кадрами проносятся отдельные события последних лет.

Сентябрь сорок первого. Я вместе с другими мальчишками нашего дома стою на крыше. Вдали горят Бадаевские склады. Густые темные клубы дыма поднимаются из-за горизонта, заходящее солнце окрашивает их в ярко-оранжевый цвет. Мы еще не знаем, что нас ждет.

Ноябрь. Происходит страшное-невероятное. Немцы окружили город и ежедневно, еженощно бомбят его. Под вой сирен, уханье зениток и грохот рвущихся бомб мы — отец, мама, Мирра и я — прячемся на лестничной площадке первого этажа и там, в тоске и тревоге, переживаем очередной налет. С каждым днем все меньше хлеба.

Январь. Заснеженный, вымирающий от голода город. Сил уже не осталось вообще, голод и цинга сделали свое дело. Я уже не выхожу на улицу, а лежу в стылой комнате под тремя одеялами и жду чуда...

Февраль. Мирра везет меня на детских санках в открывшийся на Обводном канале стационар для дистрофиков, и чудо происходит: через месяц я возвращаюсь домой на своих ногах!

Июль сорок второго. Мирра становится воспитателем детского дома и забирает нас с мамой с собой в эвакуацию. Долгий путь через Ладугу, Горький, и, наконец, глухая деревушка Угоры, где нам было суждено провести полтора года вместе с двумя сотнями ленинградских детей, ставших сиротами во время блокады.

И вот последний прощальный день. Утром я попрощался с ребятами и получил множество подарков — ненужных, но трогательных мелочей, а вечером к нам в избу пришли все сотрудники и воспитатели детского дома. В избе было очень тепло от натопленной с утра печи, а еще теплее становилось на душе от добрых слов и напутствий моих старших друзей — Ревекки Лазаревны, Веры и Люси Роговых, Люси Рабинович и Розы Михайловны. Свет керосиновой лампы причудливо выхватывал из полутьмы белую печь с черной топкой, стол, с остатками домашнего угощения, чашки с недопитым чаем, а также добрые и грустные лица моих друзей и знакомых и самые дорогие — мамы и сестры.

Лунная ночь. Снег приятно скрипит под ногами. Мы стоим на дороге около Копцевской горы — традиционного места расставания. Играет гармонь, звучат частушки вперемешку с матерком, парни напоследок тискают девок и отмахиваются от матерей, стоит непрерывный вой и плач провожающих женщин. Не плачет лишь одна моя мама. Она молчит и вглядывается странно и пристально в мое лицо. Мы молчим, потому что уже все сказано...

Кто-то понукает хмурых лошадей, и сани трогаются. На санях наши мешки, поверх мешков развалился Пашка Громов, он тискает кучера — Шурку-письмоноску.

В последний раз я целую маму и Мирру, поворачиваюсь и иду, рядом горланят частушки мои товарищи, угорские парни. Они почти все пьяны, но идут бодро, поют, перебрасываются шутками. Все они почему-то низкорослы и кряжисты. Я иду молча и слышу, как меня кто-то догоняет. Оборачиваюсь. Мирра подбегает ко мне и крепко жмет руку. Вдали стоит мама, одна, маленькая и беззащитная. Она не плачет. Слезы комком подпирают горло. Я вырываю руку и догоняю подводы.

— Ватер во дворе, коли надобно, — говорит хозяйка и тушит копилку.

Темнота.

Гудки паровоза. Шпалы. Уходящие рельсы. Маневрирует маленький паровозик, пыхтя и пуская пар на грязный снег. Как давно я не был на станции, не слышал этого тревожного и сладкого вокзального шума! Только что остановился на минутку пассажирский поезд, из него высыпал народ. Люди бегут с чайниками за кипятком, много военных, на всех погоны. Шинель одного офицера распахивается, и я вижу — ого! Вот это да! На груди несколько орденов! Рядом другой офицер, оба оживлены, розовощеки, выглядят боевыми орлами. Я внутренне отмечаю их выправку, бравый вид и мысленно сравниваю с нами. Странное чувство — мы разнородны и жалки в нашей разношерстной одежке, в наших лаптях и онучах, с огромными сидорами за плечами.

Свисток. Поезд трогается, офицеры на ходу вскакивают на подножку, и скоро поезд становится малозаметной точкой в сходящихся светлых нитках рельс.

— По вагонам!

Мы выстраиваемся в цепочку и идем к товарному вагону кирпичного цвета с большой дверью посередине. Высокая железная скоба вместо подножки ведет в зияющую черноту дверного проема. По пути к вагону мы проходим сквозь строй плачущих женщин. Это мантуровские провожают своих.

— Пиши, Николай, пиши!

— Ох, горе-то!

— Дитятко мое родимое, не для кого мне больше работать! Сложишь ты свою буйную головушку...

— Глянь — этот-то в очках!

— Не наш, видно!

— Детдомовский! С Угор!

Я неловко ставлю ногу в скобу, пытаюсь забраться, нога соскальзывает. Сзади подталкивают. Рывок, я отодвигаюсь по стенке в сторону и натыкаюсь на дощатый настил. Он установлен в два этажа. Нары. Забираюсь в дальний темный угол нар и оттуда выглядываю. Посреди вагона круглая железная печка, мимо нее пробегают незнакомые мне парни, с криком и гиканьем занимают места на нарах, кто-то с грохотом бросает из двери вязанку дров, какой-то парень в ушанке начинает колоть их и пихать в печку, за

стенкой слышен плач и выкрики женщин... Я лежу, крепко прижав к себе черный вещевой мешок, в котором все мое богатство.

- Мишка, подай топор! У кого спички?
- А дрова сырые, едри их в корень!
- Так мы и не допили ту пол-литру!
- Не лезь сюды, тут мы с Колькой заняли!

Эх мантуровская милиция  
хорошая была,  
по нагану отобрала,  
по кинжалику дала!

— Кабы нам тоже хорошие шинеля дали, мы тоже бы, как тот офицер!

- Дадут тебе, держи карман!
- Дадут, да еще поддадут!

Ох, состряпай, мамынька, селяночку,  
в последний раз у вас я ем,  
скоро в армию забреют —  
больше вам не надоем!

Кто-то топает, приплясывает около печки — греется, печка дымит, сырые дрова не разгораются. Длинный парень из Мантурова, посовещавшись со своими дружками, выскакивает из вагона и через несколько минут возвращается, неся на проволоке какую-то черную мочалку. Ее кидают в печь, и пламя сразу вспыхивает ярким цилиндром. Лица выхватываются из полутьмы желтыми пятнами, печка начинает гудеть, в воздухе пахнет дегтем.

Этот световой эффект встречается общим одобрительным ревом. Я даже не могу разобрать отдельных выкриков, кроме «Дашь!», «Тяни ее еще, сейчас погреемся!» — и лихого, веселого мата. И вдруг меня осеняет: это же пакля из буск! Просмоленная пакля кладется в буски как смазка для подшипников, и если ее не будет, то... Это же преступление...

Я вскакиваю с места и начинаю сбивчиво объяснять, на меня с удивлением оглядываются, отмахиваются, как от мухи, кто-то ругается.

— Дать ему раз в рыло, чтоб не совался! — слышу я сзади глуховатый голос. Я резко оборачиваюсь, но не успеваю разгля-

деть говорящего, так как сзади вырывается целый сноп пламени, и я вынужден отскочить в сторону. Раздается хохот. Теперь уже трое бегают за паклей и суют ее поминутно в огонь. Печка раскаляется, дверь теплушки закрывают, становится ощутимо тепло... Парни, рассевшись по нарам, начинают раскрывать свои сидора и закусывать. С удивлением гляжу на их огромные холщовые мешки, они битком набиты сухарями, там пуды сухарей, бутылки с топленным маслом, пряженники... Кто-то достает вяленое мясо, разговоры смолкают. Все жуют, чавкают, хрустят.

Пересчитывая свои пироги, я замечаю, что половина из них пропала. Нет также куска мыла и полотенца, аккуратно уложенного мамой. Утром, торопясь, я не посмотрел в рюкзак, и теперь мне есть чем вспомнить мою мантуровскую хозяйку.

В вагон входит невысокий мужчина в черном пальто и военной ушанке. Это наш сопровождающий от военкомата. Он делает переключку, каждый отвечает: «Я!» Нас в вагоне шестьдесят человек.

Я испытываю какое-то странное удовлетворение от этой официальной процедуры, подсознательно радуясь тому, что с нами есть командир, какое-то официальное лицо. Хоть какая-то крупнца порядка!

Закончив переключку, сопровождающий выходит наружу, и двери с грохотом задвигаются. В вагоне темно. Только печка лущится красновато, и тени бегают по стенам и потолку вагона.

— Эх, фонарь бы!

— С фонарем хорошо!

— И вот с той девкой я отгулял и стал гулять с другой...

— Да ты расскажи, што в Шулеве было...

— А в Шулеве ничего не было. Шли мы с Мантурова, с приписки, значит. На дороге двух девок встретили. Они нас увидали — и бежать. Мы догнали, потащили в волок. Одну я держу, ташшу, а другую Егорка Соколов да Пашка Еремин, да ешшо нас двое было. Они кричат, вырываются, а мы — знай свое — ташшим.

В вагоне становится тихо, все начинают прислушиваться, тема явно всем по душе, вспыхивают огоньки самокруток, тускло освещая лица.

— Ну, в кусты приволокли, платья над головой завязали, а тут как раз бабы по дороге ехали, нас заметили, закричали. Заругались... Ну, раз тако дело, пришлось нам бросить девок да в кусты... Да ходу!

— Так и не успели? — с явным сожалением спрашивает высокий красивый парень в коричневом полушубке.

— Не... только живого мяса и пошшупали! Ну да мне што! Што я, девок не пробовал? А вот Егорке да Пашке обидно: они на первака шли...

— А вот, паря, на гулянке в Макарьеве у нас было дело...

Я напряженно вглядываюсь в рассказчика: смуглый широкоплечий парень говорит неторопливо, весомо, уверенно. Его слушают, затаив дыхание, он сидит на верхних нарах, окруженный группой своих, чувствуется, что он атаман среди них, ему скручивают самокрутку, он небрежно, не глядя, берет ее, извлекает из кармана «кишку», кремь, ударяет несколько раз по кремню кресалом — вата начинает тлеть, он закуривает, тушит «кишку» в гильзе и, сплюнув, продолжает:

— В Макарьеве, паря, мы за одну гулянку четырех девок спортили...

Я не верю ушам своим — как можно о таком говорить вслух, спокойно... И что со мной? Сидит рядом живая сволочь, насильник, негодяй, а я слушаю его, не встаю, не даю ему по морде... надо немедленно вызвать командира, чтобы этого гада взяли и судили... Но почему-то я продолжаю оставаться на месте, парализованный тем, с каким вниманием, интересом и одобрением следит весь вагон за его рассказом! Меня раздирают противоречивые чувства, каждое слово смуглого отпечатывается во мне, но вот начинает говорить другой, третий, и я начинаю понимать, что никто не осуждает, наоборот, — эти рассказы воспринимаются как бравада, они вызывают уважение и поднимают авторитет.

— Она с травы встала, юбку спустила и реветь. А я говорю: «Не плачь, Клава, война всё спишет!»

— Ха-ха!..

— А я вот расскажу...

Резкий крик врывается к нам в окошки вагона, дверь распахивают снаружи, какая-то драка в темноте.

— Мангуровские! Межаки наших бьют! — слышим мы звонкий задыхающийся голос.

Мгновение — и весь вагон приходит в движение. Темные фигуры слетают с нар, расхватывают поленья и выпрыгивают в дверь, в темноту.



Все громче доносятся какое-то топание, выкрики, удары, кто-то закричал надрывно и тонко, что-то тяжелое бьется о стенки вагона, на нарах остались человек десять, напряженно прислушивающиеся к шуму драки, мату, грохоту.

— Сто-ой! — слышу я протяжный крик. — Прекратить! Стрелять буду, сволочи!

Выстрел. Другой. Третий.

В вагон влетают сразу несколько человек и разбегаются по нарам. Вот и остальные вваливаются возбужденной гурьбой, толпятся у печки, размахивают руками. Кто-то держится за голову и стонет. С грохотом летят на пол поленья.

— А межаков-то два вагона!

— Я тому лбу как дам по скуле, он и свалился!

— На меня двое потянули! Хорошо, Гришка выручил!

— Ну, робя, приготовься, межаки так этого не забудут!

— Из вагона по нужде не выйдешь!

— А сопровождающий-то! Вынял наган и палит!

А вот и он. В вагон впрыгивает сопровождающий. В руке его поблескивает наган. Он взбешен.

— А ну, все по нарам, мать вашу в гроб!

Его тон, а также вынутое оружие действуют безотказно: все моментально усаживаются по нарам и оттуда с интересом смотрят на него.

— Вы, робята, что? Ополоумели? — спрашивает он. — Кто драку начал?

— Межаки! — слышится сверху.

— Я вам дам — межаки! Вы ж на фронт едете, чего ж вам драться промежду собой? Еще раз задеретесь, буду стрелять не в воздух! Имею полномочия!

Сунув наган в карман, он выходит. Речь произвела впечатление. Напряжение ослабевает, народ начинает укладываться спать.

Я вспоминаю рассказы о межаках. Рядом с Мантуровским районом лежит район, пересекаемый речкой Межой, отсюда название — «межаки». Межаки не выговаривают букву «з», вместо нее они говорят «ж», и за это их мантуровские дразнят «жмея», «жаража». Мантуровские и межаки испокон веков враждуют между собой. Если мантуровский парень оказывается в Межевском районе на гулянке, его избивают до полусмерти. Если межаку требуется идти по мантуровским селам, он старается днем отсидеться

у кого-нибудь из знакомых и идет ночью. Мантуровцы не выдают девушек замуж в Межу, Межа не отпускает своих в Мантурово. Встреча группы межаков с мантуровскими всегда кончается жестокой дракой, иногда со смертельными случаями. Мантуровские все, конечно, отважные и лихие парни, межаки, напротив, — трусы и гады, не выговаривают «з», ихние девки носят панталоны из мешков, жаражи...

Так что драка не могла не возникнуть, и это не конец: я вижу, как некоторые берут с собой поленья на нары, а Пашка Громов, шепотливой и хулиганистый парень, точит большой складень о камушек.

Я укладываюсь спать на свое место в углу. Под головой вещмешок, из щелей вагона дует, я поднимаю воротник бушлата и опускаю уши у шапки. Теперь тепло. Что там делают сейчас Мирра и мама? Наверно, спят. А может быть, мама не спит и думает обо мне. Интересно было бы рассказать им про сегодняшний день. Когда же поедет? Стоим уже, наверно, около восемнадцати часов. Неужели вокруг меня люди, с которыми мне придется быть вместе все время в армии? Не может быть. Хотя, впрочем?.. Ничего не известно. Спросить не у кого. Печка, наверно, остыла...

Резкий стук в дверь вагона заставляет меня поднять голову.

— Мантуровские! — слышится снаружи чей-то высокий голос. — Не хотели замириться — всех ночью перережем!

## ШАРЬЯ

Равномерный стук под полом и качание вагона заставляют меня проснуться. Ого! Да мы едем!

Дверь растворили немного, и свежий ветер врывается в вагон. Мимо нашего громыхающего вагона плывут костромские леса, кое-где богатые, густые, кое-где чахлые; тянутся унылые ноябрьские поля — иногда под снегом, иногда бурые; пробегают деревни, все однообразно серые и бедные; мелькает будка стрелочника и сам он, с желтым флажком в руке; идут вдоль пути ремонтные рабочие, в основном женщины. И снова поля, покрытые снегом, и снова серые деревеньки и леса, машущие нам ветками...

В вагоне оживление, на короткой остановке кто-то принес ведро снега, и теперь его оттаивают на печке для чая. Снег шипит

и тает, поверхность его быстро опускается в ведро, и скоро только треть ведра мутной воды напоминает о бывшей роскошной белой шапке.

Пашка Громов, Витька, самый длинный парень в вагоне, и Мишка Соколов, вчерашний рассказчик, — встают у дверей. Пашка поднимает щепку и бросает ее в проходящую тетку с мешком за плечами. Щепка попадает тетке по валенку, и раздается дружный хохот. Теперь уже все трое начинают кидаться щепой и поленьями в идущих мимо по насыпи; гогот, улюлюканье, свистки сопровождают каждое удачное попадание...

— Закрой дверь!

— Остудили вагон! — орут с нар.

Дверь задвигается. Начинается еда.

Свет падает из двух маленьких окошек, расположенных по обе стороны двери. Сидящие наверху освещены, сидящие внизу — в полутьме, печка бросает отсветы, телячий вагон трясется и громыхает, слышен гудок паровоза, шестьдесят парней грызут сухари, жуют сало, попивают кипяток из кружек.

— Скоро Шарья будет!

— На базар пойдем!

— На Шарье базар баский!

— Льни-ко кипяточку, паря!

— Эй, ты, в очках! Ты, чай, не угорский?

— Нет. Ленинградский.

Несколько голов поворачиваются ко мне.

— С самого Ленинграду?

— Да.

— Поди, в Ленинграде-то лаптей не носил?

— Нет. У меня ботинки были.

— Ишь ты! Ботинки! Все городские — дармоеды. Наш хлеб едят, а работать — ни-ни. Пушай колхозник работает.

— А очки чего одел? — спрашивает меня крупный бледный парень с покатыми женскими плечами и рыхлым нездоровым лицом, на котором тускло поблескивают маленькие круглые глазки. У него самый большой сидор, в нем, наверно, пуда полтора сухарей. — Чего очки одел? — повторяет он. — Для форсу?

— Нет, не для форсу. Глаза слабые — читал много.

— Читал? — Глаза рыхлого парня становятся чуть больше и вдруг пропадают совсем — передо мной просто мясо. Широкое серое мясо.

— Читал! Ха! — Он силится сказать что-то остроумное и вдруг выпаливает:

— Библиотека!..

— Эй, библиотека, — орет Пашка Громов, — у тебя карты есть?

— Нет.

— Что же ты за паразит такой?

— Сам ты паразит, — говорю я преувеличенно спокойно и медленно. — А карты, если бумаги дашь, могу нарисовать.

Это действует. Ко мне сразу обращаются несколько голосов, тон их дружелюбен. Небольшой плотный парнишка с красивыми глазами приглашает меня наверх на нары, вынимает из котомки вдвое сложенную ученическую тетрадку и, не спеша, бережно выдирает оттуда листы.

Достаю из глубин бушлата огрызки красного и черного карандашей и принимаюсь рисовать карты. Меня окружают. Кто-то наваливается на плечо и дышит в ухо чесноком.

— Глянь! И вправду рисует!

— Даму валяй, чтоб с буферами!

— Быстреей рисуй! Играть охота!

— Да не дави ты на него, мать твою!

Никогда в жизни не рисовал карт. Поэтому тройки, семерки, десятки идут у меня сносно, а вот на первой же даме я спотыкаюсь, хотя добросовестно выполняю заказ на буфера. Начинаю вспоминать, как я в детдоме расписывал стенки сказками Пушкина, и это сразу наводит на верный путь. Там у Царевны Лебеди был роскошный кокошник — рисуем его даме, дальше коса, а одета она была в парчовое платье и телогрейку. Рисуем. Теперь красить. Количество цветов, мягко говоря, ограничено, но ничего — карта будет графичнее, а заказчик у меня невзыскательный.

Переворачиваю карту, рисую зеркальное отражение моей Царевны Лебеди, и вот уже карта готова и идет по рукам. Ее рассматривают, обсуждают, хвалят. Мне приятно. Я хоть в чем-то себя здесь нахожу.

Затем появляется король, похожий на Додона, и валет — вылитый князь Гвидон. Я принимаюсь за очередную карту, но в этот момент поезд резко тормозит, и я чуть не валюсь с нар на головы.

— Шарья! — кричит красивый парень в коричневом полушубке.

— Шарья! Шарья! — все бросают карты и устремляются к двери.

Мой новый знакомый — его зовут Вадим — собирает карты, аккуратно укладывает их между листов тетрадки и прячет ее в котомку.

— Пошли на базар! — Он улыбается и показывает ровные белые зубы.

— Зачем? У меня все есть, а денег мало.

— Так у меня их совсем нет, — отвечает Вадим.

— Зачем же идти на базар? — удивляюсь я.

— Да так! Поглядеть того-сего!

Вадим выпрыгивает из вагона и бежит за остальными.

Большая группа — человек двадцать — подходит к нашему вагону. Среди них выделяются четверо: трое огромных могучих парней, один другого выше и рослее, и невысокий, до невероятия широкий парень в армейской серой шапке, в сером ватнике и с бутылкой водки в руках.

— Межаки, — говорит кто-то приглушенно. С нар спрыгивают, молча теснятся у входа. наших в вагоне осталось тоже человек двадцать, но, видимо, дерзкая уверенность в себе межаков действует на наших подавляюще, я чувствую, что они трусят. Четверо межаков лезут в вагон. Они все пьяны. Остальные полукругом стоят у двери в ожидании.

— Мантуровские! — кричит самый высокий парень и обводит всех смелыми наглыми глазами. — Мы же к вам мириться пришли, паражитов вас в гроб!

— На один фронт едем! — неожиданно высоким голосом вступает широкий.

Он замолкает и смотрит на нас мутным пьяным взглядом. Бутылку с самогоном он держит, как гранату, непонятно, что он сделает в следующее мгновение — приложит ее ко рту или запустит кому-нибудь в голову.

— Ну, верно я грю? — повторяет он. Тон становится угрожающим.

— Верно, паря, верно, — говорит наш долговязый Витька и выходит к печке. Тон его подобострастен, он как-то заискивающе улыбается.

— А верно — так выпьем! — высоко тянет широкий и сует Витьке в рот горлышко.

Витька глотает два раза и закашливается, самогон льется ему за воротник, широкий вырывает у него бутылку, пьет сам и потом изо всех сил бьет бутылкой по печке. Брызги самогона, осколки стекла летят во все стороны, все отшатываются, один осколок больно бьет меня по щеке. Я подношу руку к лицу. На пальце кровь.

— Кто это? — спрашиваю я тихо у соседа.

— Ленька Шабров! — отвечает так же тихо он. — Первый межацкий атаман, не гляди, что мал, а двоих уже зарезал! Сильный — страсть!

Между тем Ленька начинает выплясывать около нашей печки какую-то дикую чечетку, а трое огромных межаков лихо подпевают атаману, пол трясется, мантуровские, неподвижные и тихие, стоят вокруг.

Мы встречаемся взглядом с Ленькой, и он разом останавливается.

— А это кто такой? — спрашивает он и подходит ко мне. — Сопровождающий?

— Не, это с нами, ленинградский.

— Ленинградский? — переспрашивает Ленька, качается и ухватывается за меня, чтобы не упасть. Я чувствую, как он тяжел.

— А почему в очках?

Все смотрят на меня. А я смотрю на Ленькину правую руку, которой он крутит около моего лица, и мучительно вспоминаю, где я видел такую широкую кисть с короткими сильными пальцами, такую толстую грязную кисть, которая может шутя сломать мне руку или выбить глаз? Вспомнил! Зоологический музей в Ленинграде. Кисть гориллы на полированной деревянной дощечке. Только та была чернее и еще толще.

Ленькины глаза усталились на меня пристально и недобро. Его левая рука крепко держит меня за воротник бушлата, а правая продолжает качаться перед моим лицом. Надо что-то отвечать этой горилле. Что?

— Так! — неожиданно выпаливаю я. — Для форсу!

Ленька отпускает меня.

— Для форсу? Ах ты, хезо поросячье, для форсу!.. А он — ласковый! — говорит он своим друзьям и первым вылезает из вагона.

Вся ватага с пеньем, переплясом и гиканьем уходит, оставляя запах самогона и хрустящие под ногами осколки.

— Шо у вас тут? — появляется Пашка Громов, за ним красивый в полушубке, с ним еще десяток наших.

— Межаки приходили! Ленька Шабров сам пожаловал!

— Ну? Били?

— Не. Замирение было. Мириться пришли!

— А я водку с ними пил!

— А ленинградский-то! Не сдрейфил!

— А вы почто сдрейфили? Били бы их, сволочей!

— Тебя дожидались! Поди стыкнись с Ленькой! Он те кишки выпустит!

— А мы вот чего промыслили! — хвастает Пашка и с грохотом высыпает из-за пазухи кучу пшеничных пряженников.

Кто-то вынимает кусок вяленого мяса и начинает тут же его жевать; на нары высыпаются булки, пироги, сухари, один даже под общий смех ставит миску с овсяным киселем, и несколько человек лезут к нему с ложками...

Вагон наполняется. Шум, крики похвальба.

— А я у той тетки — раз! — пряженники — и ходу! Она блажит!

— А мы с Митькой, — задыхаясь от смеха, говорит парень в белой козьей шапке, — у бабы бидон молока поддали! Все молоко на землю! Баба матерится! Митька все лапти в молоке намочил!

Митька действительно снял лапти и сушит онучи у печки. Вагон хохочет. Лапти, полные молока, умиляют всех.

— Весь базар разбежался!

— Будут помнить мантуровцев!

— Да и межаков тожа!

— А старуха-то, та и ныне ревьёт!

Я смотрю на все происходящее с изумлением. Что это? Удаль молодецкая? Грабеж? Все эти молодые парни — из голодных военных деревень, прекрасно знают, какая сейчас цена бидону молока или десятку пирожков, и вот так, за здорово живешь, без всякой к тому нужды — ведь все котомки полны всякой снедью, —

они грабят старух, женщин, вынесших на жалкий шарьинский базар свои несчастные пирожки или сухари, оторванные от голодных детей!

Я не могу поверить своим глазам, меня что-то придавливает.

У нас в детдоме воровство преследовалось жестоко: за каждую ворованную репу или морковку, не говоря уже о казенных простынях и наволочках, обмененных на продукты у крестьян, виновника наказывали, прорабатывали на линейке, изредка лишали обеда, а главное, укравший мальчишка или девчонка становились на долгое время объектом презрения и недоверия. Позорная кличка «вор» стиралась месяцами честного поведения, постоянным контролем, и как были счастливы глаза ребят, когда о ком-то из них, когда-то не чистом на руку, воспитатель говорил убежденно: «Юре Власову можно поручить раздавать сахар. Он не украдет!» А здесь, среди бела дня на моих глазах происходил массовый грабеж! Мало того, этот грабеж идет как веселая потеха, как лихая мужская игра!

— Эй, ленинградский! — прерывает мои мысли знакомый голос сверху, и Вадим наклоняется ко мне, сверкая улыбкой. — Пряженников хошь? — Он протягивает мне два румяных картофельных пирога.

Как, и он тоже? Такой симпатичный парень!

— Нет. Я не хочу, у меня свое есть, — говорю я и отворачиваюсь.

Вадим искренне огорчен.

— Как хошь. Они свежие! — И откусывает половину пряженника. Желтоватое картофельное пюре торчит из серой оболочки пирога.

— Библиотека ворованного не жрет! — объявляет рыхлый парень. — Ей купленного мама подавала!

Раздаются смешки.

Я чувствую, что надо укоротить этого рыхлого парня, так как он наглеет все больше. Я подсакиваю к нему, хватаю его за горло и ору дико:

— Ты, сволочь, еще раз скажешь «библиотека» — вся морда в крови будет!

Он отталкивает меня, и секунду мы стоим друг против друга. Вагон с интересом следит за начинающейся дракой, я чувствую



себя на нервном подъеме, злость за все увиденное кипит во мне, пусть тронет — буду бить в эту серую морду, пока сил хватит!

— Ну, погоди, сука! — говорит он и отходит.

Поезд трогается, снова равномерный стук, снова погромыхи-вает телячий вагон, унося нас в серую снежную даль.

## УЧУСЬ ЖИТЬ

Трудно вспоминать то, что было двадцать — двадцать пять лет назад. События тускнеют, покрываются мутью времени, на них наслаиваются другие, более свежие; однако отдельные эпизоды ярко проступают, они отчетливы и рельефны, как будто были вчера, они отпечатались в памяти твердым чеканом дикого или страшного, и, вероятно, это уже на всю жизнь.

Ночь. Мы едем четвертые сутки. Едем невообразимо медленно. Подолгу стоим на промежуточных станциях, а то и просто в поле, нас то и дело отцепляют и прицепляют, и ставят в тупик.

Жизнь учит меня грубо и жестоко. Я уже не психую и не лезу в драку, когда на каждой остановке человек тридцать срываются громить базар, а только с тоской гляжу, как разбегаются бабы, утаскивая свои нехитрые пожитки, уже не замечаю ежедневных трофеев с базара, жадное, скотское поглощение их, а то и просто игру трофеями. Летят в прохожих из вагона вареная картошка, куски хлеба, кости от мяса...

Два эпизода запоминаются мне. Девочка лет десяти, закутанная в большой серый платок и в больших материнских валенках, останавливается и подбирает кусок сухаря, которым ей залепили по спине, прячет его в рукав какого-то драного полупальтишка и стоит, ждет — может быть, еще бросят?

Двое парней притаскивают в вагон ведро овсяного киселя и сразу же закрывают за собой дверь.

— Бегить бабка за нам! — объясняют они, вынимают ложки и начинают хлебать кисель. Их окружают еще четверо, кисель — это вкусно, ведь мы все время едим всухомятку, иногда размачивая наш рацион кружкой кипятку, нацеженного на станции, а тут — кисель! Целое ведро!

Мне слышен старушечий голос за дверью, жалобный и монотонный.

Слов не разобрать, но ясно, что просит она отдать ведро, просит безнадежно, не надеясь на удачу. Скулит старуха за дверью, с аппетитом чавкают шесть ртов в вагоне.

Через некоторое время раздается властный стук в дверь.

— Открывай!

Мы слышим голос сопровождающего. Ведро быстро убирают под нары, ложки за онучи. Дверь открывается.

— Ведро брали? — строго спрашивает он.

— Не... Како ведро? — тянет смуглый парень, тот, что рассказывал о девках.

— Я говорю — где ведро? — повышает тон сопровождающий. Меня охватывает радость. Сейчас он отнимет у них добычу, а этих сволочей...

— Вот что, робята! — говорит сопровождающий. — Баба-ка шум подняла, может охрану станции вызвать. Вы кисель-то съешьте, а ведро бросьте ей, пусть подавится!

Смуглый берет ведро, открывает двери с другой стороны вагона и выкидывает ведро с остатками киселя под насыпь.

Сопровождающий уходит. Все довольны. За дверями бряканье пустого ведра и удаляющиеся всхлипывания.

Еще одно воспоминание.

Поздно вечером, когда вагон укладывался спать, к нам постучали, а затем в вагон влез пожилой мужик, за ним другой, помоложе, с сундучком, а за ними... толстая девка с косами...

— Дозвольте до Котельнича проехать, робята! — говорит пожилой, пристраивая котомку и располагаясь, но его никто не слушает, появление девчонки в вагоне встречается многоголосым ревом:

— Глянь! Баба!

— Вот это конпот! Вот это товар!

— Ташши ее на нары!

— Ну, робя, вставай в очередь!

— А, мать твою в душу, — грудастая!

— А вон с ей старик!

Я весь холодею, и сердце начинает быстро биться. Я слышу, как уже прыгают с нар, вижу, как испуганно прижалась к старику девчонка, а поезд трогается в эту минуту и набирает ход! Сей-

час произойдет что-то страшное, я не дам тронуть ее, буду биться хоть с половиной вагона, пусть меня избьют, искалечат, не дам! Сколько их вокруг? Шесть? Семь? Пускай! Рука нащупывает полено. Вот сейчас! Сейчас...

И вдруг раздается веселый пропитой голос старика:

— Старик? Кто сказал старик? Старик-то старик, а ...-то стоит! — как-то очень смачно добавляет он, и шутка встречается общим гоготом.

— Вот что, робя! — добавляет он. — Вы мою дочку не троньте, она болящая. А я вам табачку насыплю, самосад у меня хорош!

И как-то неторопливо достает большой, туго набитый кигсет. Руки тянутся к нему, он сыплет каждому, каждому говорит какую-то поговорочку-двусмыслицу, и вот уже напряжение спало, парни, балагурия, понемногу расползаются по нарам, дымят, укладываются.

А старик ведет уже негромкий разговор про армию, спрашивает, куда мы едем, пересыпает матерком, прибаутками. Парни подхихикивают, дымят стариковским самосадам.

Я бросаю ненужное полено. Вот тебе и старик! Одной шуткой повернул все дело, а я-то... полено... Мне бы так уметь!

Я укладываюсь и долго не могу уснуть. Слушаю многоголовый храп. Все предыдущие дни утром и вечером дебатировалась одна и та же тема: как бы затащить бабу в вагон! И все эти дни я нервничаю, когда группа парней отправляется на какой-нибудь станции «на охоту». Я уже примирился с грабежом, мне кажется теперь детской забавой кража пакли из букс, примирился даже с тем, что вчера при мне, может быть, убили обходчика, но примириться с тем, что рядом со мной «сделают», как они говорят, девчонку, я не смогу, никак не смогу.

Старик спит, открыв рот и привалившись к печке. Спит и его молчаливый спутник. Девчонка не спит, а к ней крадется красивый Митька, в коричневом полушубке. Он присаживается к ней на сундук, что-то шепчет ей и обнимает ее за плечи. Она не возражает, не отталкивает его, к моему удивлению. Печка бросает отсветы, они то появляются, красные от огня, то исчезают в темноте. Дочь ли она старику? Может быть, случайная попутчица? Шепот слышен сквозь храп, вот раздался ее смех, вот его. Печка вспыхивает, и я вижу, как Митька лапает девку, а она смеется. Темнота. Ну, черт с ними! Раз она не возражает...

Я укладываюсь поудобнее, опускаю уши шапки, поднимаю воротник. Мысли переносятся назад, к путевому обходчику. Пашка и рыхлый сегодня, как всегда, развлекались у дверей, кидая поленья в проходящих у насыпи. Вдруг Пашка схватил большой кряж и, выглядывая из вагона, стал ждать. Потом ухнул, бросил кряж, и сразу они захлопнули дверь, и попрыгали на нары. Я взглянул в верхнее окно и увидел, как на насыпи раскинулась фигура с желтым флажком. Около головы — кряж. Поезд уходил все дальше, а фигура все лежала на снегу, и рядом темнел кряж.

Кто погиб так бессмысленно от руки скота и хулигана семнадцатого ноября 1943 года, на линии Котельнич — Горький? Никто не знает, да и не узнает никогда.

Почему я не рассказал тогда об этом никому? Почему не поднял шума, не потребовал на первой же станции снять бандитов с эшелона? Почему? Во-первых, теплилась трусливая мыслишка: он не убит, а оглушен. Отлежится — встанет. А главное — слишком много навалилось на меня тогда сразу, чтобы я мог отделить крупное преступление от мелкого, хулиганство от бандитизма. Все вокруг меня казалось каким-то черным сном, который должен скоро кончиться, пройти, исчезнуть... Когда мы приедем на место, начнется регулярная жизнь в Красной армии, настанет порядок, дисциплина, плохое покарается, хорошему воздастся...

И дальше катится телячий вагон, унося с собой шестьдесят судеб, запах махры и дегтя, горящего в печке, разноголосый шум, топот лаптей, нехитрые деревенские частушки и тревожное ожидание будущего.

А пока... Пока идет разгул. Все больше остается за нами разгромленных базаров, опрокинутых бидонов с молоком, пролитых бабьих слез и пьяной похвальбы потом.

Я как-то спросил Вадима — зачем? — и услышал ответ, поразивший меня своей первобытной логикой, чем-то напомнивший мне прочитанное о Золотой Орде:

— Все едино помирать едем, хоть гульнем напоследок!

И гульба идет. Сопровождающий почти не показывается, и я смотрю на него уже совсем иными глазами. Я случайно подглядел, как на днях с ним делились ворованными булками, и он взял! Спокойно засунул одну в рот, две за пазуху и вышел из вагона.

Сегодня утром впервые грабящим был дан отпор. Двое парней из нашего вагона подскочили к женщине и, как обычно, потехи ради, опрокинули ее большой бидон с молоком, — женщина охнула и бросилась его поднимать, остальных баб как ветром сдуло с длинного стола под навесом — импровизированного стационарного базарчика.

И вдруг высокий мужчина в ватнике и сапогах подбежал к нашим и пошел работать!левой, правой, левой, правой! Как у машины, замелькали кулаки! Один из парней упал, второй побежал, но мужчина догнал его, толкнул в спину и лежащего долго охаживал сапогами. Мне слышен был крик, потом я увидел побитого, пробирающегося к эшелону. Руками он закрывал лицо. Из-под пальцев сочилась кровь.

Снова остановка. На этот раз большая — Горький.

Надо пойти набрать кипятку, мы уже седьмые сутки живем всухомятку. Два раза мне удалось купить себе молока, но случайно, так как весь базар, как правило, разбегается, видя идущих с эшелона призывников.

Горький я проезжал уже раз, когда мы ехали с детдомом в Угры. Но я ничего не помню здесь, кроме того, как мы тащили через пути какой-то котел с супом, как уронили его, и треть супа со всем маслом, плававшем сверху, вылилась на шпалы. Сейчас мне тоже приходится лезть под многими составами, я прохожу длинный путь, чтобы выйти на вокзал. Вот и краны, над которыми написано «хол. вода» и «кипяток». Наполняя кружку и с наслаждением пью горячую воду, затем вторую кружку, третью. С четвертой возвращаюсь, ища дорогу к своему эшелону.

Вот один состав позади, другой, вот ветка, на которой стоит наш состав, паровоз гудит, я убыстряю шаг. А может, не наш?

Какой-то шум идет от эшелона, как будто большой барабан бьет гулко и не в такт. Ныряю еще под вагон, вылезая с другой стороны и останавливаюсь.

Дальше идти нельзя. Прямо перед нашим эшелонном стоит товарняк из десятка платформ, груженных ржавым металлоломом. За товарняком стоит еще один эшелон с призывниками, который подъехал за время моего отсутствия.

Несколько десятков парней из чужого эшелона стоят на платформах с ломом и бомбардируют наши вагоны какими-то ржавыми пластинами. Из дверей наших вагонов в них летят поленья.

Ржавые плитки влетают в двери, бьются о дощатую обшивку вагонов, из нового эшелона вырывается ватага, человек в тридцать, на помощь своим, и стук барабана становится чаще. Двери нашего эшелона захлопываются, окна опускаются, победа за вновь прибывшими. Они стоят недалеко от меня, разгоряченные боем, некоторые без шапок, и что-то кричат нашим, держа в руках плитки.

Гудок! Наш эшелон трогается!

Мгновенно соображаю. Для того чтобы догнать его, мне нужно пробежать немного, метров двадцать от вагона, где я укрывался, но эти двадцать метров нужно бежать в открытую.

Поезд медленно удаляется, метр за метром, каждая секунда, проигранная здесь — это метры, проигранные там, в погоне за последним вагоном.

Была не была! Я выливаю ненужный кипяток, запихиваю за пазуху кружку, пулей выскакиваю из-за вагона и бегу по шпалам, подгоняя себя. Вот уже недалеко последний вагон. Я вижу его высокую подножку и нажимаю еще!

Крик. Меня заметили. Обломок ржавой трубы звякает о рельсу за мной. Ходу!

Вот уже и тонкий поручень вагона, хватаюсь за него. Поезд набирает ход. Мелькают платформы с ломом, фигуры, машущие руками; железная плитка брякает об обшивку вагона метрах в двух от меня. Рывок — и я на открытой площадке последнего вагона-теплушки. Сразу перебегаю на другой край площадки — здесь меня не достанут плитки. Вот и все. Я в безопасности. Уплывает назад станция, поезд идет уже бойко.

Прощай, Горький! Мое второе знакомство с тобой запомнится мне лучше первого.

## ВЯЗНИКИ

У меня кончаются все запасы еды, взятой из дома. Никто не думал, что путь окажется таким долгим, и меня снабдили продуктами на неделю. Надо что-то предпринимать.

На первой же остановке в Вязниках я решаю сменить зеленую эмалированную кастрюльку, в которой у меня было мясо, на что-нибудь съедобное.

Узнаю у сопровождающего, сколько простоит эшелон, и получаю ответ:

— А кто его знает... Отлучаться нельзя.

То, что отлучаться нельзя, мне известно, но мне известно также, что мы стоим на маленьких станциях иногда часами, и, дождавшись, когда сопровождающий исчезнет, я отправляюсь в город, так как на станционном базаре ничего не сменяешь — с приходом нашего эшелона он моментально опустел.

Перехожу пути, перелезаю рельсы под двумя составами, минуя платформу, здание вокзала и бегу по заснеженной улице в гору — к домам.

В нескольких одноэтажных бревенчатых домах мне отказывают — моя кастрюлька никому не нужна, но наконец мне везет. Пожилая женщина дает мне за кастрюльку три довольно больших картофельных пирожка с луком.

Заворачиваю их в тряпку и кладу за пазуху, они еще теплые. Бегом поворачиваю назад, к эшелону, чем черт не шутит, на мое несчастье, может как раз сегодня уйти сразу!

Платформа. Стоят товарняки, которые закрывают собой наш эшелон. Подлезаю под один, потом под другой...

Где же наш?

Светлые рельсы убегают вдаль и сходятся там в одной точке.

Эшелона нет.

В полной растерянности стою на шпалах, потом срываюсь с места, опять пролезаю под составами и дую по платформе к высокому переходному мосту над путями — может быть, эшелон не ушел, а его просто перевели на другой путь.

Одним духом взлетаю по лестницу и носом к носу сталкиваюсь с Вадимом.

— И ты тоже!

— И я!

— А эшелон-то где?

— Да, видно, ушел, паря!

— Вот так номер! Что ж теперь делать будем?

Вадим разводит руками, он растерян так же, как и я.

— Знаешь что — пошли к начальнику станции.

— Во — это ты ладно придумал, паря!

Вадим веселеет и улыбается. Улыбка у него хорошая — во весь рот, зубы белые, сам он открытый и приветливый. Хорошо, что отстал именно он, самый симпатичный из вагона.

Мы находим начальника станции. Пожилой усталый железнодорожник в красной шапке посылает нас к военному коменданту. Мы проходим небольшой, битком набитый людьми зал и стучимся в дверь с надписью «Военная комендатура». Не получаем ответа. Нажимаем на дверь и оказываемся в небольшой душной комнатке.

На стене висят портрет Сталина и карта фронта. У стола коменданта, который, несмотря на жару, сидит в шапке-ушанке, стоят три человека и о чем-то с ним спорят. Столбом стоит табачный дым. На нас никто не обращает внимания. Мы долго переминаемся у дверей, потом я решаюсь обратиться:

— Товарищ комендант!

Ушанка поворачивается ко мне. Комендант небрит, на гимнастерке оторвана пуговица, и сквозь прореху сереет нижняя рубашка.

— Ну, чего еще? Кто такой? Почему вошел без разрешения! Марш отсюда!

— Товарищ комендант! — стараюсь говорить спокойно и с достоинством, наверное, это выглядит смешно. — Вы не кричите на меня. Мы стучали, но нам не ответили. Мы призывники. Отстали от своего эшелона.

В комнате становится тихо. Присутствующие оборачиваются к нам, а комендант, опираясь на кулаки, привстает над столом и, сверля меня взглядом, вдруг понижает голос до зловещего полупшепота:

— Дезертировать хотите, мать вашу?..

Вся кровь бросается мне в лицо.

Дезертировать! Да как он смеет! Кому говорит! Да я последние месяцы в детдоме только и жил тем, что скоро в армию, скоро на фронт! Да если бы он знал меня! Я же комсомолец! Я же... Я теряю дар речи.

— Да кабы мы дезертиры были, неужто сюда бы пришли, — слышу я от дверей спокойный Вадимов голос, — мы б тогда по домам...

Вот молодец — нашел слова! И без высоких материй.



Комендант еще некоторое время рычит на нас, пугает трибуналом, штрафной ротой, но вскоре до него доходит, что лаеется он зря, и он велит нам сесть в пассажирский поезд, который идет через час в Ковров, и догнать свой эшелон.

Мы выходим, а я все не могу успокоиться — «дезертир»!

Вадим же весел и беспечен и тянет меня в другой зал — поглядеть на немцев.

— Немцев? Каких немцев?

— Пошли — сам увидишь!

В углу второго зала на полу расположились десятка два солдата. Разговаривают они между собой по-немецки.

Вокруг них молчаливая толпа баб с мешками, ребятишек, какой-то старик с костылем в упор рассматривает их, и мы с Вадимом не отрываем от них глаз.

Живые немцы! Откуда? Кто такие? Почему в нашей форме? Куда едут? Почему здесь? Вопросы, десятки вопросов прыгают мячиками в толпе, рождают ответы, версии, порой нелепые, порой похожие на истину.

Одна из версий — пленные, перешедшие на нашу сторону и теперь едущие на фронт.

Другая — немцы Поволжья, специальная часть.

Никогда не видел немцев, но все, что связано с этим словом, рождает злобу, ненависть и отвращение.

А вот эти — люди как люди, мирные, обычные... Сидят, курят, едят из белых чистых эмалированных мисок, несколько человек спят на полу. Впрочем, нет, отличаются, — какой-то удивительной в этом зале опрятностью. Она в мелочах — аккуратные скатки, сверкают белой эмалью миски, все солдаты чисто выбриты.

На станционных часах без четверти шесть. Засмотрелись мы на немцев, чуть поезд не прозевали! Мчимся искать пассажирский. Залезаем в вагон и потрясаемся комфортом: деревянные крашенные скамьи, электричество. Поезд трогается, и мы еще раз удивляемся — как плавно и почти бесшумно он идет! Разве можно сравнить с лязгом и грохотом нашей дребезжащей теплушки? Живут же люди — каждый день в таких поездах катаются!

Однако наши соседи — рабочий люд, едущий в Ковров на работу во вторую смену, — видимо, не замечают своего благополучия. Лица их сосредоточенны и хмуры, многие спят сидя.

Ковров.

Выскакиваем из вагона и в темноте с трудом находим наш эшелон.

У вагона сопровождающий встречает нас руганью, но мы, не обращая на него внимания, залезаем в свой вагон.

Нахожу свой темный угол и с радостью растягиваюсь на досках. Мой угол, родной.

## ФОНАРЬ

— Эх, кабы фонарь! — который раз вздыхает Пашка Громов.

Фонарь — мечта всего вагона. С половины дня в вагоне темнота, нельзя играть в карты, двери не откроешь — ноябрьская стужа мгновенно выдувает все тепло, и печку нужно снова долго калить, а дров, хотя мы их тащим отовсюду, и на топку и на «забавы» не хватает. В вагоне холодно, грязно и темно. Мы уже седьмые сутки не моемся, мыться негде, воды нет. Снегом не умоешься, да и весь снег вокруг путей загажен. Я вспоминаю, как Мирра настаивала, чтобы я положил в котомку зубную щетку... Этой ночью я спал около печки на дровах. Там теплее. Утром подумал — оказывается, можно хорошо спать на дровах. Сказали бы раньше — не поверил. Только все лицо оказалось в золе. Оттер снегом и платком. Платок стал черным. Ну и черт с ним! Опять стоим. Кто-то лает одежду, кто-то спит, слышен хруст разгрызаемых сухарей, в углу вагона ссорятся-ругаются.

Я топлю печку. Мне нравится смотреть на пламя, нравится чувствовать, как жарится кожа на лице, видеть, как исчезают черные поленья в гудящей красноте. Печка — друг, верный и единственный здесь, я могу часами сидеть, согнувшись пополам около нее, подкидывая поленья, глядя в огонь и уходя мыслями далеко-далеко. Мы вдвоем с ней отлично понимаем друг друга. Я кормлю ее, она меня греет, она молчит, и я молчу, а ровное гудение пламени, вспышки и затухания располагают к раздумью.

В вагон влетают Пашка, длинный Витька и смуглый атаман из Шулева. Дверь моментально захлопывается с треском. В руках у них фонарь «летучая мышь», на рожах торжествующее выражение.

— Фонарь! — ахает вагон.

— Тихо! — шипит Пашка, и они прислушиваются к чему-то за стеной. Мы тоже. Тишина. Только тоскливые гудки где-то вдалеке.

— Зажигай!

К фонарю подносят лучину, и свет, тусклый, желтый от дрожащего фитилька, но свет, разливается по вагону.

Общая бурная радость. Топот. Откуда-то появляется бутылка, ее торжественно распивают в центре вагона.

Начинается пляс. Пляшет коричневый полушубок, высоко скидывая брови-стрелы. Пляшет длинный Витька. Морда у него вытянутая, а подбородок безвольный. Пляшет, сверкая зубами и хлеща себя по онучам, мой Вадим.

Пашка заводит одну из угорских частушек, и вагон подхватывает припев.

— Эх, по деревне шла и пела, — нагибаясь от натуги, орет Пашка.

Пауза, выдох.

— Девка здоровенная... — рывкает вагон, а затем быстро, с перебором, вместе: — Жопой за угол задела, заревела, бедная!

— Заревела, бедная, — вторят снова, уже медленно, здоровые глотки, и без перерыва, сразу, начинает запевку другой частушки Пашка: — Из тюремного окошка посмотрю на Вологду... — Пауза. Танцоры останавливаются.

— Посмотрю на Вологду! — оглушительно, чеканя слова, и сразу же мелким бесом, задорно и неразборчиво: — Приняси, залетка, хлеба, помираю с голоду!

Стук лаптей, все новые танцоры вступают в круг.

Еще ни разу не было такого веселья в вагоне!

А из нагана дали выстрел...  
Эх, по реке пошел туман,  
Што ты голову повесил,  
Наш веселый атаман?

Гремит вагон, шумит, стучит пол под ногами, светит фонарь над нами.

Пашке все мало. Он придумывает дурить по-другому и, смастерив из двух лучинок крест, поднимает его, вышагивает по кругу и, подражая где-то слышанному, поет:

— Иже еси, хосподи на небеси...

Хохот, крики, за Пашкой пристраиваются еще трое и шагают за ним по кругу, голоса:

— Иже еси, мать твою ети...

Сильный стук, чем-то тяжелым справа в двери. Громкий собачий лай. Повелительный голос:

— Открывай!

И тишина...

Смуглый прыгает к фонарю, срывает его с крючка, дует на огонь и кидает под нары. Пашка перехватывает фонарь, и они устремляются к противоположной двери, чтобы выбросить его с другой стороны. Лихорадочно отдергивается задвижка, отворяются двери... и оба отскакивают назад, роняя фонарь на пол.

В вагон с лаем вскакивает огромная немецкая овчарка, двери распахиваются широко. Три фонаря освещают нас, и я вижу в дверях семь или восемь рослых солдат в форме НКВД, с винтовками. У двоих в руках топоры, видимо, для того, чтобы взломать двери, если потребуется. Секунда — и они в вагоне. Офицер с трудом сдерживает рвущуюся овчарку, потом передает поводок одному из солдат.

— Кто фонарь отнимал? — спрашивает он, обернувшись назад, и из-за его спины появляется немолодая заплаканная женщина в железнодорожной форме. У нее усталое лицо, на щеках пятна.

— Вот этот, — сразу указывает она на Пашку.

— Ах, вот этот! — тянет, как бы удивляясь, офицер и вдруг резким ударом в поддыхало валит Пашку с ног. Тот, задыхаясь, глотает воздух ртом и сипит где-то внизу.

— И вот этот длинный, — показывает железнодорожница на Витьку, который обалдело смотрит на происходящее. Рот у него открыт, глаза мигают.

Витьку бьют сразу двое солдат. Один в лицо, другой в живот ногой. Овчарка отчаянно рвется на нас, оскалая пасть и задыхаясь от рычания. Витьку хватают, закручивают руки, а он ревет тонко и жалобно, слезы обильно текут у него по лицу, и дико видеть, как такой громадный парень превращается в мгновение в ребенка и зовет мамыньку.

— Кто еще?

Железнодорожница оглядывается. Мы стоим все тесным кругом, а фонари освещают наши лица, и за светом фонаря бежит испытующий взгляд женщины.

— Не вижу я его, — растерянно говорит она, — но вагон я точно заметила. Сюда побегли...

— А ну, Ефремов, свети сюда, — командует офицер и поднимается на нары.

— Эй, ты, морда! Проснись! А ну, лезь отсюда!

С нар появляется атаман. Он трет глаза кулаками и жмурится от яркого света фонарей.

— Поспать не дают! Чего надо-та?

— Может, этот? — спрашивает офицер.

— Этот! — кричит железнодорожница. — Этот главный бандюга и есть. Он меня сзади обхватил лапищами, рот зажал да приподнял, а эти двое фонарь вырывать — и деру!

Раз! — хлестко раздается в вагоне. Раз! — мотается голова у атамана, изо рта течет черная струя. Двое держат его, офицер бьет, атаман молчит.

— Все, что ли? — кричит офицер. У него молодое и острое лицо.

— Пошли! Этих — взять! А вы, сволочи, запомните!

Витьку, Пашку и атамана уводят. Стук закрывающейся двери. Тишина. Темнота.

— Вот-те и беседки с фонарем, — говорит кто-то.

Мы лезем на свои места. Я укладываюсь и слышу, как Вадим убежденно говорит:

— А все отчего? Оттого, что молились с матюгами!

## МУРОМ

Уже темнеет, когда поезд останавливается на какой-то станции и нам приказывают выходить из вагонов.

— Всем?

— Всем, всем! Выходи, приехали! Муром...

Наконец-то! Весело вываливаемся из вагонов, утаптываем грязный снег у колес.

— Стройся!

Вот и конец странствиям! Начинается армия. Наконец-то будет порядок и дисциплина. И вообще начнется жизнь!

— Шагом марш!

Наш сопровождающий остается у вагонов, а команду принимает на себя незнакомый лейтенант в серой шинели. Золотые погоны непривычно блестят на плечах.

Мы минуем несколько кварталов каменных двухэтажных домов. Проходим площадь и останавливаемся у серого здания.

Пропускной пункт. Открываются ворота, и нас заводят в большое полутемное помещение, какой-то узкий зал на первом этаже.

Шум, гам, выкрики сразу оглушают нас.

Вдоль стен расположены высокие трехэтажные нары — они битком набиты людьми. Плоские лица торчат в полутьме бледными гроздьями из темных четырехугольных проемов нар.

Куда же нас? Здесь же все занято.,.

Мы проходим до конца зала и садимся на пол, теснясь друг к другу, а в помещение входят новые группы. Пришедшие втискиваются, уплотняются вслед за нами. Скоро весь проход уже забит, людской поток все не кончается.

Наконец дверь закрывают. Можно осмотреться.

Со всех сторон нас разглядывают люди, лежащие на нарах. Слышна украинская речь. В одном углу начинается драка — наш парень недоглядел свой сидор, и его утянули на нижние нары.

Украинцы просят у наших табаку, хлеба, сухарика. Наши отругиваются, ближе придвигая к себе мешки. Мне опасаться нечего, мой небольшой черный вещмешок пуст и не привлекает ничего внимания, но объемистые мешки моих совагонников, как магнитом, тянут обитателей нар.

Мы в распределительной роте. Здесь формируют отдельные соединения, сюда приходят «покупатели» — офицеры из различных частей и родов войск — и набирают себе людей. Распредрота — как бы полуфабрикат, сырье армии, пересыльный пункт, своеобразная мешалка человеческих судеб.

Постепенно мы рассасываемся по помещению и занимаем освободившиеся места на нарах. Все перемешались, рядом со мной ни одного знакомого лица, стоит табачный дым, тускло светит лампочка. Внизу начинают петь украинскую песню. Песня мне незнакома, но поют красиво — на два голоса, мелодично.

Вот и кончился путь из Мантурова. Начинается новый этап. Уложив удобнее вещмешок под голову, засыпаю.

Ночью вся распредрота просыпается от дикого крика. Человеческие тени рядом со мной лезут на шум к краю нар. Я тоже перегибаюсь через дощатый край и вижу в полутьме две бегающие фигуры.

Рослый детина в форме гоняется за шупленьким парнишкой и бьет его, выкрикивая ругательства, а тот, закрыв голову руками, мечется от него в разные стороны и кричит что-то, плачет.

Сквозь поднявшийся общий гул различаю — парень кричит, что не брал никаких часов, а детина, изрыгая десятиэтажный мат, требует часы и бьет его, бьет наотмашь, непрерывно и жестоко.

С воем тот увертывается и выбегает в дверь. Преследователь вырывается за ним, за дверью слышен крик часового, потом звуки затихают, но начинается перебранка и грохот в помещении.

Оказывается, что наши парни, устроившиеся на верхних нарах, положили свои мешки под головы и заснули, а украинцы снизу, в промежутке между стеной и нарами, прорезали бритвами несколько мешков и вытащили оттуда почти все содержимое.

Драка. Вопли. Стук падающих тел. Мелькающие тени. Ругань. Хрип... Часовой подает тревогу.

В зал врываются вооруженные винтовками солдаты и пускают в ход приклады. Какой-то офицер долго матерится. Я уже не удивляюсь этому, — наверное, мат — нормальная форма обращения в армии. А как же по-другому с таким народом?..

Остаток ночи мне не спится.

Нас выводят завтракать. Ура! Первый завтрак в армии! Интересно, чем же накормят? До чего же хочется горячего!

Столовая. Ряды грязно-серых столов. Серые скамьи. Нас заводят и усаживают по команде за столы.

Можно вынуть ложку из кармана и ждать. Дежурные солдаты в форме кидают на каждый стол по буханке. Хлеб разрезают на восемь паек, все сидящие за столом внимательно и неотрывно смотрят за режущим. Одна горбушка оказывается толще других, и к ней сразу протягивается несколько рук. Мгновенная стычка, брань, пайки расхватывают, я медленно забираю последнюю. Неужели так — всегда? Дежурные бухают на стол железный бачок с супом и груды серых мисок, после чего начинается главное — раздача супа. Сначала разливается жижа, потом считаются картофелины на дне и раздаются всем поровну. Небольшой кусочек мяса руками выкладывается на стол и режется перочинным ножом на восемь сантиметровых кусочков.

Беру миску в руки — она вызывает омерзение. Сделана она из жести консервных банок, грубо спаяна, неровные края царапают руки, вся она липкая и мокрая. Не моют посуду здесь, что ли?

Вынимаю из кармана носовой платок и, хотя он далеко не первой свежести, тщательно вытираю им миску. Что такое? На меня смотрит весь стол. Кто-то усмехается, кто-то презрительно бросает: «Тилигент!»

До меня доходит: что-то я делаю не так, нельзя быть белой вороной... Подставляю свою миску для супа. От мяса отказываюсь — стол был ужасный, и рук здесь никто не моет.

С первой же ложкой я раскусываю какую-то гадость и выплевываю гнилую картофелину на стол. К ней немедленно протягивается рука, и худой солдат с большим родимым пятном на щеке отправляет ее себе в рот.

Смотрю на него с изумлением и жалостью, а потом не выдерживаю и спрашиваю:

— Слушай, ты откуда?

— Да з Полтавы...

Ну что же, тогда понятно.

— Это ты в оккупации так похудел?

— Ни. В оккупации я хорошо жил. То я в червонной армии так дойшов. Ужо три мисяця кантуюсь...

До меня не сразу доходит, что червонная армия — это Красная армия, а потом — как обухом по голове!

Что это? При немцах ему, видите ли, было хорошо, а в Красной армии плохо? Предатель или провокатор?

Смотрю на него во все глаза, а он быстро доедает свой суп и, видя, что я бросил ложку, спрашивает:

— Может, дасьшь мне супчику?

Нет. Лучше я вылью, чем дам такому гаду... Но вообще-то он такой с виду простодушный и жалкий... И потом, если здесь всегда так кормят... Нет, не может быть! Это же еще не армия, а распределитель какой-то. Вот в армии, в постоянной части, где нас будут обучать, — там будет все по-другому, и еда будет настоящая. Ведь мы же армия, нас обязаны хорошо кормить — «Все для фронта, все для победы!»

А парень, наверное, провокатор...



## КУРСАНТСКАЯ РОТА

После трехдневного пребывания в Муромском распреде нас перемешивают, составляют новые списки и объявляют, что мы остаемся в Муроме в курсантской роте.

Это хорошо. Осели наконец-то. Наконец-то будет порядок.

Курсантская рота — училище младших командиров. Трехэтажное здание бывшей школы. Большой вестибюль с кафельным полом холодит подошвы. Тускло горят лампочки на голых проводах. Двери вестибюля оформлены двумя красными фанерными щитами, на которых белой гуашью слева — текст присяги, справа — статьи военного трибунала за самовольную отлучку, неподчинение, дезертирство. Слева слова торжественные, возвышенные, справа — предупреждающие, угрожающие, уничтожающие.

В этих двух щитах — основа основ, альфа и омега армейского бытия и вся политграмма: «Священный долг» и «Высшая мера»...

К нам выходят офицеры. Они скептически оглядывают наш неровный строй, сидора за плечами, лапти, потом один из них отдает распоряжение старшине, и тот громогласно объявляет:

— Вольно! Солдаты! Вы прибыли в курсантскую пулеметную роту. Будете учиться на младших командиров. Обмундирование получите через пару дней. А пока — сдать сидора! Разойдись!

В наших рядах смятение. У большинства огромные мешки за спинами. За дорогу они почти не поубавились — за счет «приобретений» на базарах. Распихав свое богатство — бумагу, карандаши и последний сухарь — по карманам, бросаю пустой мешок в каптерку и возвращаюсь к своим. Вестибюль заполнен мечущимися парнями. Они развязывают свои мешки, что-то тащат оттуда, запихивают по карманам, некоторые сыплют сухари за пазухи, засовывают в штаны пол-литровки с топленым салом.

Выкрики сливаются в общий шум, и строгая обстановка военной казармы становится похожей на базар.

Старшина что-то кричит в общем гаме, и между нами появляются фигуры в форме. Несколько сержантов пытаются навести порядок, устанавливают очередь в каптерку, толкают, орут, вырывают мешки у особо медлительных и бросают их в открытую дверцу каптерки. Действуют они слаженно и истово, но порядок не восстанавливается, шум не умолкает.

— А куда ж те сухари пойдут, — пробивается какой-то голубоглазый парень к старшине, ведь это наше добро, matka полгода копила, меня в армию собирала...

— Почему отбираете?

— Не имеете прав! Это наше!

— Молчать! — Старшина встает на табуретку. — Кто это сказал «наше»? Запомните — в армии нет слов «наше» или «ваше». Все общее. Вы продукты сдали, они будут взяты на учет и выданы вам же дополнительно к пайку. Ясно? А ты что, тетеря, — обращается он к голубоглазому, — на стрельбы с сидором пойдешь?

Парень мнетя, молчит и виновато шмыгает в толпу. Крыть нечем, надо подчиняться. Тем более нам же будут потом выдавать продукты. Дополнительно к пайку.

Я даже испытываю какое-то удовлетворение. Все-таки кое-что входит в разумное русло. Появляется подобие порядка. Старшина и сержанты — в форме. Скоро и мы получим форму, и начнется нормальная армейская жизнь. Суровая, но справедливая. Анархии — конец. Последние люди сдают свои мешки с продуктами.

Притихшие и растерянные, кучками стоят на холодном кафеле вестибюля.

Нас снова строят, считают и разводят по казармам.

Вхожу в казарму и радуюсь снова. Большой пустой зал. Четыре ряда коек с синими суконными одеялами. Простыни заправлены по веревочке — одной линией. Пол подметен. Пирамида с винтовками, около нее курсант, часовой. Присяга в рамочке. Все строго и четко. Прощай, вагон с переплясами!

Сержант быстро ведет нас по рядам коек и показывает, где кто будет спать. Запоминаю свою койку — двадцать третья во втором ряду. С удовольствием поглаживаю одеяло. Это не грязные нары в вагоне, где нужно было с боем отстаивать место, а это место — мое по закону.

В столовую — становись!

Хорошая команда. Нас ведут вниз. Из кухни пахнет каким-то кислым варевом, и от нетерпения мы не стоим на месте, перебираем ногами. Курсантская рота — не распределен! Здесь и харч должен быть другой.

— Заходи!

Заходим по десять человек с каждой стороны за длинные столы и стоим, ожидая команды.

— Садись!

Садимся.

— Встать!

Встаем.

— Кто там спит? Команду выполнять всем разом! Садись! Встать! Садись! Встать! Садись!

Затаили дыхание. Сидим. Кажется, на этот раз уже точно сидим. Какой-то курсант бросает на стол эмалированные миски. Двадцать паек хлеба. Бачок с супом. Суп — капуста и картошка. Быстро съедаем, затем проглатываем по поварешке каши. И это все?

— Встать!

Как будто бы и не ели.

— Выходи!

Когда мы возвращаемся в казарму, то сталкиваемся с толпой старых курсантов, вернувшихся с учений. Нас встречают свистом, криками, насмешками. Назревает драка, но с появлением старшины шум стихает.

Вечером разносится слух, что в вестибюле будут выдаваться продукты из каптерки. Как будут выдавать, кому, каков порядок выдачи — никто не знает, но все спешим туда. Мне надеяться не на что, ведь я ничего не сдавал, но я бегу со всеми из любопытства. На лестнице нас обгоняет ватага старых курсантов, человек тридцать или сорок. Они-то чего спешат? Ведь им-то ничего не положено, на что они надеются?

Однако курсанты знают что-то свое и плотной стеной встают у дверей каптерки. Наши образуют второй круг сзади, толкаются и переругиваются с курсантами.

— Очередь надо!

— Яка там очередь!

— А ты не лезь, гад, глаза выколю!

— Надо по списку выдавать, по списку, — беспокоится голубоглазый парень, а то беспорядок...

— А эти-то чего приперлись? Чай, они-то ничаво не получат. А ну давай отсюда!

— Я тебе дам «отсюда»! — вдруг набрасывается один из курсантов на голубоглазого. — Катись, вошь чесоточная! — И он с размаху бьет парня по щеке. Тот отшатывается в сторону, но другой курсант еще раз бьет его по голове.

— Наших бьют! — В темную однородную толпу курсантов врезаются цветные полушубки и серые ватники, и начинается потасовка.

Внезапно двери каптерки открываются, и на пороге появляется старшина с большим холщовым, из-под картошки, мешком в руках.

Драка моментально прекращается, и вся толпа уплотняется к центру. Старшина с минуту молчит, улыбаясь, а потом с помощью сержанта вдруг высоко поднимает мешок и опрокидывает его в толпу...

Общая свалка. Приглушенные крики. Топот. Красные, потные лица с вытаращенными глазами. Кто-то выдирается из общей кучи, крепко прижимая к груди несколько сухарей. Кто-то внизу, под телами, задавленно хрипит. Мелькают кулаки, оборванный ремень, спины, животы, руки, ноги — все перемешалось в каком-то диком хаосе, а на возвышении стоят старшина и сержант и хочут, забавляясь зрелищем.

Я и несколько других ребят стоим поодаль в столбняке, не отрывая глаз от происходящего.

Наконец то один, то другой курсант, с разорванными воротниками, красные, вылезают из кучи-малы и, придерживая набитые карманы, исчезают на лестнице. Куча распадается...

Нашим почти ничего не досталось кроме синяков и кровоподтеков, и они со стонами и руганью расходятся по казармам.

Разыскав свою койку, я неожиданно нахожу ее занятой. Кто-то лежит на ней, укрывшись одеялом. Наверное, я ошибся — пересчитываю снова: двадцать первая, двадцать вторая, двадцать третья... Все правильно — моя.

На мой недоуменный вопрос — злая ругань из-под одеяла. Зову старшину. Он идет со мной неохотно, а узнав в чем дело, вдруг обрушивается на меня:

— А ты что думал, — как у маменьки, — отдельная тахта? А ну, ложитесь вместе, вашу в душу... Отбой!

Мой сосед, длинный и жилистый парень из-под Харькова, глухо ругается и отодвигается к краю койки.

Лежим, укрывшись одним одеялом. При каждом моем движении он злобно поносит меня, толкается и стаскивает одеяло...

Кажется, начинается настоящая армейская жизнь.

## БАНЯ

Новые незнакомые люди окружают меня. Всех перемешали, перетасовали. Рядом со мной уже нет ни одного мантуровского парня, к которым я если не привык, то хоть как-то применился, притерпелся, знал, что от кого можно ждать.

Вокруг меня в основном украинцы из оккупированных областей и рязанские, горьковские парни. Все они враждуют друг с другом. Постоянно вспыхивают ссоры, драки, ругань, ежедневно происходят кражи, крупные и мелкие.

Утром нас еще раз подстригли под машинку, днем погоняли строевой, потом роту построили в вестибюле и устроили суд.

У одного парня пропали деньги — восемьсот рублей. Сержант устроил обыск и нашел деньги у Соловьева, невысокого худого паренька. Деньги вернули владельцу, а Соловьев стоит в центре, опустив светлую голову, и выслушивает проповедь офицера. Мы стоим вокруг, повзводно, образовав четырехугольник, и внимательно слушаем.

— Украл деньги, Соловьев? — спрашивает офицер.

— Украл.

— Ты что же, сволочь, — вор?

Соловьев молчит.

— А зачем украл?

Молчание.

Офицер думает. Говорит он тяжело, медленно подыскивает слова.

— Ты знаешь, что в армии воровать нельзя? Отвечай!

— Знаю.

— А зачем воруешь?

Молчание.

— В штрафную захотел?

Ответа нет. Соловьев стоит, опустив голову, и сдается мне (нет, не может быть!), что он улыбается уголками рта.

— Запомни, — голос офицера становится торжественным, — в армии воровать нельзя! Повтори!

— В армии воровать нельзя.

Пауза.

— Так будешь воровать?

— Нет! — Соловьев поднимает голову и уже открыто улыбается, глядя на офицера, и весело повторяет:

— Нет, не буду воровать! Потому в армии нельзя!

Офицер доволен.

— Становись в строй! Рота, — обращается он к нам, — сейчас пойдете в баню. Сержанты, выводите людей!

В баню! Ура! Все мы грязные, как черти, не мылись уже три недели...

— Выходи! Стройся! Смирно! Шагом марш!

Весело трогаясь с места.

— Запевай!

Несколько шагов идем молча, и вдруг звонкий голос затягивает «Священную войну». Слов почти никто не знает, подпевают нестройно, невпопад, но запевала старается вовсю и поет за всех — весело и громко. Что-то знакомое в его голосе заставляет меня приглядеться к нему. Невысокий худой парень идет впереди и во все горло выпевает торжественные слова. Его поддерживают плохо. Он оборачивается, весело взмахивает рукой и кричит:

— А ну, подтягивай!

Соловьев! Не верю ни глазам, ни ушам. Это же Соловьев — воруга, которого только что судили...

Кто-то больно наступает мне на пятки. Оборачиваюсь со злостью.

— Ногу возьми, гад! — рычит на меня мой сосед по койке и длинно ругается.

Да, я сбился с ноги, и теперь меня учат по-армейски: если впереди идущий сбивается с ноги, меняет ногу, то идущий сзади сознательно наступает сапогами на пятки. Неписанный закон. Чем больнее, тем лучше, — наука. Строгая, но справедливая.

— У, зараза! — бросаю я и меняю ногу.

В предбаннике хаос. На скамьях сразу возникает толкотня и драка. Шумно. Холодно. Сержанты подгоняют: скорей раздевайтесь, скорей!

— Куда вещи? — Оставить их здесь невозможно — все пропадет.

— Вещи в жарилку!

— А что такое жарилка?

— Вшей там твоих жарить будут! Быстрей!

Ничего не понимаю. Смотрю, что делают другие. Одни стоят у стенки, не раздеваясь, другие на скамьях раздеваются, связывают узлы из вещей и куда-то бегут голые. Хлопает дверь мыльной, оттуда вырываются клубы пара, и голые мокрые тела с гиканьем разбегаются по предбаннику. Крик. У кого-то пропал бумажник. Двое дерутся из-за какого-то ремня...

— А ты что стоишь? Команду «раздеваться» слышал? А ну, бегом!

Присаживаюсь на освободившийся угол скамьи и расстегиваю пуговицы моего бушлата. Надо припрятать куда-то оставшиеся у меня вещи: ватные брюки, шерстяные носки... Куда же это все? Ну неужели здесь нет ни одного нормального человека, который хоть что-нибудь мне бы объяснил, помог словом, что ли?

Нормальный человек, как в сказке, появляется передо мной.

Это наш парикмахер, сержант средних лет с усталым и добрым лицом.

— Слушайте, что вы не раздеваетесь? — спрашивает он меня.

Он назвал меня на «вы», интонации мягкие, он не лает как собака, и я хватаюсь за него, как утопающий за соломинку.

— Я ничего не понимаю. Куда вещи? Кто за них отвечает? Чем мыться? У меня нет мыла. Почему никто ничего не объясняет?..

Он мягко и с сожалением смотрит на меня.

— Вы впервые в армии, и это все, конечно, давит, я понимаю... Вещи отнесите в жарилку, вон туда, свяжите их узлом, чтобы ничего не отвязалось. Обувь внутрь. Объяснять вам ничего не будут вообще. Мыло раздадут в мыльной, но вам, — он критически оглядывает меня, — вам может не достаться. Возьмите мое. — И он протягивает мне коричневый брусок.

— Спасибо большое... Хорошо, что вы хоть все объяснили...

Начинаю быстро раздеваться.

— А из жарилки вещи пропасть не могут?

Он усмехается:

— Всякое бывает...

Я останавливаюсь.

— А как же? Что же делать?

— Послушайте, — говорит он, наклоняясь ко мне, — у вас хороший бушлат. Из жарилки вы его не получите — факт. Если хотите, я вам его сохранию. Помоемся, выйдете и получите свой бушлат. Все остальное — может быть, а бушлат наверняка!

— Конечно, берите. Спасибо... Вы меня так выручите...

Он сворачивает бушлат, а я, запихав лапти и все остальное в рубашку, сдаю узел в жарилку и бегу в мыльную.

Гул в облаках пара. Ничего не видно. Голые мокрые тела. Вонь. Гомон. Из одной шайки моются по трое. Пытаюсь пристроиться к одной компании, но на меня орут, и я отхожу, скользя по мокрому полу. Еще две моих попытки начать совместное мытье из общей шайки оканчиваются неудачей; меня отталкивают, обливают, и я продолжаю ходить голый с куском мыла, зажатым в кулаке. В углу из шайки моются двое. Это роскошь. Подхожу и сую руки в воду. Меня пытаются оттолкнуть, но я вдруг, неожиданно для себя, взрываюсь бешеным матом, выхватываю шайку и бью ею одного из моющихся по голой груди. Грязная вода выплескивается на меня, парень вопит и куда-то убегает, а я подскакиваю к другому и что-то ору ему, размахивая шайкой. Через минуту мы моемся вместе и даже трем друг другу спины.

Кажется, начинаю учиться жить.

Намыливаюсь. Напарник выливает на себя воду. Встаю в очередь за новой. Собственно говоря, это не очередь, а свалка. Каждый рвется с шайкой к крану, отталкивая других. Ну что же — с волками жить, по-волчьи выть... Кидаюсь в свалку скользких тел. Меня толкают, ругают, кто-то сзади бьет по спине, но все же я добываю полшайки теплой воды.

— Кончай мыться! Вылетай! Вещи выкидывают из жарилки!

Баня мгновенно пустеет.

Едва успеваю вылить на себя воду и выбегаю в предбанник.

Летят в общую кучу узлы из жарилки. Общая свалка. Все тянут что-то к себе, у кого-то развязались узлы, какой-то ботинок бросают со смехом через все помещение, многие, получив свое, лихорадочно одеваются.

— Выходи строиться! Быстрее!

Снова бросаюсь в бой. Где мое? На коленях раскидываю узлы. Кто-то голый наваливается сзади. Из-под рук что-то выхватывают. Крики. Ругань. Вот мое! Хватаю, выкарабкиваюсь, одеваюсь. Все цело. Ура!

— Выходи строиться!

Одетые выбегают во двор. Оттуда слышатся команды построения. Ищу глазами моего парикмахера. Что-то его не видно. Баня пустеет, вокруг меня остались единицы, остальные строятся на улице. Где же парикмахер? Я бегаю и спрашиваю оставшихся. Всем не до меня, отмахиваются.



— Быстрей, вашу в душу! — влетает сержант. — Кончай копать! Выходи!

— А где парикмахер? — спрашиваю его.

— Какой парикмахер? Ты что, сдурел? Выходи!

— Наш парикмахер, который стриг нас... Он взял мой бушлат на сохранение!

Сержант стоит, выпучив глаза.

— Выходи, сказано! Ты что, не видишь — последний остался!

— Не пойду я на улицу без бушлата! — ору я и сажусь на скамью. — Где мой бушлат? Где парикмахер?

В предбаннике я и сержант. Вбегает офицер.

— Сержант, в чем дело? Почему задерживаете?

— Да вот бушлат пропал у этого недоноска!

— Какой бушлат? — строго спрашивает офицер. — Встать!

Я вскакиваю и объясняю, в чем дело.

— Сержант, беги в каптерку, возьми шинель б/у и выдай этому дураку. Бегом!

Мне приносят шинель, и я облачаюсь в нее. Ну и шинель! Рваная. На груди рыжее пятно. Крючков нет — застегнуть нельзя.

Неумело, кое-как запахиваюсь и выбегаю во двор.

— Становись! — командует сержант. — Из-за одного охломона на двадцать минут задержали роту! Шагом марш! Бегом марш!

Мы бежим по ночным улицам, и мостовая гулко отвечает нам. Куда бежим? Куда торопимся? Спрашивать нельзя. Не положено. Офицер наверстывает время, потерянное из-за меня, — охломона, недоноска, дурака...

Улицы кончаются. Пути. Шпалы. Гудок паровоза... Как? Опять? А как же курсантская рота? Синие одеяла?

Так и есть. Темнеет товарный эшелон.

— По вагонам!

Темнота.

Стук колес.

Зябко в «новой» шинели.

## КАНАШ

Хмурым декабрьским утром выходим мы из вагонов и почти в полной темноте строимся на путях. Гудят где-то паровозы, стоят составы товарных вагонов.

Канаш. Дует пронизывающий ветер. Мы стоим колеблющимся, топаящим на месте сборищем, а из вагонов вылезают, выпрыгивают все новые тени. Слышны крики команды.

Кажется, выгружается весь эшелон. Что здесь нас ждет? Куда бросят? Поведут в город? Надолго? Неизвестно. Но хорошо уже и то, что наступит перерыв в этом долгом голодном и холодном пути. Может быть, нас в казарму? В казарме хоть тепло. И, наверное, накормят горячим. Даже не верится! А мы все стоим и мерзнем. Ага, двинулись! Пошли.

Темный город надвигается на нас. Кирпичные неоштукатуренные дома. Деревянные одноэтажные постройки. Глухие крепкие заборы. Людей нет — наверное, город еще спит. Очень холодно. На ходу хлопаю рукавицами. Соседи тоже.

Идем долго. Наконец город кончается, мы выходим на окраину, и нас заворачивают в поле. Посреди поля темнеет длинный черный барак. Нас ведут к нему, останавливают, командуют «вольно!», и мы топчемся и приплясываем на морозе еще минут сорок. Темная дверь барака манит своей неизвестностью.

— Распредрота, мать ее... — говорит кто-то сзади.

Да, это опять распредрота — знакомое дело. Значит, опять нас не оставят на месте, опять будут переводить, перевозить, опять теплушки и опять неизвестность...

Но сейчас хочется только одного — скорей войти в эту дверь и спрятаться от пронизывающего ветра, потому что мы коченеем здесь на поле. Никто не стоит, все приплясывают, хлопают рукавицами, толкаются, чтобы согреться.

— Становись!

Строимся с похвальной быстротой.

— Повзводно, в казарму — шагом марш!

Темная дверь проглатывает один взвод за другим. Вот и наша очередь, мы переступаем порог и сразу оказываемся в обстановке толкотни, крика и суетни. Справа во всю длину барака трехэтажные нары. Слева тускло светятся маленькие окошки под потолком. Нары уже почти все заняты, на них лезут вновь входящие, их сталкивают с руганью, отдельные выкрики тонут в общем гаме, в нескольких местах одновременно возникают драки.

Командиров нет, все идет самотеком. Из открытой двери вместе с клубами пара появляются все новые ряды солдат, хотя барак уже полон.

Мы — Замм, Коваленко, Колька Зубенко и я — отходим в сторону и выжидаем, когда кончится сутолока. Недалеко от нас на нарах Кромов и Артемьев бьют какого-то парня, который не сразу уступил им место нарах. Он кричит что-то тонким голосом не порусски, соскакивает с нар и прячется в углу. Чуваш, наверное, или мордвин.

На верхних нарах режутся в карты. Кто-то часто и надрывно кашляет. Гул стоит в полутемном бараке, гул многих голосов, мелькание темных тел. Неразбериха. Настроение подавленное. Наверное, от голода.

— Ты не знаешь — это надолго? — спрашивает Замм.

— Я знаю не больше тебя.

Замм ежится.

— Здесь вообще-то теплее, но все равно холодно.

— Дадут поесть — погреемся.

— А шо дадут? Опять баланду с капустой!

— Да хочь ее-то побольше бы!

— Вот в Кулебаках на второе по полмиски каши давали!

— Брэшешь!

— А в Гороховецких лагерях дуже погано годуютъ, я там був.

— На завтрак становись!

Строем переходим в другой барак — столовую.

Дощатые, серые, в темных пятнах столы. Около них лавки, каждая на восемь человек. По команде заходим за стол, по команде садимся. Каждый достает свою ложку. На стол бросают буханку хлеба, и сразу трое встают с ножами. Возникает короткий спор — кому резать. Наконец буханка остается у невысокого приземистого парня с низким лбом и квадратным подбородком. Это Зотов, чуваш. У него длинный и тонкий охотничий нож, которым он быстро и точно разрезает буханку на две половины. Шестнадцать пар глаз неотрывно следят за каждым движением его рук. Зотов сдвигает обе половины рядом и показывает всем — они одинаковые. Дальше каждую часть он снова половинит, потом разрезает четверти на восьмушки и раскладывает их на столе. Нарезал он — не придерешься, все пайки равноценные.

— Бери!

Шестнадцать рук протягиваются к хлебу и разбирают его.

На стол бросают две стопки мисок и ставят бачок с супом. Зотов разливает его так же осторожно, как делил хлеб. Сначала жи-

жу, потом гущу. Суп — все те же щи из черной капусты, больше мутной воды, чем капусты, но она горячая и соленая, и мы с жадностью поглощаем ее.

Сахарный песок делит тоже Зотов. Аккуратно набирает он своей ложкой песок из общей миски, затем медленно проводит черным пальцем по краю ложки, и горка ссыпается обратно в миску. Каждый получает по ложке песку в те же миски, и туда же наливают чай из бачка. Одни пьют чай через край, другие хлебают ложками.

Все. Завтрак окончен, и мы возвращаемся в барак.

У меня пропажа — нет варежки. Шерстяная серая варежка исчезла, прямо беда. Если в варежках руки мерзнут, то что же будет теперь?

— Замм! У меня варежка пропала!

— Да? Наверное, украли, — говорит Замм и прячет свои рукавицы на меху поглубже в карманы шинели.

Замм резко отличается от всех окружающих. Он какой-то домашний, немного вялый, говорит мягко, обороты культурные, меня тянет к нему.

— Что же теперь делать?

— Придется купить где-нибудь варежку

— А где ты ее купишь?

— Слушай, Замм, — вдруг вмешивается Колька Зубенко, — я давно хотел спросить тебя, ты еврей?

Замм вздрагивает и оглядывается.

— С чего ты взял? Я русский!

Наверху режутся в карты. Там устроилась теплая компания, подружившаяся еще в вагоне, который вез нас из Кулебак в Канаш. Это Артемьев, высокий и угрюмый парень, похваляющийся своим дядей — генерал-лейтенантом Артемьевым, комендантом Москвы; Кромов, плотный и сильный, с красивым и мужественным лицом, это он со своими друзьями захватил полную власть в вагоне и бесовестно обманывал весь вагон при дележе сухарей, это с ним я чуть не подрался из-за места у печки; Семичастный — маленький, юркий и злобный, правая рука и холуй Кромова; высокий толстый парень с громким басом и двое черных, похожих друг на друга хлопцев с вороватыми глазами. Около них угодливо крутится Жаров. Они — аристократы барака. Игра идет на деньги. Жаров время от времени бегаёт по их приказам на ба-

зар и приносит оттуда всякую жратву. За это ему иногда бросают сверху сухарь. Жаров на лету ловит его и уползает на нижние нары грызть. Сверху доносятся обрывки разговоров:

— Дама трэф!

— Ставлю коую!

— Ваша бита! Крикни Жарова! Пусть слетает на базар!

Жаров тут как тут. Вся его фигура выражает полнейшую преданность и желание услужить. Я вижу, как ему суют пачку денег, и он улетучивается из барака.

— Разумовский!

Оборачиваюсь. Сверху на меня смотрит Артемьев, играя чем-то в руках. Остальные прекратили игру и смотрят на меня с любопытством.

— Что тебе?

— Тебе варезку не надо? Есть продажная! — Артемьев крутит перед моим носом варезкой — я сразу узнаю ее.

— Нашел! — радуюсь я и протягиваю руку. Варезка исчезает.

— Десять рублей.

— Как десять рублей! Это же моя варезка!

— А я не знаю, чья она! — нагло улыбается Артемьев. — Надо тебе? Десять рублей!

— Да ты что?.. — чуть не захлебываюсь от возмущения. — Отдавай сейчас же!

Он смотрит на меня с сожалением. Красивое лицо с черными бровями врзлет становится скучающим, губы презрительно кривятся, и он показывает мне комбинацию из трех пальцев. Кромов, Семичастный и двое с вороватыми глазами смотрят на меня и улыбаются. Игра надоела — хочется поразвлечься.

— Лева, — говорит Кромов, — дай ему! Вот нахал, — продолжает он, поворачиваясь к Артемьеву, — варезку не отдает! Его Левою зовут! — обращается он к остальным, нажимая на слово «Лева».

— Лева, хочешь курочки? — с еврейским акцентом спрашивает Семичастный, и все покатываются со смеху.

Я отхожу, трясясь от бешенства. Сволочь!

Колька Зубенко сочувственно говорит:

— Ты не связывайся с ними. Изуродуют. Не видишь — у них своя банда.

Полный парень рассказывает еврейские анекдоты, и верхние пары трясутся от злого смеха. Жаров приносит хлеб и сало, его приглашают наверх, а мы устраиваемся на полу. Через наши ноги ходят, где-то в глубине барака затягивают украинскую песню, опять кто-то закатывается в приступе кашля.

Я лежу и слушаю неторопливый рассказ рыжего смиренного парня из-под Харькова:

— Немцы у нас на сели дивчыну сьлынычылы. Трое их було. Батька тут же був, да йому казалы: «Автомат бачышь?» — «Бачу», — каже. Вот воны ее и сьлынычылы и прямо у хати.

— А отец что же? — не выдерживаю я.

— А що батька може? Вин тоже жить хочет. А дивчына потом померла.

— А у нас немец гарный жив у хати, — продолжает парень.

Уже темнеет. В двух углах длинного барака зажигают две коптилки, и сразу становится темно. На нарах неясный гул, а я весь превратился в слух и ловлю каждое слово рыжего.

— ... Ничого не трогал, матка йому каждый дэнь яишню стогтуете, вин дуже яишню любыв з салом...

— Немцу! Яичницу! — опять прорывает меня. Что-то не укладывается у меня в голове.

— А шо? Я ж говорив — немец гарный був! Консерву нам прыносыв!

— Так он же фашист!

— Ни, вин нэ фашист! Вин охвицер. А фашисты — то эс-эс.

— Что ты удивляешься? — вмешивается Замм. — И у нас в Харькове немцы у многих на квартирах стояли.

— Да я не тому удивляюсь! Как можно немца яичницей кормить! Ведь это же фашисты! Враги наши! Они мучили, убивали людей...

— А шо ж так? — Рыжий невозмутим. — Так на то ж война!

— Вот Харьков тоже сильно пострадал, — говорит Замм, — он четыре раза переходил из рук в руки. Сначала немцы пришли — танки, моторизованная пехота, люди по подвалам попрятались, кругом стрельба... Дома поразрушены, трупов много валялось на улицах.

— Сначала немцы прыйшлы, — добавляет рыжий парень, — потом русские прыйшлы — немцев прогнали, потом обратно вже немцы прыйшли — русских прогнали, потом вже обратно русские прыйшлы...

— Постой, — прерываю я, — какие русские? Наши?  
— Ни, нэ наши! — охотно поясняет рыжий. — Русские! 3 Москвы!

Что-то начинает проясняться у меня в голове. Отворачиваюсь от рыжего.

Он мне ненавистен.

Периодически у нас в бараке появляются «покупатели» — офицеры, набирающие команды в свои подразделения.

Так, на днях отбирались люди в команду «МЦ». Что такое «МЦ», никто не знает (слухи: не то мотоциклисты, не то милиционеры, и то и другое — внутренние войска), но все уже твердо усвоили, что в армии не спрашивают. За вопросы либо ругань, либо наказание.

Сегодня тоже происходит отбор. Молоденький лейтенант отбирает людей с семиклассным образованием в артиллерию. Я выхожу тоже, и он ведет группу отобранных в отдельный отсек барака, где стоит стол, за которым сидят еще два офицера.

Нас вызывают по одному.

Я захожу одним из последних и кратко отвечаю на быстрые, формальные вопросы: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность...

Пауза.

Офицеры, которые до сих пор не обращали на меня внимания, разбирая листки на столе, поднимают глаза и с интересом всматриваются.

— Какая национальность, говоришь?

Я повторяю.

Офицеры переглядываются, потом старший роняет:

— Свободен.

— Могу идти?

— Можешь. Погоди, постой. — На губах офицера появляется улыбка. — Так ты в артиллерию хочешь?

— Да.

— А в какую артиллерию? В сорокапятки или дальнобойную?

Что такое сорокапятки, я не знаю, спросить неудобно, кроме того, я чувствую какой-то подвох и поэтому отвечаю то, что мне известно:

— В дальнобойную.

Теперь уже смеются все трое.

— Можешь идти! Кру-гом! Шагом марш!

Выхожу. На душе гадко.

За что такое недоверие? И что означал последний вопрос? Тебяюсь в догадках. Поделиться, спросить не у кого.

Ночью просыпаюсь от холода. Храпят, стонут, разговаривают во сне нары. В углу кто-то сухо и часто кашляет. Мы лежим на полу вповалку. Колька Зубенко спит, открыв рот, и коптилка высвечивает его детское лицо. Сквозь щели в стенах пробивается тусклый свет. Ага! Значит, уже утро, и наверняка работает базар. У меня есть еще сто рублей — целое богатство, и я могу купить себе хлеба. Сейчас надо только незаметно проскользнуть мимо часового, а базар — он рядом. Дневальный часовой, парнишка нашего возраста, весь нахохлился, съежился на ветру. Винтовка стоит на снегу, штыком прислоненная к плечу, а он, вобрав голову в поднятый воротник, греет руки дыханием. Ему не до меня, и я спокойно прохожу за его спиной и по вытопанной в снегу тропке направляюсь на базар.

На базаре полно людей. Вот худенькая, интеллигентного вида женщина приценивается к мясу, лежащему огромными кусками на столах. Одежда ее — смесь старомодного достатка с бедностью военного времени. Под грубым платком шляпка со стеклярусом. Ватник. Цветное мужское кашне. Эвакуированная. Мясом торгует усаый чуваш — низкий, крепкий, в дубленом полушубке. Проходит человек, весь увешанный овчинами. Щупленький сержант в плохонькой шинели протискивается в толпе, нос красный, голосом тихим и просящим спрашивает варежки.

Базар в движении: продают спички, мыло, табак, ходят бледные худые люди, держа на руках жалкую одежонку. Девчонка лет двенадцати торгует детскими чулками, некоторые аккуратно заштопаны. Посреди круга зевак на холщовой подстилке сидит безногий инвалид. Вокруг него на снегу разложены пакетики, и морская свинка бегаёт и зубами поднимает пакетики — предсказывает судьбу.

Меня манят ряды с хлебом. Сколько его! Буханки, куски, ку-сочки... Миски с вареной картошкой, с деревенскими пирогами. Творог, яйца, молоко... Все не по карману. Прицениваюсь, долго выбираю и наконец покупаю довольно приличную горбушку за тридцать рублей. Можно возвращаться в казарму, но мне никак



не уйти из молочных рядов. А что если купить кружку? Вот оно, пожалуйста, топленое, с коричневыми пенками! Внутренне ругая себя за транжирство, покупаю кружку молока и, так как горбушка уже съедена, прикупаю к нему большой пряженник с картошкой! Кутить так кутить!

На другой день рано утром в бараке появляются офицеры. Руводит ими незнакомый капитан. Нас всех поднимают, строят поспешно, даже как-то лихорадочно. В открытые двери врывается холодный пар. Нас пересчитывают, перекликают, ставят, переставляют, тасуют, как карты. Набирают команды «МЦ», «сорок один» и еще какие-то с непонятными названиями. Офицеры бегают, снуют между нами, кричат на нас, ругаются между собой. Две недели мы были предоставлены сами себе, а теперь начальство навалилось — спасу нет! Все происходит в нервном накале.

— Выходи!

Первые плотные косяки людей исчезают в белых клубках пара.

— Быстрее! Быстрее! — кричит капитан.

— Товарищ капитан! — обращается к главному один из офицеров. — Там один не слезает с нар, говорит, больной...

— Так дайте ему по морде, чтоб выздоровел! — взрывается капитан. — Стащите его с нар немедленно!

Двое офицеров бросаются исполнять приказ и стаскивают сверху высокого парня в светлой ушанке. Я узнаю его — это он кашляет все ночи напролет, а сейчас он блее своей ушанки, только два ярких пятна краснеют на лице. Он стоит, шатаясь, перед капитаном, офицеры поддерживают его, чтоб не упал. Он заходится в кашле.

Мы выходим из дверей. После полутьмы барака белый снег слепит глаза.

— Куда ведут?

— В роту ведут, в роту! — весело отвечает Жаров, оказавшийся в одном взводе со мной. — В часть ведут. Конец распреду!

— Отставить разговоры!

В часть. Хоть бы уже осесть где-то. Хоть бы уже перестали гонять по всяким дырам и распредам! Ну до того надоело!

На этот раз мои пожелания сбываются: следующие пять месяцев мне будет суждено провести здесь, в городе Канаше Чувашской АССР.

Нас размещают в грязно-белом трехэтажном здании бывшей школы, снова перетасовывают и наконец формируют из нас четвертую автоматную роту. Состав: подавляющее большинство — украинцы из оккупированных областей, остальные — чуваша, мордвина и русские. Я попадаю в первый взвод, куда отбирают самых рослых, и начинается нормальная армейская жизнь, о которой я так тосковал: порядок, дисциплина и справедливость...

## ПРОПАВШИЙ ШТЫК

И надо ж такому случиться — пропал штык!

Еще вчера, когда я принимал дежурство по части и тщательно пересчитал все оружие, штыков было 120 — столько же, сколько винтовок в роте, а сегодня крайняя винтовка в пирамиде стоит укороченная — без штыка.

Куда он мог деться — ума не приложу!

Дежурство по части — хлопотное и ответственное дело. До сих пор дежурили по части только младшие командиры, и то, что мне, первому из солдат, поручили его, — большая честь.

Всю ночь я старался, как мог, — наряд на кухне работает, уборная вычищена, полы вымыты, выдраены, все в ажуре.

Все, кроме проклятого штыка. Исчез, и все!

Рыжий сержант — вопреки моему ожиданию — не стал орать, а нехорошо ухмыльнулся и бросил: «Роди, да найди! Найдешь — сдашь мне лично. Не найдешь — „губа“».

«Губа»! «Губа» мне не улыбается...

Мне не довелось, к счастью, бывать на «губе», но рассказывали о ней страшно.

Полковая гауптвахта («губа») помещалась на окраине Канаша в зарешеченных подвалах кирпичного здания.

Это была самая настоящая уголовная тюрьма, в камерах которой верховодили бандиты в военной форме, бесконтрольно заводившие там свои порядки. Так, новичок, попадавший на «губу» и впервые входивший в камеру, сразу оглушался воплями тридцати или сорока человек, находящихся на нарах и на полу. Его немедленно выводили в центр, окружали и по указаниям «короля» (в каждой камере был свой «король») «приводили к присяге».

«Присяга» заключалась в том, что новичка ставили на колени и заставляли повторять вслед за «королем» слова воинской при-

сяги, переименованной на уголовный лад. Смысл «присяги» состоял в том, что новичок обязывался воровать, а добычу отдавать братству воров, он присягал в верности этому братству, становился его членом и так далее...

С первых же слов «присяги» новичку начинали натирать стриженую голову металлической щеткой для чистки лошадей. Это испытание необходимо было выдержать до конца; тот, кто переставал произносить слова присяги или кричал от боли, становился конченным человеком. Его били всей камерой, издевались по-всякому, раздевали догола и натирали конской щеткой разные места тела...

Два раза в день часовые вносили в камеру хлеб и бачки с супом и выходили, закрыв за собой дверь. Еду распределял сам «король». Весь хлеб он забирал себе и раздавал своим дружкам. Гуща из супа разливалась в пять-шесть мисок и поедалась «аристократией», остаток — жижу от супа — разрешалось съесть остальным.

Насытившись, главари камеры начинали развлекаться: играть в карты на оставшийся хлеб или гонять новичков строевым шагом по камере, заставляя выполнять все воинские команды. Иногда кого-нибудь из молодых проигрывали в карты и принуждали идти на базар, и он, рискуя быть пойманным патрулем (за побег с гауптвахты грозил трибунал и штрафная рота), пускался на всяческие ухищрения, чтобы обмануть часовых, и если это удавалось, то всякими закоулками бежал на базар, прижимая к себе хлеб, и возвращался назад с водкой.

Часовых — таких же юнцов 1926 года рождения — обычно подкупали пайкой хлеба, и они, жадно запихивая на морозе серый мякиш в рот, закрывали глаза и на побеге на базар, и на крики избиваемых в камере. Хозяйничали в камере обычно сержанты и солдаты-сверхсрочники, прошедшие огонь и воду, сидевшие и на «гражданке», и в военных тюрьмах.

Казарма после «губы» представлялась родным домом.

Но куда же все-таки мог деваться штык? Украли его, что ли? Шутка сказать — найди! Что же делать?

Рассказал во взводе. Встретили по-разному. Жигалка обозвал растепью, Кулик злобно обрадовался: «То ж, „губы“ понюхаешь теперь». Замм беспомощно и сочувственно развел руками.

— Послухай мэнэ, — обратился ко мне Юхимец, — ты за штык горюешь? Нэ горюй! Нэ знаешь, иде взяты його? От задача! На друтому этажи був?

— Да.

— Пирамиду третьей роты бачив?

— Ну, бачыл.

— Так там же бильше ста штыкив стоить. Поняв?

— Так что же — пойти и украсть их штык?

— Дурэнь ты дурэнь, — ласково говорит Юхимец, — то ж не их штык ты возьмешь, а свий. Цей штык уже два месяца из роты в роту кочуеть. У кого-то давно штык пропал. Сдавать надо? Надо. На «губу» кто иты хочеть? Ночью пишлы, из другой роты сбондили, утром сдалы — усэ в порядке! Другая рота хватилась — дэ штык? Пишлы, у третьей роты штык снялы — обратно полный учет. Зараз до тэбэ дило дошло. Тык невжели ты за всих отдуваться должен?

Бегу к рыжему сержанту уговорить его подождать до ночи. Он сразу соглашается.

Ночью в одном белье прокрадываюсь на второй этаж. Тихо и полутемно в казарме. Около пирамиды с винтовками бродит часовая. Стою, притаюсь за выступом стены, жду, когда он отвернется или уйдет, но он топчется на месте, взяв винтовку под мышку, греет руки в рукавах. В коридоре дует из щелей, холодина.

Начинаю мерзнуть, но стою не шеверясь. Боюсь скрипнуть, произвести какой-нибудь звук. Проходят минуты, кажущиеся мне вечностью. Проходит полчаса, может быть, час.

Ничего не выйдет.

Надо уходить. Не умею я воровать, идиот такой! Жаров давно бы уже был со штыком, а я стою тут, мерзну, а завтра пойду на «губу».

Медленно выползаю из-за уступа стены, выхожу на лестничную площадку и оборачиваюсь в последний раз.

Темная фигура часовой сидит, сгорбившись у пирамиды, спиной ко мне. Винтовка прислонена к плечу, и я вижу, как она мерно двигается туда-сюда, туда-сюда...

Спит. Или дремлет...

Ну — давай! Сейчас или никогда!

Быстро снимаю ботинки. Босиком вперед — два скачка до пирамиды. Спокойно, не звякни. Штык — вот он. Свернул. Два скачка назад. Каменные ступени обжигают холодом босые ступни. Лечу, не замечая этого. В одной руке — ботинки, другой прижимаю к животу драгоценный штык.

Рыжий сержант скалит зубы.

— Проявил, значит?

— Что проявил?

— Солдатскую смекалку, дура! А теперь — марш спать! Чтоб не видел тебя никто!

... Лезу на нары и втискиваюсь между Кузнецовым и Заммом. Замм что-то бормочет во сне. Кругом сопят, храпят на разные голоса. Как там тот часовой? Такой же бедолага, как и я...

Завтра ему идти воровать штук...

## ХОРОШИЙ ДЕНЬ

Мне здорово повезло.

Вчера Филиппов, распределяя посты, сказал: «Разумовский — на хлебозавод!»

Жаров прямо охнул: «Ну и везет же людям, то его на кухню назначат, зараз на хлебозавод...»

— Так шо его посылаты? — вступает Жигалка. — Вин же ничего нэ сумеет промыслить усэ равно!

— Да ну, не сумеет! Быть коло хлеба и не наистысь? То ж вэлыкым дурнем надо быть!

Я сам чувствую, что мне отчаянно повезло, но не совсем представляю, как я сумею реализовать свое везение, как «быть коло хлеба и наистысь при этом»? Ведь не станешь же хватать буханку и грызть ее...

Меня мучает это целый день, я думаю и передумываю варианты, как украсть хлеб, и, наконец, кляня свою беспомощность и непригодность, решаю обратиться за советом к Жарову.

Он не скрывает своего презрения.

— Как? От дурень! Так ты ж его в руках держать будэш, так хиба ж ты нэ отлomiшь?

— Как же отлomiшь? — мучаюсь я. — Ведь заметно же, если отлomiшь.

— А ты нэ по многу, — поучает Жаров, — с одной буханки корочку, с другой, с третьей, вот хлеба и наишься, и мне за совет принесешь. И посылают же таких! — добавляет он со злостью.

Теперь я начинаю понимать. Воровать нужно умеючи, незаметно. Что ж, попробуем. Главное — не упустить возможности,

наряд на хлебозавод такая редкость, такая удача, впервые за три месяца.

Ночью нас поднимают в четыре часа. Наряд выстраивается в темноте перед казармой. Тускло светит лампочка. Сильный мороз заставляет нас притопывать, хлопать рукавицами, следует команда: «Опустить уши!», и вот мы уже идем по ночному Канашу мимо высоких заборов, мимо спящих домов, пересекаем железнодорожную ветку, проходим мимо товарных вагонов в тупике и выходим в поле. Хлебозавод расположен далеко от города, и около часа мы шагаем по полю гуськом по еле заметной тропинке, следуя за сержантом, начальником караула.

Большой серый дощатый забор хлебозавода обит сверху колючей проволокой, у ворот охрана с винтовками, у проходной тоже.

Сержант предъявляет пропуск, и мы входим в ворота. Запах свежего хлеба и солода раздражает обоняние, все нюхают воздух, топают ногами и бодрятся. Настроение приподнятое, кто-то даже шутит, всем не терпится приступить к работе, скорее взять в руки теплые буханки, которые так великолепно пахнут.

Меня назначают на выгрузку хлеба. Вдвоем с незнакомым солдатом мы встаем около деревянного желоба, идущего из небольшого окошка наружной стены цеха, и ждем. К желобу подъезжают сани. Оттуда выскакивает солдат, расправляет большую тряпку в саних и кричит: «Сюда грузить будете!» Лошадка, небольшая, коричневая, мохнатая, вся в инее, поворачивает голову и жадно раздувает ноздри. Этот запах кого хочешь может свести с ума!

— Эй, не зевай! Хлеб принимай!

Бросаюсь к желобу.

Окошечко раскрылось, и оттуда очень быстро, одна за другой, падают буханки. Мы втроем бросаемся к ним, хватаем и бежим укладывать в сани. Буханки горячие и тяжелые, хлеб сырой и непрочный, рукавицы я сбросил и теперь каждым пальцем, всей ладонью ощущаю неровную поверхность буханки. Вот у этой корочка отпала — раз! — и она во рту!

Работа продолжается в быстром темпе. Мы уже грузим третьи сани. Сержант стоит рядом, считает буханки и покрикивает. Я уже приспособился собирать дань почти с каждой буханки. Рот набит корочками, я не успеваю их съесть и начинаю понемногу набивать карман шинели. То же самое делает мой напарник. Мы радуемся тому, что двор хлебозавода скудно освещен и что бухан-

ки сами рассыпаются в руках. Сержант, возможно, замечает наши уловки, но молчит пока. И на том спасибо!

Хлоп! Окошко закрывается. Выгрузка окончена. Сани отъезжают, а нас посылают пилить дрова. Жаль! Хорошая была работа! Мы нагрелись от нее, почти наелись, я с удовольствием поглаживаю карман, набитый теплыми корочками. Тепло от них проходит к ноге, и мне хорошо. Приятно и радостно.

Не спеша, мы начинаем пилить. Дров много, они никуда не убегут. Распилив два бревна, мы устраиваем перекур, рассаживаемся на бревнах и начинаем беседовать. Я чувствую необычайную симпатию к моему напарнику — рябому, низкорослому солдату, мы понимаем друг друга без слов. Он закуривает, а я сижу рядом и посасываю корочку. Сегодня хороший день!

— Кипяточку бы достать! — говорит он, бросая самокрутку.

— А что — сейчас достанем! — отвечаю я с готовностью. Я чувствую прилив сил и необыкновенной энергии. Все мне кажется сейчас выполнимым, чувство гордости и уважения к себе переполняет меня. Как же! Ведь я не оказался «великим дурнем», а наоборот, я, оказывается, очень ловок и хитер, карман у меня полон хлеба, я сыт, мне тепло — море мне по колено! Сейчас еще и кипяточку достану!

— Эй, тетя! — стучу я в окно цеха. — Нет ли у вас кипяточку?

Женщина в платке высовывается в форточку.

— А кружка есть?

— Нету. Нет кружки.

— Ну, ладно! Я тебе в миске дам, только миску-то отдай, слышишь?

— Отдам, спасибо!

Рука с эмалированной выщербленной миской просовывается в форточку. От миски валит пар. Я бережно принимаю миску в руки и почти обжигаюсь. Настоящий кипяток!

Мы сидим на бревнах и поочередно отхлебываем из зеленой миски горячую, пахнущую прелым воду и заедаем хлебом. Нам хорошо.

— Кончай пилить, выходи строиться!

Отдаю миску. Строимся и шагаем домой, в казарму.

После обеда меня отзывает дежурный по части.

— Пойдешь на хлебозавод. Дополучишь две буханки. И давай по-быстрому! Туда-сюда, чтобы за два часа был назад!

— Есть.

Снова утренний путь. Приятно пахнет дымком из труб. Миную железнодорожную ветку, и вот я уже бреду по снежному полю. Далеко на горизонте видны дома, серые, темные. Справа где-то начинается лес, передо мною вытоптанная в снегу тропка, ржавая солома редкими кустиками пробивается то там, то сям из снега, ветер покручивает вокруг нее снежок. Безлюдно. Только раз мне встретилась женщина, закутанная в черный платок, да рыжая собака уступила дорогу, вынюхивая что-то в снегу.

Неплохой все-таки сегодня день. Во-первых, я сыт, во-вторых, я могу немного побыть сам с собой, состояние такое же редкое, как и сытость... Сколько мы еще будем здесь? Скоро ли на фронт? Я жду этого с нетерпением. На фронте хорошо кормят, хлеб там валяется просто под ногами — так говорят все мои украинцы...

На хлебозаводе я предъявляю бумажку, и мне вручают две огромные горячие буханки. Тесто настолько сырое, что я теряюсь — как их нести? На мою просьбу во что-нибудь завернуть их мне не отвечают, да и наивно думать, чтобы мне дали какую-нибудь газету. Газета — дефицит, она вся идет на самокрутки.

Ставлю буханку на буханку, беру их под мышку и иду. С первых же шагов буханки начинают прогибаться под моею рукой, корка отслаивается от мякиша, и крошки драгоценного хлеба падают на снег. Осторожно перемещаю буханки вперед, на грудь, и несу их, как носят ребенка, — двумя руками. Идти так неудобно. Буханки оттягивают руки, но хоть не разваливаются. Ускоряю темп. Вот уже и поле, вот тропинка, а вот и моя старая знакомая — рыжая собака. Она сидит на снегу, смотрит на меня, ноздри ее двигаются, а из розового с черным ободом рта бежит слюна.

Я двигаюсь прямо на нее и кричу. Она уступает мне дорогу, а потом идет за мной на расстоянии нескольких шагов, жадно глотая крошки хлеба, падающие с моих рук.

Идти становится тяжелее. Ветер намел на тропинку сугробы, и ноги увязают в глубоком снегу. Буханки оттягивают вытянутые вперед руки, и я замечаю, как нижняя под тяжестью верхней заметно деформировалась — она раздалась вширь, боковая корка у нее отстала и грозит упасть. Руки у меня начинают замерзать, надо переменить положение, иначе я просто выроню хлеб в снег.

Опускаюсь на одно колено, кладу на него буханки. Корка отваливается и падает в снег. Я оглядываюсь на рыжую собаку и ви-



жу, что она не одна, с ней еще две, они незаметно подошли сзади, когда все мое внимание было приковано к буханкам. Собаки останавливаются и смотрят на меня. Вдали, около начинающего синеть в наступающих сумерках леса, я замечаю две приближающиеся к нам точки... Еще не разглядев, угадываю — собаки!

Становится тревожно. Я вспоминаю рассказы о том, что здесь много одичавших собак. Канаш голодает, собак кормить нечем, они бегают поодиночке, иногда собираются стаями и промышляют чем попадется. Запах свежего хлеба привел их на мой след. Надо спешить! Сейчас они еще робеют, но если их соберется стая...

Подхватываю буханки, запикиваю упавшую корку в карман, быстро поднимаюсь с колен и иду скорым шагом. Мое внимание теперь раздваивается — я слежу за разваливающимися буханками и поминутно оглядываюсь на собак, которые следуют за мной, не отставая. Их уже пять. Впереди новая, крупная овчарка, она худая как скелет, уши прижаты, она первая хватается падающие крошки, глухо рычит на остальных. Вот она приближается ко мне, осмелев, и ее морда оказывается почти у моих ботинок. Резко оборачиваюсь и с криком бью ее ногой. Она успевает отскочить, я промахиваюсь и теряю равновесие.

Каким-то чудом успеваю выставить ногу и не упасть, но этот рывок стоит мне дорого. Буханки падают в снег, одна развалилась почти пополам, от другой отслоилась корка, мякиш рассыпался и усеял снег серыми комочками.

Меня охватывает отчаяние. Хлеб, бесценный хлеб, который ждут к ужину голодные солдаты, хлеб, одна пайка которого стоит 25 рублей, гибнет у меня в руках! Я не смогу донести это месиво из корок и крошек... Как собрать, как спасти, когда руки начинают деревенеть от мороза, когда я один среди снежного поля, а сумерки сгущаются вокруг меня... Раз, два, три... шесть... восемь собак. Восемь собак! Они образовали около меня круг, сидят, смотрят и ждут. Кругом снег и пучки желтой соломы. Лихорадочно оглядываюсь — нет ли какой-нибудь палки или камня. Буханки или, вернее, то, что от них осталось, лежат у моих ног. Я замакиваюсь и одновременно кричу что есть мочи. Собаки отскакивают немного и образуют новый круг, чуть шире прежнего. Значит, еще бояться. До первых домов не так уж далеко, надо только дойти до них, там собаки не нападут, надо торопиться — быстро темнеет.

Решение приходит сразу. Снимаю пояс, сбрасываю шинель, стаскиваю гимнастерку и остаюсь в нижней рубаше. Мороз охватывает меня со всех сторон. Быстро завязываю рукава гимнастерки узлами и в образовавшийся мешок сгребаю хлеб, рассыпанные корки, остатки буханок вместе со снегом. Надеваю шинель, накидываю пояс, последнее движение — сгребаю рукавицей кучу крошек и вместе со снегом отправляю их и рот, потом закидываю мою торбу за плечо, еще раз кричу на собак и иду, вернее, бегу, к домам.

Собаки бросаются на место, где лежали буханки, грызут снег, пропитанный запахом хлеба, а затем опять трусят за мной.

Вот и дома. Проезжаем грузовик, едут чувашские сани.

Собаки отстают и теряются в синеве темного поля.

Я дохожу до наших барачков, вбегаю на кухню, бросаю гимнастерку с хлебом на стол и внезапно срываюсь — кричу с надрывом и слезами:

— Вот ваш хлеб! Можете меня на гауптвахту, в трибунал, расстрелять!.. Нет хлеба! Он развалился!..

Сажусь на скамейку и тупо смотрю, как развязывают мою гимнастерку, высыпают содержимое на стол, слышу, как ругается дежурный по кухне, вижу, как удивленно смотрят на меня солдаты.

— Марш в казарму! Два наряда вне очереди! — слышу я как-то смутно, повторяю приказание, забираю гимнастерку и бреду в казарму. Нервное напряжение разряжается странной усталостью, ноги у меня дрожат, руки тоже.

Я возвращаюсь в казарму в перерыв между занятиями.

— Ну как, поил хлеба? — спрашивает меня Жигалка.

Я не отвечаю. Сажусь на нары. Горьковец и Буйнов забирают у меня из рук гимнастерку, выворачивают ее и начинают выщипывать прилепившиеся крошки.

Вспоминаю, что в кармане шинели у меня лежит большая корка, — несколько рук тянутся к моей шинели. Мгновенный спор — корка исчезает в темных ртах. Перерыв закончен. Надеваю гимнастерку и сажусь слушать — изучать устройство затвора.

Гудят монотонные голоса. Глаза слипаются сами собой. Я клюю носом и проваливаюсь в сон. Меня толкают в бок. Уже совсем темно. В казарме загорается свет.

Ужин. Вечерняя поверка. Гимн. Отбой.

Ночью сильнейшие рези в желудке заставляют меня кричать от боли. Сползаю со своего места и часа два катаюсь от боли в углу нижних нар...

Хороший день закончен.

## РАССТРЕЛ ДЕЗЕРТИРА

Огромное каре составляют все части, дислоцированные в Канаше. Здесь на большом плацу с деревянным помостом посередине стоят несколько полков. Около десяти тысяч человек собраны сюда для показательного зрелища.

Высоко на помосте стоит виновник сегодняшнего «торжества» — высокий человек в штатской одежде. Руки у него связаны за спиной, его караулят с винтовками четыре солдата, а внизу на грузовой машине, за столом с кумачовой скатертью восседает трибунал — несколько офицеров в одинаковых светло-серых шинелях и цигейковых шапках.

Секретарь суда, стоя, читает приговор. Площадь замерла.

Доносятся отдельные слова, гулкие на морозном воздухе.

...Местный житель... дважды совершал побег... укрывался в далеких деревнях... угнал лошадей... занимался бандитизмом... Именем... приговаривается... к высшей мере — расстрелу.

— Приговор привести в исполнение!

Звучит дробь барабанов. Шестеро ефрейторов в новеньких голубовато-серых шинелях появляются откуда-то сбоку и четко, как на параде, отбивают шаг к помосту.

Машина с трибуналом отъезжает в сторону. Часовые покидают свои места около дезертира, и он остается один на помосте — высокий, худой, без шапки.

Звучит команда. Ефрейторы разом вскидывают винтовки.

Что-то крикнул стоящий на помосте. Залп.

Человек падает.

## ПОРТРЕТЫ

Вспоминая своих товарищей по взводу, людей, с которыми я провел бок о бок шесть долгих месяцев, отмечу сначала поразившее меня, а потом ставшее привычной нормой общее положение:

если в меняющемся составе взвода преобладали украинцы, они подавляли русское меньшинство, если большинство становилось русским, то украинцам становилось туго, чувашей и мордвинов в обоих вариантах всячески дискриминировали, а ко мне всегда было особое отношение.

— Что хохлы, что кацапы — все в армии, — говорит Жаров во время перекура, — а вот еврея в армии не найдешь...

— Это точно, — поддерживают его сразу несколько голо-сов, — евреи все по тылам... В магазинах торгуют.

— Слушай, Жаров! — стараюсь быть спокойным. — Ну что ты порешь? А я где? В магазине? Или рядом с тобой винтовку таскаю?

— Ты? — как бы удивляется Жаров. — Так ты дурак. Поэтому и здесь. — И, как бы извиняя меня, добавляет: — У каждой нации есть дураки!

Жаров был трусом, избегал драк, подхалимничал перед сильными и в то же время обладал необъяснимым для меня авторитетом, какой-то тайной силой, заставлявшей многих искать его расположения и считаться с его мнением. Впоследствии тайна жаровского авторитета была мною разгадана: он был удачливым профессиональным вором и за полгода ни разу не попался — это нельзя было не уважать.

Однажды, когда наш взвод дежурил по ночному Канашу, Жаров и Пелепец патрулировали на вокзале. Не помню, почему и при каких обстоятельствах они показали мне два украденных чемодана, которые были набиты цветными мотками шерсти, пачками табака и мужскими рубашками. Я спросил у Жарова, что он собирается со всем этим добром делать. Жаров вздохнул выразительно и покрутил пальцем около лба, дав понять, что такому идиоту, как я, не стоило и показывать, захлопнул чемодан и приказал Пелепцу унести его, что тот немедленно и выполнил.

Был он среднего роста, худощав и сутул. Маленькие, близко посаженные бегающие глазки на угреватом нечистом лице довершали его портрет.

Была у нас во взводе одна неразлучная пара: Лебедев и Кузнецов. Оба были ярославские, из одной деревни. Лебедев, большой, грузный, неуклюжий и незлой парень, всегда защищал и опекал болезненного и вялого Кузнецова, который сам постоять за себя не умел. Однажды кто-то из харьковских ударил Кузнецова, и тот

заныл, запричитал своим тонким высоким голосом, закрыв лицо руками. Со своего места на нарах соскочил Лебедев и врезал по морде обидчику, обозвав «хохлом поганим».

С разных сторон полетело:

— У, кацапская морда!

— Расейская сволочь!

— Шо буркалы выпучив, кацап?

Лебедев стоял весь красный, взъерошенный, сжав кулаки, готовый драться хоть со всеми,

— А вы, — задыхаясь, вдруг выкрикнул он, — вы все — изменщики Родины!..

Сказано это было с таким бешенством, с таким напором, что хоть и закружилось вокруг него растревоженное кольцо харьковских, никто его не тронул.

Впереди меня в строю стоял Шагалов, парень из Горьковской области, рослый, по-своему красивый, в начале службы веселый разбитной плясун и частушечник, по облику своему напоминавший мне моих мантуровских. Если его задевали, он лихо бросался в драки, был активен, груб и напорист. Однако со временем он притих, затосковал и примолк. Стал быстро худеть, начал кашлять, жаловался на боли в боку. Плясать перестал, в драки не лез, а предпочитал тихо сидеть в углу, прижавшись к теплой трубе. Потом на щеках появились лихорадочные пятна.

Наконец, когда однажды на занятиях винтовка выпала у него из рук, а сам он упал за ней на снег, сильно закашлялся и заплакал, его направили в санбат. Из санбата же списали по чистой — с открытой формой туберкулеза.

За ним приехал отец — высокий прямой старик, и мы последний раз видели Шагалова рядом с ним. От прежнего веселого парня осталась одна тень. Сам он был худ как скелет, глаза ввалились. Он шел с трудом, держась за руку отца.

Вообще, к весне дошли все, не только Шагалов.

Я помню, как в начале службы, в декабре, мы занимались на турнике. Больше всех тогда подтянулся Борька Юхимец — двенадцать раз. Весной же, когда нас снова вывели на турник, он, единственный из взвода, подтянулся два раза — все же остальные повисли на перекладине, как сопли.

С нами во взводе служило несколько чувашей. Это были темные, полуграмотные ребята из окрестных сел, плохо говорившие

по-русски. Их постоянно притесняли, а они все терпели, растерявшись в общей бойкой и настырной среде. Преимуществом их было то, что села находились рядом, и родные часто подкидывали им продукты, поэтому они чувствовали себя лучше остальных.

Среди чувашей мне особенно запомнился Парамонов. Этот высокий белобрысый парень заметно выделялся своей грамотностью, уверенностью в себе и мужицкой хитростью.

Сначала Парамонов был неприметен во взводе, но скоро ему из родного села стали подкидывать продукты в больших количествах, и Парамонов сразу стал фигурой.

Огромные мешки сухарей, вяленое мясо, пол-литровки с топленным маслом, исчезающие в бездонной каптерке старшины Ткаченко, делали свое дело, и Парамонов скоро стал числиться в «лучших бойцах», получал увольнительные, посылался в наряд на кухню и никогда не мыл пол в казарме. Мы все должны были равняться по «лучшему бойцу», а вскоре и по ефрейтору.

А ефрейтор Парамонов в это время обдумывал свое. Однажды, когда мы оказались с ним наедине и зашел разговор о нашей скорой отправке на фронт, Парамонов вдруг приник к моему уху и быстро, страстно зашептал:

— Эх, заболеть бы! Понимаешь — заболеть по-настоящему! Чтоб кишки выворотило, чтоб глаза на лоб, заболеть надолго, чтоб по чистой... — и вдруг замолчал, резко от меня отодвинулся, видимо, испугавшись того, что выдал тайные свои мысли.

Занятый своими заботами, я не придавал тогда значения сказанному, но спустя месяц ночью нас разбудили дикие вопли. Вопил и катался на нарах Парамонов, держась обеими руками за живот. Весь он был мокрый и красный, на губах пена, глаза вылезли из орбит.

Его сволокли с нар и отправили в санбат. Больше мы его не видели — «лучший боец» ефрейтор Парамонов осуществил свой план.

Из всех, кто окружал меня в Канаше, пожалуй, только два человека оставили о себе теплые воспоминания.

Один из них, Борька Юхимец, был родом из Ростова. Простой, добродушный, он обладал врожденным чувством справедливости. Я не помню случая, чтобы он кого-нибудь обидел или при-

теснил, хотя дрался он часто. Ко мне относился по-товарищески, я платил ему тем же.

Вторым, с кем у меня завязались дружеские отношения, был Колька Зубенко из третьего взвода — самый маленький парнишка во всей роте. За малый рост, полудетское лицо и звонкий голосок его не обижали и даже относились как к ребенку среди взрослых, между тем он был неглуп и развит больше многих великорослых.

Помню, на одном из совместных дежурств он вынул из кармана узелок с сахарным песком и насыпал мне полную ложку на хлеб. Это был богатый подарок, помню его по сей день.

Самой яркой фигурой был Паршенков, человек-легенда, которого знала вся рота.

Мощный, черный, широкоплечий, с короткой толстой шеей и волосатыми руками, он был страшно силен и злобен. Густые черные брови, сросшиеся на переносице, и ярко горящие разбойничьи глаза придавали лицу устрашающее выражение. Его железных кулаков и хриплого сильного голоса боялись все, не исключая командиров, которые сквозь пальцы смотрели на его выходки и дерзкое воровство, опасаясь с ним связываться.

Однажды его вызвал к себе командир роты Борисов и по обыкновению стал орать, набычившись и покраснев. Паршенков молча схватил со стола мраморное пресс-папье и замахнулся. Сдрейфивший Борисов отшатнулся сначала, а потом, когда услужливые сержанты скрутили Паршенкову руки за спиной, выдохнул:

— На «губу»! Десять суток строгого!

Паршенкова увели на «губу», где он в первый же день в жестокой драке завоевал право быть «королем» камеры, и вернулся в казарму отдохнувшим и веселым.

Подвиги Паршенкова передавались от одного к другому как устные легенды. В расприде он избил сержанта, сделавшего ему замечание. Там же взрезал бритвой мешок и вытащил содержимое у старика-чуваша, прибывшего на побывку к сыну. Утащив шинель своего помкомвзвода, он с сержантскими погонами на плечах спокойно вышел из казармы мимо часового и на базаре ограбил женщину, пригрозив ей ножом.

Свой взвод он держал в постоянном страхе, окружив себя группой подхалимствующих подонков, которые грелись и кормились вокруг него. Начальство скоро заметило его авторитет в роте и стало назначать дежурным по части или начальником караула.

Помню, как меня это поразило, — уголовного назначают начальником караула! Но жизнь показала: когда он дежурил по части, все работы производились быстро и четко. Дневальные бегали на полусогнутых. Каждый знал: если подвести Паршенкова, расправа наступит немедленно и будет жестокой. Жаловаться было некому. Искать правды бесполезно. И опасно. Один чуваш пожаловался как-то, что Паршенков и компания отняли у него хлеб. На другой день его увезли в санбат после «темной», устроенной ему взводом. Говорили, что сам Паршенков не бил, а просто первый накинул на парня шинель. Поскольку чуваша доставили в санбат без сознания, из штаба полка приезжала комиссия. Пытались найти виноватого. Свидетелей не нашлось. Дело замяли. Через месяц чуваш вернулся в строй.

Несколько слов о командирах, которые придавали нашей жизни в Канаше особый колорит.

Командира роты старшего лейтенанта Борисова я не помню трезвым. Не помню его улыбающимся, не слышал ни одного разговора с солдатами и сержантами без мата, истошного крика и топая ногами. Ротой практически командовал старшина Ткаченко, хитрый и умный мужик, который постоянно спаивал Борисова. Про него говорили: не старшина — зверь! Это было действительно так. Он все помнил и не прощал ничего. Он досконально знал все хозяйство роты и пользовался этим, как весильный деспот. Иногда он привязывался к какому-нибудь солдату и тиранил его подолгу, донимая и сживая со света мелкими придирками и крупными наказаниями. Он как полновластный хозяин роты кормил и одевал ее по своему усмотрению. Видимо, поэтому нам доставалось обмундирование, которое уже нельзя было ни продать, ни пропить, а в котел попадало ровно столько, чтобы мы не подошли от голода и таскали винтовки.

Удивительным показалось нам появление в рядах командиров сержанта Матюшина, человека лет сорока, которого мы с первых же дней называли «отец солдатам». Искренне жалея нас, семнадцатилетних мальчишек, этот простой ярославский мужик сам ходил выпрашивать у старшины для нас лучшее обмундирование, не гонял нас, как другие, в сильный мороз, а, уйдя от казармы подальше, заводил взвод в дома и там давал возможность погреться и отдохнуть, рискуя получить взыскание от начальства.



Таким же человечным и даже вежливым оказался сержант Назаров, москвич, образованный (у него была законченная десятилетка) и честный парень, про которого Жаров сразу сказал: «Этот ненадолго, пошлют на фронт». Он оказался прав. Назаров побыл у нас месяц и был отправлен с маршевой ротой на фронт. Матюшин проработал с нами и того меньше.

Рота держалась на Филипповых, Борисовых и Ткаченках. Эти засели в Канаше прочно и, я думаю, усидели там до конца войны.

## БУДНИ

Я не сгущаю красок. Их не было. Кроме одной — серой.

Серые шинели, серые гимнастерки, серые дощатые бараки, серые глухие заборы у домов, серо-зеленые стены в казарме, темно-серый лес за снежными полями, свинцовое тусклое небо над Чувашией...

Одним серым движущимся пятном казался и наш взвод среди снега во время ежедневных многочасовых занятий по строевой подготовке, и единственными цветными, и даже живописными, пятнами в этой серой массе казались наши лица: желтые или бледно-синюшные с темно-фиолетовыми тенями под глубоко запавшими глазами, с красно-синими носами и рубиновыми ушами...

Был голод и холод, давящее ощущение одиночества и постоянное чувство растоптанного человеческого достоинства.

День начинался как обычно.

После лихорадочного одевания (солдат должен быть готов за три минуты) мы выбегаем в гимнастерках и шапках на улицу.

Ух и холодище! Неужели будем делать зарядку?

Но Филиппов непреклонен. Быстро построив взвод, он командует «Бегом марш!», и мы сразу трогаемся с места бодрой рысью, так как стоять невозможно. Добегаем до красных домов, переходим на шаг. Снова команда «Бегом!», и снова стучат рваные ботинки по утоптанному снегу, да валит пар из сорока ртов.

— В казарму шагом марш!

Холодные грязные стены казармы кажутся нам раем, теплым и родным.

Нары уже заправлены дневальными. Темно-синие одеяла, одно на двоих, покрывают сшитые простыни, пол подметен. Можно

сесть на приступе нар, положив шапку в ногах одеяла (одеяла эти кишели блохами, крупнее которых я не видел ни до, ни после), и минут за двадцать до завтрака заняться своими делами, написать письма, перемотать портянки.

С портянками была у нас сушая беда. За день портянки намочали, и их полагалось сушить в специальной сушилке — вешать на ночь поперек труб парового отопления, а утром забирать сухими. Это была теория. На практике же портянки пропадали — их крали. Особенно теплые. Тогда стали сушить их под собой — неприятно, но надежно.

Однажды ночью старшина Ткаченко засек это дело, одел взвод, выгнал на улицу и лично гонял строевой часа два. После того как мы, все мокрые от снега, вернулись в казарму, он объявил, что если еще раз у кого-нибудь найдет под собой портянки, то повторит ночные занятия. С Ткаченко шутки были плохи. В результате волей-неволей понесли портянки снова в сушилку, и те, у кого портянок на другой день не оказалось, на следующую ночь вынуждены были идти воровать их из той же сушилки.

Расползаются солдаты по разным углам, ходят, как старички, сгорбившись, понуриив бледные лица и красные носы. Около теплой трубы парового отопления обычная толкотня и ссоры, каждому хочется прилепиться к ней и немного погреться.

В дверях появляется Филиппов.

— Встать! Проверка на форму двадцать!

Мы снимаем гимнастерки, выворачиваем рубахи и стоим полуголые.

— Османкин! Опять вши, сволочь!

— Так чем же я виноват? Такую рубаху дали...

— Поговори еще! Рубаха виновата! Просто сам такой вшивый! Вечером полы будешь мыть! Повтори!

— Есть полы мыть, потому что вшивый...

«Вшивого» долго ругали и стыдили. В редких случаях посылали к старшине менять белье, но обычно тот с руганью отправлял обратно: «Ничего! До бани не сдохнешь!»

После завтрака начинались занятия, изредка в казарме, как правило, на улице: строевые, огневые, штыковой бой. Первые мы любили, а вторые ненавидели, так как страдали от холода не меньше, чем от голода. Холод мучил нас постоянно, с подъема до

отбоя, и только ночью, под одеялами, мы немного согревались и отходили, чтобы с шести утра начать снова мерзнуть.

Почти все время уличных занятий уходило у нас на откровенную муштру. В этом плане Филиппов был неподражаем. Утром нас с винтовками выводили перед казармой на снег, и начиналось:

— Становись!

Мы быстро выполняли эту команду, так как только в строю можно было опустить уши шапок, а мороз был лютый. Что-то не нравилось Филиппову в нашем построении, и отдавалась команда:

— Разойдись!

Мы разбегаемся и ждем.

— Становись!

Стоим в строю.

— Отставить!

Разбегаемся. Трем уши.

— Становись! Равняйся!

Основная стойка — голова повернута направо, подбородок задран, левое ухо выше правого — вроде все как надо...

— Отставить! Поленец! Чего спишь? Равняйся!

Стоим. Затаили дыхание. Впереди меня ряд рубиновых ушей.

— Отставить! Жигалка! Как стоишь? Левое ухо где? Равняйся!

Стоим. Вытянули шеи. Не дышим. Ждем.

— Смирно!

Филиппов, не торопясь, обходит строй. Проверяет — на одной ли линии носки, вместе ли пятки, на каком уровне уши.

— Вольно! Опустить уши!

Наконец-то! Закоченевшими пальцами развязываем тесемки ушанок, растираем уши, надеваем шапки.

— Смирно! Шагом... — Томительная пауза... — Марш!

Начинаются занятия по штыковому бою. Два часа мы отрабатываем приемы: «Прикладом бей! Штыком коли!». С ходу втыкаем штык в чучело, бьем его прикладом, а потом, отскакивая, отбиваем ложем винтовки удар длинным шестом с тряпочным шаром на конце, которым орудует проводящий занятия сержант.

— Разойдись!

Мы разбегаемся и потом сходимся в отдельные кучки. Винтовки ставим в пирамиды, можно немного отдохнуть.

Дымят самокрутки, лица солдат сосредоточенны и хмуры, мы давно разучились улыбаться, движения у всех медленные, сонные.

Сержанты собираются втроем и что-то обсуждают.

— Эй! Идите сюда! — кричит Филиппов. Это не команда, что-то в его тоне удивляет нас своей игривостью. Он улыбается. В руках у него кусок хлеба.

Мы медленно стягиваемся. Хлеб в руках сержанта магнетизирует нас.

— Вот. Смирнов говорит, что пайку хлеба не съесть за сто шагов!

— Ни за что не съесть! — подтверждает ротный писарь сержант Смирнов.

Мы теснимся и наперебой предлагаем себя для испытания.

— Разойдись, чего претесь! — сердится Филиппов. — Кто хочет попробовать?

— Я! Я! Я! Дайте мне!

— Я за пятьдесят шагов зьим! — неожиданно заявляет Жижири. — Я вже пробовал тыи штуки...

Сержант высоко держит пайку. Мы окружаем его плотным кольцом и смотрим наверх. Проходит томительная минута. Сержанты смеются и подталкивают друг друга.

— Дай Жижири, — говорит Смирнов, — уж больно брешет здорово — за пятьдесят шагов! Пусть докажет!

Филиппов еще раз оглядывает нас. Его разбирает смех. На наших лицах напряженное внимание и сосредоточенность.

— Жижири, получай! — Рука опускается, и хлеб переходит к Жижири. Он крепко стискивает его и победно оглядывается.

Напряжение разрядилось. Кто-то отсчитывает двадцать пять шагов и встает на черте. Туда для контроля отправляется Канищев, мы толпой стоим на черте старта. Жижири предстоит пройти двадцать пять шагов туда и вернуться обратно. За этот отрезок пути хлеб должен быть съеден.

Подается команда: «На старт! Пошел!»

С первым же шагом Жижири подносит хлеб ко рту и делает первый укус. Мы следим за ним внимательно и настороженно. Возникает спортивный интерес: съест или не съест?

Сержанты улюлюкают, смеются, Филиппов приплясывает от восторга.

— А ведь съест он, товарищ сержант! — говорит Жаров.

— Ни за что не съест! — уверяет Смирнов.

— Съест! Жижири съест!

— Я бы сейчас полбуханки съел!

Жижири меж тем подходит к черте и поворачивает назад. Челюсти его беспрерывно двигаются, он уже съел половину куска. Идет он неторопко и заметно замедляет шаги.

— Быстрее! — кричит Филиппов. — Шире шаг! Будешь жить — отнимем!

Жижири немного прибавляет ходу. Мы впиваемся в него глазами. Осталось двадцать шагов... Пятнадцать... Кусок уже совсем маленький... пять шагов... три... Жижири запикивает в рот последний кусок и, почти не жуя, судорожно глотает.

— Брехун! И здесь сжилил — шаги замедлил! — набрасывается на него Филиппов.

Сержанты разочарованы, проблема осталась неразрешенной, и вообще им надоело.

Я смотрю на Жижири и говорю:

— А все-таки ты не съел за пятьдесят шагов, а хвастал!

— Дурак ты дурак! — на этот раз почти добродушно парирует он. — Им игра, а я хлеба поил!

— Становись! Смирно! Шагом марш! Запевай!

Пение в походном строю было обязательным.

Чаще других мы пели старинную народную украинскую песню со странным текстом и необычной красивой мелодией:

Ой, да вспомним, братцы  
мы кубанцы,  
Двадцать перва сентября,  
Как дралися мы с поляком  
От рассвета допоздна...

Украинцы вообще очень любили петь и пели красиво, на два голоса с подголоском. Особенно выделялся своим чистым голосом и музыкальностью харьковчанин Гоцкало — ротный соловей. В строю он пел редко, но на отдыхе, в вагонах или где-нибудь в пути он всегда запевал народные протяжные мелодичные песни, и вокруг него сразу же стихийно возникал хор, которым он умело и полновластно руководил. В этом хоре ему подчинялся да-

же Паршенков, который сам любил петь и часто в строю запевал своим могучим басом: «Врагу не сдается наш гордый „Варяг“...»  
Пели также озорную казацкую:

Запевала:  
На базар ходила.  
Горшок я купила.

Хор:  
Горшок я, горшок я,  
Горшок я, купила я...

В этой песне только первый куплет был цензурным, слова в остальных были так ловко подобраны, что каждый припев, исполняемый хором, становился сплошным матом:

Кашу наварила,  
Сваху накормила...

(Года через три я обнаружил этот текст у Шолохова в «Тихом Доне».)

«Горшок» петь запрещалось. Взамен рекомендовали (в приказном порядке) другую песню — «уставную строевую»:

Если есть запас патронов —  
Их товарищу отдай!  
А винтовку-трехлинейку  
Никому не отдавай!  
Эй вы, поля, зеленые поля!  
Лихие автоматчики, на линию огня!

Кроме этой поучительной песни нас обязали разучить «Священную войну» и Гимн Советского Союза, который тогда только появился.

«Священную войну» мы сразу полюбили, что же касается гимна, то начальство сделало все, чтобы мы его возненавидели. Во-первых, его вдалбливали в нас вечерами в обязательном порядке. Во-вторых, когда гимн был уже выучен, им заканчивалась каждая вечерняя проверка. В одиннадцать часов, когда рота выстраивалась в коридоре и в ответ на выкрики фамилий сто двадцать

цать раз звучало однообразное «я!», начинался гимн. Усталые, голодные, иззябшие, мечтающие добраться до нар, мы пели его весь, от начала до конца, со всеми припевами, стоя по стойке «смирно». После гимна обычно следовали долгожданные команды «По казармам!» и «Отбой!». Однако если Филиппов был не в духе, он и из отбоя устраивал нам «воспитминутку», которая иногда затягивалась на полчаса, а то и больше. Подав команду «Отбой!», он с часами в руках следил, чтобы мы, полностью раздетые, лежали под одеялами за три минуты. Если кто-то один запаздывал хоть на секунду, следовало неотвратимое «Отставить!», и мы снова лихорадочно одевались, шнуруя ботинки, застегивая гимнастерки, ремни и вставая в строй между нарами. «Отбой!» — «Отставить!» — «Отбой!» — «Отставить!» И так пять-шесть раз.

Это называлось «погонять перед сном». Кроме этих упражнений он почти ежедневно проводил с нами перед отбоем «политбеседу» на тему дня.

Во время очередной политбеседы, произнесенной им с верхних нар, густо пересыпанной матом и собственным творчеством типа: «Вот вы — хохлы проклятые! Жаль, нет здесь московских ребят, научили бы они вас жить, сволочей, мать вашу, перемать!» — Молодчий, который мрачно молчал в своем углу, вдруг неожиданно для всех поднял голову и заявил:

— А что это вы так много материтесь, товарищ сержант? Ведь это нехорошо: мать да мать... — И в наступившей тишине добавил что-то совсем уже несусветное: — Ведь вы же командир Красной армии...

У Филиппова от неожиданности открылся рот, а потом он разрился таким семиэтажным, какого я еще не слышал. Закончил он свой монолог тем, что вlepил Молодчему наряд вне очереди, и тот после отбоя отправился на улицу чистить гальюн.

Так проходили будни. Что касается праздников, то их просто не было. Даже 23 февраля — День Красной армии, который мы очень ждали, втайне надеясь на лучший, чем обычно, обед, прошел, как всегда. Вместо обеда нас угостили политбеседой об истории Красной армии и занудными наставлениями об укреплении воинской дисциплины.

## ПРИ ПОПЫТКЕ К БЕГСТВУ...

Маленький, плюгавый, с сержантскими лычками на погонах и отвислым задом грязных штанов, он стоял в центре тесного круга молодых солдат и, странно разводя руками, что-то быстро говорил, шлепая большим губастым ртом.

— У меня дерьма этого — часов — до хрена было, до этой матери... Полные карманы. Раз поймали мы фрицев под Орлом. Их тогда пачками брали, техники валялось этой до хрена... Лейтенант приказывает: «Отвести в штаб полка». Я говорю: «Я поведу».

Пошли мы с другом. Друг у меня был не локша. Дали нам пятнадцать фрицев. Повели. Километров пять оттопали, завели в лесок. Я говорю: «А ну, мать... Становись! Равняйся! Смирно! Часы снять, клади на пенек!»

Они сняли, положили. Я командую: «Становись!»

Встали они, подравнялись, а мы с другом полные рожки в них — как дали, мать-перемать! Они все друг на друга! Мы частики, колечки собрали...

Пришли назад. Я доложил: «При попытке к бегству...»

Затаив дыхание, дыша в затылок друг другу, стоят слушатели. Рты полуоткрыты, глаза неотрывно следят за рассказчиком.

Он замолчал, сплюнул на пол и растер ботинком.

Я стою, подавленный, и жду какой-нибудь реакции.

И реакция наступает.

— А золотые были? — спрашивает маленький парнишка с розовыми ушами.

— Рыжие? Была пара, — охотно поясняет сержант. — У меня ее потом суки в госпитале сбондили...

## КУХНЯ

Дежурство по кухне считалось самым желанным из нарядов. Оно являлось наградой, поощрением. Вечно голодные, мы втайне мечтали о нем и с замиранием сердца слушали распределение нарядов.

То ли Филиппов неплохо относился ко мне, то ли он считал, что со мной не будет хлопот, так как я не воруя, но меня назначали часто.



Кухня и столовая помещались в длинном сером бараке, по окнам заваленном снежными сугробами. От дверей — протоптанные широкие тропы, по ним роты подходили питаться и уходили потом с обязательным пением песен. (Однажды я услышал, как после очередного обеда из мутной водицы с листьями капусты уходящий взвод затянул: «Кони сытые бьют копытами, встретим мы по-сталински врага...»)

В четыре часа утра мы приступали к дежурству. В темной холодной комнате, освещенной бегущими отблесками огня из только что затопленной огромной печи, копошились какие-то фигуры. Дежурные из другого взвода приходили раньше нас и, сгрудившись у печки, толкали туда на щепках мороженые картофелины, пекли их и жадно ели полусырыми, пачкая лица сажей. Печь картошку было запрещено, но через три месяца службы уже не было ни одного солдата, который бы твердо не усвоил правила: «Делай, пока тебе не запретили...»

Мы начинали немедленно рыскать по углам и, наткнувшись на бочку с мороженой капустой, жевали холодные, мокрые, прозрачно-желтоватые листья. Печь картошку мы уже не успевали: появлялся старший по наряду сержант и разгонял всех на работу. Работы было много: пилка и колка дров, традиционное мытье полов на кухне (два ведра холодной воды опрокидывали на пол, потом сгребали жидкую грязь в ведра и выносили в вонючий нужник рядом с кухней), скребка ножами темных липких столов, переноска из склада мешков с картошкой и многое другое. Примерно через час появлялась повариха, отпирала кладовку с хлебом и выдавала старшему по наряду нужное количество буханок и сахарный песок в жестяных мисках. Хлеб и сахар взвешивался внутри кладовки поварихой и сержантом, солдаты никогда при взвешивании не присутствовали. Дежурные забирали хлеб и сахар из рук сержанта и уносили в раздаточную, откуда уже из маленького окошечка выдавали на столы.

В этом самом окошечке с украденной миской сахарного песка застрял во время одного из дежурств парень из нашего взвода — Барткус. Там его и захватили на месте преступления, вытащили с трудом и отправили на «губу». (Барткус вообще был странным, нервным и истеричным парнем, во взводе его считали дурачком, дразнили и задирали, а он был бедолагой и часто сам себе портил жизнь.) С «губы» он вернулся совсем больным, издерганным, с трясущимися руками и был отправлен в санбат.

Вся работа на кухне проходила под одним общим девизом: «Как бы чего-нибудь утянуть». Тянули все — от поварахи до дежурного солдата, который, выдавая буханки, умудрялся отщипывать корочки; другие по пути от раздачи до столов ухитрялись залезть пригоршней в миску с песком и набить им рот.

Особо привлекательным местом считалась судомойка — маленькая квадратная комната с длинной, от стенки до стенки, лоханью из оцинкованного железа. В комнатке с двух противоположных сторон были прорублены два окошка: в одно подавались жестяные миски из солдатской столовой, в другое — фарфоровые тарелки из офицерской. Для дежурных по мойке миски не представляли никакого интереса; они были всегда пусты и бросались в теплую грязноватую воду стопками. Зато фарфоровые тарелки требовали особого внимания и индивидуального подхода. Часто на них оставались непростительно богатые объедки жаренного на сале картофеля, который дежурные мокрыми ладонями сгребали с тарелок и отправляли в рот. Иногда на тарелках лежали недоеденные куски хлеба, иногда в мойку попадали чуть начатые стаканы со сладким чаем. Все это моментально уничтожалось, а иногда, при особенной удаче, и уносилось с собой. Так однажды я вынес в кармане целые три пайки хлеба, снятые с офицерских тарелок, и на другой день украсил ими свою жизнь.

Картофель для офицеров жарили отдельно на огромной сковороде, и резкий запах свиного сала и его шипенье заполняли все помещение кухни и буквально валили нас с ног. За офицерской сковородой повараха неотступно следила сама, переворачивала румяный картофель большим ножом, пробовала иногда коричневые кусочки с его кончика, а мы, затаив дыхание, смотрели на это голодными глазами.

Однажды я носил дрова. Все было неудачно с самого утра, мне не удавалось достать ни кусочка съестного, и голод мучил, а тут еще этот запах...

Заметив, что повараха на минуту отлучилась от заветной сковороды, я пошел с охапкой не по обычному пути, а вокруг плиты. Поравнявшись со сковородой, не замедляя хода, прижал дрова к груди сверху правой рукой, а левой снизу схватил пригоршню шипящих желто-коричневых квадратиков и мгновенно сунул их в карман брюк. Потом грохнул дрова у топки и убежал в пустую раздатку, где быстро поел свою добычу. Ладонь я обжег, горячее

сало просочилось сквозь карман и обожгло ногу, но разве все это имело какое-нибудь значение!

Совесть грызла меня, я называл себя вором, но голод грыз еще сильнее...

Ох, как много вообще сдвинулось, изменилось со времени моего первого обеда в армии!

Были и другие возможности подкалывать на кухне. Часто после основной раздачи повариха выдавала наряду остатки супа — каждому доставалась миска довольно густых щей, а после этого дежурным разрешалось выскрести котел. Однажды делить остатки щей взялся Жижири. Когда он делил что-либо, смотреть надо было в оба — не было ни разу, чтобы он разделил честно. Так и сейчас: он что-то долго мешал в бачке, потом быстро разлил всем жидкий верх, а оставшуюся гущу вылил себе в миску. Поднялся гомон. Возмутившись, я крикнул:

— Этому гаду никогда нельзя давать делить еду!

— Не тебе ли делить, жидовня! — в бешенстве огрызнулся Жижири.

Я выскочил из-за стола и с ходу ударил его в грудь. Он схватил свою миску с супом и бросил мне в голову. Горячий суп залил глаза и лоб. На минуту я перестал видеть и вслепую вцепился в него, стараясь попасть кулаком в лицо. Нас растащили. Я стер с лица и гимнастерки мокрые ошметки капусты, и мы долго переругивались, дрожа от бешенства и возбуждения.

В одно из моих очередных дежурств по кухне уже весной к нам прислали новую партию солдат, которых куда-то перегоняли, кажется, на фронт.

Выдавая миски на столы, я случайно заметил худого бритого солдата с большими карими глазами. Скользнул глазами и пошел дальше, но тут же обернулся и бросился к нему. Павка Дах! Встретить здесь, в Канаше, ленинградца было бы для меня уже радостным событием, а встретить знакомого — одноклассника — это было чудо!

Я обрадовался Павке как родному, бросился на кухню, выпросил у поварихи положенную мне миску супа и принес ему. Он тоже обрадовался. Во время еды Павка рассказал мне, как в блокаду он вместе с другими мальчишками забрался в продуктовый магазин. Его поймали, судили, он просидел пару месяцев, потом освободили и призвали в армию. В классе мы с ним не дружили.

У меня была своя компания, у него своя. Он был добрым и слабо-вольным парнем, может быть, поэтому и был втянут в историю с магазином, а может быть, голод заставил...

Глаза у него были необыкновенной красоты — огромные, светло-карие, с густыми черными ресницами.

Его позвали строиться, и он ушел, махнув мне рукой. Я, наверное, был последним из знакомых, кто видел его. Павка Дах погиб на фронте в 1944-м.

Старший брат его, Яша, одноклассник сестры, тоже погиб на фронте.

— А кого это ты там супом угощал? От богатый найшовсь! — спросил меня Пелепец после того, как Павка исчез за дверями.

— Товарища встретил, одноклассника.

— Та просто еврей еврея побачив, та и возрадовался, — ухмыльнулся Жижири.

Возражать было нечего.

Он опять оказался прав, этот подонок Жижири.

## СТРЕЛЬБЫ

Сегодня у нас первые стрельбы. Наконец-то! Нам выдают боевые патроны. Настоящие!

К этому дню уже давно шла подготовка: в течение месяца мы обучались обращению с винтовкой, изучали устройство затвора и патрона. Команда «Тремя патронами заряжай!» до сих пор не выходит у меня из головы и отдается ноющей болью в пальцах.

Было это так. Мы занимались на улице огневой подготовкой. Мороз стоял сильный, и сержанты постоянно меняли виды упражнений, делали частые перекуры, заставляли бегать. Но все это плохо помогало — мерзли мы зверски. Особенно доставалось рукам от стылого железа винтовок: холод проникал сквозь рукавицы, и пальцы коченели. Во время каждого перерыва мы составляли винтовки в пирамиды и изо всех сил хлопали рукавицами.

Ожидали проверяющего из полка. Предстоял смотр готовности роты к предстоящим стрельбам, ответственный смотр. Командиры нервничали и гоняли нас сильнее, чем обычно. Ждали проверяющего с утра, уже кончался второй час занятий, а его все не было. Наконец он появился — высокий офицер в чине майора — и сразу направился к нашему взводу.

Барсуков был в тот день болен, и командовал нами Филиппов, общий надзор за ротой осуществлял Ткаченко.

Нас быстро разбили на отделения и построили. У каждого была обойма с тремя холостыми патронами. По команде «К бою!» нужно было упасть на снег, взять винтовку в левую руку наизготовку, а правой держать наготове обойму. Затем следовала команда «Тремя патронами заряжай!». Нужно было быстро отвести затвор, вставить обойму, закрыть затвор и доложить: «Боец такой-то к стрельбе готов».

Последовала команда. Мы упали, выставив винтовки. Майор медленно обошел лежащий строй, сам поправил у некоторых винтовки. Мы замерли, ожидая команды «Заряжай!», однако вместо нее услышали «Отставить!».

Начальство оказалось чем-то недовольным. Снова команда «К бою!» и снова «Отставить!».

Нас поставили по стойке «смирно», и майор лично прочитал нотацию о том, как нужно выполнять команду — «дружно и весело». Мы стояли вытянувшись, без движения, а мороз доканывал нас, руки, держащие винтовку, ныли нестерпимо.

— К бою!

Упали. Локоть уперт. Винтовка — на вытянутой левой, правая держит обойму.

Майор снова обошел строй. Хоть бы скорее команда «Заряжай!». Еще несколько минут этой пытки и заряжать будет просто физически невозможно.

Майор поправил винтовки. Не все смотрят точно вперед. Неужели «Отставить!»?

— Заряжай!

Резко отвел затвор, сунул туда обойму, попытался большим пальцем прижать патроны, но пальцы не послушались, обойму заклинило. Снова нажал — никак.

Майор, Ткаченко, Филиппов смотрели в мою сторону. В отчаянии против всех правил я ударил кулаком по обойме — пошло! Закрыл затвор, выкрикнул, что к стрельбе готов, оглянулся по сторонам. Рядом со мной лежал Пашков. Он отчаянно возился с винтовкой, патроны у него выскочили из обоймы и рассыпались по снегу. Он пытался их собрать рукавицей, но тщетно. С другой стороны — Замм. Он зарядил кое-как, но, не выдержав боли в коченеющих пальцах, положил винтовку на снег и хлопал рукавицей об рукавицу. Дальше по цепи дела шли не лучше, только

один-два выкрика «К стрельбе готов!», остальные молча возились с винтовками, лапая их негнушимися рукавицами.

Полный конфуз. Филиппов бегал за нами, помогая отстающим, майор неодобрительно качал головой. Ткаченко повернулся к нам и сам подал команду своим зычным голосом:

— Встать!

Встали. Хоть бы на минутку дали похлопать руками — зарядили бы мы эти проклятые винтовки...

— Снять рукавицы!

Мы стояли молча, не поверив команде. Никто не пошевелился. Ткаченко побелел от злости.

— Снять рукавицы, сказано! Ну?! Рукавицы — на снег!

Рукавицы полетели на снег. Пальцы прилипли к ледяному стволу.

— К бою! Тремя патронами заряжай!

Ткаченко командовал быстро, без остановок, понимая, что мы сможем выполнить упражнение в считанные секунды — дальше голые руки откажут.

Попытался что-то сделать. Левая рука — крюк, она еще выполняет свою функцию, держит ствол, но правая... Красные скрюченные пальцы соскользнули с затвора... Где-то рядом в цепи — всхлипывание. Кто-то выкрикнул, как застонал: «Та нэ можно ж так!...»

— Встать! — это уже майор.

Встали. Несколько винтовок осталось лежать — не смогли поднять. Кто-то, уже не таясь, плакал в строю. Я тоже с трудом подавляю слезы. Нестерпимо больно.

— Одеть рукавицы! Старшина, объявите перерыв!

Сказав еще пару слов Филиппову, майор удалился. Ткаченко — с ним, что-то объясняя на ходу.

Филиппов молча собрал наши винтовки и сам, ворча что-то под нос, уложил их в пирамиду. Мы прыгали, хлопали себя, бегали, топтались на месте. Кровь постепенно возвратилась к пальцам, но болеть они не перестали...

Но это все в прошлом.

А сейчас мы бодро, «дружно и весело», с песней шагаем на полигон.

Эй вы, поля, зеленые поля!  
Лихие автоматчики на линию огня...

Полигон. Огромное заснеженное поле. Вдали видна серая кромка леса, недалеко от нас окопы, из которых торчат мишени — фанерные черные головы фашистов. По ним будем стрелять.

Нас разбивают на отделения и выдают боевые патроны. Перед этим Барсуков проводит краткую беседу: гильзы на строгом учете, все три гильзы после стрельбы сдать. За утерянную гильзу — «губа». Задание: лежа произвести три выстрела по мишени. Расстояние до мишени сто метров. За три попадания — пятерка, за два — четверка, за одно — тройка. Промахов быть не должно: сто метров — это каждый попадет. А если не попадет, — голос у Барсукова начинает звенеть, — пусть пеняет на себя.

Нас разводят по местам.

Сегодня первые полковые стрельбы — это очень ответственно. Проводятся негласные соревнования между батальонами, ротами, взводами. На полигоне присутствует сам командир полка, бегают связные от штаба полка, мелькает маленькая фигурка нашего командира батальона.

Серые четырехугольники подходящих рот ползут по белому полю и растекаются в разные стороны.

Ухают выстрелы. Кто-то уже стреляет.

— Первое отделение, в цепь! На боевые позиции — шагом марш! — командует Филиппов.

Он сегодня озабочен и деловит, хлопочет, подсказывает, ободряет. Мы лежим в цепи. Вот оно — моя мишень — чернеет над окопом. Зажимаю в рукавице три драгоценных патрона, грею их. Хорошо, что сегодня мороз не сильный!

— Первым патроном — заряжай!

Патрон мягко уходит в щель. Досылаю затвор, нащупываю спуск. Ноги раскинуты как положено, локоть уперт, глаза ищут мушку в прорези ствола. Вот она. Теперь нужно, чтобы совпали три точки: прорезь, мушка и мишень. Неужели попаду?

— Огонь!

Приклад довольно сильно отдает в плечо. А звук-то какой! Сила! Рядом раздаются выстрелы соседей. Отвожу затвор, вылетает теплая гильза. Скорей ее в карман — лишь бы не утерять!

Встали. Ждем результата. Филиппов бегает за нами, волнуется. Мы сами в напряжении — как там? Неужели мимо?

Объявляют результаты. Из всего отделения только две пули поразили цель. У меня — промах. Снова лежу и целюсь.

— Ты не торопись, — подходит Филиппов. Голос его непривычно участлив. — Ты как бьешь — в центр?

— Да.

— А ты стреляй под центр, сведи мушку немного вниз. Спокойно. Спуск не дергай, нажимай плавно. Давай. Попадешь.

Снова целюсь, внимательно выполняя его советы. Вот мушка уходит чуть вниз.

— Огонь!

Плавно нажимаю спуск.

— Огонь! — последний выстрел.

— Боец Разумовский стрельбу закончил!

Нас собирают и объявляют результаты. Лучше всех стрелял третий взвод — у них несколько пятерок, много четверок, хуже — второй. Результаты нашего взвода: у нас две четверки, из них (ушам своим не верю) одна моя, три тройки, остальные 115 пуль — в воздух.

Наш взвод — худший в полку. Барсукова вызывают сначала в штаб батальона, потом в штаб полка. Возвращается он оттуда разъяренным, и мы чуем — быть беде.

Он бледен, опять горят красные пятна на лице. Не глядя на нас, что-то резко бросает Филиппову.

Тот строит взвод и выводит его с полигона в поле, все дальше и дальше. Куда?

Город и казармы остаются слева, а мы поворачиваем в другую сторону и заходим все дальше в бескрайнюю белизну. Куда нас ведут?

— Взвод! Стой!

Что дальше?

— Одеть противогазы!

Сбрасываем шапки и натягиваем на лица холодную, жесткую резину. На морозе она потеряла свою эластичность и налезает с трудом. Стоим в противогазах. Воздух из гофрированной трубки идет с шумом и пахнет резиной. Стекла запотевают, сквозь них туманятся размытые темные пятна на белом фоне.

— Зво-о-од! Ложись!

Падаем на снег.



— По-пластунски вперед!

Ползем в рыхлом снегу. Очки заклепывает снег. Пытаюсь протереть их свободной рукой, но сразу же проваливаюсь в снег и отказываюсь от дальнейших попыток. Ползем в снегу вслепую, натываясь друг на друга...

— Взвод! Встать! Бегом марш!

Бежим вперед по колено в снегу. Дышать в противогазе трудно. Шапка не держится на скользкой резине и поминутно слетает с головы. Протираю очки, ищу шапку... Где винтовка? Вот она...

— Взвод! Ложись! По-пластунски вперед!

Выбиваемся из сил. Ползем. Бежим. Задыхаемся, снова ползем. В голове упорная антиустановка мысль — за что? За что нас мучают, гоняют, как собак? Может быть, не поняли люди, как стрелять, ведь в первый раз в руках боевая винтовка, ведь сам я понял только тогда, когда мне объяснили толково и без крика...

— Бегом марш!

Два часа барахтались мы в снегу, потом скорым шагом вернулись в казарму совершенно измученные и обессиленные.

После вечерней поверки нам объяснили — это наказание за плохую стрельбу. Пеллепек, у которого была вторая четверка, не выдержал и прогнусил обиженно:

— А нас-то с Разумовским за что? Мы-то хорошо стреляли...

— В армии закон: один за всех, все за одного! Зарубите себе это на носу! — рявкнул Филиппов.

Несколько позже он удивил меня. Как бы извиняясь, он ото-звал меня в сторону и, доверительно понизив голос, сказал:

— Ты не думай, что мы зря вас сегодня гоняли. Это сволочье — оккупированные — так и норовят отлынить от армии. У них и года все поддельные: думаешь, они все с двадцать шестого года? Черта с два! Говоришь, они стрелять не умеют? Не хуже тебя все стреляют, а просто думают: если буду метко стрелять — скорей на фронт пошлют. Понял? Вот то-то! Не больно-то верь им. Из них, может, половина у немцев служила, почему ты знаешь?

Было в этом что-то очень несправедливое, оскорбительное, огульно недоверчивое по отношению к людям, вышедшим из-под немецкой оккупации.

Но впоследствии, уже еду на фронт, я убедился, что не все на свете так просто.

## ОБЫСК НА СНЕГУ

— К но-ге! — Бум-бум-щелк!

— На пле-чо! — Бум-бум-бум!

Яркое февральское солнце освещает снег, бросает резкие тени от ближайших домов. Морозно, но мы непрерывно упражняемся с винтовкой, и это согревает. Взвод разбит на три отделения, и каждым командует свой сержант.

— На пле-чо! — Три ровных стука.

— На ру-ку! — Два стука.

Занятия проводит сам Барсуков. Он быстро ходит молодцеватой походкой, заложив руки за спину, его орлиный профиль мелькает то тут, то там. Сержанты стараются, мы тоже, три месяца учений не прошли даром — упражнения выполняются нами четко. Барсуков доволен. Мы любим заниматься с ним. Он часто дает передышки, перекуры, заставляет бегать, чтобы согреться.

Так и сейчас. Он поворачивается к нам спиной, вытягивает правую руку в сторону и звонко командует:

— Взво-оод! Становись!

Мы быстро выстраиваемся за его спиной. Он поворачивается.

— Смир-на! Разойдись!

Мы разбегаемся в разные стороны (так положено), а потом собираемся отдельными кучками, кто-то закуривает, большинство пляшет на месте, зажав винтовки под мышками и похлопывая рукавицами. Барсуков с сержантами невдалеке тоже приплясывает на снегу.

— Кончай перекур! — возвещает Филиппов. — Первое отделение — становись!

Бегом в строй. С Филипповым шутки плохи. Любит порядок.

— Нале-во! Шагом марш! Бегом марш! Стой! Равняйся! Смир-на! Ряды сдвой! Первая шеренга! Три шага вперед — шагом марш! Оружие положить! Оружие взять!

Лихо командует Филиппов. Знает свое дело, этим, наверное, и держится в запасном полку. И не замерзнешь с ним.

От домов отделяется какая-то темная фигурка и направляется к нам. Женщина. Молодая, растрепанная, без пальто, темный пла-ток накинут на плечи. Она бежит к нам, и большие валенки неуклюже проваливаются в снег. Что ей надо?

— Товарищ командир! Товарищ командир! — срывающимся голосом произносит она и вдруг плачет, закрывая глаза платком.

— Что такое? — подходит Барсуков.

— Карточки... Хлебные карточки...

Худенькая фигурка в больших валенках трясется на снегу.

— Ваш солдат заходил... Просил пить... и хлебные карточки... Двое детей... Муж убит на фронте... — Она прислоняется к Барсукову, головой на плечо, вся — комок горя и отчаяния.

— Взвоо-од! — взрывается Барсуков. — Становись!

Мы в строю.

— Который?

— Вот этот! — показывает женщина на Жижири.

Барсуков белеет от бешенства. Быстрыми шагами, почти бегом направляется к Жижири.

— Нэ брав я, нэ бачыв той карточки! — кричит Жижири. — Шо вона, сказылась?

— Молчать! Филиппов! Обыскать!

Филиппов засовывает руки в карманы шинели Жижири, потом снимает с него шинель и ищет в брюках и гимнастерке.

— Снять гимнастерку! — хрипит Барсуков. Красные пятна бегут по его лицу.

Жижири снимает гимнастерку, разматывает обмотки, снимает ботинки. Женщина, вся подавшись вперед, напряженно следит за обыском.

— Нету, товарищ лейтенант! — говорит Филиппов.

— Я ж казав — нэ брав, — ворчит Жижири, — тильки поморозылы чоловіка...

Женщина снова плачет. Барсуков стоит как каменный. На скулах играют желваки, лихорадочные пятна покрыли все лицо.

— Обыскать весь взвод! — хрипит он и рубит воздух рукой. — Всех по очереди! Раздеть до белья!

Сержанты бросаются выполнять приказ. Обыскивают Перлыка. Он стоит в одном белье и дрожит. Серое белье на белом снегу. Карточек нет. Молодчий сам сбрасывает одежду и выворачивает карманы — нет, Парамонов — нет, Лебедев — нет.

Следующая очередь моя. Я расстегиваю ремень, и вдруг Пелепец выбрасывает на снег смятые бумажки...

— Вин пэрэдав мэни... А шо, я ничего нэ знаю... — нудит он, когда Филиппов подскакивает к нему.

— Эти? — спрашивает Филиппов женщину.

— Они! — Она хватает, лихорадочно пересчитывает и, забыв поблагодарить, бежит к дому, судорожно сжимая карточки в посиневшем кулаке.

— Ну, сволочь! — Барсуков наотмашь бьет Жижири по лицу. Раз! Другой! Третий! Тот падает. Встает. На лице — кровь.

— Построить взвод! — хрипит Барсуков.

Перед взводом, стоящим по стойке «мирно», с Жижири снимают пояс, и Барсуков собственноручно с бешенством срывает с него погоны. В сопровождении Канищева его отправляют в штаб батальона, а оттуда — на «губу» на семь суток.

Вернулся он с «губы» молчаливым, с синевой под глазами, бледным и притихшим. На вопросы не отвечал. Когда надевал шапку — морщился, на голове — засохшие стружья — память о «присяге».

## НОЧНАЯ ТРЕВОГА

— Четвертая рота! В ружье!

Я толкаю Замма в бок, мы скидываем наше одеяло и кубарем скатываемся с нар. Нога моя нащупывает деревянный приступок, вторая старается угодить между Лебедевым и Кузнецовым, которые уже поспешно мотают портянки.

— Быстрой! — мечется полуодетый Канищев. Мелькают руки с ботинками, взлетают рукава гимнастеров, звенят пряжки поясных ремней. Тускло светит казарменная лампочка.

Надеваем шинели, подпоясываемся, из коридора слышны шум и суматоха — смежные взводы уже выходят.

— Становись!

С грохотом становимся, достегивая последние крючки, одергивая складки.

— Выходи строиться!

Выбегаем в коридор. На часах половина третьего. Что такое? Почему строится вся рота? Может быть, опять ночные учения? Тогда почему без оружия? Наверное, дадут дополнительную команду. Раньше о ночных учениях предупреждали, сейчас я замечаю, что сержанты сами не понимают, в чем дело.

Филиппов вполголоса разговаривает с Канищевым, потом торопит нас, потом куда-то исчезает.

Заспанные, теряя в стилом коридоре дорогое пододеяльное тепло, стоим мы в смутной тревоге, ожидая дальнейших распоряжений.

Проходят томительные минуты. Сержанты куда-то исчезли, офицеров нет, и рота начинает гудеть, как встревоженный улей.

— Обратно по снегу гонять будут!

— Учения, чи шо?

— Нэ учения — маневры...

— А ты виткиля знаешь?

— Чув.

— Переводить будут. В Кулебаки.

— А может, в маршевую?

Оборачиваюсь. Ну, конечно, — это Жаров. Он бредит фронтом и сейчас первый произносит слова, которые взбудораживают всех.

— Сказали бы!

— Хрен тоби сказать!

— Нет, это точно на фронт! — зудит Жаров. — Скоро наедемся.

— Там наисся... Девять грамм свинца...

— Кабы на фронт, то днем бы...

— Тихо! Борисов идет!

Сержанты влетают в строй.

Равняйся! Смирно! Равнение на середину! — выпаливает Филиппов. — Товарищ старший лейтенант! Первый взвод..,

— Отставить!

Я стою по стойке «смирно». Руки прижаты к бедрам, груди вперед, глаза «едят» начальство.

У начальства фуражка на затылке, диагоналевая гимнастерка выбилась из-под ремня, мутные глаза вылезли из орбит... Комроты с поднятой под козырек рукой идет вдоль строя, пошатываясь. За ним, метра за три, тоже с рукой под козырек, выбрасывая ноги как при церемониальном марше, следует старшина Ткаченко.

Я стою в первом ряду, и ноздри мои улавливают водочный дух. Дойдя до противоположной стены, Борисов поворачивается через левое плечо и, не удержавшись, врзается в строй третьего взвода. Его ловят, поддерживают и ставят на ноги. Кто-то из солдат поднимает и подает ему фуражку. Он механически надевает ее, медленно оглядывается на подавшего фуражку солдата и вдруг бешено и высоко орет:

— Как стоишь, сволочь? Смирр-наа! Как стоишь? И, внезапно повернувшись, поднимает руку к козырьку и снова шествует вдоль коридора, сопровождаемый старшиной.

Странная картина. Ночь. Тусклая лампочка освещает застывшую роту, перед которой ходят туда и обратно, нелепо козыряя, два вдребезги пьяных человека... Вот они опять повернули и опять идут тем же манером четвертый раз. Когда это кончится? Становится жутковато. Сейчас они могут сделать с нами все что угодно. Попробуй не подчинись!

— Рота! — вдруг рывкает Борисов и останавливается.

Пауза. Напряженно ждем.

— Рота! — продолжает он, еще больше выпучив бесцветные глаза. — Отставить!.. Старшина! Постройте... роту... для обыска...

— Рота, слушай мою команду, — гнусит Ткаченко и громко, утробно икает, — кто-то из вас слямзил у старшего лейтенанта деньги. Тридцать рублей. Если сейчас отдадите, пойдете спать... Если нет — до утра по стойке «смирно»...

— Смир-ноо! — вдруг выкрикивает Борисов, хотя мы и так стоим по стойке «смирно».

По роте — гул. Прояснилось. Мне даже интересно — что дальше?

— Первый ряд! — командует старшина. — Три шага вперед, шагом марш!

Бум-бум-бум.

Теперь мы стоим у противоположной стены, и я оказываюсь носом к носу с Борисовым. Он смотрит мне в глаза тупо и неподвижно. Красное лицо его перекошено. Глаза белые — то ли от злости, то ли с перепоя. С минуту он смотрит на меня, потом переводит взгляд дальше.

Пронесло.

— Сержанты! Обыскать! — кричит старшина.

— Первое отделение! Пояса снять! Карманы вывернуть! — командует Филиппов.

По ряду шум и движение. Сержанты хлопают нас по карманам, по обмоткам (деньги можно спрятать в обмотку), я слышу, как Филиппов, не обыскав меня, буркает себе под нос: «Додумались, гады, поспать не дают, падлы...»

— Второй ряд! Два шага вперед, — поет старшина, — шагом арш!

Бум-бум.

Начинается обыск второго и третьего рядов. Сержанты снуют между рядами, солдаты выворачивают гимнастерки, тихо ругаются, и сквозь разноголосый шум слышен хриплый голос-лай Борисова:

— Отставить разговоры! Молчать, сволочи, мать-перемать!.,

Обыск закончен. Ничего не нашли. Сержанты докладывают о результате.

Минуту Борисов думает, опустив голову, потом вскидывает ее и кричит:

— Второй ряд! Два шага назад, шагом марш!

Бум-бум!

— Первый ряд! Три шага назад, шагом марш!

Бум-бум-бум!

— Равняйся!

Мы вытягиваем шеи направо, и, скосив глаз, я вижу, что часы уже показывают без двадцати четыре.

— Смирр-ноо!

Тишина. Все ждут — что дальше?

— Гимн Советского Союза! — торжественно произносит Борисов. — Запевай!

Молчание. Такого не ожидал никто.

— Запевай! — глаза Борисова от бешенства снова вываливаются из орбит.

Тонко и нудно затягивает кто-то из третьего взвода: «Союз нерушимый...», и мы подхватываем сиплыми голосами: «...republik свободных...»

Борисов и Ткаченко торжественно берут под козырек, поворачиваются и под звуки гимна начинают снова вышагивать вдоль строя. Впереди Борисов, за ним Ткаченко.

Мы поем и славим наше свободное отечество, дружбы народов священный оплот, а два пьяных идиота тупо шагают перед сотней голодных и невыспавшихся парней, которые нарочно тянут пение, так как не знают, какая идея взбрдет в голову начальству, когда гимн закончится.

Тянутся последние строки гимна, когда в конце коридора появляется какой-то незнакомый офицер. Он быстро идет к Борисову и что-то резко говорит ему. Я замечаю четыре звездочки на его погонах. Капитан. Не наш. Может быть, из штаба полка?

— Отставить! — рывкает Борисов.

Тишина.

Комроты и старшина уходят за капитаном, а Филиппов бежит за ними в штаб батальона, затем возвращается и весело кричит:

— Вольно! Рота, разоидись!

Кучей кидаемся мы к двери. Давка, шум. Дорога каждая минута. Два часа сна пропало зря. Пулей раздеваемся и лезем под одеяло.

Никаких разговоров.

Скорее спать.

Спать до подъема осталось немного.

## ЗИМНИЙ ПОХОД

— Четвертая рота! Подъем!

Летят в сторону одеяла, вскакивают в полутьме серые тени, лихорадочно натягивают на себя одежду.

— Умываться — бегом марш!

Выбегаем в холодный вестибюль.

У длинных жестяных рукомойников толпа в грязно-белых рубашках. Бледные мокрые лица, синевато-красные уши, от мокрых рук идет пар. Все делается наспех, моемся без мыла, его нет.

Быстро плещу себе на руки ледяную воду, крепко тру их, несколько раз провожу мокрыми руками по лицу. Долго здесь не удержишься — холодно и в спину тычут — освобождай! С боков толкаются, всем тесно, рукомойники не рассчитаны на такое количество людей. Вытираюсь кое-как и бегу в казарму. Там все-таки теплее и можно, надев гимнастерку, постоять минуту-две около теплой трубы, если место не занято.

— Первый взвод! Становись!

С грохотом становимся поотделенно. Впереди меня сутулые плечи Замма, сзади дышит Пашков.

— Напра-во! Равняйся! Смирно! Равнение на середину! Товарищ лейтенант! Взвод выстроен. Докладывает сержант Филиппов!

Сказал как отчеканил. Даром что маленький, а боевой у нас сержант!

Барсуков обходит взвод. Его острый профиль сегодня как-то особенно четок. Яркие пятна резко проступают на белом, чистом лице.

— Вольно! — командует он, и мы расслабляем левую ногу. — Слушайте меня внимательно, — говорит Барсуков, резко повер-



нувшись. Он всегда резок в движениях, голубоватая шинель сидит на нем ладно, португя браво пересекает грудь, шапка из серой цигейки ловко сидит на голове, сапоги всегда ярко начищены. Щеголеват наш командир. И, пожалуй, красив какой-то нервной, броской красотой.

— Сегодня начинаются учения в полевых условиях...

Мы притихаем.

— После завтрака получить лыжи, подогнать.

В восемь ноль-ноль выходим. На трое суток. Ночевка в лесу. Общий марш около шестидесяти километров.

— Сержант! Проверьте готовность взвода, получите вещмешки, котелки, сухой паек.

Лейтенант выходит, а мы сбиваемся в плотную кучу и обсуждаем предстоящее.

— Ну шо вони дадут на той сухой паек!.. — жестикулирует Жижири. — Хлиба трохи да крупы того мене...

— Да половины сержанты заберут до сэбэ, — вставляет Перлык.

— Потянем ноги шестьдесят километров...

— Хиба ж можно ночуваты у лиси у таку люту морозыну!

— На завтрак становись!

Выходим на улицу и сразу замечаем, что мороз стал сильнее. Пар изо рта вырывается клубами и стоит белым облаком над нами. Филиппов сегодня не придирается, не заставляет по два-три раза начинать марш с места. Он озабочен и торопится.

Столовая встречает знакомым запахом баланды, звоном мисок, разноголосым шумом.

Щи, хлеб, сахар, чай. Все.

— Выходи!

Приятное закончилось. Теперь в поход. Каков он будет? Как мы будем ночевать в лесу? Выдержу ли шестидесятикилометровый переход сейчас, когда сил осталось так мало?

Лыжи неожиданно достаются мне хорошие: легкие, светлые, с новыми креплениями. Пробую их на ходу. Идут хорошо, и ноги не забыли автоматiku движений.

Кругом все прилаживают лыжи, озабоченно снуют сержанты, раздают вещмешки, распределяют сухой паек.

Мимо пробегает на лыжах Борька Юхимец. Автоматически отмечаю его легкий раскатистый спортивный шаг. За ним трюхает Жигалка, виляет задом.

— Жигалке хлеб не давать! Опять сожрет половину!

Замм ковыляет мимо меня. Левая лыжа наезжает на правую. Падает.

— Перемени лыжи!

— Нет больше лыж, — уныло отвечает он, счищая снег с шинели.

— Да ты перемени лыжи на ногах. Ты когда-нибудь ходил на лыжах?

— Я? Нет! Тоже мне удовольствие!

Вот чудило...

Мысленно проносятся передо мной Угоры, утонувшие в снегу, и наши лыжные вылазки ночью. Мы собирались втроем: Олег, Женька и я становились на лыжи и, миновав почту, выходили на высокие склоны Унжи.

... Снег под луной сверкает зеленоватыми округлыми пятнами, окруженными глубокой черной синевой, где-то внизу елки, запорошенные снегом, причудливо рисуют странный узор; Унжа лежит далеко внизу голубовато-зеленой полосой.

Тишина. Сзади темные силуэты изб с красноватыми огоньками в окнах, а впереди безмолвие.

Олег гикает и срывается вниз. Я отталкиваюсь палками и лечу за ним. Лыжи все ускоряют ход, я сгибаю ноги и прижимаю палки к бокам, отнеся их назад, ветер уже свистит навстречу, выжимая слезы из глаз. Только бы удержаться! Еще быстрее несут лыжи, лечу почти на короточках, весь подавшись вперед, и каким-то седьмым чувством сохраняю равновесие... Голубые и синие пятна летят мимо. А вот и снежная гладь реки. Распрямляюсь понемногу — раз! — и взлетаю на крутую горку противоположного берега.

Невдалеке смеется Олег:

— Ну как?

— Здорово! — выдыхаю я и утираю выжатые ветром слезы.

Жарко. На душе праздник, и лунная красота воспринимается удивительно ощутимо. Морозный воздух, как яблоко, — душистый и сладкий...

Мы поджидаем Женьку, который, благополучно съехав с большой горы, взлетает на маленькую и кубарем валится в снег. Мы хохочем на всю Унжу и опять забираемся на высокий берег, чтобы снова и снова почувствовать себя летящей в голубом свете птицей!..

— Рота! В ружье!

Рота выстраивается перед казармой. Мы в полном походном снаряжении. Лыжи стоят у правой ноги. Борисов ходит перед нами и объясняет боевую задачу. Сегодня он, кажется, трезв, и от этого еще злее, чем всегда. Короткие фразы и слова вырываются без видимой связи и повисают в воздухе. Командиры взводов докладывают о готовности.

— На лыжи становись!

Шум, скрип ремней, стук лыж об автоматы.

— Повзводно... — хрипит Борисов, — шагом... марш!

Пошли. Поплыли назад кирпичные дома, покосившиеся черные бараки, дымки над трубами унылых канашских жилищ. Идем гуськом друг за другом, постепенно входя в темп. Филиппов прокладывает лыжню. Маленький, юркий, он уверенно бежит на лыжах, иногда оглядывается назад, досадуя на тяжело идущего за ним Перлыка. За Перлыком идет Парамонов, умело идет: чуваш, лыжи знакомы с детства. Молодчий идет ровно и сильно, длинные ноги размашисто меряют снежную целину. Я обгоняю Замма и скольжу за Молодчим.

Мы уже оставили город и вышли на лесную дорогу, которая уводит нас в тоннель густого осинового леса. Лыжня становится четкой и удобной, сердце вработывается в ритм бега, я согреваюсь и иду легко. Сквозь белесую мглу вокруг выглядывает солнце, и все моментально хорошеет, преобразуется, лес начинает светиться и цвести, снег играет голубым и розовым, и от этой забытой красоты, от горячего тела в ритмичном движении становится хорошо. Лес сменяется полями, поля снова лесом, а мы идем и идем. Бодрость и задор первых километров начинают сменяться усталостью, ляжка автомата натирает плечо. Темп наш угасает, мы идем медленнее и ждем привала, где нам обещали дать кое-что из сухого пайка. Привал. Раздают холодные ломти хлеба и кусочки сала. Мы осторожно перекладываем из ладони в ладонь небольшие беловатые квадратики, не решаясь отправить в рот это солоноватое чудо. Подобраны с шинели все крошки, об-

лизаны пахнущие салом пальцы, и снова лыжи на ногах, автомат бьет по спине, а мы идем в сумерки январского вечера, испытывая после еды мучительное чувство голода.

Уже совсем темнеет, когда нас заводят с дороги в лес и объявляют ночевку. Все предельно устали, но мысли о предстоящем отдыхе, особенно о возможном горячем ужине, подбадривают нас и заставляют двигаться быстро, действовать споро.

Барсуков распоряжается, четко и деловито:

— Первое отделение! Снимать снег до земли.

— Второе отделение! Строить шалаш. Рубить жерди.

— Третье! В лес за лапником и дровами.

Мы расчехляем лопатки, опускаемся на колени в снег и начинаем вырезать большие пласты слежавшегося наста.

Глубок снег в чувашском лесу. Мы режем, роем и выкидываем тяжелые пласты, а земли все не видно. Наконец лопатка упирается во что-то твердое, и очередная порция снега выбрасывается пополам с землей и присохшими листьями.

Становится совсем темно. Мы работаем все упорнее — только в движении можно согреться. Снуют темные силуэты, рядом со мной копошатся в снегу согбенные фигуры товарищей. Мы подчищаем остатки снега. Чернеет дно прямоугольной снежной ямы площадью около двадцати метров. Сверху бросают валежник, и Филиппов поджигает его. Маленький желтый огонек, внезапно возникший среди холода и тьмы, замораживает всех. Усталые солдаты останавливаются с грудями дров и охапками еловых веток в руках и смотрят как зачарованные на растущий, разгорающийся костерок.

— Что встали? — кричит Филиппов. — А ну, за дровами бегом!

По колену утопая в снегу, идем в лес, наощупь угадывая стволы деревьев и спины товарищей. Мороз крепчает. Невдалеке мы замечаем красные отсветы костров второго и третьего взводов. Черные тени снуют вокруг них, копошатся, тащат поклажу к своему муравейнику.

Нарезав еловых лап и набрав дров, возвращаемся к своему взводу. На всей площади обнаженной нами земли пылает, краснея и треща, веселый прямоугольник огня. Филиппов и Смирнов длинными палками разгребают горящие ветки, раскидывают их по углам. Мы стоим как замороженные у края светящейся ямы,

мечтая, чтобы нас уже больше не гнали обратно в лес, но идти приходится снова и снова, и только когда куча хвороста начинает быть выше наших голов, а костер превращается в угли, нам приказывают начать строить шалаш. С трудом двигаясь от холода, мы возводим толстые жерди, переплетаем их тонкими, укрываем лапником в кромешной тьме. Рядом угадываются голоса товарищей,двигающихся автоматически, работающих, падающих и снова встающих.

Последнее дело: лапник укладывается на тлеющие угли, «двери» заделываются плащ-палаткой от ветра. Наш дом готов.

Мы сидим скорчившись, прижавшись друг к другу, молча и напряженно глядя на пылающий в центре костер, на ведро с шипящим тающим снегом и на грязно-желтые кубики пшеничного концентрата, разбиваемые саперной лопаткой.

Как в полусне, оглядываюсь вокруг. Низко нависают над нами темно-зеленые колючие своды, и верхние языки пламени с хрустом лижут отдельные веточки. Чернеет ведро с кашей в рубине костра. Спереди пышет жаром, сзади поддувает стужа, зато снизу, из-под лапника, на котором мы сидим, тянет теплом. Здорово все-таки придумали — прогреть землю.

На коленях нарезают хлеб, и вот наступает долгожданный миг: мы отхлебываем из котелка горячую жидкую кашу, строго соблюдая очередь, — сначала Замм, потом я. По полкотелка на двоих да обычная двухсотграммовая пайка хлеба.

Ночь. Слышно, как воеет ветер за непрочными стенами нашего «дома». Ноги, придвинутые к костру, жжет, спина мерзнет. Ворочаются, бормочут во сне солдаты, поворачивая к костру то один бок, то другой.

У костра, нахлобучив шапку по самые брови, сидит Барсуков и задумчиво подкидывает ветки в костер.

— На лыжи становись!

В предрасветной мгле и стуже начинается обратный путь. Темные ели расступаются перед нами. Серо вокруг. Ноги тяжело передвигают лыжи. Двигаемся медленно, проваливаясь по насту. Светлеет.

Старый лес уступает место перелеску. Перелесок выводит нас на дорогу. Трудно войти в ритм, а ведь это только начало. Впереди тридцать километров. Вытянем ли?

В Мантурово я довольно легко ходил сорок километров за восемь часов. А сейчас...

Движение часто задерживается из-за того, что кто-нибудь падает, а потом долго и неловко поднимается. Филиппов бегает то вперед, то назад, ругает и подбадривает падающих. Сам он бодр и легок на ноги, как и прежде.

Минуем чувашскую деревню. Глухие высокие заборы. Собаки лают из подворотен. Темные крепкие избы. Резные наличники. У околицы бабы, замотанные платками по самые глаза, молча смотрят нам вслед.

Деревня осталась позади. Навстречу нам катят сани с гармонистом. Слышна музыка, пение, сани убраны лентами, за ними еще одни сани. Поравнявшись с нами, сани останавливаются. Музыка смолкает. Смотрю на них из-под воротника. Девки в обнимку с парнями. Гармошка. Другая. Ленты, вплетенные в лошадиные гривы.

— Свадьба... — хрипло вздыхает кто-то сзади.

Снова идем, опустив головы, а ветер усиливается и колет лицо острыми снежинками. Лыжи проваливаются и совсем не скользят.

...Свадьба... Это из другого мира... Что там бывает, на свадьбе? Танцуют, играют, едят... много едят... Да, это из другого мира. Серая белизна окружает нас, мимо тянутся поля. Ветер налетает все яростнее, валит с ног, забирается под одежду. Все чаще падают солдаты, и все медленнее становится движение. Колонна ползет, останавливается, снова ползет медленно, как усталая гусеница.

— Стоо-оой!

Поворачиваемся спиной к ветру, руки в рукава, треплются полы шинели.

— Снять лыжи! — слышится издалека, и колонна приходит в движение. Отстегиваем лыжи, связываем их вместе. Бечевками приматываем палки. Скорее зачоченевшие руки в рукавицы!

— На плечо! — Лес лыж взмывает над головами.

— Шагом маа-арш!

Идти стало легче, несмотря на то что проклятый ветер вырывает лыжи из рук, бьет ими по голове.

Вперед. Вперед. Впереди казарма, горячая баланда, а кругом серое стылое безмолвие.

Быстро наступают сумерки. Дня почти не было. Январь — дни коротки, а ночи длинны. Скрипит снег под ногами, качаются спины передо мной, сгорбленные, темные.

Опять теряется чувство реальности. Снег, снег кругом, шаг за шагом, шаг за шагом. Коченеет рука, держащая лыжи. Ноги в обмотках уминают снег. Стараюсь идти в след.

... Далеко-далеко мой дом, а может быть, и нет его уже. Падает человек передо мной, спотыкаюсь об него, но удерживаюсь.

— Руки помэрзли... — стонет он, и я узнаю Горьковца.

Барсуков подбегает к нам и поднимает упавшего. Я беспомощно топчусь рядом, все равно я бы не смог его поднять. Тьма обступила нас вокруг, и уже с трудом видно идущих впереди. Руки начинают коченеть всерьез... Голова туманится, и перед глазами рельефно всплывает далекий блокадный мираж... Ленинград... Снежная пустынная улица. Январь сорок второго...

... Я тащу тяжелое ведро по обледенелым ступеням, драгоценная вода плещется мне на валенки, они тоже все обледенели. Надо обязательно дотащить воду, но боль в заочевневших руках становится нестерпимой. Давлю ступеньки ногами. Еще ступенька, еще. Вот и облупившаяся коричневая наша дверь. Бью в нее окаменевшим валенком. Папа в черной меховой шапке, нахлобученной по самое пенсне, в сером ватнике и высоких валенках открывает мне дверь и забирает ведро. Я иду за ним, прижав к себе замертвелые руки, и слезы, помимо моей воли, катятся из глаз. Папа ставит ведро на холодную плиту, потом, стащив с меня варежки, укутывает руки байковым одеялом. Он трет их, дышит на них, а мне его очень жаль, такого большого, седого, в грязном сером ватнике, худого и небритого...

— Бодришь, ребята, бодришь! Скоро дойдем, уже десять километров осталось, — слышу я высокий голос Барсукова.

Этого еще не хватало — спать на ходу! Нельзя... Надо идти. Если упаду — некому тут меня поднимать...

Лыжи давят. Беру их в охапку. Хоть бы ветер стих, проклятый... Снова шагаем в непроглядную тьму...

Последние километры — самые тяжелые. Не помню деталей, помню только, что, шатаясь, добрались мы до казармы отдельными группами и поодиночке. Помню, как упал кто-то на кафельном полу за дверями и остался лежать, не в силах пройти оставшиеся десять метров до нар, как его тащили под руки, а ноги бессильно волочились по кафелю.

Медленно, как во сне, заходим в нашу комнату. Огромным усилием поднимаюсь на нары и падаю, последним движением натянув на себя одеяло...

Через четыре часа нас поднимают на обед. Узнаю, что Горьковец, Кузнецов и еще трое отправлены в санбат с отмороженными руками и ногами...

## ПИСЬМА

Есть в моей армейской жизни одна по-настоящему большая, неизменная и ни с чем не сравнимая радость — письма.

По количеству писем, приходящих ко мне, я являюсь бесспорным чемпионом не только во взводе, но и в роте, и, возможно, во всем батальоне. Письма идут из Угор от мамы и Мирры, из Ленинграда от папы и Лили, от ребят и воспитателей детского дома.

Каждый раз, когда появляется писарь с пачкой заветных треугольников, проштемпелеванных военной цензурой, я бросаюсь к нему навстречу и никогда не обманываюсь.

Писарь, держа в руке пачку, деловито выкрикивает:

— Молодчий — письмо, Ринка — письмо, Замм — письмо, остальные Разумовскому.

Я жадно разворачиваю треугольники, и мой нынешний мир перестает существовать. Я погружаюсь в иной мир, родной, теплый, любящий, любимый, кажущийся отсюда каким-то ирреальным и сказочным.

Письма я держу всегда при себе. Плотно сложенные в пачках, они уже выпирают из карманов гимнастерки, и у меня проблема, где их хранить, Забегая вперед, могу сказать, что сохранил бы их как самое дорогое на всю жизнь, однако судьба распорядилась иначе, и мое самое дорогое пропало где-то в карельских болотах внутри окровавленного вещевого мешка.

— И шо воны тоби пышуть та пышуть? — раздается из-за плеча, и я вижу насмешливое и одновременно недоумевающее лицо Жигалки. — Шо им робыты нэмае чога?

Канаш — Вышний Волочёк

Поезд катит нас в летние лагеря.

Ходят слухи, что в Вышний Волочёк — поближе к фронту.

В нашем вагоне неожиданное прибавление: вместе с Барсуковым на нарах сидит белобрысая молодая женщина с большим животом. Он неуклюже заботится о ней. Шех тоже проявляет к ней внимание, крутится рядом, устанавливает чемоданы, приносит



пить. На остановке он убегает с запиской Барсукова в хвост эшелона, где разместилась кухня, и приносит оттуда персональный котелок. Барсуков открывает крышку, и мы все, как по команде, поворачиваем носы — по вагону разносится неопиcуемый аромат тушеной картошки с мясом.

Первым в котелок залезает Барсуков, потом к нему присоединяется женщина. Насытившись, они передают котелок Филиппову, после Филиппова котелок переходит к Смирнову — ротному писарю, и уже после него доскребывает остатки со стенок Шех — «лучший боец». По субординации, стало быть, эта женщина ниже Барсукова, но выше помкомвзвода Филиппова...

— Кто это с лейтенантом, — спрашиваю я у Шеха, — жена?

— Жена? Баба она его, а не жена... ППЖ... Походно-полевая жена.

— А куда она едет?

— К родне везет. На кой ему беременная баба? Что — баб мало?

В раскрытые двери вагона ярко светит солнце. Бегут мимо бурые поля со светлыми пятнами свежей зелени, пахнущий почками ветерок врывается в вагон. Сегодня двадцать третье апреля, через семь дней мне стукнет восемнадцать.

Все-таки насколько лучше жить весной!

Стоишь в одной гимнастерке, вдыхаешь аромат тополей, покрывшихся зеленым пухом, и так становится хорошо, легко, чем-то родным, забытым веет из открытых дверей вагона.

В довершение моего радостного настроения я слышу голос Барсукова, назначающий наряд на кухню, — моя фамилия произносится первой. Старший по наряду — он сам.

Ура! Быстро собираемся и на первой же остановке бежим в хвост эшелона.

Вагон-кухня довольно чист, доски пола выскоблены почти до бела, стенки окрашены белой краской. Одну треть вагона занимает плита с трубой, уходящей в прорубленное в крыше отверстие. По стенкам вагона широкие полки-столы, стоят мешки с картошкой, и повариха предлагает нам, не медля, взяться за дело.

Мы чистим картошку, на остановках бегаем за водой, таскаем тяжелые мешки с крупой.

Барсуков с сержантом приносят из вагона-склада мешок, из которого выкатывают блестящие банки со свиной тушенкой. По-

вариха пересчитывает их, подписывает накладную и расставляет на столе.

Не могу оторвать от них взгляда. Пятнадцать килограммов банок американской тушенки поблескивают золотом своих круглых латунных боков. Какое богатство!

Поезд замедляет ход. Лязгают буфера. Остановка.

— Коваленко, Разумовский, за сухарями на склад! Быстро! Пока стоим, чтобы обратно! И смотрите, чтобы точно по весу!

Хватаем накладную и мчимся вперед, к паровозу. Не могли уж вагон-склад поставить рядом с кухней! А впрочем, не все ли равно?

Сержант-кладовщик берет накладную, прикалывает ее на гвоздь, торчащий из стенки, небрежно кивает на один из больших мешков. Мы вдвоем поднимаем мешок и тащим его на зеленые товарные весы, но кладовщик, стоявший до этого к нам спиной и не соблаговоливший произнести ни слова, вдруг очень прытко отталкивает нас от весов и раздражается длинной и злобой тирадой. Из нее следует, что мы молокососы, дерьмо.

— Ишь, дрянь какая, — им вешать надо! Молчать, когда говорит старший по званию!

Мы возражаем. За нами сила — Барсуков. Мы требуем взвесить и грозим позвать лейтенанта.

Кладовщик приходит в ярость. Он кричит и брызгает слюной. Он орет, что весы неисправны, что он нам устроит «губу»...

Толчок — и поезд трогается.

Коваленко пулей выскакивает из вагона, я подаю ему мешок, он принимает его, и мы мчимся по насыпи в хвост навстречу медленно набирающему ход поезду. Быстрее, быстрее! Бежать трудно. Мешок тяжел, и ноги вязнут в песке. Над нами, погромычивая, проплывают вагоны, колеса начинают крутиться веселее, и мы чувствуем, что все пропало — мы не успеем прыгнуть в вагон-кухню.

— Стой! — задыхаясь, кричит Коваленко.

Мы останавливаемся в полной растерянности.

Мимо нас проплывает очередной вагон. Дверь теплушки раскрыта, и оттуда торчат чьи-то головы.

— Давай сюда!

Хватаем мешок и снова бежим рядом с колесами, но уже по ходу поезда. Нас замечают из дверей, нам что-то кричат, протягивают руки.

Когда черный проем догоняет нас, мы дружно вскидываем проклятый мешок, несколько рук подхватывают его и затаскивают внутрь. Последним усилием мы цепляемся за перекладину и уже на полном ходу вскакиваем в вагон.

Нас встречает многоголосый рев. Десятки лиц свешиваются с нар. Избавившись от одной опасности, мы оказываемся перед другой, может быть, худшей: пять или шесть человек, втащивших нас с мешком, копошатся над ним, вспарывают холст и погружают руки в сухари!

Мы бросаемся вперед.

Я с ходу отгалкиваю одного парня, Коваленко наотмашь бьет по морде другого; врзавшись в гущу тел, мы расталкиваем, что-то истошно орем, я падаю на распоротый мешок животом, а Коваленко сверху отбивается от целой кучи нападающих...

— Сухари! Хватай сухари! Тяните их, хлопцы!

— Они еще и дерутся!

— Дайте им в морду!

Мы вдвоем против целого вагона.

Мне попадает два раза по затылку, но я лежу, вцепившись, как клещ, и своим телом закрываю широкую прореху. Кто-то тянет меня за ноги, я лягаюсь и попадаю во что-то мягкое. Коваленко сверху что-то кричит, я чувствую, что меня перестают давить.

— Для комбата, для комбата сухари! Вы что, хлопцы, ума решились? — кричит Коваленко. Лицо у него все в пятнах, ворот разорван, — видно, ему там, наверху, больше досталось.

— Это комбат нас послал! — подтверждаю я. — Вот мы сейчас позовем его сюда — давай, бери сухари, наваливайся!

Слово «комбат» действует. Наши противники стоят вокруг, ругаются, но нас не трогают. Весь остальной вагон с интересом смотрит за происходящим и подуськивает своих. Мы переругиваемся еще несколько минут, и поезд снова останавливается.

Ни секунды терять нельзя. Коваленко быстро хватается полгачивший мешок и выбрасывает его на насыпь, я прикрываю его с тыла, расталкиваю сгрудившихся у дверей солдат, мы получаем напоследок еще две-три оплеухи и выскакиваем на насыпь. Вслед нам несутся крики и свист.

Теперь срочно — собрать рассыпавшиеся сухари — и ходу на кухню. Сейчас расскажем Барсукову — уж он им покажет. Не знают они, гады, нашего лейтенанта! Не знают, с кем связались!

Взбудораженные и злые, влетаем мы на кухню и, перебивая друг друга, рассказываем Барсукову о происшедшем, просим его пойти с нами в тот вагон и учинить расправу.

Но происходит странное. Лейтенант как-то вяло, не «по-барсуковски» реагирует на наш рассказ, почти не отвечает нам, а продолжает разговор с наседающей на него поварихой.

Разгоряченные боем и бегом с мешком, мы сначала не улавливаем, что здесь происходит, но потом постепенно примолкаем, и я широко раскрываю глаза и уши.

На полке-столе стоят раскрытые банки с тушенкой. Барсуков стоит с консервным ножом в руке, переминается с ноги на ногу и как-то странно оправдывается перед поварихой:

— Не знаю... не видел... наверное, столько здесь и было... да куда ж ей деться?

— Куда деться? — орет повариха, вся красная от натуги и злости. — А где тушенка с трех банок? В котел забросили? А кто разрешил вам производить закладку? А пустые банки где? Сейчас акт составим, комбата вызову! Ворье проклятое!

— Пустые выбросили, — тихо говорит Барсуков, — зачем пустые банки держать... а вообще, я не знаю... сержант, ты не видел, где банки?

Смотрю, слушаю и не могу поверить. Как? Неужели и Барсуков? Поборник справедливости, яростный враг воровства — Барсуков! Не может быть!

Но по тому, как суетится наш славный командир взвода, как он прячет глаза, как невразумительно и не попадая отвечает на яростные наскоки поварихи, мне все становится ясно...

Стучат колеса, весенний ветер гуляет по вагону, солнце прожекторными лучами врывается сквозь щели.

Стучат колеса: в Во-ло-чѣк. В Во-ло-чѣк. В Во-ло-чѣк...

## ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

На этот раз проворовался Скрипниченко. Пару дней тому назад его командировали на склад помогать. Сегодня он снова появился во взводе, тихий, со своими прячущимися по углам глазами.

— Ну и дурак! — приветствовал его Филиппов. — Вот, говорят, пусти козла в огород! Ну что тебе там не сиделось? Сала — от пуза, хлеба — ешь не хочу, так нет, понадобилась тебе эта банка!

— Нэ брав я той банкы, — тихо говорит Скрипниченко.  
— Врешь, падло! По глазам вижу, врешь, тую банку еще найдем — на «губу» пойдешь!  
— От мэни бы туда, на склад! — мечтательно тянет Жигалка.  
— Да уж, ты бы там прижился! Колом бы не выгнать.  
— А скильки сала у той банкы?  
— Та два кило. Амерыканське сало.  
— Ого! Вот это дал! Жирно исты будэ Скрипниченко!  
— Нэ брав я той банкы, — тихо и безнадежно повторяет Скрипниченко.

Мы кончали ставить палатки. На свежие, пахнущие смолой срубы уже были натянуты серые брезентовые верхи, внутри палаток слышался веселый перестук молотков, солдаты заканчивали нары. Желтая стружка окружала палатки и золотистыми кудрями устилала мох.

Лагерный городок был почти закончен. Ряды палаток встали у края леса, дорожки, проложенные между ними, темнели умятой землей, а дерн, вырезанный из почвы, окаймлял их зеленой полосой. Армейский порядок нарушил мягкую красоту лесной анархии, пробороздил квадратами зеленую траву, поставил в шеренги серые купола палаток, держащие строй по натянутой бечевке, строго в затылок друг другу ушли в глубину леса палатки других рот. Принцип построения прост: первый ряд у дороги — первая рота, в затылок ей — вторая, дальше — третья и последней наша, четвертая. Рота делится на взводы, разделенные между собой дорогами вглубь. Взвод состоит из отделений — каждое в своей палатке. Палатки отстоят друг от друга на три метра. Взводы на шесть. Порядок, армейский идеал.

Некоторые палатки уже готовы, и около них наводят красоту: солдаты метут дорожки, вырезают дерн саперными лопатками и обрамляют ими ходы. У первого ряда я замечаю пожилого солдата, который, стоя на коленях, что-то делает у своей палатки. Куча разноцветных стекол блестит на солнце яркой неестественной горкой драгоценностей. Солдат выбирает из кучи стёкла и выкладывает ими у палатки ордена.

Это идея! Я отпрашиваюсь у Филиппова в лес, где еще вчера заметил большие кучи битого разноцветного стекла. Откуда оно там? Может быть, свалка какого-то стекольного завода? Набив полную гимнастерку стеклом, я возвращаюсь к палатке. Ссыпаю

стекла, разравниваю землю у входа и начинаю творить. Что нарисовать? Красивое и нужное? Ленина, конечно. Откуда же его срисовать? А комсомольский билет на что? Черными блестящими стеклами выкладываю портрет Ленина, подбирая куски, как мозаику, заполняя мелкие отверстия. Кусок к куску, стекло к стеклу, появляется черный силуэт Ленина на серой земле. Похож? Похож.

А вот фон ему — голубые матовые стекла. Удачное сочетание! А как издали? Здорово!

Быстро выкладываю фон. Что же сделать с другой стороны входа в палатку? Сталина, конечно. Я бегу в штаб батальона, запрашиваю печатный бланк ротной стенгазеты и бегом возвращаюсь к палатке. Со знамени срисовываю силуэт головы Сталина и начинаю выкладывать черными стеклами.

Кто-то встает за моей спиной. Оглядываюсь. Подполковник Галат, командир нашего полка, стоит и, не отрываясь, смотрит на мою работу. Я вытягиваюсь.

— Вольно. Продолжайте.

Опускаюсь на корточки и заканчиваю силуэт. Подобрал одинакового размера голубые стекла, я обхожу ими по контуру портрета, аккуратно вдавливая в землю. Теперь фон пойдет быстро.

— Оставьте так, — это Галат.

— Нет. Нельзя.

— Почему?

— Должно быть симметрично. Как Ленин, так и Сталин.

— Художник?

— Нет. Так, немного рисую.

— Значит, будете. Хорошо делаете.

Галат поворачивается и уходит. Филиппов выскакивает из палатки.

— Ты что? С самим Галатом говорил?

— Да.

— А чего он?

— Смотрел, что я сделал.

— Ух ты! — замечает мою работу Филиппов. — Вот это да! Да ты здорово можешь! Похвалил подполковник?

— Похвалил.

— А чего он сказал?

— Сказал, фон делать не надо.

— А ты чего?

— А я сказал: нельзя.  
— Почему?  
— Потому что нельзя, и все.  
— Дак... — Филиппов замолкает на полуслове и несколько секунд очумело смотрит на меня, как будто первый раз видит. Потом, опомнившись, открывает парусиновый вход в палатку и кричит:  
— А ну, вылетай, смотри, что Разумовский натворил!  
За моей спиной толпа. Ну до чего ж необычны похвалы!  
После обеда я заканчиваю. Голубой фон внизу обрамляется Кремлевской стеной и башней со звездой. Теперь все.  
К нашей палатке ходит весь батальон. Солдат, выкладывавший ордена, побежден, я в фаворе, обо мне говорят, за ужином сам Филиппов выдает мне вторую порцию каши. До чего дошло!

### ПОСЛЕДНЯЯ МЕДКОМИССИЯ

Члены отборочной комиссии сидят за столом на открытом воздухе, в тени высоких деревьев.

Сколько их было, этих медкомиссий! Но эта — особая, последняя, — она отбирает на фронт.

Мы стоим в очереди, обнаженные до пояса, и ждем, когда нас вызовут. Члены комиссии осматривают каждого из вызванных, задают стандартные вопросы и разделяют — здоровых направо, с жалобами налево, для дополнительного осмотра или на ВВК.

Пошел наш взвод. Десять шагов вперед, приседание, два поворота.

— Кулик! Десять шагов вперед. Приседание. Жалобы есть? Следующий!

Сзади знакомый гнусавый голос:

— Вот сейчас Разумовский налево пойдет... Вот увидите. На фронт не поедет... вот увидите...

Как он мне надоел!

— Следующий!

Снимаю очки, прячу в карман.

— Фамилия!

Отвечаю.

— Кру-гом! Нале-во! Напра-во! Присесть! Жалобы есть?

— Нет.

— Направо. Следующий!  
Отхожу направо. В строй. Надеваю очки.  
Все. Еду на фронт  
Ну что, Жаров, выкусил?

## НА ФРОНТ

Ну вот и свершилось!

Мы уже не запасники — мы уже маршевая рота!

Это ощущение наглядно и осязаемо в новых гимнастерках, крепких блестящих ботинках, скрипящих ремнях, в шуршащем ворсе новеньких шинелей и сказочно чистом, прямо со склада, новом белье. Оглядывая наш неузнаваемый строй, Филиппов добродушно ухмыльнулся и изрек:

— Ну, фронтовики! Вас прямо хоть на парад!

— Тэбэ бы на той парад! — тихо проворчал стоящий за мной Жигалка...

Неясно вспоминается мне посадка в эшелон, увозивший нас на фронт.

Помню только суматоху последних минут, разбивку по вагонам, последние выкрики наших командиров, с которыми мы провели эти шесть долгих месяцев, топот ног, мелькание серых шинелей, суматошное распределение по двухэтажным нарам вагона.

Поезд еще стоит на путях. Слышны паровозные гудки, свистки, грохот пронесшегося локомотива... Наш вагон волнуется и гудит.

— Где же портянки? Почему не дали? К маршевому обмундированию положены новые портянки!

— Ткаченко сказал, что потом раздаст.

— Та дэ ж то потом — уже идэмо на фронт!

— Вин казав, нэдополучэны...

— Брэшет, гад!

— Получил, наверное, и пропил!

— Дашь портянки!

Крики из нашего вагона разносятся по всей станции. Через двери вагона смотрю последний раз на стоящих на насыпи Барсукова, Борисова и Филиппова. Спиной к нам стоит Ткаченко и что-то им говорит. Куда-то побежал Канищев. Какой-то офицер подходит к нашим. Те вытягиваются и делают под козырек — на-



чальство, наверное. Красно и, как всегда, бессмысленно лицо Борисова. Подтянут и строен наш лейтенант. Фуражка Филиппова лихо сдвинута на затылок.

Гудок паровоза. Сейчас поедем.

Человек десять стоят в открытых дверях вагона и хором скандируют:

— Да-ешь пор-тянки! Да-ешь пор-тянки!

Ишь, осмелели... Фронтовики...

Среди начальства движение. Прибегает Канищев с каким-то свертком в руках и сует его Ткаченко.

Свисток. Гудок паровоза, и нас резко дергает. Тронулись.

Ткаченко бежит! С портянками!

Погромыживая, эшелон начинает набирать скорость. В открытые двери вагона летит сверток материи. Его ловят, что-то кричат и свистят вслед Ткаченко.

Едем. Стучим. Громыхаем. Трясемся.

Как все это знакомо и в то же время совсем по-другому — мы едем на фронт!

Посреди вагона раскидывают белую материю, измеряют ее и начинают резать на куски. А что ж так мало? Где ж тут на шестьдесят человек? Тут и на двадцать-то не наберешь! А тонкая-то какая!

Руководит мерильщиками Паршенков, он в нашем вагоне, и я впервые с большим интересом рассматриваю легенду нашей роты. Хриплый громкий бас Паршенкова покрывает все остальные голоса, он командует, бранится и громогласно объявляет, что нас надули, суки, обокрали и что недодали еще три таких свертка.

Что бы я ни думал о Паршенкове, но сейчас он прав. Я сам видел, как сверток влетел в вагон, и никто, конечно, не успел ни отрезать ничего, ни спрятать. Все, что было, — налицо.

— И что это за портянки? — спрашивает Паршенков, держа в руках тонкий белый кусок и демонстрируя его нам. — Утиральник, да и все...

— Хлопцы! — вдруг соскакивает с нар Жаров. — А ну, кажить мэни! — Он берет из рук Паршенкова материю, разглядывает ее и вдруг кричит: — Так то ж и есть утиральник! То ж я все понял! Я вспомнил! Нам к обмундированию маршевому по-

ложены новые носовые платки... Вот они их на ходу и кинулы, а портянки наши...

Стук колес заглушается общим воплем негодования.

Ну и Ткаченко! Воспользовавшись нашим неведением (один всзнающий Жаров вспомнил про новые платки, да и то поздно), он дождался последней минуты и на глазах батальонного начальства на ходу кинул в двери теплушки сверток, оказавшийся полотном для носовых платков, а портянки из белой фланели на целую роту остались у него в каптерке! И, наверное, завтра же пойдут на рынок...

Значит, воевать будем в старых портянках...

Ткаченко достается все, чем богаты русский и украинский языки, и в то же время среди проклятий явственно проступает нотка восхищения:

— Ну и старшина!

— Силен! Ничо́го не скажешь! Ведь как сумел, подлюка!

Да, действительно силен. Ну что против него какой-нибудь Жижири или даже Жаров? Щенки, да и только!

Паршенков залезает на верхние нары, и вокруг него сразу же образуется центр вагона. Жаров, умильно заглядывая ему в глаза, заискивает и тянет своим гнусавым голосом:

— Это ты, Миша (уже шестерит, гнида!), первый заметил, что утиральники, а не портянки... Я только вспомнил...

Паршенков густо похохатывает. Любит, когда перед ним лебезят.

— А помнишь, Миша, — продолжает Жаров, — друг у тебя был в распреде, так то друг был! Ой, какой друг...

Жаров полузакрывает свои маленькие глазки и покачивается от умиления перед бывшим Мишиным другом.

Кто-то из кружка Паршенкова вспоминает мраморное пресспапье и изображает перепуганного Борисова.

Паршенков хрипло хрюкает — смеется. Приятно вспомнить. И сейчас же рассказывается еще один случай, когда Паршенков бритвой разрезал четыре мешка у вахлаков: и сам поел, и нам досталось, и гроши были...

Воспоминания в полном разгаре. Все раскрылись, разоткровенничались. Ведь на фронт же едем — погибать, пропади оно все!..

— А я при нимцах в полиции служив, — неожиданно заявляет один из парней второго взвода.

— Та шо ж тут таке? Та и я тож полицай... Абы гроши да харчи...

Вот так так! Вспоминаю Филиппова — вот оно как...

— А нас нимци вагон с водкой один раз разгрузать поставили. Так мы грузили, грузили, а сами ящика три пид насыпь пустили...

Внимательно прислушиваюсь. Оказывается, не одни полицаи в вагоне, а есть и настоящие ребята... вредили немцам...

— А потом тую водку ввечери зибралы да три дни пилы, остальное продады на базари...

— У нас на гражданке кодла была, — берет слово Паршенков, и все почтительно замолкают. — И у них кодла — человек двадцать. Встретились на реке. Они, суки, против меня атамана своего выслали. Наши стоят, и они стоят. А мы с этим хмырем сходимся.

В вагоне тишина. Перестали жевать, перестали двигаться. Слушают. Говорит Паршенков.

— Он думал — я биться буду. А я не стал. К нему подошел, за кончик носа его взял и бритвой опасной тот кончик отрезал. И тому хмырю той кончик в морду бросил...

Общий крик восхищения, и опять тишина.

— Он охренел, кровью залился и назад. И кодла их подорвала... А ты, сволочь, падло, гад, — внезапно взрывается он, — помнишь, как капнул про меня лейтенанту?

В одну секунду он сбрасывает поперечную доску, установленную между нарами. Какой-то парень из второго взвода, притулившийся на ней, вместе с доской летит на головы сидящих внизу. Там он вскакивает и, держась за голову, — видно, ударился, — убегает в глубь вагона, подальше.

Паршенков, так же быстро, как пришел в неистовство, успокаивается и вдруг замечает меня.

— А этот — ваш Разумовский, как он, не капал? — говорит он, обращаясь к Жарову, а разбойничьи глаза сверлят меня.

Я весь напрягаюсь.

— Да нет, про него ничего худого не скажешь, — неожиданно заявляет Жаров. — А помнишь, Миша...

Пронесло. Спасибо Жарову. Не ожидал.

Укладываюсь на досках.

Стучит вагон, гремит вагон: на фронт, на фронт, на фронт...

## Часть вторая

### ФРОНТ

#### ПРИФРОНТОВОЙ ЛЕС

Зеленые шалаши из хвои — наши теперешние дома. Сделаны они добротнo и удобно. На полу каждого из них слева и справа — места для спанья, отгороженные стволами молодых сосенок и выстланные зеленым лапником.

Чисто, нарядно, зелено, и хорошо пахнет хвоей.

Стоят теплые летние дни, в лесу поют птицы.

Недалеко от нас большое, заросшее камышом озеро. Здесь много озер. Карелия — лесной, болотный и озерный край.

С самого начала — ЧП. Еще вчера, расположившись на указанном нам месте, мы с вечера услышали на озере взрывы. Все повскакали с мест, схватили автоматы, однако остановились по командирскому окрику: «Отставить! Вольно!»

Наш новый комроты, стоя спиной к озеру и затягиваясь трофейной папирсой, медленно выпустил дым и спросил насмешливо:

— Чего? Испугались? Не дрейфь! Братья-славяне гранатами рыбу глушат.

Побежали посмотреть. На берегу — толпа солдат. На траве — ведро с крупной рыбой. В озере, метрах в пяти от берега, двое голых вытаскивают всплывшую белыми животами вверх рыбу и бросают ее на берег.

Меня удивило равнодушие офицеров. Что нам, гранаты для рыбы дали? Странно. Но это, наверное, не единственная странность здесь.

А сегодня утром мимо нас пронесли носилки с ранеными... Что? Где? Почему?

Незнакомый рыжий и конопатый солдатик охотно делится с нами новостями:

— Энто, вишь ты, дурак нашелся рыбу глушить — вместо РГД противотанковую бросил. А она от удара в воду и рванула сверху. А разлет осколков у ей — сорок метров. Энтих, значит, в санбат, а троих закопали. И его самого тоже.

С первых же свободных минут мы бросаемся точить свои лопатки. Железо скребет, скрежещет, звенит о камень. Мы доводим лезвия до блеска, до остроты ножа. Без всякого приказа, без разъяснений нам всем ясно — чем острее лопатка, тем больше шанс выжить.

Постепенно узнаем наше новое начальство. Командир взвода — младший лейтенант Алексеенко — производит странное впечатление. Пожилой, мешковатый, без военной выправки. Говорит тихим голосом. К бойцам обращается на «вы», командует — как просит.

Как с таким воевать?

Другое дело командир роты — старший лейтенант Кунатов. Он тоже немолод, но на правой стороне груди у него ордена, а на левой — нашивки: четыре ранения! Две желтые ленточки — тяжелые ранения, две красные — легкие.

Вот это человек! Бывалый. Опытный. С таким не пропадешь!

Все они разные — наши новые фронтовые командиры, но одно общее резко отличает их от тыловых офицеров — манера обращения с бойцами. Они не собачатся, не «ставят себя», не придираются по пустякам. Напротив: налицо какой-то запанибратский тон, легкое развинчивание гаек, суетливая забота о наших нуждах. На этом мнении сходятся все.

Помощник командира батальона гвардии старший лейтенант Шагаев, высоченный и лихой мужик, проводит с нами занятия по изучению ручного пулемета Дегтярева. Вот Шагаев умеет командовать — голосина на весь лес! Щегольская светло-коричневая пилотка заломлена набок и чуть держится на ухе.

Он сидит в центре, а мы сгруппировались вокруг него плотным кружком.

— Кто у вас может оформить входы у шалашей? — вдруг спрашивает он, держа в руках пулемет. — Художник есть?

Несколько пальцев показывают на меня.

— Это хорошо. Значит, оформишь?

— Не знаю... Чем делать-то?

— А чем раньше делал?

— Там, в Волочке, стекла были. Цветные.

Кто-то рассказывает Шагаеву, как были оформлены палатки в Вышнем Волочке, и что даже сам товарищ полковник хвалил меня.

— Ну так давай! — нетерпеливо говорит Шагаев. — Думай! Стекол здесь нет. Может, шишками?

— Шишками некрасиво будет.

— Ну, думай, думай. Надо, чтобы красота была. Как в сказке. Чтоб боец в свой шалаш, как в храм, входил.

Я машинально верчу в руках найденную в лесу блестящую гильзу, показываю ее Шагаеву и предположительно говорю:

— Может быть, этим? Надо собирать в лесу...

— Во! Молодец! — радуется Шагаев. — А собирать в лесу — пусть серый волк собирает. Сколько тебе надо?

Страшный грохот заставляет нас отшатнуться в стороны. Кто сидел на корточках — падают друг на друга.

Шагаев держит пулемет стволом вверх и хохочет.

— Привыкай! Это фронт, а не у матки на печке.

Груда новеньких блестящих гильз валяется на земле. Шагаев снимает палец со спуска.

— Ну, хватит тебе? А то ты скажи — можно больше сделать. Сколько надо.

— Не надо, — говорю я. — Жалко патронов. Лучше мы в лесу собираем.

— Ишь ты, какой хозяйственный, — удивляется Шагаев. — Ну забирай и иди вкалывай. Чтобы к вечеру красота была. Как в сказке.

Набиваю карманы гильзами и ухожу делать красоту. Как в сказке. Пробую выложить ордена — не получается. Делаю звезды с серпом и молотом посередине и выкладываю лозунг: «Смерть немецким захватчикам!» Латунные гильзы плохо видны на желтом песке, все некрасиво и убого.

Зову Шагаева. Он в восторге.

— Вот и молодец! Не горюй, я еще из тебя человека сделаю!

Спасибо. Открывается блестящая перспектива...

Занятия. Мы много стреляем. Наконец-то нас учат делу, ради которого нас призвали в армию и ради которого мы напрасно мучились шесть месяцев в запасном полку, где каждый день занимались строевой подготовкой: поворотами налево и направо, топтанием на месте и стоянием по стойке «смирно». За полгода — три стрельбы, а здесь мы стреляем каждый день, и лежа, и стоя, и на ходу по движущейся мишени, всерьез учимся окапываться, а также стрелять из ручного пулемета, который оказывается почти непосильно тяжелым для наших тощих от полугодового недоедания рук.

Кормят нас три раза в день, и довольно плотно, но я никак не могу наестся — мне все мало.

На стрельбах я снова оказываюсь одним из лучших и опять слышу, уже в который раз, что дело в очках. Дни идут быстро. Постепенно я привыкаю к моему новому окружению: белорусским ребятам, грузинам и малорослым рязанским парням Лобастову, Ерохину и Соколову. Рязанские держатся обособленно, кучкой, так же как и могучие грузины-пулеметчики, сразу удивившие своей ловкостью и мастерством обращения с пулеметом «Максим». Их минутная разборка и сборка пулемета и подготовка его к бою вызывают общее восхищение. Я уже начинаю забывать своих украинцев, как однажды, выйдя на лесную опушку, носом к носу сталкиваюсь с Жижири.

Он в новой шинели, офицерская сумка через плечо. Раздобрел и даже добродушно настроен.

— Дыви! Разумовский! Ты где?

— Пехота-матушка.

— Тю! — Он не скрывает своего презрения. — А я вот — связной командира полка! Шо хочу, то роблю. Харч гарний, сала от пуза, хлиба, каши, то уж я нэ считаю. Вот тильки донесения ношу, а так кемарь хоть весь день...

С некоторым изумлением я отмечаю: сытый Жижири — это совсем не то, что голодный Жижири! Может быть, в этом все дело? Может быть, поэтому мы бросались друг на друга? Страшно гордый и недоступный, Жижири осчастлививает меня последним кивком и исчезает.

Взвод построили. Перед взводом появился незнакомый офицер — комсорг полка.

— Кто комсомольцы — выйди вперед!

Вышли. Вместе со мной четыре человека.

— Всё?

— Всё.

— Ряды сомкни! Комсомольцы остаются на месте. Остальные поотделенно к крайнему шалашу записываться в комсомол — шагом марш!

После того как все вернулись с новенькими билетами, я не утерпел, спросил у комсорга — как же это? Ведь по уставу в комсомол принимают лучших, самых сознательных...

— В армии другой подход! Понял? Завтра в бой все пойдут комсомольцами! Вот и весь устав! Понял? И отставить вопросы! Понял?

И еще один эпизод. Была объявлена воздушная тревога, и мы палили из всего имеющегося оружия по немецким самолетам, пролетавшим над лесом. Потом над ветками сосен закружились большие белые бабочки-листочки и попадали вокруг нас.

Я беру листочку в руки. Красной типографской краской напечатано: «Бей жида-политрука, рожа просит кирпича». Потом текст. Какой-то пленный Иванов сообщает, что он работал в тылу на военном заводе, но потом его послали на фронт, а вместо него взяли еврея. Кончалась листовка призывом сдаваться немецкой армии и пропуском со свастики.

Второй раз в жизни держу в руках фашистскую листовку.

Первый раз это было в Ленинграде в октябре 1941 года. Тогда начались бомбежки, и я помню, как масса белых листочков валялась на 1-й Красноармейской, напротив нашей школы. На той листовке была фотография. Бабушка, мать и мальчик лет трех белозубо улыбались с листка. Они сообщали, что сдались победоносной немецкой армии и чувствуют себя прекрасно. Дальше шли поразившие меня святотатственные слова: «Кровавая сталинская власть» и т. д. Было невероятно и нереально держать такое в руках...

Собираю вокруг себя в кустах все листовки, складываю их в кучку и поджигаю. Маленький костерок весело уничтожает кушечек фашизма.

Из-за кустов слышу голос Шаромова, одного из моих новых товарищей по взводу. Он собрал вокруг себя своих и читает им вслух листовку.

Я слушаю, притаюсь.

Листовка прочтена и прячется за пазуху.

— Верно написано, — говорит Шаромов оглядываясь. — Вся война-то из-за евреев... Известное дело.



## ПЕРВЫЙ БОЙ. 21 ИЮНЯ

Нас собирают и объявляют: с марша в бой.

Собственно говоря — это не так уж неожиданно, два дня мы подтягиваемся к лесу, меняем место, ночуем без костров, старшины строго проверяют оружие, нам выдали НЗ, и все же напряженное молчание встречает это сообщение, а сердце начинает вдруг сильнее колотиться. Все как-то сразу меняется и становится значительным: и далекая артиллерийская канонада, и диск ППШ, до отказа набитый патронами, и люди вокруг.

Мы оглядываем друг друга по-особому, со значением: кому-то еще долго и далеко идти, кому-то сегодня придется закончить свой путь.

И происходит нечто совсем уж странное: прежде чем зайти в лес, мы пожимаем друг другу руки...

Грохот раскатывается по лесу, раздается команда «В цепь!», и до сознания как-то медленно и не сразу доходит, что это бьют скорострельные финские автоматы. Вот оно! Началось.

Короткими перебежками вперед. От дерева к дереву. Тело легкое, ноги сами несут. Не отставать. Слушать команду. Делать, как все.

Автомат наготове. Скоро... Сейчас увидим «их». И тогда — упасть и с остервенением нажать спуск. А пока мы движемся вперед, не стреляя, так как кроме деревьев, кустов да папоротника, цепляющегося за ноги, ничего нет. Автоматная стрельба становится ближе, резко и мощно вступает пулемет. Я стараюсь не терять из виду бегущих товарищей справа и слева, лес заслоняет собой остальных, но я чувствую движение веток, слышу хруст под ногами — лес живет.

Залегли. Лежим довольно долго, а перестрелка удаляется куда-то вправо, вглубь, затем снова возобновляется невдалеке. К стрелку автоматов примешиваются отдаленные взрывы. Гранаты? Или снаряды? Непонятно, чего мы ждем... Чувство реальности теряется, я как бы вижу себя сбоку в каком-то странном театральном действии или сне.

— Встать! Вперед! — командует наш взводный Алексеенко. Пошли. Между деревьями начинает светлеть, земля уходит куда-то вниз, и мы выскакиваем на берег неширокой речушки. На открытом местелюднее.

Несколько человек переходят речку вброд, другие разуваются, третьи уже на том берегу.

Быстро разматываю обмотки. Близкая автоматная очередь. Идущие через речку пригибаются, потом бегут изо всех сил на берег с открытого места.

— В речку бегом! Одним духом! Ну! — Это Алексеенко. Он уже посредине речки. В правой руке чернеет пистолет, другой он машет нам.

Холодная вода заливает ботинки, ноги скользят по камням на дне. Быстрей. Вот и берег. Залегли. Сердце колотится. Сзади в кустах слышу шум. Оборачиваюсь. Шагаев со смехом задирает юбку медсестре Наде:

— Не промочила задницу?

Силен Шагаев! Нашел время...

Вперед! Выбегаем на лесистый берег. Что это? Прямо передо мной, по-картинному раскинув руки, лежит на спине молодой бритоголовый парень. Наша знакомая маршевая шинель. Зеленые лычки. Погоны, как у меня... И ровная круглая дырка посредине лба... Темная, размером в пятак, с розовыми краями.

Бегом к своим, догонять. Значит, все это реально... Никакого сна. Пять минут назад этот парень, как и я, впервые вступивший в бой, бежал вместе со всеми, как и я, боялся отстать, переходил речку, как и я... Над переносицей, посредине лба возникает ощущение зуда или легкой боли. Я тру лоб, но зуд не проходит.

Лес заполняется высоким воющим звуком, и сразу следует близкий разрыв. Снова вой, и разрывы еще ближе. Мы валимся под деревья, пригибая головы, втискиваясь в мох, а разрывы следуют один за другим, неотвратимо приближаясь к нам. Земля содрогается, летят осколки, с чваканьем врезаюсь в стволы, а мы лежим вповалку и трясемся, как в лихорадке, потому что такого еще никто никогда не испытывал.

— Первый взвод! Встать! — Это голос Алексеенко между разрывами.

Он сошел с ума! Куда тут встать! Я крепче всовываю голову между мокрыми, скользкими, жесткими корнями.

— Первый взвод! Кто жить хочет, за мной!

Взрыв. Вой. Свист. Топот ног. Поднимаю голову. Несколько человек, очертя голову, несутся куда-то вниз, в чащобу, за Алексеенко. Срываюсь за ними, падаю, снова бегу. Куда же он ведет,

сумасшедший... Идиот! Прямо на взрывы! Но передо мной бегут, за мной бегут наши солдаты без пилоток с вытаращенными от ужаса глазами, и я мчусь вместе со всеми — будь что будет!.. И разрывы остаются сзади и в стороне. Мы бежим еще очертя голову несколько минут, и Алексеенко останавливает нас на какой-то просеке, собирает, подсчитывает.

К моему великому удивлению, почти весь взвод цел, не хватает четырех человек.

— Ну, будете слушаться меня? — спрашивает Алексеенко своим тихим будничным голосом, но сейчас мы все уже смотрим на него другими глазами, до нас дошло, что он сделал.

— Запомните (ну до чего же он говорит не по-военному!) раз и навсегда: лучший способ выйти из-под минного налета — бежать в сторону выстрелов.

— А где же минометы? Где финны? — спрашивает кто-то из бойцов.

— Смылись! — беспечно роняет Алексеенко. — Услышали, что к ним бегут, миномет на плечи — и ходу! И вообще у них тактика такая — пострелял — и ходу. Умная тактика, — вдруг очень серьезно добавляет он. Финны — вояки! А сейчас — за мной!

Мы выходим на лесную дорогу. Там встречаемся с нашей ротой и не узнаем ее. Второй взвод поредел наполовину, в третьем тоже не хватает многих, только наш взвод потерял четверых ранеными, остальные все на месте.

Ну, Алексеенко — бог!

Подтягиваются на дорогу войска. Проходит гвардейская часть в касках, проезжают машины, тягачи везут орудия, сытые огромные кони легко катят семидесятишестимиллиметровки. На сердце становится легче — вон наших сколько!

Но что-то не дает мне покоя. Был первый бой. Разве это был бой? Мы зашли в лес, нас постреляли там, выбили чуть не треть роты, потом мы куда-то неслись сломя голову, потом вышли на дорогу и идем дальше. Мы не видели ни одного финна. Я не сделал ни одного выстрела. Спрашиваю у других — то же самое. Странно. И все же мы наступаем и, как говорят, выходим на новый рубеж.

Вдали узкой полосой серебрится Свирь. Нас обгоняют танки. Мы выходим на высокий берег Свири, и нам становится видна широкая панорама. Слева горит мост через реку, а справа саперы уже

наводят новый, понтонный. На берегу множество людей, в разных местах дымятся костры, солдаты сгрудились кучками, варят, переодеваются, где-то нашли бумажные мешки с финскими галетами, и все вокруг хрустят серыми сухими солоноватыми плитками.

Привал. Отдых. Встает солнце, и до меня доходит, что все, что было, — было ночью. Конец июня — белые ночи...

Подъезжает кухня. Нам дают по полному котелку каши с консервами, несколько трофейных галет и по двести граммов водки! Мы же фронтовики! После еды на берегу устраивают импровизированную баню, и я получаю первую в армии пару белья со всеми пуговицами!

Нет, фронт имеет свои положительные стороны, это точно!

Конец июня... Какое же число сегодня?... Вчера у командирской палатки говорили — двадцать первое... Значит, сегодня двадцать второе июня — третья годовщина войны.

## ФИНСКИЙ ДОМ

Еще не прошло нервное напряжение от вчерашнего боя. Мы продолжаем марш по мокрой дороге. Чувство времени утеряно. Стоят белые ночи, и мы засыпаем урывками при тусклом свете, просыпаемся при свете, и нет разграничения между ночью и днем. Бег времени отпечатывается в сознании только короткими привалами да кормежкой.

Вот сейчас у нас был привал в лесу, и я в который раз перематываю пузры на ногах, натертые обрывками портянок. Мы расположились в кустах, разожгли костер, и сразу полил дождь, обильный летний ливень. Все кругом мокрое, каждая ветка обдает душем, под ногами бегут потоки и заливают костер. Мы жмем друг к другу. Мокрые шинели темнеют в кустах, все вещмешки, ботинки, обмотки — все почернело, хоть выжимай.

Конец привала. Слышна команда «Выходи на дорогу», и мы тащимся друг за другом по черным скользким тропинкам в море зелени и влаги.

Вот и дорога. Справа внизу видна Свирь. Она легла светящейся серебристой полосой между двух зеленых склонов. Впереди показались дома, первое финское поселение. Дождь прекращается внезапно, выходит солнце, и над колонной встает белый пар.

Парят плечи, парят пилотки, шинели, парят мокрые коричневые бумажные мешки, которыми многие укрылись от дождя, — финские трофеи идут в дело.

Обгоняя колонну, скачет вестовой от командира полка. Поравнявшись с командиром роты, выкрикивает приказ и скачет дальше. От головы колонны приказ доходит до нас. Во время боя многие подобрали оброненные гвардейцами каски и надели их на себя. Приказ: «Снять и выбросить каски и бумажные мешки. Не полк, а вороньи пугала!»

Каски со звоном летят в придорожные канавы, надеваются пилотки. Порядок восстановлен.

Вот и деревня. Вернее, хутор. Два больших добротных дома, сарай, пристройки. Метрах в трехстах виднеется еще один дом. Колонна уходит вперед, а нас неожиданно заворачивают на хутор и объявляют привал.

Осматриваюсь. Дома сработаны очень добросовестно. Аккуратный, крытый железом сарай. Большой чистый двор. Около сарая крепкая новая телега. Все здесь — смесь зажиточности, добротности, достатка и... погрома.

Хозяева, видно, в спешке покинули дом, не успев ничего захватить. Вот стоит велосипед около крыльца, на лавке нелепо голубеет большой эмалированный чайник, дамская соломенная шляпа валяется на ступенях. Разбросаны какие-то книги, бумаги, газеты... А это что?

Поднимаю из грязи большой лист, не веря своим глазам, — Джоконда! Цветная репродукция... Загадочно смотрят знакомые еще с детства глаза, а нос, губы, подбородок пропали под грязным мокрым следом солдатской подошвы... Символ войны?..

Детство... Дворец пионеров... Эрмитаж...

Что я — сошел с ума? Швыряю Джоконду обратно в грязь. Нужно оглядеться — нет ли чего-нибудь пожрать?

Сержант катается на велосипеде по двору, двое солдат с гиканьем поддают голубой чайник, а я бегу в дом. Здесь уже полно народу. Несколько человек шарят по буфету в поисках еды, кто-то со смехом пропарывает штыком полосатую подушку, валяется разбитая посуда, сломанные венские стулья. Автоматически фиксирую намытую белизну пола и черные следы солдатских ботинок на ней. Перегородки в доме сделаны из толстого картона, места стыков листов прикрыты аккуратными белыми реечками.

Мимо меня тащат какие-то сапоги, кто-то напихивает в карманы шерстяные носки, а я вдруг замечаю, что картонная перегородка горит. Машинально снимаю ковш с гвоздя, набираю воды и плещу на картон. Тупо смотрю на то, как огонь продолжает охватывать все большее пространство... Здесь надо тушить всерьез. А зачем тушить? Кому он нужен, этот дом? Живы ли хозяева? И не сгорит ли он потом все равно от шального снаряда? Глупо...

Толкаю дверь и оказываюсь на кухне. Чистенькая плита с бронзовыми ручками. Стол накрыт зеленоватой клеенкой. На столе кофейник, рядом фарфоровая чашка. Над столом стенной белый шкафчик. Открываю его и обнаруживаю сахарницу с сахаром. Пиленый рафинад! Я не видел его уже, наверное, год! Быстро ссыпаю сахар в карман шинели, заглядываю в кофейник. Там — кофе. Наливаю себе кофе в чашку, сажусь на табуретку и пью его с сахаром. Странно. Все смешалось, перепуталось на этой войне. Где-то рядом ухают пушки, а я пью кофе в горящем финском доме!

Кухня уже полна дыма. Надо бежать отсюда. Дом разгорается не на шутку. Вскрываю, оглядываю последний раз кухню и замечаю висящее холщовое полотенце с вышитыми красными петухами. Откуда такое русское полотенце в финском доме?.. Да не все ли равно! Из него выйдут отличные портянки! Срываю полотенце, ногой распахиваю дверь и сквозь дым вылетаю на улицу.

— Эй, ты!

Оборачиваюсь. Пожилой солдат недобро смотрит на меня, опершись подбородком на винтовку.

— Зачем тащишь тряпку? На саван себе?

— У меня портянки худые, — бормочу я и чувствую, как заливаюсь краской.

— У, мародерская морда! — роняет солдат и отворачивается, а я комкаю полотенце в карман и бегу к своим — они уже строятся. Снова мерное топанье ног по высохшей дороге. Мы идем к передовой, и еловые лапы прощаются с нами.

Я — мародерская морда! Да, это верно. Знала бы мама или ребята в детдоме, что я буду воровать полотенца в чужих домах! Зачем я взял это проклятое полотенце, которое жжет мне бок? Неужели воля моя настолько подавлена, что я уже не отличаю плохое от хорошего, врываюсь в дома, топчу посуду, ворую чужие вещи? Что это со мной?

И вдруг обида и горечь переполняют меня. Чего я мучаюсь? Да если бы Ткаченко не обокрал нас в свое время, разве нужно было бы мне это петуховое полотенце? А сколько можно ходить в стершихся носовых платках вместо портянок? Кто виноват в том, что я взял его? Молчи, солдат, имеешь ли ты право судить меня? Я взял это полотенце, потому что на ногах у меня пузыри и мозоли, которые устроил мне Ткаченко, пропив наши портянки в Вышнем Волочке!

С какой-то злобной радостью я на первом же привале разрезаю полотенце на две части и аккуратно, со вкусом, обматываю ноги петухами.

Вот это портянки! Нога аж сама радуется! Ну, теперь пройду хоть всю ночь и еще день.

Вот так! Я не мародерская морда! А вообще-то полотенце все равно бы сгорело...

Я иду дальше. На душе у меня легко.

## В ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ

Третьи сутки мотались мы по этому болоту, пахнущему торфом и мокрой травой. Третьи сутки валялись мы от усталости между бурых пушистых кочек и просыпались от звука автоматных очередей.

Кухня наша осталась где-то там, далеко на дороге; последний сухарь из неприкосновенного запаса был давно съеден, а солдаты, посланные с бачками за кашей, не вернулись.

Мы были отрезаны и не могли пробиться ни вперед, ни назад. Убийственным автоматным огнем финны преградили нам дорогу среди высоких сосен, чахлах березок и поблескивающих зеркал болотных луж.

Чувство времени пропало в постоянной выматывающей беготне по этому сырому лесу, в коротких и ожесточенных перестрелках, в хмурых сероватых днях, незаметно переходящих в белые ночи июня.

Мы шатались, находясь на пределе человеческих сил, и поочередно спали по пять-десять минут, подобрав полы насквозь мокрых шинелей и уткнувшись лицом в мягкие и холодные мхи.

Ноги наши были в воде трое суток и ныли от холода, но мы не успевали переобуваться, и сухие портянки зря пропадали за спиной в вещмешке.

Я проснулся от знакомого дробного грохота.

Где-то впереди, в чаще леса, били финские автоматы, и пули свистели надо мной, со скрежетом впиваясь в темные стволы сосен.

Я сполз немного ниже, укрыл голову за расщелившимся черным пеньком, затем осторожно высунул автомат и дал короткую очередь — на звук.

Где-то в стороне, шагах в пятнадцати от меня, затрясся, забил другой наш автомат, потом третий и четвертый. Так отбивались мы третьи сутки, не видя противника в гуще леса, стреляя по слуху, а потом меняя место.

Снова оттуда — из темной чащи — полетела грохочущая и свистящая смерть, и снова я прижался к буровой траве, ощущая щекой ее колкость и холод, и еще раз порадовался, что нашел такую хорошую выбоину за крепким пнем.

Мы притаились и не отвечали больше огнем. Финны тоже перестали стрелять, и в ошутимой тишине и тревоге этих минут я стал ожидать команды отхода.

Проходили минуты, а может быть, и часы. Комары тонко пилили в ушах. Лягушонок прыгнул в лужу, рядом с ногами. Пальцы застыли и заболели на ложе автомата. А команды все не было.

Тишина стояла над лесом, непрочная и тревожная. Меня начало клонить в сон. Я приподнял голову и переменял положение, согнул затекшие ноги и огляделся. Сосны, березки, кочки, папоротник. Между обнаженными корнями там и здесь проступала вода, рыжая, нечистая. Шагах в пяти, впереди, кусты, за ними сосняк становился гуще, темнее, уходил куда-то вглубь, откуда стреляли. Ветки кустов сверху были обломаны или срезаны пулями, снизу что-то белело. Я чуть-чуть приподнялся. Гнездо? Гнездо. И в нем четыре крупных яйца с крапинами на скорлупе. Четыре яйца, похожих на куриные.

Спазм сжал мне горло, а затем что-то внутри.

В пяти шагах от меня яйца, похожие на куриные!

Сон пропал. Все исчезло и смешалось вокруг, кроме одной всеобъемлющей мысли — достать! Достать во что бы то ни стало и, осторожно разбив скорлупу, выпить чудесное содержимое, слегка присолив из жестяной баночки.



Достать. Но как? Я лежал за пеньком, мучительно вглядывался в заветные кусты и проклинал себя за нерешительность, в то же время отчетливо сознавая, что каждый из пяти шагов к манящим меня яйцам может оказаться последним... Засосало под ложечкой, заняло что-то внутри. Странно, что до этого я не хотел есть. Бегодня по болоту настолько измотала, что приглушила чувство голода. Но сейчас он раздирал мне внутренности и яростно боролся со здравым смыслом.

Одинокая автоматная дробь раздалась снова, и опять наступила тишина. Значит, они там. Они не ушли. Вылезать нельзя. Странная мысль пришла мне в голову: шаг вперед — и конец войне.

Я отвернулся от кустов и занялся автоматом, чтобы не смотреть в ту сторону. Перезарядил диск, ровно установил в нем тупые желто-розовые патроны, до блеска начистил канал ствола и удобно улегся между двумя мягкими подушками кочек. Но, справившись со своим солдатским хозяйством, снова и снова возвращался я мыслями туда, в зеленую темноту веток и трав, где заманчиво и опасно белели четыре яйца.

Впрочем, уберегусь ли я от пули, лежа здесь? Так ли безопасно мое укрытие, и не вынужден ли я буду через минуту покинуть его и бешено мчаться вперед, или назад, или в сторону — в гнетущем вое летящих осколков, грохоте минных разрывов, вставать, снова бежать и стрелять, каждую секунду ожидая конца...

Нет, ненадежно мое укрытие, как ненадежно все в этом странном мире запахов смолы и крови, грохота разрывов и стрекотания кузнечиков, в этом бесконечном лесу без дня и ночи, без времени, без ощущения реальности происходящего, где человеку невозможно предугадать, что с ним будет через секунду...

А раз так, то пусть будет так...

Я осторожно вылез и, прижимаясь к земле, по-пластунски пополз вперед. Тишина стояла в лесу, и каждый звук сломанной мною веточки, ботинок, скребущих по мху, гулко отдавался в ушах.

Я захватил гнездо и, стараясь держать его немного над землей, чтобы не разбить яйца, пополз обратно.

Вот и черный пенек, а вот и умятая ямка между двух кочек — моя крепость, мой дом.

Осторожно разбив скорлупу и присолив содержимое, я выпил все четыре яйца, одно за другим, потом переменял мокрые портянки на сухие и, удобно улегшись в своей мягкой ямке, почувствовал себя почти счастливым.

## ПОЧЁМ ЭСКИМО?

Нас снова перемешивают, тасуют, пополняют — новыми солдатами взамен выбывших.

Среди вновь прибывших появляется парень с приметной фамилией — Сокол, и жизнь моя, и до этого времени трудная, становится просто невыносимой.

Сокол — балагур, весельчак, взводный Петрушка, немедленно делает меня объектом своих шуточек и издевательств к общему удовольствию и потехе. От первой прямой стычки он как-то ловко уклонился, а потом я вдруг потерял инициативу и дал захватить ему верх. Моральные силы мои были на исходе, я был растерян, подавлен и сопротивлялся вяло, не так, как следовало бы.

Вот и сейчас, во время короткой стоянки-перекура, Сокол начинает разговор:

— Лева! (Всех он зовет по фамилии, меня только по имени, делая ударение на нем и изображая еврейский акцент.) — А что ты делал до армии?

Кругом поворачиваются, улыбки раззявливают морды. Предстоит потеха.

— Он в магазине торговал! — не дождавшись ответа, объявляет Сокол.

Смех где-то сзади. Я выскребаю из котелка кашу. Молча коплю злобу.

— Лева, ты эскимом торговал? — снова спрашивает Сокол.

— Ха-ха-ха! Эскимом! Вин дуже остроумный, цей Сокол!

— Каже, так кажe!

— Лева! Почём эскимо? — спрашивает Сокол.

Взрыв смеха.

Я молча откладываю котелок, беру автомат в руки и выразительно похлопываю по стволу.

Это действует. Сокол отходит, бормоча для приличия, чтобы не подумали, что он трусит:

— Боже мий! Вин мэнэ застрэлить!

Слышна команда, и мы снова топаем вместе.

Плечо к плечу.

Единая и монолитная армия.

## ПОХОД

... Подье-ооом! Подье-ооом!..

Сознание медленно наполняется этим звуком, тело придавлено к земле черной и мягкой массой, голова лежит в придорожной пыли, темная масса сереет, меркнет... Открываю глаза.

— Подье-ооом! — раздается совсем рядом. С трудом отрываю голову от земли. Надо идти.

Сумка с пулеметными дисками гнет к земле, автомат висит на шее слитком свинца, все тянет вниз, не дает встать. Упасть, слиться с дорожной пылью, с травой и спать, спать... Надо идти.

Кто-то рядом со мной со стоном встает на четвереньки, потом на оба колена, потом на одно, и вот он уже стоит, покачиваясь. Надо идти!

Механически, как кукла, повторяю его движения, поправляю вещмешок, сумку, надеваю пилотку и делаю первые нетвердые шаги.

... Мы идем уже около суток. Вчера вышли днем, вечером был часовой перерыв на обед, потом снова пошли. Ночь вся в походе. Два часа марша, десять минут отдыха, два часа марша, десять минут отдыха.

Красное зарево на горизонте. Вздутые трупы лошадей у дороги пахнут сладко и отвратительно. Черная масса усталых людей движется, угрюмо опустив головы; каждый видит затылок впереди идущего, хлястик его шинели, мелькающие обмотки и грязные ботинки, равномерно опускающиеся на дорогу.

Скрип ремней, глухой топот множества ног, у кого-то позвякивает котелок. Дорога плывет под ногами, мимо тянется темная полоса леса, усталость наполняет все члены, ноги вышагивают автоматически, глаза слипаются.

Два часа марша, десять минут отдыха.

Время от времени кто-нибудь начинает странно, по-пьяному перебирать ногами и забирать вбок, шатается и наталкивается на идущих. Слышен легкий стук — автомат ударил об автомат, сдержанная ругань, и заснувший на ходу возвращается в строй.

Если бы раньше мне сказали, что можно спать на ходу, я бы не поверил, но здесь это случалось со мной уже несколько раз — организм не выдерживает нагрузки, природа берет свое.

Привал!

Наконец-то! Вокруг меня падают фигуры. Мгновение — и уже никто не стоит. Я валюсь вместе со всеми, следя за тем, чтобы не ударить голову об автомат; щека касается шероховатых комков дороги... Наверное, здесь недавно прошли танки... — последняя мысль, которая приходит в голову, и я проваливаюсь в темноту.

Наверное, странное зрелище представляет собою наша колонна на привале. Мертвый полк, растянувшийся на километры, покрывает дорогу телами солдат, серые фигуры разбросаны повсюду — кто как упал, в самых невероятных позах. При случае десяток финнов может спокойно перестрелять эту огромную спящую гусеницу, вымученную настолько, что она не сможет оказать сопротивления.

Подъем!

Мы шагаем снова. Десять минут отдыха прошли.

Нас заворачивают в лес. Кажется, конец пути. Да. Слышны крики офицеров, разводящих взводы, приезжает и располагается под деревьями полевая кухня, близка минута отдыха. Тяжелое оупение сменяется надеждой: можно будет поесть и, может быть, пару часов поспать.

— Первое отделение — за мной! — командует Лобастов и выводит нас на большую поляну, покрытую валунами и мхом. Край поляны кончается пышным кустарником, за которым чувствуется спуск к речке. Здесь будет наш сегодняшний дом. Можно сбросить автомат и сумку, затем окопаться и спать. Объявили, что спать можно целых четыре часа! Потом будет обед, еще час отдыха и снова марш.

Надо срочно окопаться, приготовить себе дом — ячейку, похожую на могилу, — крепость и кровать солдата.

Первые же удары лопаткой о землю показывают, что окопаться нельзя. Лопатки скрежещут о камень, под нами сплошные валуны, покрытые тонким слоем земли со мхом. «Ледниковый период»... Эти неожиданно всплывшие слова отбрасывают меня невероятно далеко... к школе, к книгам... Где-то есть Ленинград, где-то есть Угоры... Мама сейчас не спит и ждет Шурку-почтальоншу... Надо дописать письмо, которое я уже ношу за спиной... Я еще жив, мама, я ношу сейчас тяжелые камни, выкладывая из них ячейку. Так делают все, ведь здесь нельзя окопаться... здесь сплошные валуны, покрытые тонким слоем земли... Но я жив, и, наверное, это самое главное... Последние камни ложатся на нижний ряд. У ме-

ня получилась славная ячейка — она шире спереди и уже сзади, длина ее позволит мне вытянуться и поспать сладко четыре часа, положив рядом автомат и ненавистную сумку с пулеметными дисками. Моя ячейка выстлана снизу мягким зеленоватым мхом, и это хорошо. Я еще жив, хотя и очень устал.

— Встать!

Поднимаю голову.

Надо мной стоит Лобастов — наш новый командир отделения. Он назначен два дня назад, после того как Прохоров был убит. Лобастов маленький, коренастый, глаза у него посажены близко один к другому, и это придает ему сходство с обезьяной. Раньше он ничем не отличался от своих рязанских, после же назначения начал сразу подражать офицерскому тону, прямо копируя интонации командира роты. Я внутренне сопротивляюсь его грубому командному тону, желаю показать свою волю и свое право.

— Чего тебе?

— Встать, когда с тобой разговаривает командир отделения!

Такие штучки необычны здесь даже для офицеров. На фронте офицеры разговаривают с солдатами совсем по-иному, чем в тылу. Солдату дозволяется здесь неизмеримо больше. Общая мысль «все мы под смертью ходим» в какой-то мере стирает грань между командиром и солдатом, никто не настаивает на выполнении уставных тонкостей. Этому в немалой мере способствует то, что в руках у каждого солдата заряженный автомат.

— Ты что, не слышал, мать твою в гроб! Встать, раз я приказываю!

Я медленно поднимаюсь. Автомат я не успел снять, и он висит теперь у меня на шее.

— Я слушаю.

— Ты где сделал ячейку, сволочь?

— Как где? Я не понимаю.

— Не в ряд! Понял? Не в ряд! Посмотри!

Оглядываюсь. Моя ячейка действительно не в ряду всего отделения, она вышла вперед метра на три ближе к краю поляны.

— Ну и что?

— А то, — его глаза останавливаются, он в бешенстве, что я задаю вопросы, он сейчас научит меня подчиняться, — а то, что ты сейчас же переложешь камни и сделаешь ячейку в ряду!

Все замирает во мне на мгновение: мы не на параде — равнять ряды!

Он подсакивает к моей ячейке и ногами разваливает камни. Один большой камень из верхнего ряда падает мне на ногу и причиняет боль.

Что-то более сильное, чем боль и усталость, захлестывает меня, что-то горячее и властное заставляет меня прыгнуть к нему, руки сами наставляют автомат ему в грудь.

— Отойди... — Это не мой голос — какой-то хрип. Время, обстановка, ощущение реальности происходящего — все пропало куда-то в этот миг... Я только вижу его остановившиеся глаза, белеющее лицо и... руки, тянущиеся к автомату.

Мгновение — и я отвожу затвор назад. Теперь только одно движение — нажать спуск, и клочки гимнастерки запрыгают у него на груди, как у того упавшего рядом со мной солдата.

Мы смотрим друг другу в глаза.

Палец лежит на спусковом крючке.

Мне как-то удивительно легко сейчас; давящая усталость, чувство обиды и затравленность исчезли. В жизни остались только две реальности: глаза передо мной и спуск, ощущаемый пальцем.

Секунда. Вторая. Третья.

Он держит автомат в руках, но у него не отведен затвор. Для того, чтобы меня убить, ему нужно сделать два движения. Мне одно.

Если он ответит затвор — нажму спуск.

Глаза прячутся, руки сползают с автомата, он делает шаг назад и тихо, шепотом говорит:

— Ты что, парень! Ополоумел? Опустит автомат...

Еще шаг назад, еще, и он отходит.

Я стою еще некоторое время в прежней позе, затем медленно спускаюсь в ячейку, аккуратно вынимаю патрон и медленно закрываю затвор.

Усталость вновь наполняет меня, ноги тяжелеют, и я мешком валюсь в свой каменный дом. Надо спать. Все уже спят.

Рядом с камнями трава. Срываю травинку и откусываю кончик. Мама когда-то говорила, что это вредно, будут боли в животе... Почему я не нажал спуск?..

Вредно... какое домашнее слово... Я обещал ей не откусывать кончики травинок... Завтра, наверное, будет трибунал... невыпол-

нение приказа и покушение на жизнь командира... Травинки бывают разные, не все они вредные, а кончики у них такие сладкие...

Если бы он сделал еще одно движение, я бы нажал...

Надо дописать письмо, я уже третьи сутки таскаю его за спиной. Надо успеть дописать письмо...

## И СНОВА БОЙ...

Уже третьи сутки мы в бою, а я решительно ничего не понимаю.

Опрокинулись, спутались все мои представления о фронте, о бое. В этом царстве сосен, елей и кустов все мы потеряли ориентировку. Где противник, где наши, куда идти, откуда стреляют, что будет через минуту и что будет завтра — на все это нет ответа. Есть только давящее чувство собственного ничтожества и нервное напряжение, доходящее порой до животного страха: поднял голову — смерть, не поднял головы — жизнь, а иногда и наоборот. В этой игре нет правил. Один Случай управляет здесь всем — удачей и неудачей, жизнью и смертью.

Финские блиндажи поражают меня своей аккуратностью. Землянки ровно облицованы вертикально поставленными стволами молодых сосенок и березок: березка — сосенка, березка — сосенка. Белое — красноватое, белое — красноватое. Просто, красиво и очень неожиданно...

По колено в воде передвигаемся мы гуськом среди тонкого березняка и осинника. Чавкают черные ноги в обмотках, блестит болото внизу, разбегаются мелкие волны от наших шагов, комары тучами выются над нами, но мы не обращаем внимания на их укусы. Мы идем вперед, на новые позиции, идем медленно и устало, с одержимостью и упорством автоматов. Гнилое, гиблое место. Уже час мы в воде, а болоту нет конца и края.

Мерно покачивается передо мной спина Ерохина, ствол пулемета задевает за тонкие ветки, чавкают, хлюпают ноги, мокрые брюки облепили бедра, полы шинелей подвернуты и заткнуты за пояса, но тоже намокли.

— Бросай оружие! — звонкий протяжный окрик, и сразу очередь. Крик.

Двое солдат передо мной падают в черную жижу. Я присаживаюсь на корточки. Что это? Автоматные очереди где-то спереди

и сбоку. Ничего не понимаю — откуда стреляют? Кто? Срываю автомат и, ощущая нелепость и никчемность этого действия, па-лю вправо в лес по кустам. Поднимается упавший в воду Ерохин. Он бледен, беспомощно держит в руках пулемет стволом вверх. С рук, с пулемета, с лица стекает коричневая жижа.

— Откуда?

— Не знаю.

— Финны окружили!

— Кто сказал?

— Где лейтенант?

Мы сбиваемся кучкой посреди большой светлой лужи, стоим, пригнувшись, ожидая команды, разъяснения какого-нибудь...

Пальба стихла. Какие-то крики гулко разносятся в глубине леса.

— Вперед! Что встали? Шагом марш!

Снова чавкают черные ноги. Снова качается передо мной ствол пулемета, задевая за ветки, а все тело напряжено, все мысли сосредоточены на одном: из-за каждого куста, из-за каждого дерева может снова прозвучать автоматная очередь.

По цепи передают: финская разведка наскочила на наш батальон. За деревьями не разобрали, что идет большая часть, когда поняли — обстреляли и скрылись в лесу. У нас двое раненых.

Становится суше, и редеет тонкий березняк, уступая место сначала молодым, потом старым соснам.

Нас перестраивают цепью. Тихо в лесу. Команды отдаются вполголоса. Растет напряжение. Мы двигаемся медленно, в цепи, перебегая от дерева к дереву. Алексеенко идет рядом с нами, его сутулая фигура мелькает где-то справа. Вижу рядом с собой человек шесть, остальных скрывают деревья, слева от меня три или четыре темные фигурки перебегают, пригнувшись.

— Стой! — передается по цепи.

Останавливаемся. Впереди широкая просека. На ней перед нами метрах в тридцати — колючая проволока. Четыре ряда. За просекой снова темнеет лес.

Лес молчит, и его молчание тревожно.

Там, за проволокой, — финны. Они ждут, приготовились встретить нас огнем, а нам нужно преодолеть эту просеку и идти дальше. Стоя за большой елью, я вижу, как к темнеющим рядам проволоки подползают фигуры в серых шинелях, и догадываюсь: саперы. Они будут проделывать для нас проходы. Трудно им сейчас!



Батальон стоит в укрытии, а они — несколько человек — первыми вылезают из леса под финские пули. Маленькие, беззащитные.

Мы притаились и ждем, а саперы, лежа на спине, большими ножницами режут проволоку, такие заметные на светлых, покрытых серебристым мхом кочках...

Давящая тишина. Ни одного выстрела оттуда. Саперы кончают свое дело и отползают. Теперь наша очередь.

С трудом отрываюсь от толстого ствола и, ощущая знакомое нытье над переносицей, устремляюсь вместе с другими в узкие проходы среди колючей проволоки. Мы бежим кучно, толкая друг друга, и я кожей чувствую, что мы — отличная мишень, ничего не стоит нас всех перестрелять сейчас.

Но вот проволока позади. Снова растекаемся цепью и входим в лес, каждую секунду ожидая выстрелов.

Тишина. Кажется, здесь никого нет, только сосны шумят над головой. Валуны, покрытые мхом. Брусничник под ногами. Красные россыпи спелых ягод. Птицы подают голоса.

Снова лес реже — вижу всю цепь, идущую вперед. Я около Ерохина. Он первый номер ручного пулемета, я — второй. Ненавистная сумка с пулеметными дисками сейчас не тянет. Слишком велико напряжение ожидания.

Впереди местность повышается, и мы выходим на гребень.

...Звонит барабанная перепонка от грохота близких автоматных очередей, и скорее чутьем, чем слухом, ощущаю я сбитые пулями ветви над головой и падаю стремглав на землю, прижимаясь к ней всем телом, распластавшись между кочками.

Грохот, свист пуль. Краем глаза фиксирую молоденькую елочку метрах в трех от меня — она осыпается и падает, срезанная пулями. Отползаю немного назад, в ложбину. Здесь безопаснее. Оглядываюсь. Кто-то из наших с криком бежит назад. Ерохин бросил пулемет и лежит, закрыв голову руками. Справа начинает работать наш станковый пулемет. Залегшая цепь начинает отвечать. Я тоже даю автоматную очередь вперед, в темноту леса, и вдруг страх покидает меня, уступая место азарту боя. Подползаю к Ерохину и расталкиваю его. Он приподнимает голову, обалдело смотрит на меня своими голубыми глазами, потом хватается за пулемет. Я помогаю поставить диск. Минута — и наш «Дегтярев» дает первую длинную очередь, наполняя сердце ра-

достью и чувством собственной силы. Лупим мы в белый свет, вернее, в полную тьму, но мы стреляем, ведем бой, а не лежим, уткнувшись носами в мох. Грохот нашего пулемета заглушает все остальные звуки, поглощает все остальные мысли, кроме одной — мы воюем!

— Вперед! В атаку! Ура!

Вскакиваем и бежим вперед. Пули свистят нам навстречу. Мы падаем, снова вскакиваем, перебегаем от дерева к дереву; грохот боя нарастает, где-то начинают рваться мины. Мы уже сбили цепь и бежим между деревьями втроем или вчетвером, не видя остальных.

Легкий вскрик сзади заставляет меня на мгновение оглянуться. Ерохин лежит, весь устремившись вперед, странно подогнув ноги, руки сжимают пулемет, а на круглой стриженной голове — черно-красная дыра. Текущая кровь пачкает светлый мох.

Падаю рядом, прижимаясь к земле.

— Вперед!

Бегу вперед, задыхаясь. Сумка с уже бесполезными дисками тяжело бьет по животу. Снова догоняю цепь и занимаю в ней свое место, но солдаты кругом уже другие, все перемешалось в этом хаосе.

— Вперед!

Выскакиваю из-за валуна и нос к носу сталкиваюсь с каким-то незнакомым солдатиком. Он шарахается в сторону, направляет на меня автомат и прыгающими губами на побелевшем лице кричит:

— Финн? Стой! Застрелю!

— Ты что, спятил? Своих не узнаешь?

Его глаза широко раскрыты, весь он трясется от страха и не отводит автомата.

— А почему в очках?

Тьфу, дьявол! Опять очки! Набрав воздуха, раздражаюсь четырехэтажным матом с перебором — этому я, слава богу, научился в совершенстве; ругаюсь в душу, в гроб, во всех святых, — только это может сейчас спасти мне жизнь. Мой вопль убеждает солдатика, он отводит автомат — узнал своего, и мы вместе бежим снова вперед. Совсем рядом зловещий рокот автоматов, свист пуль; кубарем падаю головой под корни и сразу оглядываюсь по сторонам, так как сквозь треск очередей слышен истошный крик раненых. Шагах в пяти от меня неподвижно лежит вниз лицом

тот солдатик, который пять минут тому назад чуть не застрелил меня. Метра на два дальше — второй. Немного поодаль стонет третий, вот он с усилием поднимается на колени. Короткая очередь. Мне видно, как у него на груди запрыгали клочки шинели; он медленно, без звука заваливается набок. Дальше мне не видно, но слышно, как в глубине леса кто-то надрывно кричит: «Помогите!» Очень медленно поворачиваю голову направо и вижу еще два трупа. В том, что это трупы, нет сомнения. Живые прячутся, эти лежат свободно и широко — им уже ничего не страшно.

Оцениваю положение. Мы, выскочив на бугор, наткнулись на финских автоматчиков или снайперов. Лицом к лицу. Они нас увидели, мы их нет. Обычная история.

Из шести человек, выскочивших на бугор, невредим только я. Пока невредим. Финны рядом, может быть, шагах в двадцати. Надо лежать абсолютно неподвижно, притвориться убитым. Если заметят, что шевелюсь, добьют. В то же время надо неотступно смотреть вперед: если покажутся из-за деревьев — стрелять.

В лесу странная тишина. Стрельбы нет. Только раненый слева кричит:

— Помогите!

Лежу неподвижно, упираясь подбородком в пахнувший гнилью и смолой корень. Чешется над переносицей. Руки побелели и застыли на автомате, ноги начинают затекать.

Раненый уже не кричит, он плачет. Надо пойти помочь. Но как? Как выползти из-за этого спасительного укрытия? Начну шевелиться — смерть! Вжимаюсь еще глубже между корнями. Нельзя вылезать.

А раненый плачет. Интересно — сколько до него? По звуку — метров двадцать-тридцать. За это расстояние меня могут двадцать-тридцать раз убить. Я буду лежать, как Ерохин или как тот первый убитый с круглой дыркой во лбу. Двигаться нельзя. Надо лежать, как труп, и выжидать — может быть, подойдут наши. А сейчас я даже не знаю, где они. Где-то невдалеке стрельба. Кругом трупы, и стонет, плачет раненый слева.

А может быть, я сумею доползти до первого трупа незамеченным? Медленно поворачиваю голову. Тихо. Попробовать? Нельзя! Тишина обманчива... Ерохин... Дырка во лбу... Стоны из леса...

Медленно-медленно высвобождаю руку, сгибаю ногу и чуть-чуть отползаю назад. Теперь влево. Спокойно. Сантиметр за сан-

тиметром. Не рывками, а равномерно. Прижимаясь к земле. Теперь осталось три движения до того пенька. Голову прикрою автоматом — все-таки металл. Хвоя колет щеку. Натыкаюсь на что-то твердое. Ноги. Ага, я уже около первого трупа. Переползаю через ноги и спускаюсь в ложбинку. Здесь можно ползти быстрее. Миную второй труп. Раненый уже недалеко, его видно за деревьями. Он лежит на правом боку, а левый бок у него черно-красный.

Делаю последние усилия, и вот я уже около него. Сразу вижу, что дело плохо. Левая рука представляет собой какую-то мешанину из костей, обрывков мяса, торчат розовые жилы, тут же путаются куски бинта, которыми он пытался перевязаться. У него широкоскулое лицо, белое, без кровинки, на переносице старый шрам, уродующий лицо, глаза вытаращены от боли и страха. Шинель разорвана и черна от крови, кровь подтекла под него, и он лежит в вишневой луже.

— Держись. Сейчас перевяжу.

Лихорадочно достаю свой индивидуальный пакет. Раскрываю. Как это нас учили? «Индивидуальный пакет состоит из бинта и двух стерильных подушечек, одной подвижной и другой неподвижной», «при ранении навывлет нужно наложить неподвижную подушечку на место входа пули, а подвижную, не касаясь стерильной стороны, подтянуть к месту выхода пули, накрыть ею отверстие, а потом забинтовать...» Как все ладно и логично!

На эти остатки человеческой плоти мой пакетик как слону дробина, со всеми своими подвижными и неподвижными подушечками. Он немедленно весь пропитывается кровью, и я не знаю, что тут перевязывать: разрывная пуля раздробила все плечо в куски.

— Пропал... пропал, — повторяет раненый одно слово, а я, отчаявшись перевязать его, снимаю с себя брючный ремень, с него поясной и ими привязываю кровоточащие остатки руки к телу.

— Ты не волнуйся, — говорю я заведомую чушь, — в госпитале вылечат. Сейчас я тебя назад поташу.

— Нет. Я сам.

— А ты можешь?

— Да.

— Как твоя фамилия? — неизвестно для чего спрашиваю я.

— Гробов.

Внезапно он вскакивает на ноги и бежит назад в лес.

Бежит! Почему же он раньше не бежал? Видно, боялся — добьют. В лесу тихо. Рву мох и вытираю кровь. Все руки в крови, она сладко и душно пахнет.

Осторожно встаю на ноги, оглядываюсь и иду искать своих.

## ВЯТСКИЕ

Мы наступаем. В ожесточенных схватках, теряя ежедневно множество людей, мы продвигаемся вперед, и до меня начинает доходить хитроумная финская тактика. Они не воюют с нами лоб в лоб, слишком неравны силы, но, прекрасно ориентируясь в лесу, наносят точные, быстрые и очень болезненные удары и так же быстро исчезают, как бы растворяются в лесной чаще.

Так и вчера. Выскочив на лесной гребень, рота напоролась на шквальный встречный огонь и, потеряв множество людей, залегла и окопалась. На помощь к нам подтянулись крупные части и, судя по отдаленному шуму впереди и справа, окружили финские войска и теперь утюжат их минометным огнем.

Часа через два нас снова подняли, и мы двинулись цепью, готовые ответить огнем на выстрелы или снова залечь. Осторожно продвигаясь, мы вышли на следующий гребень и, к моему великому удивлению, обнаружили десяток свежевыкопанных ячеек, рядом с которыми валялись кучи отстрелянных гильз. Нашу роту положило и перестреляло отделение финнов! Встретили, ударили и исчезли, как лесные духи...

У нас много убитых. Для меня самая ощутимая, личная потеря — человек с тихим голосом и мягкими интонациями — младший лейтенант Алексеенко. Вместо него назначен новый командир взвода, растрепанный псих с круглыми сумасшедшими глазами. Он злобно ругается, дерется и поминутно грозит нам пистолетом.

Поредевший состав взвода опять пополняется. На этот раз кирзовскими ребятами. «Вятские мы», — говорят они о себе.

Меня сразу же удивляет чистопородность вятских — все они как родные братья. Рослые, плотные, с литыми красными лицами, у всех грубые рубленые черты лица, светло-голубые глаза, большие носы, крупные рты, крепкие круглые затылки. Говорят они тоже одинаково, окают, но их оканье другое, нежели знакомое мне, мантуровское.

Наши окружили вятских, знакомятся, делятся табаком и последними фронтовыми новостями.

— А у нас еврей есть! — вдруг выпаливает Сокол.

— Да ну! Который?

— Вон стоит, в очках, — услужливо подсказывает Сокол.

Вятские окружают меня, бесцеремонно разглядывают, некоторые даже протягивают руки, чтобы пощупать.

Я отталкиваю руки и стою, выжидая. Что дальше?

— Ты еврей? — спрашивает один из вятичей.

— А ты што, ня видишь? Известно, еврей! Ён в очках!

— Чаво молчишь? Говори — еврей иль нет?

— Еврей, еврей, — суется Сокол. — Он мороженым раньше торговал...

Кругом смех. Шутка насчет мороженого имеет неизменный успех.

— Молчит, зараза...

— Ваньк, а ты дай ему по затылку, штоб заговорил...

Резко оборачиваюсь, но меня толкают сзади на передних, а передние с удовольствием толкают назад. Я в кольце. Злоба душит меня.

Ох, сволочь, сволочь!.. Полоснуть бы сейчас вокруг себя из автомата, чтоб попадали вокруг меня эти литые рыла, чтоб закрылись оскаленные смехом рты, чтобы стало чисто и пусто вокруг и... конец войне.

— Взвод, становись!

Весь дрожа, шагаю я снова в строю.

## ПОД ПУЛИ

Все началось сразу. Среди перестрелки вдруг замолкли финские автоматчики и пошло! Вой — разрыв! Вспыхивает пламя... Вой — разрыв! Грохот, гул, летят щепки от стволов, гудит земля, и опять мы несемся сломя голову вперед, на грохот разрывов... Ветки хлещут по лицам, корни цепляют за ноги, а мы мчимся, падаем, меняем направление, кубарем скатываемся в овраг и там замираем под валунами.

Некоторое время еще грохочет в лесу, потом взрывы отдаляются и затихают.

Нас двое под валуном — солдат из второго взвода и я. Остальные где-то в лесу. Мы осторожно встаем, осматриваем себя, оружие — все в порядке, только шинель он где-то располосовал.

— Пошли наших искать.

— Пошли...

Мы выходим из оврага, пригибаясь и озираясь, автоматы наготове: из каждого куста можно ждать выстрела. Несколько трупов лежат в разных местах. Один лежит, вытянувшись во весь свой огромный рост, лицом в мох, и щегольская светло-коричневая пилотка валяется рядом. Как недавно он обещал «сделать из меня человека»...

Мы минуем кусты и натываемся на нескольких наших. Они откапывают окопы. Срезанный мох обнажает желтые песочные раны. Нам указывают направление. Мы спускаемся с песчаной осыпи, минуем маленькую речку и останавливаемся как вкопанные.

На песчаном берегу ручья под склонившимися ветками прибрежных кустов лежит Надя, наша санитарка. Она в одной гимнастерке. Ноги ее, странно белые, раскинуты в стороны, а низ живота — сплошное красное пятно. Пожилой санитар неумело бинтует ее, а другой ладит носилки из срубленных жердей. Надя стонет тонко, по-ребячи, ее глаза, полные муки, останавливаются на мне...

— Ну что уставились! — рычит на нас санитар. — А ну, вали отсюда!

Мы уходим по ручью, а стоны преследуют нас еще долго, и не исчезает из памяти взгляд отчаяния и боли.

— Глянь-ка! — говорит мой спутник. — На кусту сумка!

Я снимаю с сучка офицерскую сумку и вешаю ее на плечо. Найденные сумки, особенно с картами, приказано сдавать в штаб.

Мы плуаем еще полчаса, прежде чем встречаем своих. Они окапываются. Многих нет. Убиты? Или после обстрела кружат по лесу, как мы?

Нахожу Кунатова. Он сидит между валунами вместе с нашим новым командиром взвода, у обоих злой и взъерошенный вид. Кунатов за что-то отчитывает лейтенанта, а тот огрызается, как собака.

— Товарищ старший лейтенант, мы заблудились после минного обстрела. На обратном пути нашли офицерскую сумку...

— Моя! — вдруг вскакивает командир взвода и вырывает ее у меня из рук. — Вот она! Где взял?

— Нашли вон там под горкой...

— У... мать! — сквозь зубы злобно говорит он. — Ну, собака, погоди...

— Так вы же сами приказали приносить сумки, если найдем...

— Молчать! — Он роется в сумке, перетряхивает ее, что-то ищет.

— Где табак?

— Какой табак?

— Он табак из сумки украл, — говорит комвзвода Кунатову, — у меня тут пачка неначатая была...

— Украл пачку? — раздельно и почему-то тихо спрашивает Кунатов.

Оба они впиваются в меня взглядом, командира взвода прямо трясет от бешенства.

Кунатов же, наоборот, подчеркнуто сдерживает себя.

— Да что вы, — вырывается как-то помимо меня, как будто говорю не я, а кто-то другой, — неужели я... кругом люди умирают... я не вор... не видел я вашей пачки... да я и не курю вообще...

— Марш на место! — хрипит комвзвода. Грязная ругань.

Иду на место и начинаю окапываться. Рядом в своей ячейке лежит Осмачко и курит. В лесу снова начинается автоматная трескотня.

— Ты где был?

— У командира роты.

— Нашел лейтенант сумку?

— Какую сумку?

— Да он оправиться пошел, сумку на куст повесил, и нет сумки! Шум тут был. Командир роты кричит: «Расстреляю! Там карта была...»

Вот оно что! Какая чепуха! Ну, дела! Врага я себе нажил — хуже не придумаешь: психопат, да еще злобный...

— Разумовского к командиру роты!

Бросаю недокопанную ячейку и иду в валуны. Оба сидят там по-прежнему — Кунатов и взводный.

— Слышишь, раненый кричит? — спрашивает Кунатов.

Я прислушиваюсь. Где-то вдалеке, там, где кончается лес и начинается просека, слышны стоны.



— Слышу.

— За раненым — марш!

Смотрю на него. Он понимает, что делает? Раненый лежит на простреливаемом открытом месте... Командир взвода смотрит вбок и улыбается... Да, улыбается... Да, они понимают, что делают.

— Есть идти за раненым!

Делаю шаг в сторону.

— Вернись! Взять автомат!

— Зачем? Мне он только мешать будет!

Кунатов медленно вытягивает из кобуры револьвер. Черная дырка ствола крутится у меня под носом.

— Еще одно слово... Выполняй приказание!

Надеваю автомат и спускаюсь с горы, поросшей сосняком. Идти здесь пока безопасно. У подножия лес обрывается просекой, и где-то посередине ее стонет человек.

Значит, так: ползком до того пня, оттуда до валуна, потом до той канавы, потом... Потом — будет ли потом? Пошли...

Ложусь на живот, перекидываю автомат на спину и ползу, прижимаясь головой ко мху. Открытое место — дрянь дело. Пень. Ползу дальше. Валун. Оглядимся. Тихо вокруг. Пошли дальше... Ниже пригнись. Тише дыши. Глаза смотрят за тобой из леса, ствол нащупывает спину, пальцы нажимают спусковой крючок... Ниже, ниже, ползи быстрее... Кунатов радуется — не вернется, они знали, куда посылали меня, гады... Открытое место — дрянь дело... Больно стучает автомат по спине. Вперед. Вперед. Уже близко. Вот он.

Животом вниз лежит передо мной раненый. Гимнастерку он содрал, красно-белая нижняя рубашка лохмотьями валится со спины, а на спине, ниже лопатки, круглая черная дыра величиной в два пятка. Переваливаю парня на бок и обомлеваю: ранение навывлет — выходное отверстие с мой кулак. Весь мох вокруг, брюки парня черные от крови. Он стонет глухо и хрипло. На губах розовые пузыри. Подлезаю под немощное, но тяжелое тело, он вяло обхватывает мою шею рукой, и я волоку его по земле, ввинчиваясь в мох, отталкиваясь ногами от корней, судорожно цепляясь пальцами за твердую землю, а проклятый автомат (проклятый Кунатов!) отяжеляет мне руку и волочится по земле.

Конец просеки. Затаскиваю раненого в кусты, наваливаю на плечи и несу уже на ногах, тяжело одолевая каждый шаг навверх.

В нескольких шагах от валунов я опускаю раненого на землю и сползаю рядом с ним на колени. Он мертв.

Шатаюсь, подхожу к Кунатову. Руки у меня в крови. Гимнастерка вся мокрая. Я стою перед ним и не могу говорить. Кунатов смотрит в сторону мертвеца, потом под ноги и говорит:

— В цепь! Окопаться!

С трудом дотаскиваюсь до ячейки и падаю в нее. Липнет гимнастерка к спине, к шее, к груди.

Надо где-нибудь постираться...

## НА ЧАСАХ

Полутемная ночь. Грань между белыми и темными ночами. В трех метрах еще видны неясные очертания сосновых лап, дальше все сливается в одно.

Слипаются глаза. С трудом открываю их, а тяжелые веки снова падают вниз. Спать нельзя. Я — часовой. Не где-нибудь в тылу, не в учебной игре, не на маневрах... На передке. На самой что ни на есть линии соприкосновения.

Где-то рядом, внизу, не дорыв обязательные ячейки, спит мертвым сном измученная рота.

После утреннего боя мы прошли километров тридцать и к ночи, зайдя в лес, попадали где кто стоял. Много труда стоило командирам заставить солдат кое-как окопаться. Подтащили в баках горячую овсянку, но она вся там и осталась. Почти никто не подполз с котелком, одиноко звякнула где-то ложка, и все... Измученный утренним перетаскиванием раненого и долгим маршем, я упал сразу после команды и тут же отключился. Меня растолкал сам Кунатов.

Ничего не соображая, сажусь в отрытом песке.

— Просыпайся! Встанешь вон там — у большого валуна — часовым.

Постепенно до меня доходит... Значит, опять не спать. Но ведь я же... сплю...

— Встать! — негромко, но уже раздраженно выкрикивает Кунатов. — Иди занимай пост.

Встаю, беру автомат и падаю. Поднимаюсь снова, продираю глаза. В сумраке мне плохо видно Кунатова, но я чувствую, что он зол как черт.

— Куда идти?

Приглушенная ругань.

— К большому валуну, тетеря! Стой!

Его рука ложится на мое плечо, он приближает ко мне голову и тихо говорит:

— И не вздумай спать. Прошлой ночью в этих местах часовой заснул — и финны всю роту вырезали. Без единого выстрела. Понял?

Последние слова пробуждают меня. Так же тихо и серьезно я повторяю приказание и поворачиваюсь, чтобы идти. Оглядываюсь — Кунатов присаживается у елки и тут же валится на бок. Спит.

Валун. Напряженно вглядываюсь в темноту. Автомат в руках, наготове. Чуть что — буду стрелять.

Где-то трещит ветка. Ползут?

Нет, показалось.

Тишина. Сзади слышен приглушенный храп. Счастливые... Спят... А я должен стоять. Почему я?.. Но ведь кто-то же должен... Кто-то же должен...

Проклятые веки закрываются сами, проклятые ноги подкашиваются. Вот если встать на одно колено, будет легче стоять... Нет, это не случайность, что Кунатов послал часовым меня... Не случайность... Но почему я не на одном колене, а на двух, и автомат упирается в мох? Встать! Прошлой ночью часовой заснул, и финны вырезали...

За три метра все равно ничего не видно, хоть изо всех сил пялься. Я не буду спать, только закрою глаза... Нет финнов в этом лесу... Я только на минутку прислонюсь к валуну...

Проклятье — ведь сплю!

Где спишь, идиот? На передке на самом. Вчера ночью финны вырезали целую роту... Без единого выстрела... Кунатов...

Надо что-то придумать. В конце концов, жить-то ведь хочется больше, чем спать. Заснешь — конец. Не от финнов, так от своих.

Я делаю два шага в сторону и нащупываю ствол молоденькой сосны. На уровне лба отламываю липкую упругую ветку и встаю рядом.

Теперь — порядок. Засну — наткнусь на сучок.

Вот ведь как ловко придумал. Теперь и финны мне не страшны, и Кунатов. И за сосенкой меня из леса не видно.

Пусть-ка теперь полезут — тяжелый дырчатый ствол нагрелся от моих рук.

Тишина в лесу, только храп, приглушенный сзади.

Время от времени я больно натываюсь лбом на сучок и просыпаюсь.

Через два часа меня меняют, а с рассветом мы уже снова шагаем вперед, в неведомое.

## ОТДЕЛЬНЫЙ КОСТЁР

Нас отвели во второй эшелон. Уже второй день мы отдыхаем от боев, спим почти вволю. Полевая кухня регулярно, три раза в день, снабжает нас горячим пшеничным супом с консервами и овсяной кашей, в которой ложка стоит и не падает. Повар-казах наваливает нам полные котелки, мы едим, привалясь к кочкам, едим со вкусом, не торопясь. Огромные порции каши исчезают в желудках, и блаженное состояние сытости переполняет нас.

Где-то вдалеке слышна канонада. Бой идет в каких-нибудь пятнадцати-двадцати километрах, но нас это не касается. Мы упиваемся передышкой, спим, чистим оружие, пишем письма, кто-то чинит прожженную шинель, двое солдат из соседней части пришли поменять сухари на водку... Мирно и тихо в лесу — мы второй эшелон.

Я сижу один у своего костра. Несколько дней тому назад был случай, когда меня прогнали от общего костра, и я уже не делаю попыток подсесть к остальным.

Я уже внутренне смирился с той ролью, на которую меня обрели. Все мои попытки сблизиться с кем-нибудь разбиваются о тупую стену недоверия и недоброжелательства. Я чувствую, как с каждым днем кольцо отчуждения становится все плотнее.

В школе я был коноводом, мальчишки любили меня за веселый нрав, компанейский характер и за неистощимую озорную изобретательность. В детдоме относились ко мне прекрасно — и взрослые, и дети. В Канахе вокруг меня тоже были люди — не мед. Но там, после шести месяцев совместной жизни, когда меня узнали, ко мне в общем относились с уважением, доверяли, даже давали

на сохранение деньги... Шесть месяцев голода, тупой армейский быт, основанный на грубой власти, поощряемый подхалимаж, поголовное воровство и полное отсутствие элементарной справедливости — все это подкосило мои силы. Я молчу целыми днями. Я отупел. Не могу составить ни одной путной фразы, да и кому она нужна? Мир разбился на простые истины: черные и белые. Все интересы элементарны. Они сосредоточены на десятке окружающих вещей: шинель греет — это хорошо. Котелок должен быть полным. Портянки — сухими. Дождь — враг. Саперная лопатка — друг. Она спасает от пуль. Автомат необходим. Сумка с пулевыми дисками — враг. Она гнет меня к земле, бьет по ногам.

Нюансов нет. Мысли тянутся туго. Когда я пришел в армию, я был сильнее физически, а главное — морально. Теперь же в постоянных стычках, крупных или мелких, я замкнулся в себе, потерял себя... Странное лезет в голову. Раньше, до армии, все казалось ясным: на фронте со мной будут мои боевые товарищи, друзья, готовые друг за друга в огонь и воду, мы будем вместе бить нашего общего врага — проклятых фашистов.

Теперь же те враги врагами и остались — фашисты, гады. Коричневая чума. Ни секунды не сомневаюсь в своем долге — быть здесь, на фронте. В этом единственный смысл моего существования здесь.

Но я живу в атмосфере незаслуженной ненависти, мучительно ищу выхода и не нахожу его...

Костерок мой тухнет. Привычка разжигать костер стала неотъемлемой, и делаю я это ловко — одной спичкой.

Вот сейчас день, солнце, а я все-таки разжег огонек. С ним уютнее. Он мне дорог как что-то свое, живое.

Надо вычистить автомат. Затвор поблескивает на пне. Прочищаю канал ствола и смотрю на свет. Чисто. Сверкает. Складываю аккуратно затвор и вставляю в автомат. Диск заряжается с трудом, но вот уже все три поблескивают тупыми розовыми головками пуль. Готово. Кладу автомат на пень, и в этот момент крупная птица пролетает у меня над головой и, громко хлопая крыльями, садится невдалеке на сосну. Что это за птица? Может быть, куропатка? А что, если ее подстрелить да сварить потом в котелке с солью, — вот это еда!

Впервые в жизни охотничий азарт овладевает мной. Медленно протягиваю руку к автомату, осторожно встаю, крадучись делаю два шага вперед.

Короткая очередь. Падают сбитые пулями ветки. Птица взлетает и исчезает в чаще леса.

Вот растяпа! Промазал. Стрелок фигов! Надо теперь чистить ствол снова!

Наклоняю автомат вниз, отвожу затвор и заглядываю в канал ствола. Он в пороховой гари.

Выстрел!

Боль в ноге...

Я весь цепенею, глядя на круглую дыру в ботинке...

Затвор соскочил и ударил в капсюль, и я чувствую, как начинают мокнуть пальцы в портянке... Отбрасываю автомат, лихо-радочно расшнуровываю ботинок. Портянка в крови. Срываю ее и вижу, что пуля прошла в мякоть большого пальца и вышла через подошву в землю. Кость не задета. Кость не задета!

Теперь главное — скрыть.

Оглядываюсь. Никого поблизости. Допрыгиваю на одной ноге до вещмешка, достаю бинт и быстро заматываю палец. Бинт промокает сразу и предательским красным фонарем сигналист на зеленом мху.

Оглядываюсь. Ко мне идут.

Никогда я еще так быстро не мотал портянок. Ботинок на ноге. Все... Только подлая дырка в ботинке выдает... Если кто-нибудь узнает — трибунал... Батальон, построенный в каре... «За самострел в боевой обстановке приговаривается...»

Наш новый (уже третий) взводный лейтенант Скворцов появляется передо мной. Встаю.

— Кто стрелял?

— Я.

— Почему?

— Проверял, как работает автомат. Раньше заедало затвор.

— А теперь?

— Наладил, товарищ лейтенант! Все в порядке.

— Ну, тогда ладно.

Ушел. Заметил ли дырку в ботинке? Кажется, нет... Нужно срочно поменять ботинок... Еще бы полсантиметра — и в кость... Пробую ходить. Терпимо.

Несколько дней тому назад в соседней роте произошло ЧП. Молоденький солдатик осуществил самострел. Видимо, кто-то из опытных научил: чтобы рука не была опалена гарью, выстрелить

себе в левую руку через буханку хлеба. Срочно был созван трибунал. На большой лесной поляне батальон выстроили в форме каре. (Что за слово — «каре»? От слова «кара»?)

Трибунал: командование батальона, политотдел полка, офицер из СМЕРШа — на этот раз судил стоя, а щуплый и бледный солдатик, без погон и ремня, с туго забинтованной рукой на перевязи, стоял в стороне от них, охраняемый двумя автоматчиками.

Процедура была недолгой. Высокий офицер по бумаге зачитал текст приговора: «За самострел, произведенный в боевой обстановке на поле боя, что является изменой Родине, рядовой Игнатьев, автоматчик второй роты полка номер... приговаривается к высшей мере наказания — смертной казни через расстрел».

Офицер опустил лист, оглядел притихший батальон, потом снова поднял лист к глазам и продолжил: «Учитывая, что отец упомянутого солдата находится сейчас тоже на фронте и награжден двумя боевыми орденами, а также то, что упомянутый солдат является первогодком... — офицер снова опустил лист и, выдержав паузу, закончил: — Заменить смертный приговор правом искупления вины кровью в боях».

Спустя два дня стало известно: солдат-первогодок Игнатьев искупил свою вину кровью — он был убит в первом же бою.

Вечером нас поднимают на марш. Всю ночь мы идем, а с первыми лучами яркого июньского солнца снова вступаем в бой. Опять пули свистят над головой, а у меня своя забота — с первого же трупя снимаю ботинок, а свой, дырявый, выкидываю в кусты.

Теперь никто не узнает.

**ВЫСТРЕЛА НЕ БЫЛО!**

От расстрела я спасся.

Ни секунды не сомневаюсь в том, что никто бы не поверил мне, что выстрел произошел нечаянно.

Нечаянно! Какое детское слово, и как оно не вяжется с кровавой обстановкой вокруг, где жизнь человеческая висит на волоске, где нет доверия, где нет дружбы, где нервы у людей на пределе, а оружие на взводе, и только случай может сохранить жизнь.

На этот раз он за меня — ведь пуля могла ударить на полсантиметра ближе к стопе.

## ЗА ЧТО?

Я бреду по лесу с писарской сумкой на боку.

В лесу затишье. Уже целую ночь и полдня как не слышно выстрелов. Мы почему-то не двигаемся, ждем команды, а финны, как всегда, спрятались в глубине леса.

Мне нужно идти по просеке километра два, и я выйду к штабу батальона, где должен получить почту и передать пакет. Я иду не торопясь, сберегая силы. Торопиться некуда. Все равно война.

В просветах между деревьями, вдали возникает тень, идущая навстречу мне. Я узнаю эту высокую сутулую фигуру. Это наш ротный писарь, которого позавчера перевели в штаб батальона, а меня поставили на его место. Всегда угрюмый и неразговорчивый, он вызывает у меня какую-то смутную симпатию, так как он один из немногих в роте, кто никогда ничем не оскорбил меня, не задел, не насмеялся, и я внутренне благодарен ему за его молчаливый нейтралитет.

Мы равняемся, и он останавливается.

— Я хотел вас предостеречь, — говорит он неожиданно и оглядывается.

— От чего?

— Не от чего, а от кого. Кунатов вас ненавидит и сделает все, чтобы вас кончить...

— Как так — кончить?

— Да вот так! Не пройдет и пары суток, как вас убьют или ранят. Он поможет в этом...

— За что?

— Как за что? За то, что вы — еврей!

Я стою, опустив голову. Пачка табаку... За раненым под пули. Все так.

— Я вас удивил?

— В общем, нет... Я только не знал, что это так конкретно.

— Вполне. Считал необходимым вас предупредить. Поберегитесь.

— Поберегитесь! Как?.. А вообще-то спасибо.

Он машет рукой и снова оглядывается.

— А почему вы мне об этом сказали?

— Ненавижу всю эту сволочь! — Он делает шаг в сторону, чтобы идти дальше, но оборачивается и говорит: — Если вы вы-



беретесь из этой мясорубки, что вряд ли, то потом что-нибудь поймете...

Высокий и сутулый, он шагает от меня и теряется в деревьях. Я даже не знаю, как его зовут.

Быть осторожнее... Поберечься... Разве это возможно?

Подтягиваю сумку и топаю дальше...

## САМОХОДКА

Ветки бьют по лицу — справа и слева между деревьями мелькают серые шинели — стреляю от живота вперед короткими очередями — стреляю бесцельно — на звук — согласно приказу — создать огневую завесу и продвигаться вперед, потому что эти проклятые финны ежедневно убивают и ранят уж очень много наших — поэтому приказ — патронов не жалеть, бить всем вперед на звук финских автоматов и в атаку — ура!

Грохот. Грохот. Падаем. Ползем. Стреляем. Бежим. Снова падаем лицом в остропахнувший торф, снова вскакиваем и как безумные мчимся вперед.

Встречные пули тонко свистят над головой. Сыплются на плечи срезанные ими ветки и труха. Взводы перемешались в лесной чащобе, все перепутались, сейчас главное — не отстать, не затеряться в этом хаосе.

Бегущий рядом со мной молодой лейтенант из второго взвода вскрикивает и хватается за руку. Сквозь пальцы сочится яркая кровь. Он приваливается к елочке и пытается достать из кармана индивидуальный пакет, но боль в запястье слишком велика, и он стонет, сморщив розовое мальчишеское лицо.

— Солдат! Помоги!

Я достаю у него из кармана пакет, присаживаюсь и бинтую, как умею. Он кряхтит и сдерживает крик. Бинт сразу весь намочает. Из его рюкзака достаю второй и бинтую поверх повязки. Остатком накладываю жгут на предплечье (кажется, так учили), и мы оба вскакиваем на ноги. Еще секунду обалдело смотрим друг на друга, а потом разбегаемся в разные стороны: он — назад к сабату, а я вперед — догонять своих.

Звуки боя слышатся где-то впереди и сбоку. Быстрее туда: самое страшное — оказаться одному в лесу. Можно потерять ориен-

тировку и выйти прямо к финнам в лапы, и, кроме того, я обязан быть в строю, а не перевязывать раненых — на это есть санитары. Я бегу дальше, выскакиваю на поляну и чуть не спотыкаюсь о чье-то тело.

Раненый — большой и плотный парень со светлым чубом, — увидя меня, протягивает ко мне руки и зовёт протяжно и жалобно:

— Браток! Постой... Помогите... Все ушли... Не могу ползти... В грудь... Ох!..

Я наклоняюсь. Грудь у парня прострелена. На седом мху через поляну тянется бурый кровавый след, видно, сюда только хватило сил доползти. Лицо у парня белое, глаза провалились, рот судорожно хватает воздух, и бессвязные слова вырываются с хрипом. Не жилец... Как тот, которого я вытаскивал с просеки.

— Слушай! Я не могу тебе помочь... Мне надо бежать к своим, вон они куда ушли... Меня же за дезертира посчитают...

— Браток... не бросай! Позови кого... ведь помру... браток...

В отчаянии стою я над ним. Ну куда же я его дену? Кругом лес. Можно, конечно, попытаться тащить его назад, но как я потом оправдаюсь? Где я был?

Он хватает меня за руку и держит. Последняя надежда. Жест отчаяния. Что делать?

Опускаюсь рядом с ним, закидываю его руку себе на шею и пытаюсь волочить назад. Ну до чего же тяжеленный! Он, наверное, на голову выше меня, да и шире раза в полтора. Он хрипит и пытается помочь мне, отталкиваясь ногами от земли, но делает только хуже. Я задыхаюсь и, протаскивая его метров пять, останавливаюсь.

— Стой, дай передохнуть.

Что же делать? Мне его не вытащить. Кричать санитаров опасно — финны ходят по лесу кучками и в одиночку, прячутся, пропускают наши части вперед и бьют с тыла; их гибкая тактика уже известна и стоит нам многих жертв. Сами же они неуловимы и хитры, как бесы. Вот уже третья неделя как я в боях, — сколько полегло на моих глазах наших! Сотни полторы или больше — это я видел лично сам, а вообще батальон превратился в роту...

А сколько убитых солдат противника я видел? У перекрестка дорог труп лежал — раз, в лесу — два, в болоте еще двое... Всего пятеро...

Трещат ветки. Я падаю и затаиваюсь, выставив автомат. Через поляну идут наши, несколько человек в маскхалатах.

Бросаюсь к ним.

— Ребята, помогите! Мне не дотащить одному. Тяжелораненый. Парень вот-вот загнется...

Меня слушают неохотно, не останавливаясь, угромо наклонив головы. Двое из них с перевязанными головами, одного тащат под руки, а голова у него свесилась на грудь и болтается. Раненые. Вот беда-то! Они молча продолжают свой путь, а я в отчаянии хватаюсь за последнего, который вроде был цел и невредим. Я ору на него, что он подлец и обязан мне помочь тащить раненого. Он оборачивает ко мне измученное лицо и, странно тряся головой, говорит тихо и заикаясь:

— Что о-орешь? К-круг-гом финны... К-контуженный я... Р-ребята все ранены... Н-не можем... — и поворачивается, чтобы идти.

— Вы хоть санитаров сюда пошлите, — кричу я вслед и понимаю, что это безнадежно, им бы самим выбраться, да и как найдут санитары маленькую поляну среди леса?

Ветви смыкаются за ними. Опять я один с раненым, и опять я пытаюсь его тащить. Еще метр, еще один, еще... Тяжело. Не могу. До дороги километра три, а он угасает на глазах, но судорожно цепляется за меня и уже не кричит, а шепчет: «Браток... не бросай!..»

Резкая очередь где-то вблизи, и отбитая кора сосны, под которой я лежу, сыплется на голову. Свист пуль, снова частый грохот — мох метрах в трех от меня взрывается маленькими фонтанчиками.

Финны! Засекли!

Отталкиваю сцепленные у меня на шее руки и хватаюсь за автомат. Прыжок в яму. Руки сами отводят затвор и нажимают спуск. Бью на звук. Еще очередь. Где-то сзади меня дробно стрекочет еще один финский автомат. В ужасе выпрыгиваю из ямы и, стреляя то вперед, то назад, мечусь между деревьями неизвестно куда — вправо, влево, назад, в сторону... Кончились патроны. Теперь я безоружен. Бегу очертя голову, перепрыгивая кусты, огибая деревья, натываясь на молодняк. Ничего не соображаю, не помню, не знаю, мною владеет сейчас только страх, а ноги несут меня неизвестно куда...

Просвет. Голоса. Дорога? Да. Стоят машины. Наши? Наши!

Выбегаю на дорогу. В кювете горит танк, опрокинутый кверху гусеницами, стоят несколько «студебеккеров», водителей в кабинках не видно, в придорожных кустах залегли какие-то незнакомые солдаты, а придорожная полоса куском метров сто-сто пятьдесят вся изрыта, искорежена поваленным лесом, разломанными стволами сосен, свежей, будто специально наломанной хвоей. А на дороге ни души. Странно что-то. Что это? Был танковый бой? А почему все попрятались в лес?

— Солдат! Назад! Ко мне! — властный голос из кустов.

Подхожу. Незнакомый майор. Рядом с ним группа офицеров. Все они возбуждены и смотрят куда-то в сторону.

— Откуда? Из какого батальона?

Называю.

— Почему здесь?

— Отбил. Перевязывал раненого.

Майор переглядывается с офицерами.

— Слушай, друг, — вдруг конфиденциально обращается он ко мне, — хотим тебе задание дать.

Молча смотрю на него. Пока я не в своей части, каждый офицер мне начальство.

— Вон, видишь там, на опушке леса, вон там, метров восемьсот отсюда, наша самоходка стоит?

— Вижу.

— Валяй в разведку туда! Одним духом!

— А что там разведывать?

— Ты что, не соображаешь? — вдруг срывается на крик майор. — Финны там, говорят. Самоходку захватили. Вот нужно пойти и проверить: самоходка занята, или она пустая. Понял? Выполняй!

Понял. Выполняю. Ничего себе задание — с автоматом на самоходку! Перезаряжаю пустой диск, быстро перебегаю дорогу, перепрыгиваю поваленные стволы и углубляюсь в лес. Теперь с самоходки меня не видно. Можно продвигаться осторожно вперед, параллельно этому сосновому побоищу. Рыжие рваные клочки свежей коры, измочаленный луб, торчащие вверх корни.

Ловко он меня использовал, этот майор! И надо ж было мне выскочить прямо на него!

Осторожно выглядываю из-за стволов. Вот она, самоходка, — черная, квадратная, с высоко поднятым стволом.

Сколько их проходило рядом с нами, обгоняя пехотные колонны на марше, — было спокойно и даже радостно. Вот она, наша техника. Сила. Теперь же в руках финнов самоходка кажется мне совсем другой — грозной и страшной. Недаром наши все попрыгались. И майор в том числе...

Осторожно. Если в самоходке никого нет, то рядом с ней могут засесть финны. Каждый мой шаг вперед может стать моим последним шагом. Как стреляют финны, мне уже известно. Осторожно. Я уже не иду, а крадусь от дерева к дереву. Ползу. Выглядываю. Вот и самоходка, приземистая, похожая на танк, совсем рядом, она замерла метрах в двадцати от меня. Никаких признаков жизни. Тишина. Постою еще немного вот так, за деревом, и потом к ней. Майор — сволочь! Хотя, в общем, он прав — зачем терять своих людей... Вот сейчас я выйду из леса, оружие развернется и шарахнет по мне. Майору станет ясно: самоходка в руках врага. Все правильно... Еще минутку постою и пойду. Еще минутку... Еще...

Тишина. Выхожу на поваленные стволы и, выставив автомат (если бы мог смеяться, то было бы смешно), иду вперед. Шаг, второй, третий... С каждым шагом страх покидает меня — нет там никого, иначе давно бы уже подстрелили.

Подойдя вплотную, забираюсь на гусеницу и нахально стучу по башне, затем поднимаю автомат и даю короткую очередь в воздух.

На дороге оживление. Забегали фигурки. Загудели машины, начали разворачиваться.

Возвращаюсь на дорогу и, стараясь не попадаться на глаза майору (еще пошлет снова какой-нибудь танк брать), отправляюсь искать своих.

Вместе со мной еще двое из нашего батальона. Так же, как и я, отбились в лесу, заблудились и потом вышли на дорогу.

Мы идем по каким-то тропкам, огибаем небольшое озерко, углубляемся в молодой сосняк... До чего же хочется спать! Кажется — только дай, и прямо здесь упаду и буду спать, спать, сколько можно... Лесная дорожка, овраг, пахнет вереском и торфом, поляна. Знакомая поляна...

На краю ее лежит большой парень со светлым чубом, и белый подбородок его остро и неподвижно задрался вверх...

«Браток... не бросай...»

Будь оно все проклято!

## ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

...Грубый пинок ногой, и я сажусь, обалдело оглядываясь. Трава на кочке, смятая моей головой, распрямляется, пилотка лежит на траве, метрах в пяти начинаются сосны, прямо передо мной ноги в офицерских сапогах. Поднимаю голову и встречаюсь взглядом с капитаном Сухановым из штаба батальона. Его лицо перекошено злобой, кулак подносится к моему лицу.

— Спать? Встать, сволочь! Встать, тебе говорят!

Я вскакиваю.

— Почему здесь? Где рота?

— Отстал от своих... Перевязывал раненого, а рота ушла...

— Дезертировать хочешь... твоя морда! — Его голос переходит в свистящий шепот.

— Да нет же, правда, перевязывал раненого, а потом здесь самоходка... Майор приказал проверить... Послал в разведку... Думали, что самоходку заняли финны... Я проверял, а потом пошел искать роту... свалился, заснул...

Он не верит ни одному моему слову. Чувство бессилия доказать свою правоту расслабляет мою волю, делает речь бессвязной и неубедительной, я как-то весь сжимаюсь и поникаю. Не верит? Ну что же — я не могу доказать, я не хочу доказывать. Если он захочет меня расстрелять, я не буду доказывать, что невиновен. Это безнадежно и поэтому не нужно.

Молча жду, что будет дальше. К капитану подходят связные, что-то ему докладывают, вдали снова начинают бухать минометы, группа солдат в касках проходит мимо нас в лес по тропинке. Капитан спрашивает что-то у них, потом подзывает меня.

— Пойдешь с ними. Найдешь свою роту. Если еще раз увижу здесь, расстреляю! Понятно?

— Понятно.

— Повтори!

— Идти с ними. Найти свою роту. Если увидите здесь еще раз — расстреляете.

— Кругом! Шагом марш!

Обошлось! И на этот раз обошлось! Но сколько раз еще суждено мне быть уже на краю, и сколько раз еще выручит меня случай? Сколько раз смерть проносилась около меня на расстоянии сантиметра! Сколько трупов я перешагнул — трупов, за минуту

до этого бывших людьми? Ведь, казалось бы, малейшее изменение обстоятельств — выход из-за дерева на секунду раньше или на секунду позже — и снайперская пуля настигла бы меня; стоило осколку прожужжать чуть ниже — и с треском разлетелся бы мой череп; если бы ствол автомата был на долю миллиметра направлен под другим углом, я бы раздробил себе палец на ноге. Трибунал, расстрел. Сколько смертей ожидает солдата при каждом его шаге, при каждом его вздохе, наяву и во сне, от противника и от своих, от случайности и закономерности! В чем она — эта закономерность? В том, что люди гибнут, или в том, что они выживают? Каждая минута фронтовой жизни убеждает меня в том, что закономерна гибель, и лишь всемогущий Случай приходит на помощь и в, казалось бы, безвыходных, конченных положениях выводит человека к свету, к жизни, вырывая его, буквально вырывая из цепких лап смерти.

Так и сейчас, будь капитан в другом настроении, он застрелил бы меня как дезертира, и никто бы ему слова не сказал. Он был бы прав и с воинской точки зрения, и с юридической, и с моральной.

Пока что догоняю гвардейцев и шагаю с ними по тропинке.

В лесу темнеет. Где-то далеко сзади просматривается пожар, слева между деревьями поблескивает озеро, впереди идет редкая перестрелка.

Мы идем по неприметной лесной тропке. Под ногами начинает чавкать. Болото. Пахнет горелым. Лес расступается, и мы выходим на широкую просеку. За пнями, между кочками, лежат бойцы в темных намокших шинелях. Среди них я узнаю своих — Баранова, Осмачко. Молча ложусь рядом с ними. Вот я и дома. У своих. Надо доложить о прибытии.

— Где лейтенант? — спрашиваю у соседа. Он машет рукой. Понятно. Лейтенанта нет. Убит или ранен. Не все ли равно? Кочка, на которой лежу, мягкая, ноги лежат не в воде, а на высоком камне. Там сухо. Где-то далеко пощелкивают финские автоматы. Можно вздремнуть. Укладываю автомат под щеку и мгновенно засыпаю.

Просыпаюсь от резкой очереди рядом. Стреляет сосед. В цепи заметно движение, то там, то здесь вспыхивают огоньки автоматных очередей, где-то невдалеке разрывается мина, другая, третья. Напряженно вглядываюсь в темноту. Ничего не видно, кроме ближних стволов. Дальше синева и мрак. Слышна очередь фин-

ского автомата. Поворачиваюсь на звук, отвожу затвор и нажимаю спуск. Стреляю недолго, зачем зря тратить патроны? Сосед умолкает тоже, а справа от меня начинает бить пулемет. Это наш, станковый, его голос хорошо знаком. Снова редкие выстрелы по цепи. Противника не видно, но слышно все отчетливее. Сильно пахнет торфом и гарью, правая нога соскользнула с камня и попала в воду. Ботинок намок и теперь неприятно холодит ногу. Поганое здесь место. Что-то тревожное чудится мне в нависших над нами сухих лапах елок, в запахе гари и болота, в мягких, податливых уходящих вниз кочках, поросших вереском и мхом.

— Отходить вправо — к дороге! — Это пробежал по цепи связной. — Приказ нового командира.

Выстрелы противника раздаются все ближе. Короткими перебежками, от дерева к дереву, перебегаем, падаем, вскакиваем, снова перебегаем.

Сколько раз мы вот так, не видя противника, меняли позиции в лесу, потом выходили совсем в другой стороне, и опять шли в лес, и опять стреляли на звук, и снова ничего не понимали: где мы, где противник. Иногда казалось, что мы играем в какую-то странную, нелепую игру — беготню по лесу в разных направлениях, и только смерть, собиравшая в этой игре щедрую дань, напоминала нам о ее жестоких условиях.

В сегодняшних наших действиях, вопреки всему, есть логика. Финны слева и впереди — мы отходим вправо и назад. Или, может быть, я уже начал немного разбираться в обстановке. Сегодня уже одиннадцатое июля. Ровно три недели как я на фронте...

Мы выходим на придорожный участок леса и начинаем окапываться. Рою себе ячейку в желтом песке у корней огромной сосны. С одной стороны, она является дополнительной защитой от пуль и осколков; с другой — нужно рубить корни, и, кроме того, если ее повалит взрывом, то мне уже не нужно будет ни пули, ни осколка. Кругом меня роют ячейки солдаты — остатки нашего батальона. Сколько нас осталось — восемьдесят или девяносто человек? Я узнаю бойцов из соседних рот. Вот красивый черный грузин из второй роты — пулеметчик, вот несколько ребят из третьей роты быстро откапывают себе общий окоп, стучит железо о камень, летят щепки корней, идет непрерывная работа лопатками.



Я вырываю себе ровик по длине тела. Здесь, у дороги, сухо: песок, валуны, сосны. Глубина ровика сантиметров тридцать, я вытягиваюсь во всю длину и жую сухарь. Уютно. Стрельба прекратилась. Слышна только далекая артиллерийская канонада, над моей головой темно-зеленые ветви сосны спокойно шумят, напоминая о том, что есть жизнь кроме войны, есть дом, родные, мама... Где они сейчас? Думают ли обо мне?

Вынимаю бумагу, карандаш и начинаю писать.

«Милые мои родные! Вот уже три недели как я в боях, и за это время ни одного письма от вас. Письма не доходят — слишком часто мы меняем место. Мы в наступлении...»

Воющий звук прерывает мое занятие. Я ныряю в свою ячейку и прижимаюсь щекой к холодному песку. Взрыв! Вой новой мины смешивается с жужжанием летящих надо мной осколков. Крупные гудят, как шмели, мелкие звучат тоном выше. Взрыв где-то рядом! Чвах! Чвах! — это крупные куски металла врезаются в тело моей сосны. Взрыв. Другой. Третий. Завывание становится непрерывным, переходит в сплошной высокий вой.

Я лежу на правом боку, вдавливая себя в землю, на зубах — песок, автомат давит на висок, но я ничего не чувствую. Весь я — одно цельное животное желание — стать меньше, ужаться, вдавиться в холодную землю, чтобы укрыла она меня от этого ада над головой.

Внезапно обстрел кончается. Теперь я слышу, как рядом, в другой ячейке, надрывно кричит раненый, вдалеке еще один, к этому звуку примешивается еще один — далекий и незнакомый. Кажется, что в лесу кричат или поют высокими голосами. Что это? Высовываю голову из-за бруствера, и одновременно начинает бить наш пулемет где-то шагах в сорока слева от меня. Вглядываюсь в лес, откуда мы пришли, и замечаю мелькающие за деревьями маленькие фигурки. Крик, теперь я различаю даже отдельные звуки, нарастает. Аля-ля-ля! — звонко, на весь лес, раздается странное пение-крик, и вдруг до меня доходит. Это же атака! Финская атака! Впервые я вижу живых финнов в бою — вот они, эти жестокие отважные люди, горсточкой сдерживающие наши батальоны, великолепные стрелки, вот они, кто вызывает во мне вместе со злобой и страхом невольное уважение...

Быстро стряхиваю песок с автомата и даю длинную очередь. Это первые выстрелы по цели за три недели, меня охватывает из-

умляющий самого меня лихорадочный подъем — я стреляю по врагу, я воюю за Родину... Что в сравнении с этим все мои обиды и невзгоды, я в бою, я задыхаюсь от напряжения и волнения, кругом меня ведут огонь из всех ячеек, автоматы перекрывает мощный звук нашего пулемета.

Крик прекращается. Атака захлебнулась. Мы отбили ее. Отбили атаку! Устало опускаюсь на дно окопчика. Под ногой смятый лист бумаги. Ах, да, письмо! Допишу потом, сейчас не до этого. Запихиваю письмо в вещмешок и перезаряжаю автомат. Слева все еще кричит раненый.

Снова вой мины и взрыв. Бросаюсь ничком. Вой — взрыв. Вой — взрыв. Летят осколки... Там, в районе болота, работают три-четыре миномета, взрывы следуют один за другим. Где-то сидит их наблюдатель, и мины точно накрывают нашу оборону. Взрыв совсем рядом, и меня засыпает песком. Такого обстрела мы еще не испытывали.

Минутная тишина, и снова нарастает высокий пилящий по нервам звук: аля-ля-ля!.. Атака!

Выгребаюсь из-под песка. Скорее! Звук приближается, я вскидываю автомат и нажимаю спуск. Заело. Затвор весь в песке. Скорее! Лихорадочно тереблю затвор. Пальцы дрожат и не слушаются. Снова стреляет наш пулемет, очередь, другая, крики утихают, вот молодец какой — заставил их залечь, но они придвинулись ближе метров на тридцать-сорок, не меньше, а я все еще вожусь с автоматом. Проклятье! Достаяю гранату. Где же запал? Вот он. Спокойно. Не волноваться. Не торопиться. Финны не атакуют, залегли, стреляют, — значит, есть время. Вставляю запал, теперь можно почистить автомат. Кладу гранату на бруствер и сразу же хватаю оттуда и прячу на дно окопчика. Шальной осколок в мою гранату — и... Вынимаю затвор, прочищаю ствол, затвор вставлен — даю короткую очередь. Все в порядке! Пусть идут. Я готов.

Снова вой мины и далекий взрыв. Здорово это у них придумано! Обстрел — атака. Обстрел — атака. Во время обстрела, когда мы лежим, уткнувшись носами в землю, они продвигаются ближе к нам. Взрыв. Еще один, ближе. На этот раз они молотят по нашей обороне в шахматном порядке. Я лежу на самом переднем ее крае, они начали с дальнего, сейчас взрывы слышны все ближе и ближе, на меня падает большая ветка, срезанная осколком, я укрываю своим животом гранату, ее не должен задеть осколок...

Ледящий душу вой нарастает, взрыв! Крик человека — истощенный, смертельный; земля гудит и дрожит, зубы стиснуты, меня опять засыпает песком, взрыв совсем рядом, я глухну, снова вой... и страшная боль пронзает меня всего. Проносится мысль — все, конец!

Ничего не соображаю, судорожно барахтаюсь в песке, чтобы встать, очки залепило песком, но я вижу, что песок в крови; мне кажется, что вырвало левый бок, шинель намокает, я стою на коленях, левая рука висит, весь рукав шинели рваный и мокрый от крови. Безумная боль поднимает меня с места, я вскакиваю во весь рост и бегу налево, через всю оборону; мимо меня свистят пули, я перескакиваю через труп, бегу и кричу; мелькают деревья, вспыхивают какие-то огни; вещмешок, висящий на правом плече, задевает за ветви и мешает бежать, на ходу сбрасываю его. На секунду возникла мысль — забрать письма и фотографии... Льется кровь, бегу дальше в лес, в направлении дороги. Еще ни разу не видел, чтобы кровь лилась так обильно; впрочем, видел у того, у Грובהа... Надо бежать быстрее. С кровью уходят силы. Сколько их? Хватит ли добежать до людей? Внезапно обнаруживаю, что бегу не по тропинке. Кругом лес. Страх парализует меня. Если сейчас заблужусь — конец. Надо искать дорогу. Где же тропинка? Изменяю направление. Тропинки нет. Боль не утихает. Кровь бежит... Уже весь край шинели почернел от нее. Сбросить бы шинель... Нет, нельзя терять ни секунды... Где же эта проклятая тропинка, где же? Если найду — буду жить. Нет — смерть. Натыкаюсь на какие-то кусты, скорей мимо них! Но кусты снова встают на дороге, кругом кусты... Что такое? Кусты начинают хоровод... Кружится голова?.. Плохо. Нельзя поддаваться! Поддамся — смерть! Вперед! Надо искать тропинку. Надо найти выход. Выход в жизнь...

Внезапно я замечаю тонкую цветную нитку. Кабель! Вперед! Снова бегу, не спуская глаз с блестящей красной жилки. Теперь я дойду, дойду во что бы то ни стало! Впереди показываются люди. Иду к ним. Передние солдаты останавливаются и смотрят на меня с участием и страхом. Каски, винтовки... Гвардейцы спешат на помощь к нашим, на выручку. Меня перевязывают. Руку сгибают в локте и привязывают к шее, бинты сразу намокают и становятся ярко-красными.

Я полусижу около пня, рослый солдат помогает мне подняться, объясняет, как идти дальше.

— Здесь уже недалеко до дороги. Ничего, дотопаешь!

Сквозь боль и муку отмечаю — голос его заботлив, участие искреннее. Гвардейцы уходят. На пне остается котелок с кашей и несколько кусочков сахара.

Это мне. Это от чистого сердца... Как непривычно!

Вперед! Скорее к дороге! Снова кружится голова. Нет, теперь уж я обязательно дойду! Обязательно!

Меня догоняют легкораненые, мы идем втроем. Деревья рдеют, вот и дорога, разломанный танками лес, вот «студебеккеры» катят с бойцами, прогромыхало орудие, идут войска. Палатка с красным крестом белеет невдалеке.

В ногах у меня странная дрожь. Я опять иду один, легкораненые давно обогнали меня, сейчас они уже в санбате. Но мне уже не страшно. Я вышел. Если упаду — заметят. Нет, я не упаду, я дойду. Я обязательно дойду! Вот уже палатка. Пожилой санитар идет мне навстречу, поддерживает меня, ведет внутрь. Там темно, на полу — носилки с ранеными, крики, стоны.

Мою шинель разрезают и отбрасывают, снова перевязывают поверх красных бинтов... Мне становится дурно, и меня рвет прямо на руки санитару.

Подъезжает телега, кто-то кричит: «Которые без ног, давай сюда!» Санитары выносят носилки. Я уже не кричу, а тихо постанываю, мне нехорошо, мутит.

— Иди к телеге, малый, — говорит санитар.

Встаю, делаю два шага, палатка идет ходуном, потолок опускается, плывет... Темнота. Теряю сознание...

## Часть третья

### ГОСПИТАЛИ

#### САНБАТЫ

Как в калейдоскопе мелькают люди, места, события...

Вповалку лежим мы в кузове грузовой машины; стонут, кричат вокруг меня раненые. Носилки... Брезентовые палатки фронтового санбата... Рыжая девчонка в белом халате раздевает меня догола, выкидывает окровавленное белье... Выражение лица сосредоточенное и испуганное.

— Господи, какой худой!

Первый операционный стол... Меня разматывают... Адская боль... Темнота...

Большая палатка набита ранеными до отказа. Мы рядами лежим в полутьме, головами к брезенту, ногами к выходу. Кто-то хрипит в углу. Темно.

Тяжелый запах лекарств, крови, пота стоит внутри, хотя брезентовые двери палатки поминутно хлопают, впуская и выпуская санитаров — солдат выздоравливающего батальона.

... Ночь. Нас везут на телеге, запряженной парой рыжих сытых коней. Над нами в темно-синем небе черными силуэтами уплывают ветви придорожных деревьев. По мягкой лесной дороге телега идет плавно, но вот возница сворачивает, и нас начинает дробно трясти. Мы трясемся по настилу из молодых деревьев, уложенных плотно друг к другу, — обычной фронтовой дороге из тех, что протягивают в болотистых местах.

Неделю назад мы сами строили такую дорогу — не по ней ли везут нас сейчас, и каждый толчок телеги отзывается острой болью...

— Терпи, ребята, терпи. Тут недалеко...

Новый санбат. Сон урывками... Свет и тьма... Перевязочная, новые лубки... Литр глюкозы подкожно. Миски с кашей, к которой я не притрагиваюсь...

В новом санбате судна раненым подает молодой санитар, разбитной низкорослый парень. Я прошу его подать мне судно. Он вдруг ослабливается и говорит:

— Ничаво, яврей, сам слезешь!

И когда я, собрав всего себя, из последних сил сползаю с нар на судно, он стоит рядом и издевается...

Лютая злоба, помноженная на бессилие и отчаяние, наполняет меня. Я глухо ругаюсь — что я еще могу...

В ответ санитар, выходя, наступает мне на ноги и говорит:

— Ужо погоди...

Не больно. Но сам факт...

После перевязки, к великой моей радости, меня по ошибке вносят в другую палатку, которую обслуживает другой санитар — седенький пожилой солдат с желтыми усами и усталым лицом.

В новой палатке всего пять или шесть человек. Скоро их уносят, и старик спрашивает меня, не позвать ли дохтура, пушай тебя отсель забирают.

Мне удается уговорить его, и я остаюсь один на всю большую палатку. Старик приносит мне ужин, а потом с аппетитом съедает его, когда я отказываюсь. Темнеет. По брезенту начинают постукивать капли дождя. Мой санитар сначала клюет носом, сидя в углу, а потом уходит совсем. Боли немного отпустили.

Лишь бы не явился сюда этот гад, а так мне хорошо...

Просыпаюсь от грохота и белых вспышек, высвечивающих на мгновение брезентовые прямоугольники крыши. Что это? Орудия? Минометный налет? Бомбежка?

Господи, да это же гром! Обыкновенный гром. Сильный дождь шумит по брезенту, летняя гроза, больше ничего. Молния снаружи освещает темный свод надо мной; опять грохочет над головой... Какой же это мирный безопасный, какой приятный и уютный грохот!

Ветер хлопает брезентом. С верха палатки начинает течь. Повезло — струйка журчит где-то рядом, а ведь могло бы литься прямо на меня. Брызги с пола летят на одеяло...

Все в порядке — обыкновенная гроза.

Утром в палатку засовывает голову какой-то врач, замечает меня и удивляется. Узнав, что я провел здесь всю ночь, удивляется еще больше, стаскивает с меня намокшее за ночь одеяло (гроза длилась всю ночь) и убегает куда-то. За стенкой ругает моего старика санитаря.

Приходят двое с носилками. Носилки грузят в машину.

Тряска.

— Куда везут?

— В Пашу. В Паше — госпиталь.

## ПАША

...Большая комната сплошь заставлена железными койками. Спертый дух. Тяжелораненых накормили в один из завтраков кильками, и теперь всю палату отчаянно несет, нянечки не успевают с суднами. Вносят и выносят носилки. Стук костылей. Алюминиевые миски с кашей. Биты, лубки, гипсовые ноги.

...Как в полусне, мелькают белые халаты... Меня регулярно колют, удаляют осколки, меняют шины... Рассматриваю пальцы на больной руке. Желтые, они неподвижно торчат из-под лубков и бинтов... Мало надежды...

Новое ощущение: забытый звук — стук легких женских каблуков...

Мой сосед, грузный бритоголовый парень, пишет по моей просьбе письма в Угоры и Ленинград. Я сообщаю о том, что тяжело ранен и еду куда-то в глубокий тыл. Куда — неизвестно.

К соседу часто прибегает молодая поленькая медсестра.

Она садится к нему на край койки, гладит его, он берет ее руки в свои, и они о чем-то болтают, весело и непринужденно. Потом он обнимает ее. Я отворачиваюсь. Лежу я все время на спине, неподвижно. Любое движение причиняет боль.

...Операция. Меня переваливают с носилок на операционный стол. Склоненные лица в белых масках, брэнчание инструментов... Падают на пол со стуком шины... Боль...

— Сейчас будем давать наркоз, считайте...

За стенами взрыв, вой сирены... Лица в масках пришли в движение, мелькают надо мной... Тревога! Властный мужской го-

лос: «Продолжать операцию!» Взрыв где-то недалеко, и все погружается в темноту... Суетня во мраке. Какие-то вскрики. Тот же голос: «Принести лампы!» Тусклый свет появляется откуда-то сбоку. Еще один огонек приближается ко мне... Запах керосина... Взрывы на улице отдаляются... «Пошла кровь, жгут!»

Белая маска наклоняется надо мной, резиновый жгут крепко закручивает руку и соскальзывает в верхнюю рану... Теряю сознание...

Свет. Горит электрический свет. Рот и нос залепила мокрая, отвратительно пахнущая сладким салфетка.

— Считайте. Считайте до ста...

— Раз, два, три... — Голос мой или не мой? Сейчас начнут оперировать... — Четыре, пять, шесть... — Странно, не могу шевельнуть здоровой рукой... засыпаю? Нет, я же еще считаю... — Девять, десять, одиннадцать... — Я все слышу... Голос мой гремит и падает в металлическую бездну, эхо отвечает ему... — Пятнадцать, шестнадцать, сем... — Звук исчезает...

Голос издалека: «Спит». Нет, я еще не сплю, я чувствую... Сейчас начнут резать, а я все чувствую, хотя не могу ни говорить, ни шевелиться... Ведь до ста, он сам велел до ста... Сто — единица с двумя нулями... Я дышу — поток воздуха осязаем... Он как круглый нуль, абсолютный нуль... Видимое ничто... Запомню ли, что видел «ничто»?..

Просыпаюсь на койке от сильных болей.

На мне «самолет» — гипсовая рубашка с загипсованной и поднятой над грудью больной рукой.

«Самолет» — на месяц. Покой костям, — может быть, срастутся... Много пью, ничего не ем. Сон исчез. Сутки тянутся бесконечно. Надо терпеть.

Сосед уже ходит с костылями, у него задета стопа. Говорит, что недели через две — в выздоравливающий батальон. В добрый путь!

У меня же — своя дорога. Надо терпеть.

Терпеть и ждать — что же будет дальше?..

...Плывут, плывут назад зеленые пашские берега. Надо мною небо, серое и глубокое; мутные облачка то собираются вместе и темнеют в куче, то расходятся бесформенными обрывками, обнажая белые зыбкие просветы.



Я лежу на носилках, крайний в ряду. Под головой у меня канат, на мне серое одеяло. Неуклюжая баржа покачивается на воде, и мне хорошо. Боль отпустила. Скосив глаз, я смотрю на уходящие берега, на песчаные отмели, сбегаящие к воде, на серые домики с черными трубами, на кирпичные дома, изуродованные войной. Собака стоит на песке и лакает из реки. Лохматая, смешная. Вот лес пошел, высокие елки, сосны, низкие березки, кустарник, корни, вывороченные у берега...

Стонут соседи в ряду, просит пить кто-то, а баржа тихо покачивается и уносит метр за метром все дальше от фронтового ада, и я радуюсь каждому уплывающему кустику.

Рано утром сегодня зашумели, забегали в палатах. Я проснулся от крика — эвакуация! Значит, куда-то повезут. Куда? Не все ли равно...

Двое солдат из выздоравливающего батальона остановились у моей койки.

— Кого нести? Этого?

— Дак у него ж рука! Ноги целы?

— Целы.

— Сам дойдешь.

Ругаясь, они уходят. Потом снова возвращаются с сестрой.

— Берите его.

— У него ж ноги целы! Еще придурок один!

Так. Значит, теперь я придурок. Кем я только не перебивал за это время! Дезертиром я был. Охломоном, недоноском, заразой, жидовней тоже был. Великим дурнем, вором (пачка табака), мародерской мордой... Теперь я придурок.

— Берите, я вам говорю. Он тяжелый.

— Тяжелый, тяжелый! Вот тяжелого и нести тяжело. Дала бы легкого!

— Меньше болтай! Несите!

Носилки ставят рядом с койкой

— Перелезай! — командует солдат.

— Не могу.

Солдат ругается и резко сбрасывает с меня одеяло. Молчание, длящееся секунду-две. И мне:

— Давай, друг, потерпи, сейчас перенесем.

Бережно берут они меня за ноги, за гипсовую рубашку. Сестра придерживает голову. Больно. Но вот я уже на носилках, солдаты

несут меня, я вижу коричневый халат, согбенную шею и напряженные руки переднего.

— Отдохнем.

— Давай.

Носилки на земле. Весь я на них не уместился, голова свешивается вниз, приходится напрягаться, чтобы удержать голову на уровне туловища, но я молчу. Меня несут, а ноги-то у меня целы. Придурок.

— Курить хочешь?

— Не курю.

— Чем тебя?

— Миной.

— Сам откуда?

— Ленинградский.

— Так. Пошли дальше.

Снова качаются носилки, снова впереди коричневый халат и напряженная шея. Далеко несут меня солдаты. Несколько раз отдыхают, курят, не торопятся. Мы спускаемся вниз по тропке между деревьев, минуем какие-то груды. Все ниже и ниже. Река? Река. Паша. Блестит синим, а у берега темная серая баржа и на ней носилки с ранеными.

Солдаты оставляют меня на дощатых сходнях и уходят за новым раненым. Я жду своей очереди, а усталая шея уже не держит голову, и она все время отваливается назад. Мимо меня снуют матросы (откуда они здесь?), солдаты, пару раз мелькают белые халаты.

— Доктор! — зову я.

Рыжеватый в очках останавливается.

— Что?

— Под голову бы что-нибудь.

Он машет рукой и убегает.

Какие-то повозки подъезжают к реке. Лошади черные, гривастые, худые. На повозках раненые. Стонут. Кричат. Сколько их?

— Грузи быстрей!

Отправка... отправка...

В барже начинает что-то стучать. Это самоходная баржа, немецкая. Сходни брошены на ее борт, и по ней туда-сюда бегают матросы с носилками. Мне видно, как растут ряды носилок на барже, уже вроде и мест нет. Куда же меня?

— Быстрее!..

Гудок. Короткий и какой-то необычный, но сразу подхлестнувший чем-то далеким, дорожным, путевым...

— Давай, давай!

Мои носилки рывком поднимаются в воздух. Мне не видно заднего носильщика, но размеры переднего поражают меня. До чего ж огромный матросище! Могучая спина, бескозырка на затылке, ленточка во рту, а несет так легко, почти без напряжения. Острая зависть, смешанная с восхищением, на миг овладевает мной — ну до чего здоров! Мои носилки ставят у самого борта. Я последний. Что-то кричат, баржа дрожит подо мной и начинает отваливать.

— Матрос! — кричу я, набрав силы.

— Что тебе?

— Что-нибудь под голову...

— Эх, браток, что ж я тебе дам?

Большая кудрявая голова наклоняется надо мной. Широкие скулы, загорелое лицо, большой рубленый рот. Баржа отваливает от сходен, моему матросу что-то кричат с берега, а он растерянно оглядывается вокруг и вдруг бросается куда-то, а через секунду сует мне под голову свернутый канат — целую бухту.

— Хорош?

— Хорош. Спасибо!

— Будь здоров, браток!

Ослепительная улыбка белых крупных зубов, и гигантский прыжок с борта на уходящие сходни. Я вижу, как он там падает, но тут же встает во весь свой рост и машет мне бескозыркой. Все остальные на сходнях — по плечу ему.

Что-то подкатывает к горлу. Машу ему рукой, а потом блаженно вытягиваюсь на носилках, Хорошо голове, и шея отдыхает.

Плывут назад зеленые пашские берега.

Покидая утром Пашу, я не мог знать, что разминусь на сутки с папой и мамой. Ночью они пересекут Пашу на узкой лодочке, а рано утром появятся в госпитале в надежде повидать меня и, получив ответ, что меня эвакуировали на запад, повернут назад в Ленинград в тоске и тревоге.

Когда я впоследствии узнал об этом, я поразился не тому, что они меня нашли, а маминой отваге — рискнуть пересечь ночью

широкую реку в лодке. Мама не умела плавать, панически боялась воды и никогда в жизни — ни до, ни после этого случая — не садилась в лодку.

## ЛАДОГА

Ладога. Нас грузят на пароход. Снова мелькают матросы с носилками, ходят врачи, нагибаясь к раненым, плещет волна где-то недалеко, и стоит пароход, небольшой, в камуфляжных пятнах. На нем поплывем дальше. Кто-то произносит: Волхов.

Значит, через Ладогу на Волхов? Странно. Ближе к Ленинграду. А может быть, потом в Ленинград? Папа и Лиля в Ленинграде. А может быть... Зачем думать — поехали... Нас устанавливают в два этажа на нарах, устроенных наспех. Удивительно, как ловко и легко работают матросы: двое бегут с носилками по сходням, у высокого борта стоит третий, который помогает им поднять носилки вверх, на вытянутые руки. На борту — другая пара. Быстрым движением они протягивают носилки на палубу, потом подхватывают их и почти бегом несут к нарам. У нар — еще один матрос. Рывок, и носилки на нарах.

Я попадаю на нижний этаж. Мой сосед справа весь перемотан бинтами, обе руки и голова, только нижняя часть лица свободна от бинтов, и я вижу, как тяжело он дышит открытым ртом.

— Курить есть? — Это сосед слева.

— Нет.

— Эх-ма! Махорку сперли, второй день без курева... Где ранило?

— На Петрозаводск шли...

— Гвардейская?

— Нет.

— Ох и побило же там наших! Я в гвардейской был. Всю дивизию как языком слизнуло!.. Уж потом группками собирались — своих искали, тут меня и вдарило по ногам. Малая берцовая перебита на левой. А на правой — так, мягкие ткани... Курево есть? — оборачивается он назад.

Ему протягивают кисет. Он хватает его, приподнимается на локтях, достает из-под носилок вещевой мешок, долго роется в нем, находит там газету, отрывает кусочек, сыплет табак и скручивает здоровую самокрутку. Затем оглядывается на хозяина ки-

сета. Тот лежит, равнодушно глядя в потолок, а его тупой подбородок чернеет небритой щетиной.

Сосед отсыпает половину табака себе в кисет, достает финские спички, закуривает и с наслаждением затягивается. Потом ложится и пускает дым вверх.

— Так, значит. Курить достали. Ну, теперь все. Ты скажи, ведь как ладно вдарило. Малую берцовую...

— Чего ж ладного?

— Как чего? Отвоевался, значит. Домой поедем. Кировский я. А у тебя что — «самолет»?

— «Самолет».

— Тоже, значит, отвоевался?

— Да вроде...

— Э-эх! Теперь лечут пушай. И домой.

Звучит команда, пароход дает гудок, и я чувствую, что мы пошли. Легко качается палуба, ходит со скрипом дощатая крыша над головой, матросы бегают под резкие звуки команд. Пошли. В Ладогу. Второй раз в жизни я пересекаю Ладожское озеро...

Ровно два года тому назад от причала Петрокрепости отвалил пароход с двумя сотнями детей детского дома 55/61. Среди воспитателей — Мирра и мама, среди воспитанников — я. Серое небо, свинцовые волны, хмурая Ладога встретила нас тогда. Сгрудились старшие дети тесной кучей на борту, вцепились худыми руками в поручни парохода, с тоской и надеждой смотрят вдаль — туда, где небо соединяется с водой, — туда, где их ждет покой, еда и жизнь.

В трюме темно и сыро. Там битком набито. Несколько отрядов младших ребят расположились на полу, вповалку, так что ни пройти, ни пролезть к каждому ребенку. Бродят, как тени, воспитатели, красными от бессонницы глазами смотрят за детьми, пытаясь хоть чем-то помочь им. Пароход сильно качает, ребят рвет.

Боцман выходит на палубу.

— Эх, ребят жалко! — бормочет он, застегивая бушлат.

— Конечно, жалко, — откликается молоденькая воспитательница, — мучаются дети.

— Что мне — ваших жалко? — изумляется боцман. — Мне своих ребят жалко — им убирать!

Сирена!

Завыла сирена, заметались матросы, топот ног, тревога, тревога!

— Зенитные пулеметы к бою!

Под непрерывный, несмолкающий, бередящий душу вой и топот ног раненые тревожно поднимают головы, кто-то встает и, хромя, ковыляет на палубу.

— Полный вперед!

Гудит палуба подо мной, тревожно шумят раненые; мучительно вглядываюсь в кусочек голубого неба, видного нам из-под палубы, а в воздухе возникает иной звук, нарастающий и въедливый.

— Самолеты! — кричит Кировский. — Костыли! Давай костыли!

— По самолету противника — огонь!

Самолеты. Немецкие самолеты. А мы одни посреди Ладоги, прикованы к носилкам, и чувство собственной полной беспомощности серым страхом заполняет все нутро. Бьют пулеметы. Пароход гудит от их грохота. Маленькая зенитная пушка ухает по собачьей, и рвутся где-то высоко ее снаряды. Гул самолетов прорывается сквозь грохот разрывов. Сейчас начнут бомбить. Сейчас...

Что я могу? Приподнять тяжелую голову, сбросить одеяло слабой рукой, согнуть ноги в коленях. Все. Нелепый гипсовый «самолет» придавливает меня к носилкам, а если бы его не было, все равно нет сил встать. Сейчас будут бомбить... Сейчас...

Кировский уже не кричит. Он судорожно вцепился в ручки носилок, лицо его побелело, а глаза широко раскрыты. Он сидит неподвижно и застыло смотрит наверх. Бьют, бьют пулеметы, лает зенитка, гудит пароход, а гул самолетов... Где он?.. Его не слышно. Тишина?

Что это?

Отогнали?

Неужели отогнали?

Тоненькая струйка надежды просачивается сквозь вату страха и отчаяния. Матросы проходят возбуждённые и громко разговаривают между собой.

— Средний вперед!

Отогнали! Нет гула, нет грохота, молчит пушка. Я вытираю простыней пот со лба. Рубашка взмокла и неприятно холодит спину. Кировский снова сворачивает самокрутку. Руки его тря-

сутся. Он сидит и языком зализывает уголок газеты. Оба кисета лежат на одеяле.

— Ну дела! — говорит он. — Думал — все! К рыбам! Главное дело — бежать некуда. Ну куда с ней побежишь — с малой берцовой!

Я поворачиваю голову направо. Тихо лежит другой сосед. Бинты в коричневых пятнах покрывают его лицо. Нижняя часть лица открыта и неподвижна. Муха ползет по открытому рту.

— Эй, матрос!

— Чего тебе?

— Посмотри соседа.

Матрос наклоняется, трогает лицо раненого, потом встает.

— Готов. Жуков! А ну, иди сюда!

Два человека уносят носилки. Справа от меня пустота.

## САНИТАРНЫЙ ПОЕЗД

Железная дорога. Гудки паровозов. Нас грузят в санитарный поезд. Я лежу на верхней полке и с интересом и удивлением изучаю непривычную обстановку. Все внутри вагона белое: белые стены, белые полки, белые стойки между ними упираются в белый потолок. Моя полка с бортом, чтобы не вывалиться ночью, справа на стенке укреплена подвижная полукруглая полочка, на которую ставят тарелки с едой. Справа от меня — верхняя часть окна, через которую, скосив глаз и вывернув шею, я вижу убегающие зеленые поля, россыпи темных домиков и светлую полосу неба.

Вагон живет уже привычным больничным бытом, я слышу обрывки разговоров, бряканье ложек, стоны, оханья, храп. Весь вагон — лежачий, и у персонала много забот. Носятся сестры с пилюлями, шприцами и клизмами, проводится умывание больных. Многие умываться сами не могут, поэтому нянечка, дважды погладив меня мокрой ладонью по лицу и сунув мне полотенце, спешит к следующей полке.

Хлопают железные входные двери, внизу происходит какая-то возня, кажется, вносят носилки с новыми ранеными. Обычное дело.

Однако что-то новое появляется в шуме, нарастает какой-то иной, угрожающий оттенок.

Шум усиливается, и я слышу сквозь него отдельные выкрики:

— Чего? Финнов?

— Финнов ложут!  
— С нами рядом?  
— Братва! Что же это делается? Финнов кладут! Убить их, б... сразу!

— Суки, в гроб... Выкинуть их в окошки! Перестрелять!  
Тонкий и высокий женский голос прорывается в общем шуме:  
— Ребята! Так они же раненые! — и тут же тонет в общем яростном реве: — Бей фашистов! Гады! Они нас убивали! Бей их, сук! Тарелками закидаем! Эх, не встать, я бы...

Слышен стук бросаемых костылей и звон разбитых тарелок. Подхваченный общим психозом, я тоже что-то ору. Моя боль, моя мука рвется из меня дикими и бессвязными выкриками, сосредоточившись, сконцентрировавшись на одной мысли: там, внизу, лежат те самые, из-за которых все это — кровь, раны, «самолет»...

Финнов выносят, и вагон не сразу, постепенно, успокаивается, затихает.

Я лежу, упершись глазами в потолок.

После нервного срыва почему-то усилились боли. На душе тяжело и гадко...

Конечно, мы правы, что вышибли их из вагона...

Но ведь они тоже раненые... И лежат с такими же «самолетами»...

В щели окошка — убегающие зеленые поля. И светлая полоска неба. Куда нас везут?

## КОТЕЛЬНИЧ

Мы лежим в обширном светлом, залитом солнцем коридоре. Длинный ряд кроватей с ранеными. Кровати спарены, чтобывтиснуть в коридор наибольшее количество коек.

Мой сосед, разбитной парень из Ростова, — бритая голова, оттопыренные уши, рот до ушей, не закрывающийся ни на минуту. На нижней рубахе болтается медаль «За отвагу».

— Мишка! Зачем медаль повесил?

— Эта медаль не простая, особая, ни у кого такой нет, — охотно поясняет он. — Ты глян, — он наклоняется надо мной, — она мне жисть спасла!

Медаль действительно особая, она покорежена и изогнута.



— Вишь, пуля-то прямо в нее и вдарила, да и срикошетила в плечо. Плечо пробила, да уже сила не та, не навывлет. Пулю вынули, на груди гематома... Что такое? Ну, синячище, с два кулака, гляди, во какой, а было еще боле... А если бы не медаль...

Он тараторит дальше, а я уже не слушаю его, так как с удивлением рассматриваю толстого белого червя, которого я снял с шеи. Откуда здесь черви? Что за чудеса? Что-то шевелится под гипсом у горла, я запускаю туда пальцы и с ужасом достаю второго червя, третьего...

Что это? Откуда? Я что — уже заживо гнию?..

Я мечусь по койке и кричу няньку, сестру, доктора, кого-нибудь...

Мишка оторопело смотрит на меня, потом срывается с места и скоро приводит нашего доктора Евдокию Ильиничну Сушко.

Красивая седая голова склоняется надо мной.

— Что с вами? Почему вы звали?

С дрожью и отвращением я объясняю.

— Не волнуйтесь, — говорит Евдокия Ильинична, — это не страшно, черви у многих, они заводятся под длительными гипсами. Потерпите. Сегодня будем вас смотреть, избавим вас и от гипса, и от червей.

Она похлопывает меня по щеке, и у меня от тепла ее руки, уверенного тона и доброго взгляда сразу легчает на душе. Я в надежных и умелых руках.

— Ты, парень, червяка не бойсь, — говорит мой сосед слева, пожилой усатый солдат, — червяк, он полезительный — он гной ест...

Операционная. Трещит гипс под ножницами в руках ведущего хирурга Николая Николаевича. Евдокия Ильинична держит мое лицо в ладонях и приговаривает:

— Потерпите... Уже немного осталось... Потерпите, голубчик... Сейчас, сейчас...

Металлический звук инструментов, ударяемых о стерилизатор, приглушенные возгласы врачей, склонившихся надо мной, глаза между белизной шапок и масок, я корячусь от боли, задавливая крик... Стук гипса о кафельный пол, и тяжелый запах заполняет операционную...

Меня уносят в палату, Евдокия Ильинична садится рядом. Звучит ее ровный и, как мне кажется, нарочито спокойный голос:

— Мы, начальник отделения, ведущий хирург и я, провели осмотр и чистку раны. Положение тяжелое. Сустав практически отсутствует. Общее решение: необходима ампутация.

— Ампутация?.. А как же я... А если не резать? Тогда что?

— Без вашего согласия ампутацию производить не будем. Можно попробовать спасти руку... Но шансов почти никаких. К тому же может начаться гангрена. И тогда мы ничего не гарантируем..

— А при ампутации?

— Гарантируем жизнь. Операция завтра утром. Решайте.

Всю ночь меня душат слезы.

Утром я решаюсь.

Солнечный луч начертил светлые квадраты на противоположной стене. Медленно поворачиваю голову. Палата еще спит, и только около стола подметает пол вчерашняя старушка в белом халате. Что-то располагающее присутствует во всем ее облике: в усталом и добром лице, небольшой аккуратной фигуре, больших крестьянских руках и окаящем напевном говоре. Глядя на нее, я вспоминаю детство, дачу под Лугой, Мирево, далекое, забытое, солнечное. Бор с седым мхом, синее озеро и ручеек с незабудками. Папа уплывает далеко, на середину озера, там машет прощально рукой и исчезает с поверхности. Мама зовет его, волнуется и бежит по берегу. Через пару минут папина голова появляется снова, голова фыркает и улыбается, а мама в изнеможении садится на траву:

— Всю душу он у меня выматывает!

Пахнет соснами и свежестью. Мокрый папа хватается меня за руки, заносит подальше от берега и окунает с головой. Я реву. Вода попала в уши, нос, рот, а папа смеется: учишь нырять!

Почему это все всплыло при взгляде на эту старушку? То ли она напоминает мне миревских крестьян, то ли мою няню Ксению, а скорее всего, она как-то вобрала в себя и лес, и озеро, и крестьянскую повадку, и ласковость старых русских женщин. Да и потом еще этот сон...

— Няня! — говорю я. — Вы сны умеете разгадывать?

Она перестает мести.

— Что за сон, родимой?

Мне приснилась полная плошка земляники с черникой, и все это в молоке. К чему это? Я задаю вопрос, не надеясь получить

объяснение, мне просто приятно слышать ее напевный голос. Однако она задумывается.

— Это хороший сон, — говорит она уверенно, опершись на швабру. — Молоко — это прибыль. Красна ягода — радость. Черная ягода — грусть. Будет у тебя прибыль и радость, с грустью смешанная.

— Как это так?

— А так и будет. Вот помяни мое слово!

Она выходит из палаты. Задумываюсь. Грусти много, а в чем радость? Радость сейчас только в том, когда утихают боли, а они хоть и стали значительно слабее, но не отпускают ни на минуту.

Странные вещи творятся со мной после операции. Я весь цвету. Ноги покрылись мелкими прыщиками, все лицо стало нечистым, на носу, на губах, на лбу какие-то цветные пятна. Евдокия Ильинична говорит, что это от большого поступления новой крови.

Все это — «пыль на вазе» по сравнению с основной бедой.

Гремит таз о железную спинку кровати. Палата просыпается, начинается утреннее умывание.

В палате у нас все, кроме меня, — «галифешники». Так называются больные с ранением бедренной кости. В первую мировую войну французский генерал Галифе был ранен в бедро. Кость срослась, но образовала характерный выгиб наружу. Бравый и щеголеватый генерал не мог потерпеть такого уродства и после окончательного заживления раны заказал себе брюки особою покроя, скрывавшие изъян. Брюки французского генерала вошли потом в моду, больше того, были приняты как форма во многих европейских армиях и получили название «галифе».

Население палаты — десять человек. Ближайшие мои соседи — Женька Евграфов, сероглазый блондин; Андрей, угрюмый парень с красивым голосом (он часто поет, и все одну и ту же песню: «Знаю, ворон, твой обычай — ты сейчас от мертвых тел...»); пожилой узбек и деревенский добродушный мужичок Палагин по прозвищу Мать дорога.

Палагин — единственный из палаты, попавший в госпиталь не с фронта, а из запасного полка. Будучи в секрете, на учениях, он залез на дерево, там заснул и свалился вниз, вдребезги поломав себе ногу. Это обстоятельство является предметом всеобщего обсуждения и насмешек. Особенно придирается к Палагину острый на язык Женька. Затравив его и прослушав (уже в который раз)

историю о том, как «заснул я на том суку, робята, закемарил, стало быть, и с сука-то и перемякнулся... Мать дорога! Как хлытнет у меня ноженька!..», Женька прерывает его на полуслове и орет:

— Небось, Мать дорога, теперь на деревню свою приедешь и пойдешь девкам травить, как на фронте кровь мешками проливал...

Палагин не обижается. Просто не умеет. Нога у него на вытяжке, и все внимание его целый день сосредоточено на том, чтобы никто не задел висящие на кронштейне над задней спинкой кирпичи. Лежать ему так еще месяц, и ежедневно в палате раздается палагинский вопль:

— Да не ходи ты около меня, Мать дорога!.. Кирпичи свершишь, куды я те денусь, мать дорога!

На крайней койке лежит хороший человек — Ваня Кондаков из Ростова. Он часто подходит ко мне, приносит письма, рассказывает что-то свое, утешает. «Галифе» у него уже срослось, он сильно хромает, но готовится к скорой выписке.

Жалеет меня и Микола — молодой парень из Полтавы. Жалеет своеобразно: остановившись у моей койки и тыча пальцем в мою сторону, говорит:

— Ну куды ты зараз денешься? Сгинула твоя жизнь... Тильки писарем разве... Будешь писарем...

Завтрак я проглатываю моментально. Первое время после ранения я вообще почти ничего не ел, но сейчас у меня волчий аппетит, и, хотя в госпитале кормят хорошо, мне всегда мало.

Начинается главное событие дня — обход врачей. В палату заходит Евдокия Ильинична и первым делом направляется ко мне. Это стало традицией — я самый тяжелый. Ее огромные карие глаза наклоняются надо мной. Седые волосы, как всегда, аккуратно убраны под белоснежной шапочкой хирурга.

— Здравствуйте. Как себя чувствуете?

— Лучше, Евдокия Ильинична. Только боли еще сильные...

— Это естественно. Но они должны утихать.

— Они утихают.

— Все идет хорошо. Давайте-ка перевежемся.

Вместе с сестрой они разматывают бинты. Бинты серые, застиранные.

Стерильные новые бинты идут только на послеоперационные раны, а потом уже начинают мотать старые, застиранные и выки-

паченные бинты. До войны я вообще не знал, что бинт можно стирать, а здесь новый бинт — большая радость.

Слишком много нас — раненых. Больше, чем бинтов.

Бинт размотан. Теперь начинается самое неприятное. Сильным и резким движением Евдокия Ильинична срывает стерильную повязку. Я охаю и сжимаю зубы. Глаза я закрываю тоже.

— Швы хорошие, гнойное отделение нормальное, гиперемия, — говорит вслух Евдокия Ильинична. — Риванол, стерильную салфетку.

Слова падают ровно, спокойно. За каждым словом — боль. Боль меняется. То рывком, то уколом, то мучительно-ноющая. По характеру боли определяю, что мне делают. Вот боль стала глухой и непрерывной, значит, перевязка закончена.

— Все идет хорошо! — повторяет Евдокия Ильинична и идет к следующему больному — все такая же прямая, строгая и красивая.

Женька берет костыли и идет на перевязку сам. Ваня Кондаков тоже. Бормочет что-то узбек в углу, ему делают укол.

Я лежу и наблюдаю за врачами.

Обход, кроме всего, — и развлечение, после него день тянется долго, разнообразясь только едой.

Выходят белые халаты, в палате начинается оживление. Хромая, входит Мишка с медалью, балагур из соседней палаты.

— Я до войны в синем костюме иду раз по Ростову, — начинает Мишка, — а навстречу девчонка идет. Красивая...

— Брось! — кричит Женька. — Ты уже рассказывал это, валий другую...

— А вот, робяты, что я вам скажу, — вступает Палагин, — коли хошь какую девку к себе приманить, пымай лягушку, да ее в муравейник-то и брось ночью, да штоб луна была, а через две ночи на третью приди; лягушку-то мураши сожрут, а ты косточку грудинную у ней сломи, как кручок, та косточка, и тем кручком девку-то и зацепи — твоя будет! Верно говорю.

(Два года спустя уже студентом, читая «Преступление и наказание», я нашел у Достоевского точно такой же рецепт приманки нелюбящей девушки.)

— Зачем укол делал? — бормочет узбек. — Нога болит, нога резал, укол задница делал — теперь задница болит...

Женька моментально подхватывает:

— А куда же тебе, ялдаш чертов, укол делать? В задницу не хочешь — передницу подставляй!

Разговоры, непрерывный стук костылей, гул голосов... Меня начинает клонить в сон. Мысли разбегаются, снова сходятся, боль в руке медленно утихает, а навстречу мне движется танк. Черный обгорелый танк с открытым люком... Сосны мелькают мимо — это я еду на этом танке, а он почему-то двигается неслышно, и в лесу стоит тишина... Куда же едет этот танк, и почему нет никого кругом? Пушка поворачивается и прижимает мою левую руку, руке больно, я тяну ее изо всех сил, а пушка давит все сильнее и сильнее... А в строю кричат: «У нас еврей есть...» И я не могу идти вместе со всеми, потому что роняю автомат из больной руки... Где же танк?.. Его нет. Колька Зубенко смотрит на меня, машет руками и кричит: там к кому-то матка приехала... Где же танк?.. Матка приехала... На фронт? Грохочут автоматы, и сыпятся веточки, срезанные пулями с кустов...

— Эй, ты! — орет Зубенко над ухом. — Матка приехала...

Я открываю глаза и вижу маму в белом халате. Закрываю снова. Танка уже нет, Зубенко тоже исчез... И вдруг холодею, боль внутренняя, душевная боль охватывает меня всего — это же мама, живая мама, это не сон, она действительно здесь, передо мной — мамочка моя родная!

Я открываю глаза, и мы встречаемся взглядами. У мамы на глазах слезы, она смотрит на меня не отрываясь и молчит.

— Мамуся! — выдавливаю я. — Вот я теперь какой... — и отворачиваю угол одеяла...

— Я с тобой, — говорит мама, — теперь все будет хорошо...

Она обнимает меня, слезы брызгают у меня из глаз, и мы плачем вместе, прижавшись мокрыми лицами...

Вот она — прибыль и радость, с грустью смешанная...

Дни идут. Мама уехала. А ко мне неожиданно приезжают ребята из детдома. Сначала Олег Громов, а через недельку Ника Бобровская. Радость-то какая! Новости из Угор, воспоминания, гостинцы, приветы от ребят и воспитателей. Полтора года вместе — большой и интересный этап жизни. Силы мои прибывают с каждым днем. Я уже свободно брожу по всему госпиталю.

Мишка с медалью вбегает в палату.

— Ребята! Кинохроника приехала!

— Бреши дальше, — Женька громыхает костылями, — в двенадцатой еще тебя не слышали!

— Не верите? Вот гад буду! К госпиталю две машины подъехали!

Мы выходим в коридор. Раненые стоят кучками у окон — там действительно что-то интересное.

Через полчаса вдоль больничных коек протягиваются толстые черные шнуры — шланги от электрософитов, между привычными рубахами и кальсонами мелькают темные пиджаки и брюки работников кино, и нам объявляют, чтобы мы сидели в коридоре и не мешали — будут снимать нашу одиннадцатую палату.

Главный киношник, заглянув в дверь нашей палаты, отрицательно качает головой, потом бежит к начальнику госпиталя и возвращается через некоторое время с целой командой нянечек и сестер. Госпиталь перенабит ранеными. В нашу небольшую палату втиснуты десять коек, одна впритык к другой, между спаренными койками оставлены узкие проходы, в которых помещены маленькие тумбочки — одна на двоих. У пяти человек тумбочек вообще нет, и они держат мелкие личные вещи под подушками.

Коридор тоже весь заставлен койками, на них мы и сидим сейчас группами, наблюдая, как корячатся нянечки, вытаскивая железные кровати из нашей палаты. Некоторые выздоравливающие помогают им. Шум и смех стоят в коридоре, развлечений у нас никаких, а тут такая потеха!

Особенно изгаляется Женька, его охотно поддерживают остальные.

— Давай, давай! — Его звонкий голос разносится по всему коридору. — Выноси все, к чертовой матери, спать на улице будем! Абы кино красивое вышло!

— А мою ногу снимать будут? Я кальсоны сниму!..

— Глянь-ко! Цветы прут откелева!

— На хрена цветы — тут пальму надо! И фонтан с рыбками, — не унимается Женька, чтобы все видали, как братья-славяне живут! Тьфу!

Плюющегося и матерящегося Женьку приглашают в перевязочную. К нашей палате подвозят черные софиты. Я пролезаю между ними, заглядываю в дверь нашей одиннадцатой и ахаю.

В палате четыре койки, аккуратно застеленные конвертом. Новые простыни сверкают невообразимой чистотой. Наши четыре

обшарпанные фанерные тумбочки покрыты белыми крахмальными салфетками (и откуда что взялось!), и на них установлены цветы в горшочках. Горшочки в блюдечках. На одной из коек сидит наш узбек (он признан наиболее фотогеничным) в новом белье и каком-то роскошном синем халате и картинно держится за костыль. Рядом с ним стоят киношники и что-то ему говорят. Он пересаживается другим боком, костыль ему укладывают на колени.

— Теперь хорошо! — кричит режиссер. — А вам что здесь надо?

Меня выдворяют, из-за двери раздается:

— Съемка!

Две машины отъезжают от госпиталя. В нашу палату снова втаскивают шесть коек, перезаправляют старое белье, забирают синий халат у узбека.

Горшочки с цветами мы не отдаем. Категорически. Принципиально. В борьбе со старшей сестрой палата проявляет неслыханное упорство и единодушие. Разругавшись с нами вдрызг, старшая уходит ни с чем.

Палата в восторге — все-таки разжились кое-чем с кинохрониками!

## МОСКВА

Курский вокзал встречает меня затемнением. Впервые я в Москве. Все интересно: и незнакомый вокзал, и люди, спешащие, снующие туда-сюда, деловитые, озабоченные... Сколько здесь офицеров! Капитаны, майоры, полковники... А это кто? Красные лампасы, золотые погоны со звездой... Генерал? Точно — живой, настоящий генерал! Все это мне в диковинку. В Канаше майор был большой шишкой, подполковника Галата я видел всего два раза в жизни... Столица! Ничего не скажешь!

Спрашиваю, как проехать в Черкизово. Несколько человек отвечают сразу, их ответы противоположны: одни предлагают добраться двумя трамваями, другие — метро и трамваем.

Выбираю метро. Станция «Комсомольская» рядом, и вообще — метро! Столичное чудо... Оно сразу поражает меня обилием света. Кажется, что я не под землю попал с ее поверхности, а, наоборот, из темного подземелья вышел к залитым солнцем



дворцам. Сверкают мраморные колонны, с мягким рокотом несет эскалатор, я держусь за черный поручень, и состояние нереальности происходящего вновь охватывает меня.

Давно ли Котельнич, одиннадцатая палата, гипсовый «самолет» на груди? Операция... первые шаги... Евдокия Ильинична... графин с водой, который я с трудом оторвал от стола на второй день после того, как встал... Хорошенькая девушка, вся в кудряшках, выписывала мне документы в канцелярии госпиталя. Мне говорили, что она мой донор. При выписке сказал ей: «Мы теперь родня!» Она засмузилась, заулыбалась, прикрыв по-деревенски рот рукой, тряхнула кудряшками...

Позади все это уже. Позади...

Но почему меня переводят в Москву, а не в Ленинград, куда я просился? Вот загадка!

Трамвай со странным названием «Аннушка» долго везет меня по кривым и темным улицам Москвы, и наконец мне говорят, что пора выходить.

— Обогнете кладбище, два поворота — и Просторная улица.

В полной темноте (лишь редкие машины выхватывают синими фарами углы домов), несколько раз переспрашивая встречающих, нахожу Просторную и оказываюсь у деревянного рубленого двухэтажного дома с резными наличниками и крыльцом. Ничего себе Москва! Это же типичная Чувашия! Проверяю номер дома — совпадает. Поднимаюсь на крыльцо, стучусь.

Мне открывает какая-то старуха. Она долго не понимает, в чем дело, а потом сипит куда-то в темноту:

— Зинаида Львовна, к вам! Елисаветских спрашивают!

Пройдя узким коридорчиком, попадаю в тесную комнату, освещенную керосиновой лампой. У стола стоит белая, как лунь, пожилая женщина, строго смотрит на меня и спрашивает:

— Я Елисаветская. В чем дело?

— Тетя Зина, это же я, Лева!

Она бросается ко мне, и я утопаю в родственных объятиях. Она и смеется, и плачет, и крутится вокруг меня, одновременно снимая с меня шинель и накрывая на стол, что-то говорит, о чем-то спрашивает:

— О, умереть-уснуть! Левушка, такой большой, такой взрослый!..

Приходят дядя Саша и Ниссочка. Все меня кормят, поят, убаюкают, как могут, расспросам нет конца, а я сижу, оглушенный непривычным потоком заботы и искренней доброты, забытого ощущения домашнего тепла, сочувствия и желания доставить мне радость.

За разговором узнаю важные для себя новости. Во-первых, переведен в Москву, а не в Ленинград по заявке тети Тани.

— А кто такая тетя Таня?

— Как? Ты не знаешь, кто такая тетя Таня? Тетя Таня — родная сестра дяди Саши!

— Так почему же она меня сюда выписала? И как она сумела это сделать?

— Умереть-уснуть! Как она сумела сделать! Ты что — с лунны свалился? Разве ты не знаешь, что тетя Таня замужем за Курочкиным?

— А кто это — Курочкин?

— Нет, Саша, он меня убьет! Он не знает, кто такой Курочкин! Он же генерал-полковник!

— А кто он мне?

— Как кто? Родной дядя!

Соображаю с трудом. Тетя Зина — сестра папы. Ее муж — дядя Саша. У него сестра — тетя Таня. У нее муж — генерал Курочкин. В общем, у меня дядя — генерал! Вот это номер!

Вторая новость: завтра сюда в командировку приезжает папа!

Мне плохо помнятся подробности встречи с папой. Мы не виделись больше двух лет и не отходим друг от друга. Папа немного постарел, но в общем такой же, как до войны, — ласковый, заботливый, добрый. Он неуклюже хлопочет вокруг меня, расспрашивает о болезни, рассказывает о наших в Ленинграде. Он все время хочет что-то для меня сделать, чем-то помочь, проявить заботу и тепло. Я прошу его постричь мне ногти на руке, и он поспешно соглашается. Он сидит на стуле напротив меня, склонив свою седую, такую знакомую голову, а я не отрываю от него взгляда — весь он такой большой, родной, неуклюжий...

Он стрижет ногти очень сосредоточенно, аккуратно обрабатывая каждый палец. Он всегда все делает предельно добросовестно, а сейчас особенно старается. Моя рука лежит в его больших

теплых ладонях. Он заканчивает последний палец и, не поднимая головы, говорит:

— Вторую.

Я немею...

Проходит одна, две секунды... Он медленно поднимает голову, смотрит на меня с удивлением своими серыми близорукими глазами и снова произносит:

— Ну! Давай же вторую... — И вдруг лицо его дергается, как будто его сильно ударили по щеке, он что-то вскрикивает, роняет голову мне на руку и плачет...

На другой день начинается сказка.

К нашему провинциальному домику с палисадничком подъезжает роскошный черный «ЗИС», и тетя Таня — Татьяна Анисимовна Курочкина, обнимая меня, говорит, что все госпитали Москвы в моем распоряжении. Мне остается только выбрать, что мне нравится. А пока мы должны поехать к ним домой позавтракать, и после этого она начнет меня устраивать.

Татьяна Анисимовна — высокая, представительная женщина с крупными чертами лица, энергичными манерами и крашеным ртом. Вся она, в черной котиковой шубе, с блестящей заграничной сумкой в руках, никак не смотрится в скромной обстановке черкизовского домика, но она очень доброжелательна и искренне хочет сделать все, что в ее силах.

Я усаживаюсь на переднее мягкое сиденье «ЗИСа». Шофер в звании старшины, предупредительно открывший мне дверцу, улыбается приветливо и по-товарищески — мол, не робей, солдат!

Тетя Зина усаживается сзади меня, Татьяна Анисимовна с легким щелчком захлопывает дверцу.

— Яша, к нам!

«ЗИС» мягко трогается с места.

Странную компанию представляли мы, наверное, тогда: лихо старшина за рулем, представительная дама в черном манто, строгая старушка с седой головой и молодой солдатик с пустым рукавом потертой шинели, сидящий на генеральском месте шикарного «ЗИСа».

Мы приезжаем на проезд Серова и входим в квартиру. Нас встречаем старая-престарая худенькая женщина — мать тети Тани — и приглашает в комнаты.

Ощупывая себя (это сон или явь?), хожу я по коврам генеральской квартиры, потом сажусь за богато сервированный стол, пью черный кофе из маленьких китайских фарфоровых чашечек и закусываю бутербродами с черной и красной икрой.

Самого генерала нет дома, но зато мне открывают зеркальный шкаф и показывают генеральский парадный мундир.

Меня невольно охватывает трепет (все-таки здорово меня замордовали). Мундир — это зрелище. Темно-зеленый, с золотыми блестящими пуговицами, с внушительными погонами, на которых ясно видны три большие шитые золотом звезды, а орденов-то сколько! Ордена занимают полмундира, сверкая золотом и пестря колодками. Видели бы меня сейчас в этой квартире Ткаченко или Филиппов! Как я сижу на стуле генерала, ем его хлеб и катаюсь на его машине! Чудеса!

Мы снова садимся в машину, и Яша везет нас в центральный распределитель по госпиталям.

Вылезает у подъезда высокого здания с колоннами. У дверей часовой заграждает нам дорогу и требует пропуск, но тетя Таня делает шаг вперед и произносит решительно:

— Я жена генерала Курочкина. Мне нужно к полковнику.

Часовой становится по стойке «смирно», а мы проходим к окошечку, где сидит дежурный офицер — капитан.

Снова произносится магическая фраза. За окошком смятение, возня, проходит минута, и капитанские погоны в окошке сменяются полковничьими. Лысый пожилой полковник высовывает голову и осведомляется, чем он может быть полезен.

— Это мой племянник, — говорит Татьяна Анисимовна, подталкивая меня к окошку, — он с фронта. Тяжело ранен.

Полковничья голова улыбается и кланяется мне. С испугу я беру под козырек.

— Подберите-ка, товарищ полковник, нам госпиталь получше...

— Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, — подобострастно говорит лысая голова и, обратясь ко мне, спрашивает: — А что бы вы хотели?

Умереть-уснуть, как говорит тетя Зина... Полковник обращается ко мне на «вы» и интересуется, что бы я хотел!

— Что бы ты хотел, какой госпиталь, ну? — нетерпеливо разъяняет тетя Таня. — Ты можешь выбрать, ну что же ты молчишь?

— Я не знаю... Мне все равно... Ну, где лечат получше...

Тетя Таня машет на меня рукой и берет бразды правления в свои руки. Ее черное манто заслоняет от меня полковника, и я слышу только ее энергичный голос:

— Нет, это не подходит, это не по профилю, нет, нет, это тоже не то, поищите что-нибудь еще...

Наконец она отходит от окошечка и говорит:

— Ну вот, наконец-то! Тебя направили в главный специализированный госпиталь ампутантов. Едем!

Мы снова едем по Москве. Я разглядываю из окошка людей, машины, Мавзолей, Кремль, улицу Горького. Одна мысль не дает мне покоя, и я, наконец, обращаюсь к Яше:

— Послушайте, Яша, вот мы катаемся в генеральской машине второй час. А если генералу потребуется куда-то срочно ехать, он нас на трамвайчике догонять будет?

Только баранка спасает Яшу от того, чтобы не скатиться на пол. Насмеявшись вдоволь, он говорит:

— Ну и чудак же ты! Ты что думаешь — у него одна эта машина? У подъезда Академии его всегда ожидает дежурная машина — раз. Собственный «кадиллак», который я ему пригнал с фронта, — два. Понравился ему этот трофейный «кадиллак», спасу нет. Сгоняй, говорит, Яша, в Москву, отвези. Я думаю, как пройти до Москвы? Десятка полтора КПП на шоссе. Задержат. Потом придумал. Вместо клаксона правительственную сирену поставил и, как КПП вдали увижу, даю скорость девяносто-сто километров в час и включаю сирену. КПП шлагбаум убирает и стоит под козырек, а я мимо пролетаю. Так до Москвы и прошел без помех... Так, «кадиллак», я сказал, два. А кроме того, в Академии, где он начальник, парк машин — двадцать-двадцать пять штук. Один звонок — и все к его услугам. А ты — на трамвайчике! Этот «ЗИС» — в основном для дома или на дачу...

Итак, за судьбу генерала я могу быть спокоен. Займемся собственной судьбой — я поступаю в новый госпиталь.

## ГОСПИТАЛЬ АМПУТАНТОВ

Мне выдают теплый белый халат и ведут в чистую, недавно окрашенную белой масляной краской палату.

Навстречу мне попадают две-три коляски с безногими; пропрыгали на костылях молодые мальчишки — отмечаю уже опыт-

ным взглядом — культи голени. Медицинская сестра ведет одного на костыле, правой руки у него тоже нет...

В палате мой ближайший сосед по койке, пожилой лысоватый мужчина, наклоняется ко мне и спрашивает мою фамилию, имя и отчество. Я называю.

— Будем знакомы — Лазарь Бурштейн. — И вдруг громко, на всю палату, сообщает: — А вот еще один представитель нашей нации — слышите? А говорят, что евреи не воюют, сидят по тылам...

Ко мне поворачивается несколько голов. Такое афиширование мне не по нутру, а с другой стороны, — молодец Лазарь! Сказал то, что надо!

У самого Лазаря нет обеих ног.

Соседи по койке сидят ко мне спиной и беседуют. Я полудремлю на своей. До меня доносятся обрывки разговора. Привычные темы: кто где воевал, когда ранило. Но вот появляется мотив, который заставляет меня прислушаться.

— К нам новое подразделение прибыло. Салаги. А мы набирали в разные команды. Один еврей просит: «Запишите меня в длиннобойную артиллерию!»

— Куда?

— В длиннобойную! Чтоб подальше от фронта!

Оба хохочут и несколько раз пережевывают, смакуют это слово.

— Ну и как? Записали его в длиннобойную?

— Хрена с два! Послали в минометную роту. Станину тащить!

— Во бляха муха! Вместо длиннобойной...

Лежа под одеялом, я содрогаюсь. Распред в Чувашии... «Ты хочешь в сорокапятки или в дальнбойную?..» Вот что они имели в виду, вот почему издевались... А я, дурак, ничего не понял.

Ко мне подсаживается молодой парень в белом халате, называет себя Колей и начинает обычные расспросы: где ранен, откуда, есть ли родные и т. д.

Я поглядываю на него, отвечаю на вопросы и думаю, почему же он здесь — ноги у него здоровые, выглядит отлично, упитанный, разбитной, веселый, руки тоже на месте, только держит он их почему-то в карманах халата.

— А у тебя что?

Он вынимает руки. Обеих кистей нет. Вместо них круглые розовые культишки.

— Эх, все бы ничего, — шутит он, — да вот девки со мной гулять не хотят. Сюда, в госпиталь, их много приходит. Начнешь крутить — клюет. А как узнают — так хвост трубой!

Постепенно приглядываясь к окружающим, начинаю понимать, что в этом госпитале я чуть ли не самый легкий.

В Котельнице я был одним из самых тяжелых, с ампутациями там, кроме меня, было еще двое, а здесь...

Здесь мне прямо говорят: «Ну, тебе повезло! Дешево отделался! Счастливчик!»

И я начинаю приходить к убеждению, что я действительно счастливчик. Все познается в сравнении.

Кругом меня лежат люди без обеих ног, ходят без обеих рук. Через койку от меня играет в шахматы рослый парень. У него удивительно красивая голова — светлые кудри, огромные серые глаза с девичьими ресницами... Правой ноги у него нет до таза, левой руки тоже нет. Я спрашиваю, кто он, и Коля охотно рассказывает, что он москвич, зовут Володей, студент, ранен при форсировании Днестра. За то, что он одним из первых переплыл Днестр и закрепил за собой плацдарм на другом берегу, его представили к званию Героя Советского Союза.

— Вот, на днях будут звезду вручать... А вообще здесь героев много. В соседней палате двое героев лежат, да на третьем отделении один офицер без ноги, да Гришка на коляске катается, безногий, — тоже герой. А еще здесь генеральская палата есть — стенки цветами разрисованы!

— А что это вон у того парня?

— Это операция Крукенберга, — поясняет Коля, мне ее тоже делать будут. Вишь, у кого двух рук нет, а предплечье цело, ему разделяют кости — лучевую и локтевую — и как-то на них мышцы пришивают, что можно потом карандаш брать, и даже стакан берут некоторые...

Приглядываюсь. Выглядит «Крукенберг» ужасно, на месте предплечья — два больших толстых красных пальца, но они двигаются, раздвигаются, и я вижу, как один больной действительно берет ими стакан! — и, неестественно наклоняя голову (рука-то короткая), пьет какой-то морс.

В углу лежит молодой смазливый офицер с усиками. Зовут его Мишкой, он тоже еврей, как немедля сообщает мне Лазарь.

Мишка — москвич. У него под подушкой запрятана форма, и он часто убегает в самоволку. Он — «легкий». У него ампутирована стопа, на костылях он не ходит, а бегает. К нему часто приходят девушки, и вообще он ведет себя вольно. Рана у него поджила, и он со дня на день ждет выписки.

Захожу в столовую и убеждаюсь еще раз — госпиталь здесь необыкновенный, тетя Таня старалась не зря!

Ряды столиков, накрытых белыми скатертями. Паркетный пол. Люстры. Столовая размещена в бывшем парадном зале. Высокие полуциркульные окна, между ними мраморные пилястры. На каждом столике — вазочки с цветами!

Но больше всего меня удивляют не люстры, не пилястры, не цветы, а хлеб, нарезанный ломтиками и лежащий на тарелках свободно. Как до войны — ешь, сколько хочешь!

Возвращаюсь в палату. По коридору ведут слепого. Странно, ведь здесь же госпиталь ампутантов... равняюсь с ним и останавливаюсь. Лицо слепого в мелких синих пятнышках — следах ожога и мелких осколков. Вместо рук из закатанных рукавов халата — два «Крукенберга»... Потом я узнаю, что такой здесь не один, — их целая палата, десять или пятнадцать человек, все безрукие и слепые. Все — бывшие саперы.

Вечером все ходячие раненые спешат в кино. Стуча костыли, однорукие везут на колясках безногих. Все — в кино!

Здесь каждый вечер кино!

Гаснет свет, и на экране мелькают цветные пятна. Показывают трофейный немецкий фильм с Марикой Рёкк. Немецкая пышнотелая красотка лихо танцует, высоко задирая юбки, и на потеху и радость всему залу обнажает полные красивые ноги.

Бравурная музыка, нарядные цветные костюмы, красивые кавалеры в черных смокингах и цилиндрах, легкая любовь...

Не могу смотреть. Ухожу из зала.

В палате ложусь на койку и закрываю глаза. Перед глазами синие точки и два торчащих «Крукенберга».

На другой день узнаю интересные новости. В госпитале работает целая школа. Безногих обучают машинописи и стенографии. К безруким приходит юрист и читает общий курс юриспруденции. А кроме того, есть общеобразовательная школа, в которую я немедленно записываюсь.



Далекими, забытыми отголосками звучат странные звукосочетания: «разбор по членам предложения», «квадрат суммы», «правило винта». Нисса приносит мне учебники, карандаши, тетради. Она приходит часто, и вся палата считает ее моей девушкой.

Здесь ко многим приходят посетительницы: матери, жены, девушки. К Лазарю приходит пожилая жена, кормит его, а потом они долго молча сидят на койке, прижавшись друг к другу.

Учителя сменяют друг друга. Между перевязками решаю примеры по алгебре, читаю «Слово о полку Игореве». Время идет. Чувствую я себя отлично, но рана упорно не хочет закрываться. На очередном утреннем осмотре ведущий хирург произносит тревожное слово «реампутация».

Нахожу себе занятие — помогать тяжелым. Целые дни катаю коляски, кормлю лежачих, вожу слепых, ношусь с какими-то поручениями. Однажды, пробегая мимо палаты саперов, слышу крик.

Захожу. В углу сгрудились раненые, что-то кричат, возмущаются, а на койке катается весь замотанный, с забинтованной головой человек и страшно кричит. Прибегает сестра, пытается его успокоить, он отталкивает ее замотанными обрубками рук и кричит еще сильнее, еще надрывнее.

Постепенно до меня доходит смысл его слов. Он просит себя убить, требует цианистого калия, он все равно жить не будет, не будет, не будет...

Такого я еще не видел. Спрашиваю, и мне объясняют.

В палату зашли какие-то раненые. Кто, откуда — никто не знает, вся палата слепая. Этот парень в углу — слепой и безрукий — попросил дать закурить. Дали.

Дали папиросу зажженным концом в рот. Пошутили.

Засмеялись и ушли.

Кричащий скатывается с койки и бьется забинтованной головой о железную ножку кровати. Уже две сестры держат его. Прибегает врач, няня. Он с силой отталкивает их ногами. Белые халаты наваливаются на дергающееся тело, укладывают на койку. Слышен приглушенный крик. Сестра убегает в операционную, потом возвращается со шприцем и всаживает его куда-то между белых халатов.

Больной затихает, засыпает.

Врач выгоняет посторонних из палаты...

И еще три эпизода запоминаются мне из московского госпиталя.

...Мишка-офицер, дождавшись ухода врачей, собрался в очередную самоволку. Надел брюки, офицерский китель, начистил хромовый сапог, схватил костыли и весело сказал палате «адью». Какой-то белобрысый парень с койки брякнул со злобной завистью:

— Ишь, еврейская морда, гуляет когда хочет..

Мишка побелел. В два прыжка — два стука подскочил к белобрысому, высоко над головой костыль поднял.

— Хочешь — башку проломлю?

Палата замерла. Белобрысый что-то залопотал, забормотал; Мишка постоял еще немного, а потом, четко печатая костылями, выбежал из палаты. Белобрысый вслед ему длинно и грязно выругался, а потом еще долго ругался, обещая поквитаться.

...Праздник 7 ноября. В госпитале его отмечают торжественно. К нам приходят делегации от фабрик и заводов. В кинозале идут концерты. Приходят пионеры из школы.

Все они в белых рубашках, красные галстуки оживляют вид приевшихся госпитальных стен. Звенят детские голоса, произносятся торжественные наивные слова, нам преподносят подарки: конфеты, печенье, яблоки. Особенно достается Володе. Он сидит красивый, смущенный, на белой рубашке золотится звездочка на красной муаровой ленточке. А его просто засыпают подарками... Глаза детей смотрят на нас сочувственно и с некоторым испугом.

Где-то мои пионеры детдомовские, мой отряд? Сколько газет я им прочел, сколько мы стихов про героизм учили! А теперь я бы, наверное, рассказал им историю со слепым сапером...

В палату заходит еще какая-то делегация. Впереди руководитель — толстый мужчина в синем шевиотовом костюме.

На стол сыплются бумажные кульки, а толстый в шевиоте привычным движением поднимает руку.

Шум в палате смолкает — будет речь.

— Дорогие товарищи раненые, — произносит мужчина, приглаживает лоснящийся подбор, и с первых слов видно, что он здорово пьян.

— Дорогие защитники Родины! Вы храбро защищали нашу священную землю от фашистских оккупантов...

Он покачивается, слова у него плохо вяжутся, он икает.

— Дорогие вы наши бойцы, — продолжаем он, — поздравляем с двадцать седьмой годовщиной великого Октября... И не горюйте, ребята! Главное в жизни — голову на плечах иметь да

руки! — Он протягивает вперед свои красные мясистые ладони и повторяет: — Голову да руки! Руками можно все сделать!

Его дергают за рукав, он кончает речь и сам разносит кульки по койкам.

Хмуρο молчит палата. Из двадцати ее обитателей у половины нет какой-нибудь руки, а Колька — без обеих.

— У, сука толстая, — с ненавистью шипит он вслед уходящей делегации и вдруг с криком и слезами топчет кулек. Летят карамельки, сыплется стертое в порошок печенье. Я уговариваю, успокаиваю Кольку. Пионеров быстро выводят из нашей палаты.

И еще одно воспоминание.

Провожают Володю. Его провожает сам начальник госпиталя, полковник медслужбы, политотдел госпиталя. Какие-то офицеры приехали за ним на легковой машине.

Торжественные проводы. Речи. Цветы.

Раненые в халатах образуют большой круг в вестибюле госпиталя, внутри этого круга другой, меньший круг из начальства госпиталя, врачей, офицеров. А посредине, тяжело опираясь одной рукой на костыль, возвышается Володя в офицерском кителе с золотой звездой... Он стоит красивый, грустный, отрешенный от всех речей и почестей, и глаза его теплеют, только когда он встречается взглядом со стоящей рядом худенькой и невзрачной девушкой. Она обнимает его крепко, на глазах у всех, и осторожно ведет по каменному полу к выходу, а он неуклюже трюхает рядом всей своей громадой.

— Мог бы и покрасивше найти... — говорит кто-то сзади.

Нет, пожалуй, не нужна ему покрасивше.

По тому, как она, слившись с ним воедино, поддерживает его, как бережно ведет, как смотрит на него, и по тому, как он ловит ее взгляд, видно, что нашел он для себя самую красивую...

## **ЕДУ В ЛЕНИНГРАД!**

Уже был назначен на реампутацию, и вдруг спасительный вызов от Лили — перевод в ленинградский госпиталь.

В Ленинград, в Ленинград! К нашим!

Я просто прыгаю от радости.

Мне выписывают документы и выдают (вот неожиданность!) вместо военного обмундирования шикарный серый американский

костюм-тройку. Из нашего госпиталя в строй не возвращаются, поэтому начальство позаботилось о том, чтобы выписывающиеся получали гражданскую одежду из американских подарков.

Я получаю черную шинель-пальто, белую шапку-ушанку и останавливаюсь перед зеркалом — я это или не я?

Последние прощания с родными. Мы с Ниссой идем на вокзал — Ленинградский вокзал!

Смотрю на свой билет и обнаруживаю, что еду в одиннадцатом вагоне.

Это портит настроение — не люблю число одиннадцать. Одиннадцатого ноября началась моя армия. Одиннадцатого июля я был ранен. В одиннадцатой палате мне отняли руку. А теперь этот вагон. Хорошего не жди.

Делюсь своими предчувствиями с Ниссой. Она смеется: не знала, что ты суеверный!

Мы спешим к вокзалу. До отхода пятнадцать минут. Нисса несет мой рюкзак, аккуратно и плотно запакованный ею; мы минуем ступени. Платформа, поезд. Одиннадцатый вагон. Рядом с проводником стоит офицер НКВД.

— Ваши документы.

Показываю заранее приготовленные документы: справку из госпиталя, красноармейскую книжку, билет.

Офицер медленно просматривает все бумаги.

— Почему едете в Ленинград?

— Перевожусь в ленинградский госпиталь.

— На основании чего переводитесь?

— На основании вызова.

— Где вызов?

Нисса начинает нервничать. Часы на платформе показывают пять минут до отхода поезда.

— Вызов в рюкзаке. Я же предъявил все нужные документы.

— Мне не указывайте! Я знаю сам, что нужно. В Ленинград вы не поедете.

— Дай рюкзак, я достану вызов! — Нисса начинает лихорадочно распаковывать рюкзак и срывает ноготь. По пальцу сильно струится кровь, она облизывает ее и выворачивает из рюкзака какие-то тряпки, подарки, конфеты. Все это летит пестрой кучей на перрон.

— Вот вызов — смотрите.

Офицер просматривает вызов.

— Раз вы переводитесь в госпиталь, у вас должна быть история болезни. Предъявите историю болезни.

— Это еще зачем? Вы что — врач?

— Я сказал — в Ленинград не поедете.

Где-то впереди слышен свисток, и паровоз отвечает протяжным гудком.

Нисса вытряхивает на перрон все, что было в рюкзаке, и достает уложенную на самое дно историю болезни, потом беспорядочно запихивает назад всю кучу вещей.

Офицер листает историю болезни.

Поезд трогается.

— Идите в вагон, — говорит он, становясь на подножку. — Вот, держите пока вашу липу, — сует он мне ворох бумаг.

Прыгаю на подножку. Нисса передает мне раскрытый рюкзак.

— До свидания, Ниссочка! Спасибо за все!

Захожу в вагон, волоча за собой рюкзак. Пачка документов — в зубах. Нахожу свое место. Вагон воинский, вокруг меня серые шинели, я один здесь штатский.

Сначала меня принимают как чужого, но потом, разобравшись, в чем дело, дивятся — какой это госпиталь так шикарно одевает солдат.

Поезд постукивает. С каждым стуком — шпала. С каждой шпалой ближе Ленинград!

Ночь — и я дома. Прямо не верится! А пока можно прикорнуть немного.

Меня будит милиционер и требует следовать за ним. Он ведет меня через несколько вагонов, и я оказываюсь в дежурке того самого офицера. Снова проверка документов, на этот раз он перечитывает все медленно, сопоставляя даты, вглядывается в печати, подписи и говорит, что все равно высадит в Бологом. В Ленинграде мне делать нечего.

Не возражая, молча сажу. Одиннадцатый вагон — чего можно было еще ожидать!

Часа через два проверка кончается. Офицер говорит, что займется мной еще в Ленинграде, и отпускает меня.

Возвращаюсь в свой вагон и уже спокойно укладываюсь на скамейке.

Основания для подозрений были, конечно, веские. Пришел я не с группой солдат, а один. Штатская одежда. Провожающая девушка. Деталь — инвалидность — не имела значения.

Поезд замедляет ход. Проплывают мимо окон первые ленинградские дома. Неужели я действительно сейчас сойду на перрон? На наш перрон? Сколько перронов позади... Мантурово, Муром, Вязники, Канаш, Волочѣк, Котельнич, Москва...

Мне не сидится на месте. Уже час как я полностью одет и стою у выхода, а поезд все движется, движется, движется...

Мое напряжение достигает предела.

Сейчас должно произойти что-то очень важное, значительное — такое, чего я ждал все эти два с половиной года, которые не был здесь...

И это важное наступает.

Поезд дает мягкий толчок.

Расталкивая людей, я выскакиваю на перрон и обнимаю маму...

## ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСПИТАЛЬ

Вот я и дома. Снова (кажется, прошла вечность!) я брожу по улицам Ленинграда, не веря в реальность происходящего.

Дома все по-старому: стены, комнаты, коридор, кухня, вещи, картины, книги... Впрочем, мебели поубавилось, в блокадную зиму в буржуйках сгорели стулья, столы, угловой шкаф дедовой работы. Окна отмыты от бумажных и марлевых крестов. Я сижу на своем диване и перебираю старые рисунки и школьные дневники. «Литература — пять, алгебра — тройка... Плохое поведение на уроке физики...» Забавно.

Я дома и не дома, так как мне еще предстоит долечиваться в ленинградском госпитале. У меня ничего не болит, но рана не закрывается. Что-то неладно.

Госпиталь находится в Демидовом переулке в здании Географического общества. Когда-то я здесь был. Когда?

Память выхватывает темный зал на втором этаже, луч света от проектора — «волшебного фонаря» — и сменяющиеся на экране цветные картины итальянских художников. Высокое Возрождение. Ренессанс... Надо же, я еще кое-что помню!

В этот самый зал и приводят меня на одну из шестидесяти коек, размещенных в два ряда с одной стороны зала и одним рядом и столиком медсестры с другой. Между койками широкий проход, заканчивающийся выходной дверью.

Наша палата для ходячих больных именуется «Большим коридором». Я занимаю свое место у самого окна и оглядываюсь.

Мой сосед Ваня Сураев, бритоголовый крепыш, встречает меня доброжелательно, предлагает курево, хлеб, луковицу, а я разворачиваю бутерброды с сыром из дома, и мы пируем на прикроватной тумбочке.

Я чувствую себя прекрасно. В госпиталях я отъелся, воспрял духом, рядом родные, и я энергично ищу какого-нибудь дела.

Дело подворачивается сразу. Комсорг госпиталя Лешка Баранов в два счета устраивает меня госпитальным почтальоном. Ура! Лучшего я не мог бы и пожелать!

Мне оформляют пропуск, и ежедневно по утрам я езжу в ФЭП-50 на Суворовский проспект, набиваю сумку письмами с треугольной печатью «Проверено военной цензурой» и еду домой. Там провожу час-два и возвращаюсь в госпиталь сытый и довольный.

В один из приходов застаю в нашем коридоре необычное оживление и суматоху. Нянечки и сестры носятся как угорелые, меняют белье на койках, протирают подоконники и полы.

— Что такое? Опять кино?

— Какое кино? Генерал едет. Проверяющий. Из округа.

Суматоха усиливается, зал принимает парадный вид, старшая покрикивает, требуя безукоризненной заправки коек, а потом убегает куда-то вместе с двумя самыми молодыми и здоровыми ребятами.

Через несколько минут они возвращаются с каким-то большим свитком на плечах, спускают его на пол, и мы ахаем: в проходе во всю длину зала раскатывается темно-вишневая с зелеными кантами по краям ковровая дорожка!

Всем нам приказано сесть на свои койки (ни в коем случае не лежать!) и ждать прихода гостей. В палате стоит разноголосый гул, смешки, легкий добродушный матерок.

Дверь распахивается, и наконец появляется грузный и представительный генерал в белом, накинутом на плечи халате, в сопровождении многочисленной свиты. Немного впереди него, под углом вполоборота, мелко ступает начальник госпиталя, что-то объясняя, за ним куча белых халатов — человек двадцать. Генерал идет неторопко, не оглядываясь на нас. Пройдя коридор, вся команда исчезает за дверями, и тут же снова возникает старшая сестра:

— Шура! Вася! Скатывайте! И по черной лестнице вниз! Там раскатаете снова! Быстрее, мальчишки! Может быть, успеем!

Вася и Шура, заткнув мешающие полы халатов за кальсоны, под общий смех и коллективные советы быстро катают дорожку, взгромождают ее на плечи и исчезают.

Мне не сидится. Я приношу из дома бумагу, карандаши и начинаю рисовать моего нового приятеля Диму Прасолова, художника, шустрого и любознательного парня из города Кондрово. Он сидит в белой ушанке на краю моей койки и рассказывает, как его из госпиталя отправили на «губу».

— За что?

— А этот, как его, начальник госпиталя, увидел, у меня волосы выросли, и говорит: сбрить немедленно! А я говорю: чего это сбрить, что у вас, гестапо, что ли? А он разозлился и приказал: на «губу», на двадцать суток...

— Двадцать? И все отсидел?

— Нет, только четыре. Потом был праздник — двадцать третьего февраля, и нам всем на «губе» амнистия. Но я рад, что был на этой «губе».

— Почему?

— Потому что на этой самой «губе» сидел один поручик.

— Поручик?

— Да, поручик.

— Какой еще поручик?

— Михаил Юрьевич Лермонтов.

Забегая вперед, хочу сказать, что из всего калейдоскопа лиц и характеров, встретившихся мне в военные годы, Дима Прасолов — единственной, с кем я сохранил дружбу на всю жизнь.

Диме выпала особая судьба: быть трижды раненым и остаться живым, и один раз убитым, а потом воскреснуть. Через несколько лет после госпиталя он посетил свой родной город и на братской могиле обнаружил свои имя и фамилию, высеченные на черном обелиске среди других, не вернувшихся с войны кондровцев. Потом выяснилось: когда его, раненого, в бессознательном состоянии увезли с Курской дуги, ротный писарь выслал на родину похоронку, и райвоенкомат включил его в список погибших.

Наш разговор и сеанс рисования прерывает сестра:

— Разумовский, в перевязочную на осмотр.

Мой новый врач, энергичная и симпатичная Маргарита Вульфовна, осматривает рану, подносит к окошку мои рентгеновские снимки и решительно заявляет:



— Свищ не закрывается пять месяцев. Хронический остеомиелит надкостницы. Будем чистить кость.

— Как? Опять операция?

— Другого пути нет. Почистим кость, закроется рана — и на выписку. Домой хочешь?

— Да.

Через три дня операция и через месяц домой. Рад? Сестра, перевяжите больного.

— Не надо. Я сам.

Я быстро забинтовываю культю и завязываю концы бинта бантиком. За полгода я научился перевязываться, да и многому другому, что казалось вначале невозможным.

Через пару месяцев я заканчиваю свой армейский путь — полгода запасного полка, три недели фронта и девять месяцев лечения в госпиталях.

Свое девятнадцатилетие и День Победы я встречаю уже дома.

## ВСТРЕЧА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Конец мая. Солнце бьет в окна нашей квартиры на Третьей Красноармейской улице.

Я просыпаюсь рано, пока все еще спят, и первым делом хватаюсь за нитки, иголку и гимнастерку.

На это есть особые причины.

Сегодня через город проходят победоносные войска Ленинградского фронта, об этом уже три дня как кричит радио, сообщают газеты, и город готовится к встрече победителей.

На нашем доме висит красный флаг. Такие же флаги висят и напротив, на доме номер восемь, на здании института ЛИСИ и по всей остальной улице. Международный проспект, по которому пройдут войска, украшен еще наряднее, кругом лозунги: «Слава воинам-победителям!», «Родина-мать встречает своих сыновей!», «Наше дело правое — мы победили!», а на здании Технологического института — огромный портрет Сталина в форме генералиссимуса.

Я тоже готовлюсь к встрече. Гимнастерка плотно растянута коленями, и иголка делает последние стежки, прикрепляя желтую

ленточку над левым карманом. Это — единственный знак, свидетельство моего участия в сегодняшних событиях, право выйти на улицу в этот замечательный солнечный день и право открыто и честно смотреть в глаза людям.

Улица заполняется народом. Все спешат к Международному. Я надеваю кепку, подпоясываюсь ремнем и вылетаю на улицу.

На Международном вдоль трамвайных путей уже выстроились толпы народа. Люди возбуждены, все в радостном ожидании, многие с букетами полевых цветов, очень много военных. Милиционеры в серой форме суетятся, выстраивают народ в две линии, подготавливая проход для войск, которые должны появиться от Московских ворот.

Дети перебрасываются раскидаями (впервые вижу с довоенных времен), женщины оделись в яркие платья, толпа гудит, движется, колышется, напряжение нарастает, и вот где-то у Фрунзенского универмага раздаются звуки духового оркестра, и по толпе единым вздохом проносится: «Идут!».

Шеренги приходят в движение, уплотняются, люди становятся ближе друг к другу, толкаются, милиционеры ровняют проход, бесцеремонно отталкивая первые ряды назад, гул, выкрики, — и вот они показали!

Впереди торжественно шагает духовой оркестр, золото труб под ярким майским солнцем слепит глаза; праздничные мажорные звуки тонут и вновь прорываются сквозь разрозненное многоголосое «ура!..».

А вот и войска!

Медленно едут «виллисы». В первом в невообразимо роскошном парадном мундире стоит генерал с рукой под козырек, золотые погоны, пестрота множества орденов, фуражка с золотой тульей, золотая звезда Героя. Вокруг него блистательные офицеры. Господи, сколько орденов!

«Виллис» с рослыми, один к одному, загорелыми, подтянутыми гвардейцами — руки на автоматах, белозубые улыбки — охрана генерала — медленно, колесо в колесо, следует за начальством, и букеты летят в машины, пестрым дождем рассыпаясь на отдельные цветочки.

Идут солдаты.

Боевые офицеры возглавляют колонны. Парадная форма, золотые погоны. Бравые, красивые, загорелые мужчины печатают

шаг, позвякивая орденами перед ликующей толпой. Солдаты, солдаты, солдаты... Все с боевым оружием, с автоматами, пулеметами Дегтярева на плечах, они идут сомкнутыми рядами, счастливые, улыбочивые, медаленосные, идут в строю, по-военному, но как-то вольно, не парадно, а как хорошо поработавшие и знающие себе цену люди, радостно возбужденные и по праву принимающие горячие приветствия и искреннюю благодарность народа.

Идут победители.

Идут победители черных сил фашизма, идут баловни и избранники судьбы, чудом оставшиеся в живых счастливицы, которых по случайному стечению обстоятельств почему-то пощадила костлявая...

Остановилась колонна.

Команда «Вольно!» — и толпа бросается вперед, сминает милицию и смешивается с колонной. Женщины обнимают и целуют солдат. Солдаты высоко подбрасывают визжащих от восторга детей. Откуда-то появляются бутылки, и водка плещет в граненые стаканы.

Меня зажали, оттеснили назад, и я, охваченный общим порывом, протискиваюсь вперед к солдатам и отодвигаю плечом худую женщину, что-то выкрикивающую в экстазе.

Жидкие светлые волосы у нее разметались по плечам, платок сбился, в одной руке буханка хлеба, в другой — наполовину пустая бутылка с водкой.

— Чего растолкался? — сердито бросает она мне и, глядя светлыми злыми глазами, добавляет: — Понаехали тут!

— Становись! — звучит команда, и зелено-серое с трудом и не сразу расцепляется с пестрым.

И снова мерно стучат сапоги, и снова где-то вдали гремит оркестр, и снова шумит ликующая праздничная полупьяная толпа, но все это уже там, позади, потому что я медленно, внимательно рассматривая выщерблены на панели, бреду назад, к нашему дому.

*Ленинград. 1960–1968 гг.*

ВОЕННЫЕ  
ПИСЬМА



1

10 февраля 1942  
Мирра Разумовская — Лёве в стационар

Мой дорогой, любимый мальчик!

У нас все благополучно, и мы здоровы и относительно сыты. О нас беспокоиться не следует, надо поправиться тебе и папе.

Сегодня мы с мамой делали к завтраку жареный хлеб и мучную кашу, вчера я принесла маме от Лили немного рисовой + жареный хлеб + твоя тарелка супа — вместе все-таки что-то даст, оставляя сытость надолго, а я ведь вообще в этом отношении счастливица — есть не хочется.

Золотко мое, умоляю тебя побережь себя и папу, все есть и поправиться по возможности скорее. У Лили все нормально. Я счастлива, что она эти дни ела полностью обед, все-таки тоже за эти дни немного окрепнет. Дала она мне 700 гр хлеба — мы разделили на 2 дня, 50 гр масла и 35 гр песку, так что вчера мы пировали.

Будь здоров, мое солнышко.

Целую тебя крепко.

Любящая тебя сестра.

2

Февраль 1942  
Лиля Разумовская — Лёве в стационар

Братик любимый!

Солнышко мое, ты будешь спасен, ты поправишься, дорогой, ты силен духом, ты молод.

Спаси нам папу, поддерживай его морально, не давай ему быть угрюмым, говори с ним, не давай ему задумываться, смотри за ним.  
Будь здоров, дорогой. Я не могу много писать.  
Целую тебя крепко.  
Лиля.

3

*3 сентября 1942 года*  
*Лев Разумовский из Угор — отцу в Ленинград*

Дорогой, милый папусенька!

Как ясно я себе представил, как ты один пилишь дрова ножовкой, после того, как прочёл твою открытку, и стало как-то очень тяжело, что я не могу тебе помочь. Когда мы оба были слабы и больны прошлой зимой — мы пилили вместе, а теперь, когда я здоров, а ты тоже немного поправился, тебе приходится пилить одному. Надеюсь, что сейчас всё-таки легче, но 2 кубометра перепилить ножовкой очень трудно. Как я бы хотел тебе помочь! Тем более, что я здесь ничего не делаю. Папусенька, меня здесь научили по-новому колоть дрова. Опишу тебе, может быть, пригодится. Этот способ применяется при колке топором. 1-ый удар топором по чурбаку. Нужно, чтобы топор был под таким углом к чурбаку, потом нужно занести топор с чурбаком над головой, причём правой рукой взяться под самый топор, а левой — за конец топорнища, и потом с силой ударить обухом топора по другому чурбаку, лежащему на земле. Так очень легко колоть самые длинные чурбаки, но не знаю, удастся ли тебе этот способ по моим описаниям. Вот если бы я был в Ленинграде, я бы наколот тебе дров так и тебя научил бы.

Папусенька, а какую буржуйку ты теперь используешь — Тасину или Адели Исаевны? Если будешь переселяться в спальню, то не закрывай дверцу печки кирпичами, а вставь железную заслонку, Когда мы уезжали, она висела в ванной на Тасиной буржуйке.

Папусенька, как ты устраиваешься с бельём? Кто тебе его стирает? Идёт ли вода, или ты носишь снизу? Света, наверное, нет. А есть ли у тебя керосин?

<...>

У нас нового немного. Вчера мама первый раз вышла на работу, чувствует себя ещё правда слабо, но цвет лица стал немного лучше.

Вчера, с 1-го октября, начали заниматься учащиеся...

1 июля 1943 г.

*Лиля из Ленинграда — Мирре в Угоры*

Миррочка, родная моя, любимая!

<...>

Сейчас я как-то внутренне успокоилась. Ведь ко всему привыкаешь, ну, и я, очевидно, тоже привыкла. Единственное новое, что есть во мне и что меня бесконечно радует — это невыносимый книжный голод. Ведь за все это время я прочла всего несколько книг. Не могла я читать до последнего времени. Сейчас же я глотаю книги, и у меня появилась какая-то жадность, даже у всех прошу, ко всем пристаю, чтобы дали, а получив, прячу, чтобы никто не нашел. Я очень рада этому, так как я думала, что никогда уже не буду читать. Пишу я на дежурстве. Сейчас, наверное, часов 12. <...> Я как раз рассматривала карточки, письма, безделушки, подаренные Аароном. <...> Я собрала все дорогие мне вещи и подумала, что Аарон жив. Неужели он даже карточку нашу не увидит. Ты пишешь мне, что что бы ни случилось, люди должны сейчас жить. Я никогда ни о чем не думаю и никогда в жизни бы ничего с собой не сделала. Я ведь тоже достаточно пережила и понимаю, что личное у всех должно быть теперь на заднем плане. Ты пишешь, что мы будем его искать. Я думаю, что искать не стоит. Ведь все что я ни делала, не привело ни к чему. Я только не понимаю, почему до сих пор нет извещения, если он погиб. Сейчас перечитала его письма. На всякий случай вот его последний адрес: Действующая армия ППС 779 108 ЛБ Лит. 2. Попробуй, родная, может быть ты счастливее меня.

Горячо целую. Лиля.

Пришли адрес Гарри: я ему напишу.

23 августа 1943

*Лев Разумовский из Угор — в Ленинград*

Здравствуй, дорогой папусенька!

Ну почему вы не положили краски в посылку? Я так ждал, ждал, думал, придет посылка, успею перед армией порисовать



масляными красками. Признаться, я был разочарован, вынув из посылки 3 кисточки и ни одной краски. Для чего ты тогда писал их названия? Я был уверен, что мне идут краски... Ну ладно, сделанного не воротить.

Большое вам спасибо за гимнастерку с галифе, мне, правда, великовато, но подрасту, так сойдет. К этому костюму хорошие русские сапоги нужны. Ну, в общем, пока все мои костюмы можно положить под спуд — гимнастерка и галифе мне и так обеспечены. Пока я, как видишь, дома.

Папуся, не беспокойтесь за нас в отношении еды. Сейчас мы едим хорошо и вполне сыты. Чтобы убедить тебя, могу привести такой пример: в первые дни мы ели картошку большими кастрюлями и никак не могли наесться, а теперь варим маленькую кастрюльку, и нам вполне хватает, а иногда остается. Хлеба также теперь хватает — тоже, например, сегодня лежит хлеб: вчерашнего кусок, сегодняшний полностью. <...> Сейчас мы засолили кадочку огурцов (штук 100). Сняли уже 70 чесночин, очень крупных. На зиму еще запасем кадку капусты и кадку брусники. Я вчера ходил за брусникой и принес полпуда ягод и лукошко грибов. У нас уже есть немного сушеных грибов, но пока мало. Завтра я опять пойду в лес.

Работать я стал по-прежнему с отрядом, но чувствую, что отдохнул и теперь держу отряд в руках.

<...>

Папуся, не ужасайся моим весом — сейчас он, наверное, больше. Чувствую я себя прекрасно — легко. Подтягиваюсь на турнике 5 раз.

<...>

Целую, Лева

## 6

*1 ноября 1943  
Кулебаки, Горьковская обл., Мантуровский р-н,  
п/о Малоугоры, детдом  
Разумовским*

Мои милые мамуся и Миррочка!

Из распредел-роты нас направили в часть. Живем в землянках. Землянки большие, очень культурно сделаны, окрашены масля-

ной краской, разрисованы, горит электричество. Единственное неудобство — это большая скученность. Спим на нарах, на матрацах. Имеем одеяла. Долго, наверное, здесь не пробудем. По всем данным скоро снова отправят куда-то. Откровенно говоря, надоело кочевать, хочется осесть на место. К моему обмундированию прибавились теплые портянки. Погода стоит здесь теплая, все время идет мокрый снег и тут же тает. Кормят нас по-прежнему хорошо. Мне нужно написать много писем в отряд, Ревекке Лаз., и все нет времени. То переключки, то еще что-нибудь.

Адреса вам не сообщаю, т. к. ваши письма, такие дорогие для меня, пропадут. Нас безусловно отправят куда-то дальше. Целую вас, мои родные. Как хочется иметь от вас пару строчек! Лева

7

*22 ноября 1943*

*Самсон Львович из Ленинграда — в Угоры*

Дорогие мои родные!

Все казалось, что Лёвушкин уход — что-то далекое, что оно отодвинется в будущее — он у меня в представлении наш маленький сынок — мальчик — весь кошмарный период 1941–1942 г. как-то заслонил от меня его повзросление, а затем это время разлуки в 16 месяцев тоже как-то затормозило мое представление о том, что он незаметно для меня вырос, и, как Мирра пишет, миновало его детство и ранняя юность — у меня как-то в голове не укладывается, что наш дорогой сынок стал защитником отечества — это факт, от него никуда не уйдешь, но никак это у меня в голове не укладывается — я вдали от него — такой большой период прожил в разлуке, а получил Миррины письма с подробным описанием его ухода и как-то стало пусто кругом — точно и не было разлуки, и он ушел от меня, от нас вот-вот сейчас — как бы хотелось иметь от него поскорей хоть какую-нибудь весточку — как он там себя чувствует в новой обстановке — в самостоятельной жизни — хотелось бы, чтобы он был там с мальчиками из Угор — не так одиноко — хорошо, что у него, как Мирра пишет, бодрое настроение — я думаю, что он быстро привыкнет и освоится — страшно обидно, что посылка придет с опозданием — там для него ботинки

(простые, красноармейские), но все-таки лучше лаптей, затем еще мелочи для него. Очки — ну может, вам удастся переправить ему — главное, скорее получить от него известие — да! Мирра права, у нашей семьи получается какая-то письменная жизнь, и когда она окончится, кто знает? Что поделаешь, родные мои, надо терпеть и терпеливо ждать лучших времен, я глубоко верю, что они наступят и будет время, когда мы все будем опять вместе — но надо время и время — возможность приезда вашего сюда к весне, я думаю, уже станет, по всей вероятности, на реальную почву, если не случится чего-нибудь неожиданного, что отодвинет эту возможность, но не думаю — может быть, к тому времени и у меня появится возможность поехать и свидеться с Лёвушкой, если он будет в Горьком — но сейчас об этом мне не приходится и думать — крепитесь, мои родные, и помните, что и нам здесь без вас пусто и нелегко — но стараешься гнать и гнать дни и ночи, лишь бы время скорее уходило — вот уже декабрь на носу, а скоро новый год нашей измученной родине и всем нашим наболевшим душам — мы все, а особенно наши дети — заслужили, выстрадали право на отдых и мирную жизнь — у меня как-то мысли путаются и письмо получается не совсем связное — душа полна переживаний, волнений, и как-то не удастся передать в письме всей моей любви к вам, мои родные, к нашему дорогому мальчику, моей тоски за ним — все перемешивается в душе — и сознание долга, и отцовское чувство — и как-то не укладывающееся в голове сознание того, что я проснулся и узнаю, что наш Лёвушка уже не мальчик, а взрослый человек. Пишите, мои родные, подробно обо всем, что узнаете от него. Адрес телеграфируйте.

У нас здесь все по-старому. Надеемся скоро вам сообщить хорошие вести — Лиля себя чувствует хорошо — вижусь с ней сравнительно часто — вчера был у нее часа 4, обедали вместе, всё разговаривали о вас и о нашем мальчике. <...>

У нас еще нет зимы, стоит осенняя погода, но с заморозками — погода тоскливая, унылая, как на душе, — болезненно мечтаешь о весне — но до нее еще так далеко. Ну, будьте здоровы, мои родные, любимые — пишите нам чаще, в этом единственное утешение.

Целую вас крепко.

Ваш С.

28 ноября 1943

*Т. М. Разумовская — Лиле в Ленинград  
Угоры. 28/XI. 10 ч. вечера*

Лиленька, пташка моя любимая!

Только что пришла с работы. Мирры нет еще дома — зашла к Роговым. Зажгла коптилку. Тускло, уныло, пусто — одиноко поужинала — была у меня брюква сваренная. На душе тяжело-тяжело. У всех матерей есть уже по 8—10 писем, только у меня ничего нет. Телеграмма от 21-го «еду Муром Горьковс обл. здоров привет всем» — и всё. Не пойму, что случилось. От Гаррика тоже с 3-го нет ничего — Мирра нервничает страшно. Сегодня специально я устроила прогулку с целым отрядом на почту (вечером), это километра 3 по такому глубокому снегу, чтоб получить завтрашнюю почту, и опять ничего нам нет! Боже, как я смертельно устала трепетать за вас всех. Первые часа 2 я сплю от усталости, потом открываю глаза, и конечно — была бы хоть лампа, а эта коптилка совсем душу выматывает. <...> Мама

4 декабря 1943

*Т. М. Разумовская — в Ленинград  
Угоры. 4/XII 43 г.*

Доченька, радость моя!

Который сейчас час, понятия не имеем — может быть, 9 ч вечера, а может быть, уже 12 ч ночи. Мирра легла, а я сижу при этой кошмарной коптилке и уношусь к тебе, моя дорогая. Этими минутами только и живу. Сегодня ужасная погода — метель, ветер, буран, но я все-таки не удержалась и после службы помчалась на почту, это километра 3. Глубокий снег выше колена, рвало на мне все, но я так жаждала какой-нибудь весточки от вас, от нашего дорогого мальчика, что я не шла, а летела, и представь себе, как мне было обидно, когда было только одно письмо от Вали Ульяновой, а от вас — ни слова. Я шла обратно такая расстроенная — ужас. И только тогда заметила, как я устала в этой борьбе с бураном!

Мирра легла совсем измученная. Опять новый монтаж с чудесными песнями, с прекрасным оформлением, и все это надо создать на ходу между утренней службой и школой при этом кошмарном освещении, от которого можно помешаться. Она измучена, издергана до предела. Завтра педсовет, который еще будет утверждать монтаж. Одним словом, свои 140 руб. в месяц она честно тут зарабатывает. Теперь мало этого монтажа, надо что-то сделать для дошколят и для вечера взрослых, чем плохо? А, между прочим, отряд, баня, прогулки, школа, тетради, на 26-е уже назначен ее доклад «Родина», одним словом — нет слов, как она устала.

От Лёвушки было пока только одно единственное письмо, а тут здешние мальчишки прислали уже 6–8 писем. Почему он так редко пишет — не понимаю. Представляю себе, как ему тоскливо — когда я была на работе, он ко мне 2–3 раза прибежал, «соскучился по тебе». Я не знаю, как пережить это время, как мне тяжело без него! <...>

Как живёте, мои дорогие? Лиленька, почему ты не носишь синюю гимнастерку вместо зеленой? Она теплее и приличнее. А синее платье вместо юбки. Будем живы — будем одеты, так что не трясись над этими вещами и носи на здоровье. Почему папа не отвечает на наши письма?

Как мы здесь устали, если бы вы только знали! На днях сюда приезжает в отпуск жена одного эвакуированного. Интересно получить привет из родного города. <...>

Горячо целую, обнимаю.  
Таня

## 10

9 декабря 1943

*Т. М. Разумовская — Лиле в Ленинград*

Здравствуй, пташка моя ненаглядная!

Вчера у меня был хороший день. Получила сразу 3 Левушкиных письма, одно от тебя, одно от папы и Зины. До сих пор наш дорогой мальчик все болтается по дорогам, не имея еще определенного адреса и места. Меня это точит буквально. Кроме этого, из пулеметной роты его перевели в снайперскую. При его зрении — ничего не понимаю. Единственная надежда, что еще, наверно, не раз будут перемены, пока подберут то, что подходит для его зрения.

Письма бесконечно ласковые, бодрые, хорошие. Уже месяц, как он ушел из дому, а мы все еще ничего о нем не знаем. <...>

У нас все по-старому. Кругом снег, снег, миллион снегу выше колен. В комнате тепло, дрова есть. В погребе есть картошка. Перетаскиваем сейчас в комнату, так как там завелся крот и жрет ее.

Не успеем оглянуться, и новый год наступит. Время летит быстро, в этом наше счастье и надежда, что будет конец нашим мукам когда-нибудь. Вот тут наша сослуживица получила от мужа письмо с рядом указаний, куда написать для получения вызова (надо написать своему директору школы в Роно и в Горono). Все у нас говорят и мечтают об одном и том же. Меня в данный момент ничто, кроме Левушки, не интересует. Он занял всю голову и всю душу мои.

Мирра по-прежнему страшно много работает. Издергана и нервна страшно. А я просто страшно устала от жизни.

Лиленька, если можешь вырваться из надоевшей тебе обстановки, уходи хоть на пару часов, и то легче будет. <...>

Будь здорова, моя радость. Горячо обнимаю.

Вся твоя. Мама

## 11

*29 февраля 1944  
Город Ленинград  
п/я 980-а  
Разумовской Лиле  
п/п 51065-ж  
Разумовскому*

Моя дорогая милая сестричка!

Поздравляю тебя, родная, с днем твоего рождения! Как хочется обнять тебя, передать тебе всю силу моей любви, как хочется подарить тебе что-нибудь очень хорошее, чтобы сохранилось на всю жизнь. К сожалению, я могу сделать это только мысленно. Остается пожелать тебе здоровья, сил, скорой встречи с мамой и Миррой, если уже эта встреча не произошла. Когда мы уже отпразднуем все вместе день рождения и чей он будет?

Я не видел тебя с 20 июля — это уже больше 19 месяцев! Какая ты стала, моя сестричка? В моей памяти твой образ запечатлелся в виде маленькой, худенькой бледной девочки с неспи-

баемой несокрушимой волей и огромной любовью к нам. Часто я думал во время голода в Ленинграде, что ты святая, и сейчас уверен, что таких людей как ты единицы из сотен тысяч. Сегодня получил от тебя открыточку «Суворов». Большое спасибо тебе, милая, за внимание. Я хочу попросить тебя купить там в Ленинграде всю серию полководцев и оставить их до моего приезда, а то открытки, которые ты присылаешь, мнутся и рвутся в кармане. Лиленька, почему так затягивается с вызовом? Я сегодня, наверное, получу ответ на этот вопрос, т. к. ты в открытке пишешь, что следует подробное письмо. Жду его с нетерпением. Неужели вы до сих пор не получили моей фотокарточки? Мама уже получила давно, а вы ничего не пишете.

С моим отъездом тоже затянулось. На сколько — неизвестно, но я этому рад, т. к. во-первых, буду получать ваши письма, да и сейчас вдруг ударили морозы — ехать было бы трудно. Вообще, странный климат в этой Чувашии — январь был мягкий, а конец февраля — морозы.

На днях я был дежурным по роте. Это дежурство — своего рода честь, т. к. до сих пор рядовые не назначались дежурными по роте — дежурили младшие командиры. Я на сутки отвечал за все имущество роты, за распорядок дня, за оружие, за то, чтобы рота была вовремя накормлена.хлопот был полон рот, сутки не спал и за сутки не имел возможности написать вам письмо.

Лиленька, вчера мы стреляли. 2-ое упражнение по стрельбе. Стреляли с колена 3мя патронами на 200 метров. Был здоровый мороз, руки замерзли и плохо владели винтовкой. Потом и очки же у меня слабы для меня. В общем, я попал одной пулей из 3х и получил «посредств». Но я не горюю, т. к. многие товарищи с хорошим зрением совсем не попали.

Лиленька, целую тебя крепко и мысленно обнимаю.

Еще раз горячо, горячо поздравляю с днем рождения.

Лева

12

*24 апреля 1944*

*Лев Разумовский — в Ленинград*

Мои милые, любимые папуся и сестричка!

Уже кончается и апрель — как быстро летит время! Солнце теперь — частый гость в Чувашии, снег остался только местами на

полях, и под солнечными лучами она кажется веселее, как и все в жизни под солнцем. Между прочим, здесь очень хорошая земля — чернозем. Мои друзья-украинцы берут горсточку, «двоятся» и говорят: «Оця земля, дуже гарна, як у нас на Україні». Они в большинстве своем селяне и знают в этом толк.

Часто получаю ваши письма и письма из Угор. У меня уже накопился полный набитый битком карман писем, их уже некуда девать, но начать рвать их у меня не поднимаются руки — мне кажется, что я рву всю ласку, всю нежность, которыми они полны. Нужно будет набраться духу и сжечь разом половину всех писем, а то они уже сыпятся из кармана, да и ложиться неудобно с оттопыренным карманом.

Как вы встретили 1ое мая, родные? От меня несколько дней сейчас будет перерыв в письмах, не беспокойтесь, просто буду занят больше обычного. Занятия у нас стали более серьезными и обширными — ведь начался 2-ой период обучения.

На днях видел картину «Секретарь райкома» — довольно сильная вещь. У вас, наверное, работают все кино? Да?

Лиленька, как я стосковался за вами, если бы вы только знали. Днями ничего, а иногда вдруг нахлынет, такая тоска. Обовьет тебя вокруг, и уже ни о чем больше не думаешь, вся душа рвется к вам, мои родные! Мне здесь трудно в моральном отношении, кругом много хамья, да и сам я чувствую, что опускаюсь. Скоро 6 месяцев, как я не прочел ни одной книжки, не разговаривал ни с одним мало-мальски культурным человеком, а слышу кругом только мат да разговоры об еде, бесконечные надоедливые разговоры, которые злят и вызывают скуку.

Но ничего, надо крепиться, надо сжать зубы, я все ж думаю, что увижу вас еще не раз до окончания моей службы.

Как с вызовом? Еще раз прошу вас не писать им ничего, пока нет ничего определенного — не надо травить рану.

Папусенька, еще одна просьба: если дома есть лишняя фотокарточка моя, где я в своем костюме и рубашке апаш. Снимался в 7-ом классе, в общем, ты знаешь какая. Пришли ее мне. Хочется видеть себя 16ти-летним. Сейчас мне почти 18, но чувствую себя гораздо старше.

Целую вас крепко, моих самых верных и любимых друзей на свете.

Лева



22 мая 1944  
Ленинград  
п/я 980-А  
Разумовской Лиле  
п/п 51065 ж  
Разумовскому

Милый папуленька, родная сестричка!

Ну вот и случилось то, чего я давно ждал. Вчера получил новенькое обмундирование, шинель, коричневые ботиночки, обмотки, 2 пары белья — все новое, даже новые шнурки на ботинках. Еще получил патронташ, гранатную сумку — одним словом, захожусь сейчас в вагоне и еду на фронт. Настроение у меня хорошее, бодрое, знаю, что на фронте не осрамлюсь. За меня не беспокойтесь, родные, все будет хорошо, я вернусь домой живым и здоровым. Ваша любовь сохраняет меня. Еще некоторое время я буду находиться в прифронтовой полосе — не на самом фронте, так что беспокоиться пока вообще нет оснований. Кормить нас стали гораздо лучше — по 1ой категории. На месте будем получать фронтовой паек. С места я сразу же дам вам свой новый адрес. Жалею, что пропали ваши письма, шедшие в В. Волочек. (Вагон трясет, поэтому такие буквы) .

Я уже около месяца не имею от вас писем. Что у вас, что с вами, ничего не знаю. Может быть, мама и Мирра уже дома? Я написал в Угоры о том, что еду на фронт, на Веры Роговой адрес. Она передаст Мирре, а Мирра подготовит маму, а то она может очень расстроиться. Не расстраивайтесь, родные, будьте бодры и верьте в нашу встречу.

Крепко вас целую. Лёва

2 июня 1944  
 Горьковская область  
 Мантуровский р-н  
 п/о Малоугоры  
 Разумовской Т.М  
 п/п 7749-Б  
 Разумовскому

Мои дорогие мамусенька и Миррочка!

Пишу в лесу. Здесь проходят занятия, а сейчас объявлен перерыв. Занимаемся мы целые дни, и надо отметить, что занятия здесь гораздо умнее и толковее, чем в тылу. Там стараются действовать по уставу, здесь — сообразно с местностью и обстановкой. Вчера видел кино «Концерт фронту». Очень понравилось, но напомнило прежнюю жизнь и навеяло тоску. Скучаю я сейчас за домом меньше, только иногда, когда случается какая-нибудь неприятность, кто-нибудь выругает незаслуженно, сразу с необычайной яркостью встаете вы, мои дорогие, такие ласковые и нежные. Иногда приходится выносить оскорбления, часто грязные и мелкие, к нашей национальности вообще нехорошее отношение, но все это сносишь, затаиваешь и ждешь, ждешь той счастливой минуты, когда мы встретимся. Я стоял ночью на посту, охранял колодец, и всю ночь ты, мамусенька, была у меня перед глазами. Твои руки, твои глаза, все так живо вставало передо мной в темноте... Мысли мои только и вращались вокруг тебя, дома, родных. Потом прошло — и снова я знаю только свой автомат, лопатку, вещмешок.

Пишу вам в Угоры, а сам надеюсь, что вас там уже нет, что вы уже в Ленинграде. Хорошо бы так.

Кормят нас по-прежнему хорошо, только вместо хлеба дают сухари. Я знаю, что вас это интересует, поэтому пишу. А как вы питаетесь, родные? Наверное, много хуже моего. Хоть бы скорей шли письма, я уже больше месяца ничего не знаю о вас. Будьте здоровы, мои бесконечно дорогие! Будет время — напишу Рев. Лазаревне и ребятам.

Целую крепко.  
 Лёва.

15 августа 1944

*С. Л. Разумовский — в госпиталь в Котельнице*

Дорогой мой родной сыночек!

Приехали Роговы и передали нам о поездке к тебе Олега. Поверь, мой любимый, что всей душой, всеми мыслями мы все время с тобой — у меня не хватает слов и выражений, чтобы тебе написать, как мы стремимся к тебе — как мы полны тобой и только тобой — ты для меня всегда был из всех наших самым дорогим и любимым, и теперь нет для меня в жизни никого дороже, никого ближе тебя — ты для меня весь смысл моей жизни — родной мой — ты несмотря на твою молодость был крепок духом — помни родной, что тебе предстоит еще большая жизнь, что будут в ней радости, что мы твои родные близкие с тобой, и мама, которая готова отдать за тебя жизнь, и Мирра и Лиля, которые только мечтают о том, чтобы тебя скорее видеть и быть с тобой, и я, для которого ты все в жизни; лишь бы поскорей ты мог бы приехать к себе домой, где тебя ждет только любовь и ласка.

Дорогой мой, как я счастлив, что детдом оказался внимательным и что тебя навестили — мне кажется, что тебя должно было очень обрадовать их внимание — ты должен быть удовлетворен тем, что твоя работа, твое отношение к людям не прошли бесследно, а оставили хороший след и теплую память о тебе — все здесь тобой интересуются, так тепло спрашивают. Поля Лифшиц, мама тебе, наверное, расскажет, к тебе относится как вторая мать — столько любви, забот, внимания у ней к тебе, мой ненаглядный — лишь бы окончились поскорей твои муки, и поверь мне, родной, что еще будут у нас хорошие светлые дни, лишь быть нам всем уже вместе и никогда не расставаться.

Ну будь здоров, мой родной, и помни, что мы все с тобой в горе и радостях; пиши нам, родной, как можно чаще; ты себе не представляешь, с каким томлением мы ждем твоих писем.

Целую тебя крепко,  
твой папа

24 сентября 1944  
Ленинград  
3-я Красноармейская, д. 3 кв. 7  
Разумовским  
Кировская обл. г. Котельнич  
Часть 187  
Разумовскому

Дорогие мои!

Как видите, я с честью выхожу из бумажной проблемы. Вчера разделил сахар, табак, и вдруг до меня дошло, что можно писать на табачной обертке.

Сегодня у меня радость: получил телеграмму от мамы. Меня удивляет, почему папа до сих пор в Москве. Что его задержало — его дела или мои? И потом, чем он живет, как питается?

На перевод я уже потерял надежду, неужели папа чего-нибудь добьется?

Я целые дни читаю, на днях было кино. Покупаю все, как ты велела, мусенька, только картошку на 20—25 р. в день. Нужно будет приуменьшить расходы, а то я сейчас еще роскошествую за счет кастрюльки. <...>

Без писем сейчас особенно скучно. Правда, сегодня получил письмо от Нины Ивановой из Угор, но это не дает замены вашим письмам.

Хожу я уже вполне нормально, сегодня пробовал пробежаться, но неудачно — ноги еще слабы. Но Карпова я сегодня обогнал.

Софья Григорьевна сказала, что без тебя я стал быстрее поправляться. Может быть, это и так. Это, наверное, потому что желание скорее поправиться и увидеть всех вас, мои любимые, стало еще сильнее после маминого отъезда.

Целую, Лева.

*31 октября 1944 г.  
Письмо в госпиталь  
от Сашки Корнилова*

Добрый день! Здравствуй Лёва. Извини меня, что я тебе не писал. Лёва, я, черт бы меня побрал, питаю к письмам лютую ненависть. На меня и сестра, и крёстная обижаются за то, что я не пишу им. Ты, наверно, не поверишь, Лёва, это правда! Я признаю, что я виноват. Но ты найдешь, я знаю, такой довод: «Гад, неужели не можешь заставить себя написать письмо?» Лёва, ты не обижайся, очень тебя прошу, а вообще ты вправе обидеться. Я посыпаю пеплом голову. Лёвик, не думай только, что ты для меня ничего не значишь. Это отклонение от истины, или, как говорится по-русски, по-угорски, «паря хвостит!». Извини за грубость. Лева, я даже не знаю, как тебе писать. По-простецки или деликатно. Думаю, что по-простецки. Война произвела в тебе физическое изменение, моральное тоже, конечно, произвела, но думаю, что остался прежним Лёвушкой. И в сердце меня зарази, если я ошибаюсь!! Лёвик, пишу тебе о моей жизни. Так вот! Жизнь моя чертовски скучна, как тихое помешательство. Живу в Шулеве. Учусь в 8-м классе. Живу среди 7-ми детдомовских гурий или фурий, как угодно. Жизнь моя — тихий ужас! Скука адская. Ну ладно! Больше не буду ныть. Учусь я, как студент холодной семинарии. Много курю. Это от скуки. Тебе, наверно, скучно читать это. Большого писать не могу. Лёва, ты приезжай в детский дом. Вот это будет ценнейше!! Тогда мы поговорим, а то через письмо все не выпалишь. Вообще письмо— поганое дело. Однако ты мне пиши. Я отвечать буду. Честное слово, буду! Да! Забыл написать, где я стою на квартире. Стою я у бабки, которая зовет меня вместо голубчик — шурупчик, т. к. она беззубая. О карга! Она не дает мне спокойно жить! То она чихает, говоря: Что-то мне, паря, сёдни чишотся. То она кашляет, говоря о какой-то болести в груди. То она пристает с такими вопросами: а шчё, паря, замерзнет овча али нет во хлеву? А шчё, паря, мирзнешь ты под единым одеялом? А шчё, паря, после замиринья, т. е. мира, прибавят хлеба али нет? И так до полуночи. Вот хрычёвка! Сказать неудобно — старая. Слушать тошно. Видно, такова моя планида.

Ну досвиданья!

Целую! Сашка! Пиши!

9 мая 1945 г.

*Лиля из фронтового госпиталя в Дзядлово (Польша) —  
в Ленинград*

Конец войны! Какое счастье!

Дорогие мои, любимые!

Сегодня всю ночь порывалась вам написать, но столько впечатлений, столько радости, столько счастья, что слишком много было всего, чтобы охватить все сразу.

Начну по порядку.

Ида работала ночью в канцелярии. Посредине ночи прибежала к нам и разбудила всех криком: «Девочки, девочки, война кончилась!». Боже мой, что тут поднялось. Мы соскочили с кровати и подняли долгую кутерьму, веря и не веря, боясь, что это опять утка.

Вдруг начался салют.

Наш Дзядловский, жидкий, разноголосый. Били зенитки, палили пушки, автоматы, пистолеты. Наши часовые стреляли из своих винтовок. Мы все, полуодетые, взволнованные, толпились у темных барачков, кричали «ура» и радовались... радовались бесконечно.

Я несколько раз ложилась, снова вставала и снова ложилась. Всю ночь не могла заснуть ни на минуту. В 8 ч. задремала, в 9 уже проснулась. Был митинг, пели веселые, полузабытые довоенные песни. Говорили, волнуясь, со слезами на глазах.

Понять, что произошло — невозможно, вернее, не понять, а осознать. Я как-то все никак не могу опомниться, все не могу поверить. Но меня так душит тоска, так хочется скорей, скорей на родину, домой, что прямо не передать.

Пока конец войны был далек, я как-то не тосковала за вами, да и работа была такая каторжная, что не до скуки тут было. Но теперь, когда мечта стала реальностью, мне кажется, что я просто не доживу до встречи.

Вот чувствую я, что мне необходимо сегодня, сейчас вернуться домой, а ведь придется ждать еще месяцы.

Мне хотелось сегодня быть праздничной, надела бархатное платье, туфли, все для подъема настроения.

К обеду выдали по 100 г водки, так что сейчас очень хочется спать, а впереди еще целая ночь работы. Срочно перепаковываем

ящики с лекарствами. Все везем с собой для Ленинграда. Думаю к началу июля быть дома. Хочется верить, но боюсь подумать, что это возможно. Ночью взяла все ваши карточки и так и заснула под утро с ними. Представляю себе, что творится в Ленинграде. Сколько радости и сколько слез... Пишу вам очень часто, но письма лежат у нас в госпитале, т. к. некуда отправлять. Все-таки, если получится, пишите, пишите, как можно больше...

...Ждите меня в июле. Я приеду.

Будьте здоровы, родные, любимые, поздравляю вас с победой, с Левушкиным возвращением домой. Целую и обнимаю крепко-крепко... Привет и горячие поздравления всем и особенно Але.

Ваша Лиля.

## ВСТРЕЧА

— Ваше место второе. Можете располагаться, — сказал мне чисто выбритый и подтянутый проводник поезда Хельсинки — Петербург. Я поставил рюкзак на полку, удобно уселся и стал ждать соседей по купе.

Долго ждать не пришлось. В купе впорхнула молодая ярко одетая девица, радостно поприветствовала меня, спросила, откуда я еду, есть ли у меня семья, как долго я находился в Финляндии, какая у меня специальность, ах, как интересно, мой двоюродный брат тоже рисует, дочка тоже талантливая — вышивает по канве... И тут же защебетала о себе и своей жизни. Жизнь у нее, как оказалось, сложилась счастливо: ей удалось осуществить свою мечту — выйти замуж за иностранца, ее муж — финн, страховый агент, получает кучу марок, у них двое детей, он не пьет и раньше не пил, не то, что другие финны, у них свой дом, а машина японская, Субару, а в Питер она ездит к родне, вот два чемодана шмоток братьям и их семьям...

Дверь купе открылась, и к нам вошли соседи, пожилая пара — рослый мужчина с угрюмым выражением лица и его грузная жена с дешевой шляпкой на седой голове. Молча расположили свои вещи и, отвернувшись от нас, дружно уставились в оконное стекло. Оба были одеты скромно, непарадно.

Моя бойкая молодая соседка, примолкнувшая было во время прихода стариков, снова раскрыла рот и защебетала с новой силой. Тема мужа и детей плавно перетекла в характеристики финской родни, и я уже стал угорать от этой трескотни, как она вдруг спросила, что у меня с рукой.

— Память о фронте.

Она остановилась, как бы с наскоку.

— А сколько же вам лет?

Я ответил.



— Значит, вам примерно столько же, сколько ему? — качнула головой в сторону соседа.

— А вы спросите его.

Девица выбросила несколько финских слов моему соседу. Тот медленно и как бы неохотно повернул к ней голову, и я успел рассмотреть его обтянутые кожей острые скулы, суровый взгляд из глубоко проваленных глазниц и седой клок волос, брошенный через морщинистый лоб. Он произнес одно слово и опять отвернулся к окну.

Она снова спросила его о чем-то, и он утвердительно кивнул головой, не разжимая губ.

— О чем вы его спросили?

— Воевал ли он.

Разговор неожиданно принял интересный поворот.

— Спросите, если не трудно, где?

Она перевела мой вопрос. Он посмотрел на меня, помолчал немного, потом хрипло произнес одно слово: «петровски».

— Он сказал: «Петровски». Это значит Петрозаводск.

Что-то ударило мне в голову, и в купе сразу стало жарко. Следующий вопрос вырвался уже сам, вне моей воли: не скажет ли он — когда?

Переводчица почувствовала мое волнение. Что-то большое и важное творилось у нее на глазах, и она была в центре происходящего. Она перевела вопрос, и ответ прозвучал моментально.

— Он сказал: в июле 1944 года.

Вот оно! Я перевел дух.

— Скажи ему: я тоже воевал под Петрозаводском!

Он напрягся, повернулся ко мне всем корпусом. Вопрос прозвучал, как выстрел — перевод не потребовался. Я ответил сразу:

— В июле 1944-го. Мина упала рядом...

Наступила тишина. Стенки тесного купе поплыли в тумане и раздвинулись до невероятных просторов карельских болот. Потянуло холодком из соседнего озера, остро запахло хвоей срубленных осколками сосновых веток. Грохот автоматов смешался с воем летящих мин, где-то тонко и надрывно закричал раненый...

Мой сосед неотрывно смотрел на меня. Потом неожиданно вскинул руки и обхватил ими голову, потом качнулся в мою сторону, навалившись мне на колени, и что-то быстро залопотал, всхлипывая.

Взволнованная переводчица чуть не выкрикивала его отдельные слова.

— Проклятая война!.. Брат погиб... дом сгорел..

— Переводи! — крикнул я девушке. — Проклятая война... Мы с ним ни в чем не виноваты... Войну начинают политики, а гибнут простые люди...

Я сильно хлопнул его по плечу, схватил его руку и крепко пожал. Он ответил мне мощным пожатием, потом полез в чемодан, достал бутылку столичной. Края стаканов тоненько зазвенели, приняв касание дрожащей бутылки.

Мы выпили за нашу встречу. Вторую в жизни.

*Санкт-Петербург. 1998 г.*

## НЕЗНАЙКА НА ВОЙНЕ

Не будь эта книга так хорошо написана — так искусно безыскусно, — читать ее было бы тяжело, а все равно — надо.

Лев Разумовский рассказывает о вещах невеселых — и о некрасивых — и даже об отвратительных. И в том числе о таких, про которые почти ничего никому неизвестно: потому что до него почти никто не решился рассказать.

Люди с похожим опытом большей частью погибли на войне. А кто уцелел — молчал, чтобы не сгинуть в лагере.

Мы — их дети — помним это угрюмое молчание фронтовиков.

Оттепель развязала кое-кому память. Оттепель и неотступный гнев на лживую послевоенную «военную» литературу.

Огромная — до неба и во весь горизонт — стена вранья окружила войну. (Прочная до сих пор, разве что поросла мхом.)

Большие писатели проделали в ней большие проломы. Виктор Астафьев, например. Василь Быков.

А Лев Разумовский проделал пролом небольшой. Но заглядывать в него страшно. И видно — очень далеко. (Хотя после войны он не в писатели пошел, а, как и мечтал, — в скульпторы, попутно стал игрушечных дел мастером, — но вот же и литературный дар в нем постоянно и скрытно горел; бывают такие люди.)

История очень простая. Жил на свете счастливый советский мальчик.

Он вырос в семье, где все любили друг друга. В отдельной квартире. (Повезло!) В огромном городе с прекрасными зданиями. (Повезло!) В счастливой, в счастливой, в счастливой, — утром говорило ему радио, днем повторяла школа, вечером — кинофильм или библиотечная книга: счастливец! ты живешь в счастливой стране.

И он действительно был счастлив. И очень любил свою счастливую родину. И, когда она оказалась в опасности, пошел сражаться за нее. Ежеминутно рискуя жизнью. Готовый в любой момент отдать эту свою жизнь — лишь бы только родина победила и снова была счастлива.

Родина же на войне при каждом удобном случае плевала ему в лицо. Под предлогом, что он еврей. Но на самом деле — именно за то, что он был счастливый, городской, советский, верил книгам и кинофильмам. И совершенно не понимал господствующей — тюремной — этики.

На войне Лев Разумовский с изумлением убедился, что в Советском Союзе маловато советских людей. Это была глубоко несчастная страна, атмосфера которой, отравленная террором, была пропитана равнодушной ненавистью всех ко всем. Скажем, дети первых колхозников ненавидели детей первых интеллигентов. (И случилось так, что он оказался в абсолютном меньшинстве, равном абсолютному одиночеству.)

А была такая — даже не прослойка — пленка: сотня-другая тысяч людей 1923–1926 гг. р. Не выдумал же неумный писатель Фадеев молодогвардейцев. Они существовали, у них был символ веры — цитата из одного рассказа для детей, написанного в 1939 году:

*«Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной».*

В символе веры было две лжи. Не все из идеалистов — из энтузиастов — успели это понять прежде, чем пропали.

Лев Разумовский не пропал. На войне он потерял, кроме иллюзий, только руку, не жизнь.

И вернулся в счастье. Которое, как он понял раз навсегда, бывает исключительно в любимой семье и в любимой работе, больше нигде.

Кстати: заметили ли вы, что это слово — счастье — за полстолетия фактически выпало из речевого обихода? Как и некоторые другие: справедливость, например, или милосердие, или свобода. И — последнее из всех, потерявшее смысл прямо на наших глазах, — слово «правда».

Мышка бежала, хвостиком махнула, словечко упало и разбилось, смысл вытек, осколки золоченой скорлупы растерлись в пыль.

Возможно, Лев Самсонович был самым счастливым человеком из тех, кого я встретил в жизни. Потому что его все любили. Потому что нельзя было его не любить. По-моему — хоть я, конечно, и не особенно в этом разбираюсь, — он воплощал мечту каждой женщины. (А женщины знают, о ком мечтать.) Умен, добр, бесстрашен, талантлив. А еще в нем была черта, которую не знаю, как назвать, кроме как чистотой. (Читая эту книжку, слушая звучащий в ней голос, вы поймете.)

Мы с ним, собственно, поэтому и не подружились. Он был мне не ровня. Как металлический кувшин — глиняному. Я его стеснялся. Он был настоящий. А я — унылый циник, исковерканный безнадегой Застоя.

Но я им восхищался. И как же я рад, что дожил до этой книжки. А как он был бы рад увидеть ее. Пусть правда в нашей стране обесценилась. Для настоящих людей она все равно дороже всего, даже своей страшной себестоимости. Потому что человеческий ум без нее умирает от удушья.

*Самуил Лурье*  
22 января 2015

## О КНИГЕ «НАС ВРЕМЯ УЧИЛО...»

У этой книги — запах абсолютной правды. Как только началась эта дорога семнадцатилетнего человека на войну — так сразу, с неминуемой какой-то естественностью, всплыла передо мной шаламовская Колыма. Когда совершенно не думаешь о литературе и лишь потом вспоминаешь о ней — но лишь как о ковше, которым автор зачерпнул из живой дымящейся жизни и донес до меня ее, не расплескав и не разбавив: пей, брат.

Да не подавись, добавлю я, а постарайся все же переварить — потому что это действительно так оно и было и пережито под постоянным прицелом близкой смерти: от пули, от ножа, от сапога.

Ну и на что мне эта правда?

Ну, мало ли... например, чтоб отличать от вранья.

Эта книга нужна читателям всех поколений.

*Юлий Ким*  
24 ноября 2015

## СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе .....	5
<i>Илья Симановский. О победе духа над обстоятельствами</i> .....	7
<b>ДЕТИ БЛОКАДЫ</b>	
<i>Часть первая. Семья</i> .....	13
<i>Часть вторая. Детский дом № 55/61</i> .....	80
<b>НАС ВРЕМЯ УЧИЛО... (ноябрь 1943 — май 1945)</b>	
<i>Часть первая. В запасном полку</i> .....	215
<i>Часть вторая. Фронт</i> .....	323
<i>Часть третья. Госпитали</i> .....	372
<b>ВОЕННЫЕ ПИСЬМА</b> .....	411
<b>ВСТРЕЧА</b> .....	431
<i>Самуил Лурье. Незнайка на войне</i> .....	434
<i>Юлий Ким. О книге «Нас время учило...»</i> .....	437

*Средства на печать тиража были собраны по подписке. Издатели выражают искреннюю благодарность всем, кто помог этой книге дойти до читателя.*

*Благодарим за существенный вклад Галину Житлину, Ольгу Шулькину, Эдуарда Коридорова, Эдуарда Матушкина, Леонида Шраго, Сергея Вахрамеева и Музей истории евреев в России.*

*Большое спасибо Илье Симановскому, Иону Дегену, Наталии Ким, Юлию Киму, Илье Лиснянскому, Виктору Шендеровичу, Татьяне Мэй, Евгению Берковичу, Вере Брезгиной и Анатолию Жислину за информационную поддержку, горячее участие и трепетное отношение к автору книги.*



Лев Самсонович Разумовский  
**НАС ВРЕМЯ УЧИЛО...**

Компьютерная верстка *В. М. Бердника*  
Корректор *Н. С. Аникиева*

Подписано к печати 11.01.2016. Формат 60×88 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печать офсетная.  
Бумага офсетная № 1. Усл. печ. л. 26,9. Уч. изд. л. 27,93. Тираж ??? экз. Заказ № .

Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):



ООО «Журнал «Звезда». 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, 20.  
Отдел реализации: (812) 273-37-24; mail@zvezdaspb.ru

Отпечатано с оригинал-макета в «ИПК „Бионт“».  
199026, Санкт-Петербург, Средний пр. В. О., д. 86.



Татьяна Максимовна  
Разумовская



Самсон Львович  
Разумовский



Лиля, Мирра и Лев Разумовские. 1932–1933 (?)



Игровая комната в детском доме,  
расписанная Львом Разумовским иллюстрациями к сказкам Пушкина



Церковь в Угорах, где располагался детский дом.  
Рисунок Льва Разумовского. 1943 г.



Лев Разумовский. 1943 г.



Лиля Разумовская. 1943 г.



Лиля Разумовская в госпитале. 1943 г.



Мирра Разумовская. 1946 г.



Лев Разумовский. 1946 г.



В училище им. Мухиной.



Капустник в училище им. Мухиной



Работа над композицией «Солдатки». 1980 г.



Работа над медалью.



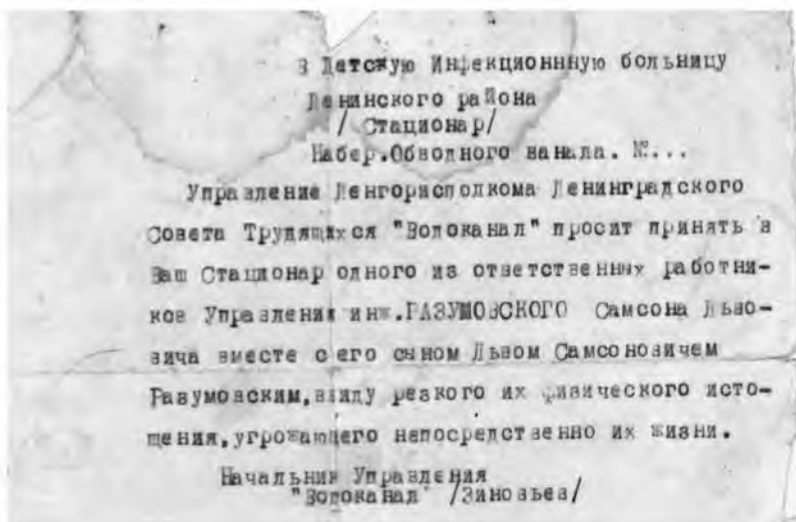


В мастерской.

Кавелда записывает мне эти суртки. Велерам  
 Все все стояли у печи, много принимались. Спички  
 темные - трудно выдуть. Это рга выводит пар, когда  
 повернешь. Папа опять вспоминает Украину, поговори  
 пирошки, тварошкины, бифшкетсы. Он говорит с погорельцами  
 это представляется себе русская печь, хворост, выжимания <sup>ад</sup>  
 рудные, Гетман, мостышкины от масса пирошки из уреш-  
 кой шурки... Спичка гелет, <sup>шурки</sup> шурки не шурки.  
 Ксения сидит в углу под Телетоном, скучит обаянны, как загорел-  
 ы, вудя бесамежский. Усталины <sup>он</sup> моего пелку проворили  
 на тихо. Нет, у нас нет дров на 2 пелки. Она с призом  
 встает и тихо <sup>идет</sup> в Лилину комнату, <sup>пелка</sup> <sup>на</sup> <sup>алю-</sup>  
 манки диван и <sup>попросила</sup> <sup>тот</sup> а ухром ел. Я каганца  
 на нее обе одеяла. Ты бы стоял к Лилинуам, попроси  
 бы для меня тарелку супа <sup>попросила</sup> <sup>она</sup> <sup>из</sup> <sup>под</sup> <sup>одеяла</sup>  
 Я взял тарелку, вышел на площадку. Как <sup>только</sup> <sup>вот</sup>  
 сейчас постирать, а потом попросить тарелку супа, но  
 ведь это не для <sup>меня</sup> <sup>это</sup> <sup>для</sup> <sup>Ксении</sup>, <sup>надуман</sup> <sup>я</sup>  
 и постираю. Нет, супу у нас нет, говорю <sup>мне</sup>,  
 маленькая, тоже бедная и худенькая, но стакан своего  
 молока я могу дать. - Большое спасибо, если бы  
 это было бы для <sup>меня</sup>, я не попросил бы - третий  
 раз говорю Я и ухому. Ксения отливает половнику



Пропуск С.Л. Разумовского



Направление в стационар. Январь 1942 г.

Братик любимый  
солнышко мое  
ты оудешь спасен  
ты понравившая  
дорогой ты силен  
духом, ты милая  
спаси нам нас  
поддерживай сво  
морально, не да  
вай ему быть  
унылым, говори  
с ним, не давай  
ему задумываться  
смотри за ним,  
Будь за его добротой  
Я не могу тебе

Записка Лили в стационар. Февраль 1942 г.

Мой родной, любимый мамочка  
У нас все благополучно, и мы здоро-  
вы и относительно сыты. Она  
беспокойств не следит, надо попра-  
виться тебе и маме.

Сегодня мы с мамой двали к  
завтраку френской хлеб и муку  
кашу, вчера я принесла маме от  
Мамы немного рисовой + френский  
хлеб + твою тарелку супа - виледе  
все всетаки что-то дает, оставив  
сытостью кадымо, а я ведь вводице в эти  
отношении скажишца - еде не может.

Золотко мое, умилю тебя поберечь себя  
и маму, все сить и поправиться по  
возможности скорее. У елим все нор-  
мально. Я скажишца, што она зидни ема  
помощью обед, вчераки тазе за эти дни немного  
окрепнет. Дала она мне 700 гр хлеба - мы  
разделили на 2 дня, 50 гр масла и 35 гр.  
песку, так что вчера мы пировали.

Ну, моя радость, котало. Гаронимов к Вам же.  
Будь здоров мое солнышко.

Целую тебя крепко  
Любящая тебя сестра.

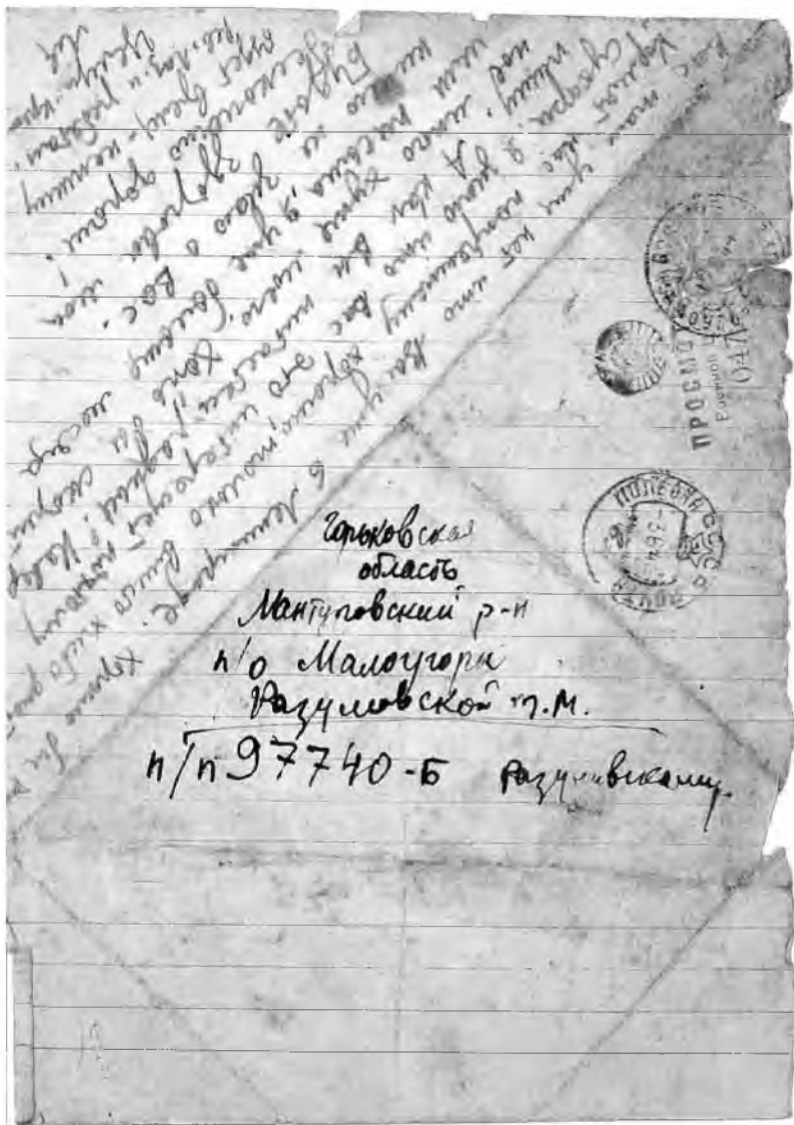
10/II-42.

20/11 Первое маю фашист!

Все казалося, что Левушкин  
ураг — это то гадкое, что  
он одобряет в общине —  
он у меня в представлении  
наше маленьким сынок —  
мастур — вель кошига, он  
первог 1941-1942, как то заломил  
а у меня его надроемил, а  
запомн это ввел папулю  
в 16 месяцев мне как то  
запомнил мне предобре  
миле то там, что он не там, но  
я у меня вперое и как шара  
мнег шидоваро ео же емо  
и напст внаемь — у меня как  
то в талове не укладывает  
наше гарогий сынок ели  
лашмидиари отяемла — это  
рад — а перо шидуга не угодил  
но шидуга у меня это в талове  
не укладывает — а враня у  
перо — такни вавной пермад проша  
в папуле, а послужил Мухом  
шидина с пограбном онданием  
его урага и как то стало моего  
краям — томо и не обидо папулю  
и он ушел от меня, а все ба  
лом селрае — как обидеет  
подорей ишег а у перо хаз  
какого шидуга влеморду — как  
он там селт у вембуем, в нава  
обемаковле — в самовогадиста  
перши — хомелов об, у же  
бу обид там с мабмиди не  
гор — не так оидомо —



Открытка Лили из Ленинграда в Угоры. Май 1943 г.



Письмо Л. Разумовского с фронта. Июнь 1944 г.



9 мая 1945г.

Конеч войны! Немцы сдаются!  
Варшава наша любимая!  
Сегодня весь город порывался  
к вам написать, но столько  
впечатлений, столько радости,  
столько счастья, что пришлось  
много всего без тебя  
сбавить все сразу.  
Нашу по парадку.  
Ида работала ночью в кан-  
целярии. Посреди ночи  
кричала к вам и разбу-  
дила всех криком: "Бог  
ваш, девочки, война  
кончилась". Все мой, это  
муж поднялось. Мы вскочили  
с кровати и погнали прямо  
кутерьму, веря и не веря,  
даже то это отец ура.  
Взрыв начался салют.  
Наше Янголовский, миджи,  
районский. Были залпы,  
палили пушки, автоматы,  
пулеметы. Наши все  
стреляли из своих винто-  
вок. Мы все, поцеловали,  
взволнованные палили  
у темных барьеров кри-  
чали ура и разбукали,



«Летчик». Дипломная работа. 1953 г.  
Московский Парк победы, Санкт-Петербург.



«Автопортрет. 1943». 1955 г.



«Старшина». Парная работа к «Автопортрету». 1955 г.



«Самое дорогое». 1960 г.  
Новосибирская картинная галерея.



«Игра». 1958 г.



«Пантера с детенышем». Парковая скульптура. 1964 г.



«Януш Корчак». 1968 г.  
Музей Санкт-Петербургского общества узников концлагерей.



«Дороги войны». 1980 г.  
Музей обороны и блокады Ленинграда.



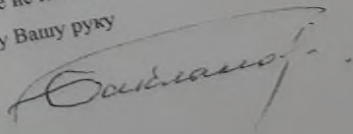


Портрет Ю. М. Лотмана. 1980 г.  
Библиотека Тартуского университета.

Уважаемый Лев Самсонович!

Прошу извинить меня, что не отвечал так долго. Я, как говорят, «удалился от дел», чтобы писать спокойно и читать то, что необходимо для работы или то, что в этот момент хочется прочесть. Но мне шлют и шлют книги, романы, сборники стихов, тем самым вольно или невольно руководя моим чтением. Вот так я и к Вашей вещи отнёсся. Но сегодня взял 11-й номер «Невы», который Вы мне прислали, начал читать и уже не оторвался. И вот под впечатлением пишу Вам. Я не читал роман Астафьева, возможно Вы в чём-то и пересекаетесь с ним, но написанное Вами очень живое, достоверное (да как ему не быть достоверным, когда это прожито Вами), многое из того, что Вы рассказываете, я в литературе не встречал. Конечно, меня это волновало, конечно, мне это интересно. Так ли интересно нынешним молодым, не знаю. Но хорошо, что это написано, и уже это не исчезнет.

Всего Вам самого доброго. Сердечно жму Вашу руку



17. XI - 97 г.

Уважаемый Лев Савицкий!

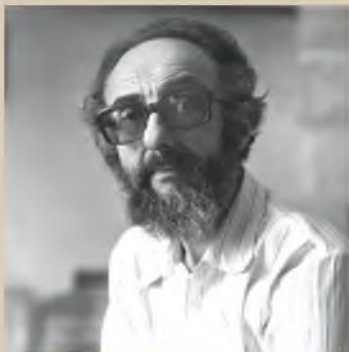
Благодарю Вас за подарки.

Сегодня и в кино и по радио, и по телевизору  
самую большую разухабистую болтовню о войне,  
что можно мне ответить? Почти-  
ну Вам работать было бы не худо  
всему продемонстрировать: стимулы <sup>визуально</sup> подоро-  
жескую возбужденность.

Еще раз благодарю

Б. Окуджавы

28. 6. 83



*Я ушел на фронт семнадцатилетним мальчишкой. Там я встретился с множеством людей — добрых и злых, беззащитных и агрессивных, униженных и наглых, близких по духу и откровенно враждебных... То, что я остался жив на этой войне, — в этом нет ни моей заслуги, ни моей вины. Все решил господин Великий Случай. Но за свое участие в Великой Отечественной войне против фашизма я обрел высокую награду — право прямо смотреть в глаза людям до конца своих дней...*

*Лев Разумовский*

*Начал читать и уже не оторвался.*

*Григорий Бакланов*

*У Льва Разумовского война описана в натуральную величину. Господь оставил его в живых, чтобы он рассказал о войне правду.*

*Ион Деген*

*Это чистый и честный текст о войне. Это то, что сегодня совершенно необходимо.*

*Яков Гордин*

*Не будь эта книга так хорошо написана — так искусно безыскусно, — читать ее было бы тяжело, а все равно — надо.*

*Самуил Лурье*

*У этой книги — запах абсолютной правды.*

*Юлий Ким*